

В. Тумаровский



**В. А.
ГИЛЯРОВСКИЙ**

ИЗБРАННОЕ

в трех томах

**МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1961**

**В. А.
ГИЛЯРОВСКИЙ**

Том третий

**МОСКВА И МОСКВИЧИ
ДРУЗЬЯ И ВСТРЕЧИ**

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1981

Составление, подготовка текста
и примечания

Е. Г. Киселевой.



В. Тугаровский

ДЯДЯ ГИЛЯЙ

(Владимир Алексеевич Гиляровский)

Мы часто говорим «времена Чехова» или «времена Льва Толстого», но вкладываем в эти слова преимущественно наше книжное, умозрительное представление.

Воздух этого недавнего времени, самая его окраска, его характер, слагавшийся из неисчислимых черт,— все это почти потеряно для нас. Новое поколение уже не может ощутить чеховское время, как нечто совершенно конкретное. В качестве свидетельств об этом времени остались искусство, история, комплекты старых газет, воспоминания и редкие, дожившие до наших дней его представители.

Ничто, конечно, не может дать такого точного ощущения прошлого, как встреча с живым его свидетелем. Особенно с таким своеобразным и талантливым свидетелем, каким был Владимир Алексеевич Гиляровский — человек неукротимой энергии и неукротимой доброты.

Прежде всего, в Гиляровском поражали удивительная цельность и своеобразие его натуры. Если бы у нас существовало выражение «живописный характер», то его целиком можно было бы отнести к Гиляровскому.

Он был живописен во всем — в своей биографии, внешности, манере говорить, ребячливости, в своей разносторонней и бурной талантливости.

Это был веселый и неутомимый труженик. Всю жизнь он работал (Гиляровский переменял много профессий — от волжского бурлака до актера и писателя), и в любую работу он вносил настоящую русскую смекалку, живость ума, даже некоторую удачу. Не было,

должно быть, ни одного явления, которое не казалось бы ему смертельно любопытным и заслуживающим пристального внимания.

Никогда он не был спокойным наблюдателем. Он без оглядки вмешивался в жизнь и любил делать все своими руками. Это последнее свойство присуще всем талантливым людям и жизнелюбам.

Но все же Гиляровский — современник Чехова и превосходный знаток своей эпохи — не был по существу типичным человеком тогдашнего времени. Он никак не «укладывался» в правила жизни, в ее устоявшийся быт. Жизнь Гиляровского, пожалуй, только по времени совпадала с эпохой Чехова. Несмотря на закадычную дружбу с Антоном Павловичем, Гиляровский, как мне кажется, внутренне не мог принять чеховских героев, склонных к сугубому самоанализу, резиньции¹ и раздумьям. Все это должно было быть чуждым кнучей и действительно пламенной натуре Гиляровского.

Гиляровскому жить бы во времена Запорожской Сечи, вольницы, отчаянно смелых набегов, бесшабашной отваги!

По строю своей души, да и по внешности, Гиляровский был запорожцем. Недаром Репин написал с него одного из своих казаков, пишущих письмо турецкому султану, а скульптор Андреев лепил с Гиляровского Тараса Бульбу для барельефа на памятнике Гоголю.

Гиляровский был чистейшим образцом того человеческого склада, который мы называем «широкой натурой». Это выражалось у него не только в необыкновенной щедрости и доброте, но и в том, что от жизни Гиляровский тоже требовал многого. Если просторы земли, то уж такие, чтобы захватывало дух, если работа, то уж такая, чтобы гудели руки, если бить — так уж с плеча.

И внешность у Гиляровского (я впервые увидел его уже стариком) была запорожская, казацкая. Сивоусый, с немного насмешливыми, пронизательными глазами, в смушковой серой папахе и жупане, он сразу же покорял собеседника блеском своего разговора, шутливостью, остроумием, силой темперамента и ясно осязаемой значительностью своего внутреннего облика.

Среди черт талантливых людей есть одна, которая совершенно покоряет нас, особенно, когда проявляется у людей пожилых, проживших большую и трудную жизнь. Эта черта — ребячливость.

У каждого были свои ребяческие страсти и выдумки. Горький любил разводить костры и устраивать «пожары» в пепельницах, Пушкин был великий охотник до всяческих «розыгрышей» (вспомните его знаменитые розыгрыши своего простодушного дядюшки Ва-

¹ Покорность судьбе, безропотное подчинение.

гилки Львовича), Грин любил делать луки и стрелять из них в цель, Чехов — удить карасей, Гайдар — пускать воздушных змеев, Багрянский — ловить силками птиц. И Гиляровский был ненстошим на магические мальчишеские выдумки.

Однажды он придумал послать со своим обратным адресом письмо в Австралию к вымышленному, не существующему человеку, чтобы, когда это письмо вернется в Москву, судить по множеству почтовых штемпелей об удивительном и почти сказочном пути, совершенном этим письмом.

Гиляровский происходил из исконной русской семьи, отличавшейся строгими правилами и узаконенным из поколения в поколение неторопливым бытом. Естественно, что в такой семье рождались люди цельные, крепкие, физически сильные. Гиляровский ломал пальцами рубли и легко разгибал подковы.

Однажды он приехал на побывку к отцу и, желая показать свою силу, завязал узлом кочергу. Глубокий старик отец не на шутку рассердился на сына за то, что тот портит домашние вещи, и тут же в сердцах развязал кочергу.

В жизни Гиляровского было много случаев, сделавших его в нашей памяти почти легендарным.

Естественно, что человек такого размаха и своеобразности, как Гиляровский, не мог оказаться вне передовых людей и писателей своего времени. С Гиляровским дружили Чехов, Буинн, Куприн, Шалапин, многие актеры, художники и литераторы. Но, пожалуй, Гиляровский мог гордиться больше, чем дружбой со знаменитостями, тем, что был широко известен и любим среди московской бедноты.

Он был знатоком московского «дна», знатоком Хитровки — приюта нищих, босяков, отщепенцев, по большей части одаренных простых людей, не нашедших себе ни места, ни занятия в тогдашней жизни. Хитровка любила Гиляровского, как своего защитника, как человека, который не гнушался бедностью и понимал всю глубину хитрованского горя и безрадостной жизни.

Сколько нужно было бесстрашия, доброжелательства к людям и простосердечия, чтобы завоевать любовь и доверие срых и озлобленных людей! Один только Гиляровский мог спокойно и безнаказанно приходить в любое время дня и ночи в самые опасные хитрованские притоны и ночлежки. Его никто не посмел бы тронуть пальцем. Лучшей охранной грамотой было его великодушное. Оно смиряло даже самые ожесточенные сердца.

Никто из наших писателей не знал так всесторонне и блестяще Москву, как Гиляровский. Было просто непостижимо, как может па-

мять одного человека сохранить столько характерных историй о людях, улицах, окраинах, площадях, садах и парках, да, к примеру, почти о каждом трактире старой Москвы.

У каждого трактира было свое лицо и свои завсегдатаи — от аристократического Тестова до студенческой «Комаровки» у Петровских ворот и от трактира для холодных сапожников у Савеловского вокзала до знаменитого Гусева у Калужской заставы, где, бряцая лнтаврами, лучшая в Москве трактирная машина — «оркестрион» гремела свою неизменную песню: «Шумел-горел пожар московский».

Каждому времени нужен свой летописец не только в области исторических событий, но и летописец быта. Летопись быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое. Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того времени. Даже поэзия Пушкина приобретает свой полный блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени. Поэтому так ценны для нас работы такого писателя, как Гиляровский, — летописца быта и комментатора своего времени. К сожалению, таких писателей у нас почти не было. Да и сейчас нет. А они делают огромное культурное дело.

О Москве Гиляровский мог с полным правом сказать: «Моя Москва». Невозможно представить себе Москву конца XIX века и начала XX века без Гиляровского, как немыслимо представить ее без Шаляпина, Художественного театра, Третьяковской галереи. Хлебосольный, открытый и шумный дом Гиляровского был средоточием артистической, газетной и художественной Москвы. По существу это был (как и сейчас остался) музей культуры, живописи и быта чеховских времен. Необходимо сохранить этот дом не только как культурную ценность, как дом, связанный с именем Гиляровского, но и как образчик московского житейского обихода конца XIX века.

Есть люди, без которых не может существовать литература, хотя они сами пишут немного, а то и совсем не пишут. Это люди — своего рода бродильные дрожжи, искристый винный сок. Не важно — много ли они или мало написали. Важно, что они жили и вокруг них кипела литературная жизнь своего времени, а вся современная им история, вся жизнь страны преломлялась в их деятельности. Важно то, что они определяли собой свое время.

Таким был Гиляровский — поэт, писатель, знаток России и Москвы, человек большого сердца, чистейший образец талантливого нашего народа.

Константин ПАУСТОВСКИЙ.



МОСКВА
И
МОСКВИЧИ

О Т А В Т О Р А

Я — москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя. Я — москвич!

...Минувшее проходит предо мною...

Привожу слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче: на пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных зал.

...В «гранит одетая» Москва-река окаймлена теперь тенистыми бульварами. От них сбегает широкие каменные лестницы. Скоро они омоются новыми волнами: Волга с каждым днем приближается к Москве.

Когда-то на месте этой каменной лестницы, на Болоте, против Кремля, стояла на шесте голова Степана Разина, казненного здесь. Там, где недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь — асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы — эти московские колизеи, где десятки и

сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, готовят себя к героическим подвигам и во льдах Арктики, и в мертвой пустыне Кара-Кумов, и на «Крыше мира», и в ледниках Кавказа.

Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы...

Это стало возможно только в стране, где советская власть.

Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах.

...Грядущее проходит предо мною...

И минувшее проходит предо мной. Уже теперь во многом оно непонятно для молодежи, а скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди бытовали в ней.

И вот «на старости я сызнава живу» двумя жизнями: «старой» и «новой». Старая — фон новой, который должен отразить величие второй. И моя работа делает меня молодым и счастливым — меня, прожившего и живущего

На грани двух столетий,
На переломе двух миров.

Москва, декабрь 1934 г.

Вл. ГИЛЯРОВСКИЙ.

В МОСКВЕ

Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом.

Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика. Но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути — Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич: «Лафортово».

— Во, это Рязанский вокзал! — указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго.

Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов,

разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки... Темь, тишина, сон беспробудный.

Вдали два раза ударил колокол — два часа!

— Это на Басманной. А это Ольховцы...— пояснил вожатый.

И вдруг запел петухом:

— Ку-ка-ре-ку!..

Мы оторопели: что он, с ума спятил?

А он еще...

И вдруг — сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса: «Что за диво! В два часа ночи поют петухи!»

Мой друг, Костя Чернов, залаял по-собачьи; это он умел замечательно, а потом завыл по-волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся.

Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурамн.

— Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса,— пояснил Костя.

Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.

ИЗ ЛЕФОРТОВА В ХАМОВНИКИ

На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищенные тротуары да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась.

На углу Гороховой — единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни — низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутый в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.

— Дедушка, в Хамовники!

— Кое место?

— В Теплый переулок.

— Двоегривенный.

Мне показалось это очень дорого.

— Гривенник.

Ему показалось это очень дешево.

Я пошел. Он двинулся за мной.

— Последнее слово — пятиалтынный? Без почину стою...

Шагов через десять он опять:

— Последнее слово — двенадцать копеек...

— Ладно.

Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней.

Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня:

— А ты не сбежишь у меня? А то бывает: везешь, везешь, а он в проходные ворота — юрк!

— Куда мне сбежать — я первый день в Москве...

— То-то!

Жалуется на дорогу:

— Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели...

— На чем? — спрашиваю. — На гитаре?

— Ну да, на колибере... вон на таком, гляди.

Из переулка поворачивал на такой же, как и наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди — сиденье для кучера. На этой «гитаре» ехали купчиха в салопе с куньим воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом.

Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.

Мы ехали по Немецкой. Извозчик разговорился:

— Эту лошадь — завтра в деревню. Вчера на Конной у Илючина взял за сорок рублей киргизку... Добрая. Четыре года. Износу ей не будет... На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник трешку плати. Лёгко разве? Так



Ломовики на Страстной площади.



Грибной рынок.

и извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут...

Переезжаем Садовую. У Земляного вала — вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой.

Вдали звенят колокольчики.

Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет:

Кульеры! Гляди!

Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики.

Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой две прекрасные, одинаковые ряжие тройки, в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой — разудалые ямщики, в шляпенках с павлиньими перьями, с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира: слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском.

Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид.

- Кто это? — спрашиваю.

— Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно, важнейших каких. Новиков-сын на первой сам едет. Это его самолучшая тройка. Кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся.

...Жандарм с усищами в аршин,
А рядом с ним какой-то бледный
Лет в девятнадцать господин... —

вспоминаю Некрасова, глядя на живую иллюстрацию его стихов.

— В Сибирь на каторгу везут: это — которые супротив царя идут, — пояснил полушепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне.

У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек сутились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров: в Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правиль-

ные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор, певчие переругивались басами и дискантами на всю площадь.

— Куда-нибудь на похороны или на свадьбу vezут, — пояснил мой возница и добавил: — Сейчас на Лубянке лошадку попоим. Давай копейку: пойло за счет седока.

Я исполнил его требование.

— Вот проклятушие! Чужих со своим ведром не пускают к фанталу, а за ихнее копейку выплачивай сторожу в будке. А тот с начальством делится.

Лубянская площадь — один из центров города. Против дома Мосолова (на углу Большой Лубянки) была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет; баре и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара — от Мясницкой до Лубянки, против «Гусенковского» извозчичьего трактира, стояли сплошь — мордами на площадь, а экипажами к тротуарам — запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы, или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбিরали овес.

Из трактира выбегали извозчики — в расстегнутых синих халатах, с ведром в руке — к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого, судя по одежде, — кого «ваше степенство», кого «ваше здорovie», кого «ваше благородие», а кого «ваше сиясье!»¹

Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков² и водовозных бочек.

¹ Ваше сиятельство.

² Телега с плоским настилом.

Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и, взмахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Виггали, черпали воду, наливая свои бочки.

Против Проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг, будто по команде, бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались. Наконец, по общему соглашению, устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять возчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченную. Наниматель вынимал на чье-то «счастье» монету и с обладателем ее уезжал.

Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я ни все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы... кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей.

Спустились к Театральной площади, «окружили» ее по канату. Проехали Охотный, Моховую. Поднялись в гору по Воздвиженке. У Арбата прогремела карета на высоких рессорах, с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах, рядом с кучером, — выездной лакей с баками, в цилиндре с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади киреты, на запятках, стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами.

За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт, в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли эгоисткой...

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Грохот трамваев. Вся расцвеченная, площадь то движется вперед, то вдруг останавливается, и тысячи людских голов поднимают кверху глаза: над Москвой мчатся стаи самолетов — то гусиным треугольником, то меняя построение, как стеклышки в калейдоскопе.

Рядом со мной, у входа в Малый театр, сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец, в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене у входа я читаю афишу этой пьесы и переносюсь в далекое прошлое.

К подъезду Малого театра, утопая железными шинами в несгребенном снегу и ныряя по ухабам, подползла облезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в линючем армяке и вихрастой, с вылезшей ключьями паклей шапке, с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных «кабысдохов», из тех, о которых популярный в то время певец Паша Богатырев пел в концертах слезный романс:

Были когда-то и вы рысакami,
И кучеров вы имели лихих...

В восьмидесятых годах девственную неприкосновенность Театральной площади пришлось ненадолго нарушить, и вот по какой причине.

Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канализации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москву-реку и заражали воду.

С годами труба засорилась, ее никогда не чистили, и после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов по Неглинному проседу.

Потом вода уходила, оставляя на улице зловонный ил и наполняя подвальные этажи нечистотами.

Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты (а их было два: один — под углом Малого театра, а другой — на площади, под фонтаном с фигурами скульптора Витали) были забиты отбросами города.

Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние времена, тоже не имели выхода.

Начали перестраивать Неглинку, открыли ее своды. Пришлось на площади забить несколько свай.

Поставили три высоких столба, привезли тридцатипудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоке — и шнели. Народ валил толпами послушать.

— Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая, подернем!..

Поднимается артелью рабочих чугунная бабища и бьет по свае.

Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие: они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе.

Запевала оживляется, — что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню-щеголиху и высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит:

У барыни платье длинно,
Из-под платья...

А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю провалиться.

А запевала уже увидал франта в цилиндре:

Франт, рубаха — белый цвет,
А порткам, знать, смены нет.

И ржет публика, и все прибывает толпа.

Артель утомилась, а хозяин требует:

— Старайся, робя, наддай еще!

Встряхивается запевала и понаддает:

На дворе собака брешет,

А хозяин пузо чешет.

Толпа хохочет...

— Айда, робя, обедать.

«Дубинушку» пели, заколачивая сваи как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро.

В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно. Сами «отцы города» чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит...

— Только разворуют, толку не будет.

А какой-то поп говорил в проповеди:

— За грехи нас ведут в преисподнюю земли.

«Грешники» поверили и испугались.

Да кроме того, с одной «Дубинушкой» вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено.

ХИТРОВКА

Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел.

Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве.

Большая площадь в центре столицы, близ реки Нузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускается, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка — жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму.

В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с «тушонкой», жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость»...

Хитровские «гурманы» любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик!» — смакует какой-то «бывший». А кто попроще — ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содер-

жимого желудка — рубец, который здесь зовется «рябчик».

А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки.

Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а «номера» ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих; они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и есть «номер», где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев...

На площадь приходили прямо с вокзалов артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников: последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие с себя платье и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов — в «сменку до седьмого колена», сквозь которую тело видно...

Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова (потом Ярошенко) и Ромейко (потом Кулакова). В доме Румянцева были два трактира — «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко — «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пересыльном» собирались бездомники, нищие и барышники, в «Сибири» — степень выше — воры, карманники и крупные скупщики краденого, а выше всех была «Каторга» — притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. «Обратник»,

вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно «деловой», встречался здесь с почетом. Его тотчас же «ставили на работу».

Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке.

Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны.

Всем Хитровым рынком заправляли двое городских — Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась «шпана», а «деловые ребята» были с обоими представителями власти в дружбе и, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали и лицо всех преступников, приглядевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них: все равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то.

Стоит на посту властитель Хитровки, сосет трубку и видит — вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо.

— Болдох! — гремит городской.

И фигура, сорвав с головы шапку, подходит.

— Здравствуйте, Федот Иванович!

— Откуда?

— Из Нерчинска. Только вчера прихрял. Уж извините пока что...

— То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо-мирно, а то...

— Нешто не знаем, не впервой. Свои люди...

А когда следовательно по особо важным делам В. Ф. Кейзер спросил Рудникова:

— Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на Хитровке и не арестуешь их?

— Вот потому двадцать годов и стою там на посту, а то и дня не прстоишь, пришьют! Конечно, всех знаю.

И «благоденствовали» хитрованцы под такой властью.

Рудников был тип единственный в своем роде.

Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал: один ловил и держал, а другой скрывался и бежал.

Такова каторжная логика.

Боялся Рудникова весь Хитров рынок как огня:

— Попадешься — возьмет!

— Прикажут — разыщет.

За двадцать лет службы городovým среди рвани и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все:

— Ну, каторжник... Ну, вор... нищий... бродяга... Тоже люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Нешто их всех переловишь? Одного пымаешь — другие прибегут... Жить надо!

Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним.

С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в одиннадцать ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь.

— Соседи сработали... С Хитрова. Это уж у нас бывалое дело. Забыли окно запереть! — сказала старая кухарка.

Вася чуть не плачет — пальто новое. Я его утешаю:

— Если хитрованцы, найдем.

Прощались с хозяевами и пошли в 3-й участок Мясницкой части. Старый, усатый пристав полковник

Шидловский имел привычку сидеть в участке до полуночи; мы его застали и рассказали о своей беде.

— Если наши ребята, — сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный!

Явился огромный атлет, с седыми усами и кулачками с хорошим арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто.

— Наши! Сейчас найдем... Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?

Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров в дом Бушковых. Рудников вызвал дворника, они пошептались.

— Ну, здесь взять нечего. Пойдем дальше!

Темь. Слякоть. Только окна «Каторги» светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла да пар выходит из открывающейся то и дело двери.

Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа.

— Двадцать шесть! — крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились.

В дальнем углу отворилось окно, и раздались один за другим три громких удара, будто от проваливающейся железной крыши.

— Каторга сигает! — пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму: — Не бойтесь, дьяволы! Я один, никого не возьму, так зашел...

— Чего ж пугаешь зря! — обиделся рыжий, солдатского вида здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу пристройки.

— А вот морду я тебе набью, Степка!

— За что же, Федот Иванович?

— А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. Где хошь пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут... Второй побег. Я не потерплю!..

— Я уйду... Вон «маруха» завела! — И он подмигнул на девицу с сияком под глазом.

— Пшел! Чтoб я тебя не видел! А кто в окно сгинул? Зеленщик? Эй, Болдоха, отвечай!

Молчание.

— Кто? Я спрашиваю! Чего молчишь? Что я тебе — сыщик, что ли? Ну, Зеленщик? Говори! Ведь я его хроую ногу видел.

Болдоха молчит. Рудников размахивается и вляет ему жесточайшую пощечину.

Поднимаясь с пола, Болдоха сквозь слезы говорит:

— Сразу бы так и спрашивал. А то канителится... Ну, Зеленщик!

— Черт с ним! Попадется, скажи ему, заберу. Чтоб утекал отсюда. Подводите, дьяволы. Пошлют искать — все одно возьму. Не спрашивают — ваше счастье, почувуйте. Я не за тем. Беги наверх, скажи им, дуракам, чтобы в окна не сигали, а то с третьего этажа убьются еще! А я наверх, он дома?

— Дрыхнет, поди!

Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история: отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку Болдоха еще не успел предупредить.

Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз.

— А ведь это Степка Махалкин! За то и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мастак. Он?

— Васьки Чуркина брат, Горшок, а не Махалкин, — слышался из-под нар бас-октава.

— Ну, вот он и есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка вылезь, покажись барину. Это наш протодьякон, — сказал Рудников, обращаясь ко мне.

Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубаше с короткими рукавами, открывавшей могучую шую и здоровенные плечи.

— Многая лета Федоту Ивановичу, многая лета! — загремел Лавров, но получив «в морду», опять залез под нары.

— Соборным певчим был, семинарист. А вот до чего дошел! Тише вы, дьяволы! — крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело «многая лета».

Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников попробовал — заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик, приемщик краденного.

— Ну, что надо? И кто?

Поднимается кулак, раздается визг, дверь открывается.

— И что вы деретесь? Я же человек!

— А коли ты человек — где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес?

— И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили.

— Так. Повыдьте-ка отсюда, а мы поищем! — сказал мне Рудников, и, когда за мной затворилась дверь, опять слышались крики.

Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто.

— Вот оно! Проклятый черт запрятал в самый нижний сундук и сверху еще пять сундуков поставил.

Таков был Рудников.

Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска: окружают дом, где поспокойнее, наберут шпаны, а «крупные» никогда не попадались.

А в «Кулаковку» полиция и не совалась.

«Кулаковкой» назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиныйским переулком. Лицевой дом, выходящий узким концом на площадь, звали «Утюгом». Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался «Сухой овраг», а все вместе — «Свиной дом». Он принадлежал известному коллекционеру Свиныну. По нему и переулок назвали. Отсюда и кличка обитателей: «утюги» и «волки Сухого оврага».

Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют: беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в ближайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие и барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобод, и на другой день они опять на Хитровке, за своим обычным делом впредь до нового обхода.

И что им делать в глухом городишке? «Работы» никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостынку, и ограбить свежего ночлежника; заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье! Куда им больше деваться с волчьим паспортом¹: ни тебе «работы», ни тебе ночлега.

Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали «газетчиком».

Многие из товарищей-литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в «Сухой овраг» и даже в «Утюг». Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор — и просятся назад.

Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского.

Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании и вдвоем, обедали и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах.

— Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших «рубикон жизни». Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если б вместе нам отправиться!

Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича, и мы в восьмом часу вечера (это было в октябре) подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна тракти-

¹ Паспорт с отметкой, не дававшей права жительства в определенных местах.

ров и фонарики торговков-обжорок. Мы остановились на минутку около торговых, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки, и, съев, убегали в ночлежные дома.

Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не остыло, и неистово вопили:

— Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-ренная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! — хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.

— Горла, говоришь? А нос у тебя где?

— Нос? На кой мне ляд нос?

И запела на другой голос:

— Печенка-селезенка горячая! Рванинка!

— Ну, давай на семитку!

Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную крышку, грязными руками вытаскивает «рванинку» и кладет покупателю на ладонь.

— Стюдно на копейку! — приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды.

— Вот беда! Вот беда! — шептал Глеб Иванович, жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне.

— А теперь, Глеб Иванович, зайдем в «Каторгу», потом в «Пересыльный», в «Сибирь», а затем пройдем по ночлежкам.

— В какую «Каторгу»?

— Так на хитровском жаргоне называется трактир, вот этот самый!

Пройдя мимо торговых, мы очутились перед низкой дверью трактира-низка в доме Ярошенко.

— Заходить ли? — спросил Глеб Иванович, держа меня под руку.

— Конечно!

Я отворил дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды...

Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окро-

вавленным лицом и вслед за ней — здоровенный оборванец с криком:

— Измордую проклятую!

Женщина успела выскочить на улицу, оборванец был остановлен и лежал уже на полу: его «успокоили». Это было делом секунды.

В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик. Ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску — единственное, что я требовал в трушобах.

Я протер чистой бумагой стаканчики, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание.

Я выпил один за другим два стаканчика, съел яйцо, а он все сидит и смотрит.

— Да пейте же!

Он выпил и закашлялся.

— Уйдем отсюда... Ужас!

Я заставил его очистить яйцо. Выпили еще по стаканчику.

— Кто же это там?

За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел угощавший ее парень, наголо остриженный брюнет с перебитым носом.

Перед ним, здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи, орал громоподобным басом «многая лета» бывший вышибала-пропойца.

Я объясняю Глебу Ивановичу, что это «фартовый» гуляет. А он все просит меня:

— Уйдем.

Расплатились, вышли.

— Позвольте пройти, — вежливо обратился Глеб Иванович к стоящей на тротуаре против двери на четвереньках мокрой от дождя и грязи бабе.

— Пошел в... Вишь, полон полусапожек...

И пояснила дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, приправив крепким словом. Пы-

гилась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу.

Глеб Иванович схватил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую и покрытую лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря.

— И это перл творения — женщина! — думал вслух Глеб Иванович.

Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подающим. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу:

— Мелочи нет, ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег.

— Сейчас сбегаяю! — буркнул человек, зашлепал опорками по лужам, по направлению к одной из лавок, шагах в пятидесяти от нас, и исчез в тумане.

— Смотри, сюда неси папиросы, мы здесь подождем! — крикнул я ему вслед.

— Ладно, — послышалось из тумана.

Глеб Иванович стоял и хохотал.

— В чем дело? — спросил я.

— Ха-ха-ха, ха-ха-ха! Так он и принес сдачу. Да еще папирос! Ха-ха-ха!

Я в первый раз слышал такой смех у Глеба Ивановича.

Но не успел он еще как следует нахохотаться, как зашлепали по лужам шаги, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро.

— Девяносто сдачи. Пятак себе взял. Вот и «Заря», десяток.

— Нет, постой, что же это? Ты принес? — спросил Глеб Иванович.

— А как же не принести? Что я, сбегу, что ли, с чужими-то деньгами. Нешто я... — уверенно выговорил оборванец.

— Хорошо... хорошо, — бормотал Глеб Иванович.

Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Глеб Иванович сказал:

— Нет, нет, все ему отдай... Все. За его удивительную честность. Ведь это...

Я отдал оборванцу всю сдачу, а он сказал удивленно вместо спасибо только одно:

— Чудаки господа! Нешто я украду, коли поверили?

— Пойдем! Пойдем отсюда... Лучшего нигде не увидим... Спасибо тебе! — обернулся Глеб Иванович к оборванцу, поклонился ему, и быстро потащил меня с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался.

Многих из товарищей-писателей водил я по трущобам и всегда благополучно. Один раз была неудача, но совершенно особого характера. Тот, о ком я говорю, был человек смелости испытанной, не побоявшийся ни «Утюга», ни «волков Сухого оврага», ни трактира «Каторга», тем более, что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был не кто иной, как знаменитый П. Г. Зайчневский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свиныйнскому переулку, чтобы прямо попасть в «Утюг», где продолжалось пьянство после «Каторги», закрывавшейся в одиннадцать часов. Вдруг солдатский шаг: за нами, вынырнув с Солянки, шагал взвод городских. Мы поскорее — на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городские и окружают дома: облава на ночлежников.

Дрогнула рука моего спутника:

— Черт знает... Это уже хуже!

— Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее!..

Мы быстро пересекли площадь. Подколокольный переулок, единственный, где не было полиции, вывел нас на Юзский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это «серьезные элементы» выбирались через чердаки на крышу и пластами укладывались около труб, зная, что сюда полиция не полезет...

Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городо-

ных. Впрочем, было не до смеху: вместо кулаковской «Каторги» он рисковал попасть опять в нерчинскую!

В «Кулаковку» даже днем опасно ходить — коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором «Сухого оврага», чиркаю спичку и вижу — ужас! — из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет:

— Гаси, дьявол, спичку-то! Ишь, шлятся!

Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед.

Это замаскированный вход в тайник под землей, куда не то что полиция — сам черт не полезет.

В восьмидесятых годах я был очевидцем такой сцены в доме Ромейко.

Зашел я как-то в летний день, часа в три, в «Каторгу». Разгул уже был в полном разгаре. Сажу с переписчиком ролей Кириным. Кругом, конечно, «коты» с «марухами». Вдруг в дверь влетает «кот» и орет:

— Эй, вы, зеленые ноги! Двадцать шесть!

Все насторожились и наострили лыжи, но ждут объяснения.

— В «Утюге» кого-то пришили. За полицией побежали...

— Гляди, сюда прихондорят!

Первым выбежал здоровенный брюнет. Из-под нахлобученной шапки виднелся затылок, правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. В те времена каторжным еще брили головы, и я понял, что ему надо торопиться. Выбежало еще человек с пяток, оставив «марух» расплачиваться за угощение.

Я заинтересовался и бросился в дом Ромейко, в дверь с площади. В квартире второго этажа, среди толпы, в луже крови лежал человек лицом вниз, в одной рубашке, обутый в лакированные сапоги с голенищами гармоникой. Из спины, под левой лопаткой, торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал: из тела торчала большая, причудливой формы, медная блестящая рукоятка.

Убитый был «кот». Убийца — мститель за женщину.

Его так и не нашли — знали, да не сказали, говорили: «хороший человек».

Пока я собирал нужные для газеты сведения, являлась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец Д. П. Кувшинников.

— Ловкий удар! Прямо в сердце, — определил он.

Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Д. П. Кувшинниковым, с которым меня познакомил Антон Павлович Чехов.

— Где нож? Нож где?

Полиция засуетилась.

— Я его сам сию минуту видел. Сам видел! — кричал пристав.

После немалых поисков нож был найден: его во время суматохи кто-то из присутствовавших вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.

Чище других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулка. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших поденной работой вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку, как поденщицы.

Здесь жили профессионалы-нищие и разные мастеровые, отрущобившиеся окончательно. Больше портные, их звали «раками», потому что они, голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь, перешивая тряпье для базара, вечно с похмелья, в отрепьях, босые.

А заработок часто бывал хороший. Вдруг в полночь вваливаются в «рачью» квартиру вору с узлами. Будят.

— Эй, вставай, ребята, на работу! — кричит разбуженный съемщик.

Из узлов вынимают дорожные шубы, лисьи ротонды и гору разного платья. Сейчас начинается кройка и шитье, а утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны.

Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет: вместо них — шапки и картузы.

Главную долю, конечно, получает съемщик, потому что он покупатель краденого, а нередко и атаман шайки.

Но самый большой и постоянный доход давала

съемщикам торговля вином. Каждая квартира — кабак. В стенах, под полом, в толстых ножках столов — везде были склады вина, разбавленного водой, для своих ночлежников и для их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой в запечатанной посуде «шланбой».

В глубине бунинского двора был тоже свой «шланбой». Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускали света, и только одно окно «шланбоя», с белой занавеской, было светлее других. Подходят кому надо к окну, стучат. Открывается форточка. Из-за занавесочки высовывается рука ладонью вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает и через минуту появляется снова с бутылкой «смирновки», и форточка захлопывается. Одно дело — слов никаких. Тишина во дворе полная. Только с площади слышатся пьяные песни да крики «караул». Но никто не пойдет на помощь. Раздепут, разуют и голым пустят. То и дело в переулках и на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных донага. Убитых отправляли в Мясницкую часть для судебного вскрытия, а иногда — в университет.

Помню, как-то я зашел в анатомический театр к профессору И. И. Нейдингу и застал его читающим лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый на Хитровом рынке. Осмотрев труп, И. И. Нейдинг сказал:

— Признаков насильственной смерти нет.

Вдруг из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студентам препарировать, что он делал замечательно умело.

— Иван Иванович, — сказал он, — что вы, признаков нет! Посмотрите-ка, ему в «лигаментум-нухе» насыпали! — Повернул труп и указал перелом шейного позвонка. — Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с Хитровки присылали не убитых.

Много оставалось круглых сирот из рожденных на Хитровке. Вот одна из сценок восьмидесятых годов.

В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных

люди, шедшие к «шланбою», услышали стоны с помойки. Увидели женщину, разрешавшуюся ребенком.

Дети в Хитровке были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок, целый день мокрый и грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие прохожих к «бедной матери несчастного сироты». Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаванием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сам приучался «стрелять».

На последней неделе великого поста грудной ребенок «покрикастее» ходил по четвертаку в день, а трехлеток — по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тяткам, мамкам, дяденькам и тетенькам «на пропой души» гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители и тем меньше им подавали прохожие.

Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме того, стояли «на стреме», когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых «работе».

Бывало, что босяки, рожденные на Хитровке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчишки.

Положение девочек было еще ужаснее.

Им оставалось одно: продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были не редкость.

Они ютились больше в «вагончике». Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине восьмидесятых годов там появилась и жила подолгу красавица, которую зва-

ли «княжна». Она исчезала на некоторое время из Хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в «шикарный» публичный дом, но всякий раз возвращалась в «вагончик» и пропивала все свои сбережения. В «Каторге» она распевала французские шансонетки, танцевала модный тогда танец качучу.

В числе ее «ухажоров» был Степка Махалкин, родной брат известного гуслицкого разбойника Васьки Чуркина, прославленного даже в романе его имени.

Но Степка Махалкин был почище своего брата и презрительно называл его:

— Васька-то? Пустельга! Портяночник!

Как-то полиция арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы.

Смотритель предложил ему:

— Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать.

— Ваше дело держать, а наше дело бежать! А слова тебе не дам. Наше слово крепко, а я уже дал одно слово.

Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену.

И прямо — в «вагончик», к «княжне», которой дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности. Махалкин избил «княжну» до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев.

* * *

В адресной книге Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится: «Свиньин, Павел Петрович, статский советник, по Певческому переулку, дом № 24, Мясницкой части, на углу Солянки».

Свиньин воспет Пушкиным: «Вот и Свиньин, Российский Жук». Свиньин был человек известный: писатель, коллекционер и владелец музея. Впоследствии город переименовал Певческий переулок в Свиньинский¹.

На другом углу Певческого переулка, тогда выходившего на огромный, пересеченный оврагами, зарос-

¹ Теперь — Астаховский.

ший пустырь, постоянный притон бродяг, прозванный «вольным местом», как крепость, обнесенная забором, стоял большой дом со службами генерал-майора Николая Петровича Хитрова, владельца пустопорожного «вольного места» вплоть до нынешних Яузского и Покровского бульваров, тогда еще носивших одно название: «бульвар Белого города». На этом бульваре, как значилось в той же адресной книге, стоял другой дом генерал-майора Хитрова, № 39. Здесь жил он сам, а в доме № 24, на «вольном месте», жила его дворня, были конюшни, погреба и подвалы. В этом громадном владении и образовался Хитров рынок, названный так в честь владельца этой дикой усадьбы.

В 1839 году умер Свинын, и его обширная усадьба и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым, владевшим ими вплоть до Октябрьской революции.

Дом генерала Хитрова приобрел Воспитательный дом для квартир своих чиновников и перепродал его уже во второй половине прошлого столетия инженеру Ромейко, а пустырь, все еще населенный бродягами, был куплен городом для рынка. Дом требовал дорогого ремонта. Его окружение не вызывало охотников снимать квартиры в таком опасном месте, и Ромейко пустил его под ночлежки: и выгодно, и без всяких расходов.

Страшные трущобы Хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей.

Десятки лет и печать, и дума, и администрация, вплоть до генерал-губернатора, тщетно принимали меры, чтобы уничтожить это разбойное логово.

С одной стороны близ Хитровки — торговая Солянка с Опекунским советом, с другой — Покровский бульвар и прилегающие к нему переулки были заняты богатыми особняками русского и иностранного купечества. Тут и Савва Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины... Владельцы этих дворцов возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его, но ни речи, гремевшие в угоду им в заседаниях думы, ни дорого стоящие хлопоты у администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины,

отжимавшие все их нападающие силы, — и ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в думе, то у другого — друг в канцелярии генерал-губернатора, третий сам занимает важное положение в делах благотворительности.

И только Советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту не излечимую при старом строе язву и в одну неделю в 1923 году очистила всю площадь с окружающими ее вековыми притонами, в несколько месяцев отделала под чистые квартиры недавние трущобы и заселила их рабочим и служащим людом. Самую же главную трущобу «Кулаковку» с ее подземными притонами в «Сухом овраге» по Свиньинскому переулку и огромным «Утюгом» срыла до основания и заново застроила. Все те же дома, но чистые снаружи... Нет заткнутых бумагой или тряпками или просто разбитых окон, из которых валит пар и несется пьяный гул... Вот дом Орлова — квартиры нищих-профессионалов и место ночлега новичков, еще пока ищущих поденной работы... Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира — «Пересыльный» и «Сибирь», а далее, в доме Степанова, трактир «Каторга», когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых и разбойников, Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние на насиженном своим старым хозяином месте...

И в «Каторге» нет теперь двери, из которой валил, когда она отворялась, пар и слышались дикie песни, звон посуды и вопли поножовщины. Рядом с ним дом Буниных — тоже теперь сверкает окнами... На площади не толпятся тысячи оборванцев, не сидят на корчагах торговки, грязные и пропахшие тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой и требухой. Идет чинно народ, играют дети... А еще совсем недавно круглые сутки площадь мельтешила толпами оборванцев. Под вечер металась и галдела пьяные со своими «марухами». Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся «марафету» кокаинисты обоих полов и всех возрастов. Среди них были рожденные и выращенные здесь же подrostки-девочки и полуголые «огольцы» — их кавалеры.

«Огольцы» появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговков и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали враспынную.

Степенью выше стояли «поездушники», их дело — выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки саки и чемоданы... За ними «фортачи», ловкие и гибкие ребята, умеющие лазить в форточку, и «ширмачи», бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, затолкав и «затырив» его в толпе. И по всей площади — нищие, нищие... А по ночам из подземелий «Сухого оврага» выползали на фарт «деловые ребята» с фомками и револьверами... Толкались и «портяночники», не брезговавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитрована-нищего отнять суму с куском хлеба.

Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых «марух» да крики «караул». Но никто не рисковал пойти на помощь: раздетого и разутого голым пустят да еще изобьют за то, чтобы не лез куда не следует.

Полицейская будка ночью была всегда молчалива — будто ее и нет. В ней лет двадцать слишком губернаторствовал городской Рудников, о котором уже рассказывалось, — Рудников ночными бездоходными криками о помощи не интересовался и двери в будке не отпирал.

Раз был такой случай. Запутался по пьяному делу на Хитровке сотрудник «Развлечения» Епифанов, вздумавший изучать трущобы. Его донага раздели на площади. Он — в будку. Стучит, гремит, «караул» кричит. Да так голый домой и вернулся. На другой день, придя в «Развлечение» просить аванс по случаю ограбления, рассказывал финал своего путешествия: огромный будочник, босой и в одном белье, которому он назвался дворянином, выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул: «Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!» — и так наподдал ногой — спасибо, что еще босой был, — что Епифанов отлетел далеко в лужу...

Никого и ничего не боялся Рудников. Даже сам Кулаков, со своими миллионами, которого вся полиция

боялась, потому что «с Иваном Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался», для Рудникова был ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел:

— Ванько, ты шутишь, что ли? Аль забыл? А?..

Кулаков, принимавший поздравителей в своем доме, в Свиныйском переулке, в мундире с орденами, вспоминал что-то, трепетал и лепетал:

— Ах, извините, дорогой Федот Иваныч.

И давал триста.

Давно нет ни Рудникова, ни его будки.

Дома Хитровского рынка были разделены на квартиры — или в одну большую, или в две-три комнаты, с нарами, иногда двухэтажными, где ночевали бездомники без различия пола и возраста. В углу комнаты — каморка из тонких досок, а то просто ситцевая занавеска, за которой помещаются хозяин с женой. Это всегда какой-нибудь «пройди свет» из отставных солдат или крестьян, но всегда с «чистым» паспортом, так как иначе нельзя получить право быть съемщиком квартиры. Съемщик никогда не бывал одинокий, всегда вдвоем с женой и никогда — с законной. Законных жен съемщики оставляли в деревне, а здесь заводили сожительниц, аборигенок Хитровки, нередко беспаспортных...

У каждого съемщика своя публика: у кого грабители, у кого воры, у кого «рвань коричневая», у кого просто нищая братия.

Где нищие, там и дети — будущие каторжники. Кто родился на Хитровке и ухитрился вырасти среди этой ужасной обстановки, тот кончит тюрьмой. Исключения редки.

Самый благонамеренный элемент Хитровки — это нищие. Многие из них здесь родились и выросли; и если по убожеству своему и ликчемости они не сделались ворами и разбойниками, а так и остались нищими, то теперь уж ни на что не променяют своего ремесла.

Это не те нищие, случайно потерявшие средства к жизни, которых мы видели на улицах: эти наберут ед-

ва-едва на кусок хлеба или на ночлег. Нищие Хитровки были другого сорта.

В доме Румянцева была, например, квартира «странников». Здоровеннейшие, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами; сальные волосы по плечам лежат, ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это — монахи небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно.

После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан сивухи, облачается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый тряпьем, на голову скуфейку и бо-сиком, иногда даже зимой по снегу, для доказательства своей святости, шагает за сбором.

И чего-чего только не наврет такой «странник» темным купчихам, чего только не всучит им для спасения души! Тут и щепочка от гроба господня, и кусочек лестницы, которую праотец Иаков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы Ильи-пророка.

Были нищие, собиравшие по лавкам, трактирам и торговым рядам. Их «служба» — с десяти утра до пяти вечера. Эта группа и другая, называемая «с ручкой», рыскающая по церквям, — самые многочисленные. В последней — бабы с грудными детьми, взятыми напрокат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которое они нежно баюкают, прося на бедного сиротку. Тут же настоящие и поддельные слепцы и убогие.

А вот — аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры, и попы-расстриги.

Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес-календарь Москвы. Нищий-аристократ берет, например, правую сторону Пречистенки с переулками и пишет двадцать писем-слезниц, не пропустив никого, в двадцать домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам. Звонит в парадное крыльцо: фигура аристократическая, костюм, взятый напрокат, приличный. На вопрос швейцара говорит:

— Вчера было послано письмо по городской почте, так ответа ждут.

Выносят пакет, а в нем бумажка от рубля и выше.

В надворном флигеле дома Ярошенко квартира № 27 называлась «писучей» и считалась самой аристократической и скромной на всей Хитровке. В восьмидесятих годах здесь жили даже «князь с княгиней», слепой старик с беззубой старухой-женой, которой он диктовал, иногда по-французски, письма к благотелям, своим старым знакомым, и получал иногда довольно крупные подачки, на которые подкармливал голодных переписчиков. Они звали его «ваше сиятельство» и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов, по документам он значился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел; в князя его произвели переписчики, а затем уж и остальная Хитровка. Он и жена — запойные пьяницы, но когда были трезвые, держали себя очень важно и на вид были весьма представительны, хотя на «князе» было старое тряпье, а на «княгине» — бурнус, зачиненный разноцветными заплатами.

Однажды приехали к ним родственники откуда-то с Волги и увезли их, к крайнему сожалению переписчиков и соседей-нищих.

Проживал там также горчайший пьяница, статский советник, бывший мировой судья, за что хитрованцы, когда-то не раз судившиеся у него, прозвали его «цепной», намекая на то, что судьи при исполнении судебных обязанностей надевали на шею золоченую цепь.

Рядом с ним на нарах спал его друг, уже ранее упоминавшийся Добронравов, когда-то подававший большие надежды литератор. Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные фельетоны. За один из фельетонов о фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов. Добронравов берег у себя, как реликвию, наклеенную на папку вырезку из газеты, где был напечатан погубивший его фельетон под заглавием «Раешник». Он прожил где-то в захолустном городишке на глубоком севере несколько лет, явился в Москву на Хитров и навсегда поселился в этой квартире. На вид он был весьма представительный и

в минуты трезвости говорил так, что его можно было заслушаться.

Вот за какие строки автор «Раешника» был выслан из Москвы:

«...Пожалте сюда, поглядите-ка. Хитра купецкая политика. Не хлыш, не франт, а мильонщик-фабрикант, попить, погулять охочий на каторжный труд, на рабочий. Видсм сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют да мотают, тысячи людей на него одного работают. А народ-то фабричный, ко всякой беде привычный, кости да кожа да испитая рожа. Плохая кормежка да рваная одежда. И подводит живот да бока у рабочего паренька.

Сердешные!

А директора беспечные по фабрикке гуляют, на стороне не дозволяют покупать продукты: примерно, хочешь лук ты — посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки!

Дешево и гнило!

А ежели нутро заговорило, не его, вишь, вина, требует вина, тоже дело — табак, опять беги в фабричный кабак, хозяйское пей, на другом будешь скупей. А штучка не мудра, дадут в долг и полведра.

А в городе хозяин вроде как граф, на пользу ему и штраф, да на прибыль и провизия — кругом, значит, в ремизе я. А там на товар процент, куда ни глянь, все дивиденд. Нигде своего не упустим, такого везде «Петра Кириллова» запустим. Лучше некуда!»

Рядом с «писучей» ночлежкой была квартира «подшибал». В старое время типографщики наживали на подшибалах большие деньги. Да еще говорили, что благоденствие делают: «Куда ему, голому да босому, деваться! Что ни дай — все пропьет!»

* * *

Разрушение «Свиного дома», или «Утюга», а вместе с ним и всех флигелей «Кулаковки» началось с первых дней революции. В 1917 году ночлежники «Утюга», все как один, наотрез отказались платить съемщикам квартир за ночлег, и съемщики, видя, что жаловаться некому, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали каморки съемщиков, подняли доски пола, где разыскивали целые склады бутылок с водкой, а затем и самые стенки каморок истопили в печках. За ночлежниками явились учреждения и все деревянное, до решетки крыши,

увезли тоже на дрова. В домах без крыш, окон и дверей продолжал ютиться самый оголтелый люд. Однако подземные тайники продолжали оставаться нетронутыми. «Деловые» по-прежнему выходили на фарт по ночам. «Портяночники» — днем и в сумерки. Первые делали набеги вдали от своей «хазы», вторые грабили в потемках пьяных и одиночек и своих же нищих, появившихся вечером на Хитровской площади, а затем разграбили и лавчонки на Старой площади.

Это было голодное время гражданской войны, когда было не до Хитровки.

По Солянке было рискованно ходить с узелками и сумками даже днем, особенно женщинам: налетали хулиганы, выхватывали из рук узелки и мчались в Свиный переулок, где на глазах преследователей исчезали в безмолвных грудах кирпичей. Преследователи останавливались в изумлении — и вдруг в них летели кирпичи. Откуда — неизвестно... Один, другой... Иногда проходившие видели дымок, вьющийся из мусора.

— «Утюги» кашу варят!

По вечерам мельтешились тени. Люди с чайниками и ведерками шли к реке и возвращались тихо: воду носили.

Но пришло время — и Моссовет в несколько часов ликвидировал Хитров рынок.

Совершенно неожиданно весь рынок был окружен милицией, стоявшей во всех переулках и у ворот каждого дома. С рынка выпускали всех — на рынок не пускали никого. Обитатели были заранее предупреждены о предстоящем выселении, но никто из них и не думал оставлять свои «хазы».

Милиция, окружив дома, предложила немедленно выселяться, предупредив, что выход свободный, никто задержан не будет, и дала несколько часов сроку, после которого «будут приняты меры». Только часть нищих-инвалидов была оставлена в одном из надворных флигелей «Румянцевки»...

ШТУРМАН ДАЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ

Был в начале восьмидесятых годов в Москве очень крупный актер и переводчик Сарду Н. П. Киреев. Он играл в Народном театре на Солянке и в Артистическом кружке. Его сестра, О. П. Киреева, — оба они были народники, — служила акушеркой в Мясницкой части, была любимицей соседних трущоб Хитрова рынка, где ее все звали по имени и отчеству, много восприняла она в этих грязных ночлежках будущих нищих и воров, особенно, если, по несчастью, дети родились от матерей замужних, считались «законными», а потому и не принимались в воспитательный дом, выстроенный исключительно для незаконнорожденных и подкидышей. Врачом полицейским был такой же, как Ольга Петровна, благодетель хитровской рвани, описанный портретно в рассказе А. П. Чехова «Попрыгунья», — Д. П. Кувшинников, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте. О. П. Киреева была знакома с нашей семьей, и часто ее маленькая дочка Леля бывала у нас, и мы с женой бывали в ее маленькой квартирке в третьем этаже промозглого грязно-желтого здания, под самой каланчой. Внизу была большая квартира доктора, где я не раз бывал по субботам, где у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной поклонницы литераторов и художников¹, устраивались вечеринки, где

¹ С нее А. Чехов написал «Попрыгунью». — *Прим. автора.*



Первоначальный вид здания, где теперь Дом союзов.



Театральная площадь в начале 80-х годов.

читали, рисовали и потом ужинали. Бывал там и А. П. Чехов, и его брат художник Николай, и И. Левитан, — словом, весь наш небольшой кружок «начинающих» и не всегда вкусно сытых молодых будущих...

Как-то днем захожу к Ольге Петровне. Она обмывает в тазике покрытую язвами ручонку двухлетнего ребенка, которого держит на руках грязная нищенка, баба лет сорока. У мальчика совсем отгнили два пальца: средний и безымянный. Мальчик тихо всхлипывал и тарашил на меня глаза: правый глаз был зеленый, левый — карий. Баба ругалась: «У, каторжный, дармоедина! Удавить тебя мало».

Я прошел в следующую комнату, где кипел самовар. Вернувшись, Ольга Петровна рассказала мне обыкновенную хитровскую историю: на помойке ночлежки нашли солдатку-нищенку, где она разрешилась от бремени этим самым младенцем. Когда Ольгу Петровну позвали, мать была уже мертвой. Младенец был законнорожденный, а потому его не приняли в воспитательный дом, а взяла его ночлежница-нищенка и стала с ним ходить побирать. Заснула как-то пьяная на рождество на улице, и отморозил ребенок два пальца, которые долго гнили, а она не лечила — потому подавали больше: высунет он перед прохожим изъязвленную руку... ну и подают сердобольные... А раз Сашка Кочерга наткнулась на полицию, и ее отправили в участок, а оттуда к Ольге Петровне, которая ее знала хорошо, на перевязку.

Плохой, лядаший мальчонок был: до трех лет за грудного выдавала, и раз нарвалась: попросила на улице у проходившего начальника сыскной полиции Эффенбаха помочь грудному ребенку.

— Грудной, говоришь? Что-то велик для грудного...

Высунул малый из тряпок и тычет культипой ручонкой — будто козу делает...

— А тебе сто за дело?.. Сволось эдакая... Пошел к...

Кончилось отправлением в участок, откуда малого снесли в ночлежку, а Сашку Кочергу препроводили по характеру болезни в Мясницкую больницу, и больше ее в ночлежке не видали.

Вскоре Коську стали водить нищенствовать за руч-

ку — перевели в «пешие стрелки». Заботился о Коське дедушка Иван, старик ночлежник, который заботился о матери, брал ее с собой на все лето по грибы. Мать умерла, а ребенок родился 22 февраля, почему и окрестил его дедушка Иван Касьяном.

— Касьян праведный! — звал его потом старик за странность характера: он никогда не лгал.

И сам старик был такой:

— Правдой надо жить, неправдой не проживешь! — попрекал он Сашку Кочергу, а Коська слушал и внимал.

Три года водил за ручку Коську старик по зимам на церковные паперти, а летом уходил с ним в Сокольники и дальше, в Лосиный остров по грибы и тем зарабатывал пропитание. Тут Коська от него и о своей матери узнал. Она по зимам занималась стиркой в ночлежках, куда приходили письма от мужа ее, солдата, где-то за Ташкентом, а по летам собирала грибы и носила в Охотный. Когда Коське минуло шесть лет, старик умер в больнице. Остался Коська один в ночлежке. Малый бойкий, ловкий и от лесной жизни сильный и выносливый. Стал нищенствовать по ночам у ресторанов «в разувку» — бегают босой по снегу, а за углом у товарища валенки. Потом сошелся с карманниками, стал «работать» на Сухаревке и по вагонам конки, но сам в карманы никогда не лазил, а только был «убегалой», то есть ему передавали кошелек, а он убегал. Ему верили: никогда ни копейки не возьмет. Потом на стреме стал стоять. Но стоило городовому спросить: «Что ты тут делаешь, пашенок?» — он обязательно всю правду ахнет: «Калаулю. Там наши лебята лавку со двола подламывают».

Уж и били его воры за правду, а он все свое. Почему такая правда жила в ребенке — никто не знал. Покойный старик грибник объяснял по-своему эту черту своего любимца:

— Касьяном зовут — потому и не врет. Такие в три года один раз родятся... Касьяны все правдивые бывают!..

Коська слышал эти слова его часто и еще правдивее становился...

Умер старик, прогнали Коську из ночлежки, прижился он к подзаборной вольнице, которая шайками ходила по рынкам и ночевала в помойках, в пустых подвалах под Красными воротами, в башнях на Старой площади, а летом в парке и Сокольниках, когда тепло, когда «каждый кустик ночевать пустит».

Любимое место у них было под Сокольниками, на Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты толстенных чугунных труб для готовившейся в Москве канализации. Тут жили и взрослые бродяги и детвора бездомная. Ежели заглянуть днем во внутренность труб, то там лежат стружки, солома, рогожи, бумага афишная со столбов, тряпье... Это постели ночлежников.

Коська со своей шайкой жил здесь, а потом все «переехали» на Балкан, в подземелья старого водопровода. Так бродячая детвора, промышлявшая мелким воровством, чтобы кое-как пожрать только, ютилась и существовала. Много их попадало в Рукавишниковский исправительный приют, много их высылали на родину, а шайки росли и росли, пополняемые трущобами, где плодилась нищета, и беглыми мальчишками из мастерских, где подчас жизнь их была невыносима. И кто вынесет побои колодкой по голове от пьяного сапожника и тому подобные способы воспитания, веками внедрявшиеся в обиход тогдашних мастерских, куда приводили из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в ученье на года, чтобы с хлеба долой! И не все выносили эту пятилетнюю кабалу впроголодь, в побоях. Целый день полуголодный, босой или в рваных опорках зимой, видит малый на улицах вольных ребятишек и пристает к ним... И бежали в трущобу, потому что им не страшен ни холод, ни голод, ни тюрьма, ни побои... А ночевать в мусорной яме или в подвале ничуть не хуже, чем у хозяина в холодных сенях на собачьем положении... Здесь спи сколько влезет, пока брюхо хлеба не запросит, здесь никто не разбудит до света пинком и руганью:

— Чего дрыхнешь, сволочь! Вставай, дармоедище! — визжит хозяйка.

И десятилетний «дармоедище» начинает свой рабо-

чий день, таща босиком по снегу или грязи на помойку полную лоханку больше себя.

Ольге Петровне еще раз пришлось повидать своего пациента. Он караулил на остановке конки у Страстного и ожидал, когда ему передадут кошелек... Увидал он, как протискивалась на площадку Ольга Петровна, как ее ребята «затырили» и свистнули ее акушерскую сумочку, как она хватилась и закричала отчаянным голосом...

Через минуту Коське передали сумочку, и он убежал с ней стремглав, но не в условленное место, в Поляковский сад на Бронной, где ребята обыкновенно «тырбанили слам», а убежал он по бульварам к Трубе, потом к Покровке, а оттуда к Мясницкой части, где и сел у ворот, в сторонке. Спрятал под лохмотья сумку и ждет.

Показывается Ольга Петровна, идет, шатается как-то... Глаза заплаканы... В ворота... По двору... Он за ней, догоняет на узкой лестнице и окликает:

— Ольга Петровна.

Остановилась. Спрашивает:

— Ты что, Коська? — А сама плачет...

— Ольга Петровна. Вот ваша сумка, все цело, ни синь пороха не тронуто...

— Это был счастливейший день в моей жизни, во всей моей жизни, — рассказывала она мне.

Оказывается, что в сумке, кроме инструментов, были казенные деньги и документы. Пропажа сумки была погибелью для нее: под суд!

— Коська сунул мне в руку сумку и исчез... Когда я выбежала за ним на двор, он был уже в воротах и убежал, — продолжала она.

Через год она мне показала единственное письмо от Коськи, где он сообщает — письмо писано под его диктовку, — что пришлось убежать от своих «ширмачей», «потому, что я их обманул и что правду им сказать было нельзя... Убежал я в Ярославль, доехал под вагоном, а оттуда попал летом в Астрахань, где работаю на рыбных промыслах, а потом обещали меня взять на пароход. Я выучился читать».

Это было последнее известие о Коське.

Давно умерла Ольга Петровна...



1923 год. Иду в домком. В дверях сталкиваюсь с человеком в черной шинели и тюленьей кепке.

— Извиняюсь.

— Извиняюсь.

Он поднимает левую руку, придерживая дверь, и я вижу перед собой только два вытянутых пальца — указательный и мизинец, а двух средних нет. Улыбающееся, милое, чисто выбритое лицо, и эти пальцы...

Мы извинились и разошлись. За столом управляющий. Сажусь.

— Встретили вы сейчас интересного человека?

— Да, пальцев на руке нет. Будто козу кажется!

— Что пальцы? А глаза-то у него какие: один — зеленый, а другой — карий... И оба смеются...

— Наш жилец?

— К сожалению, нет. Приходил отказываться от комнаты. Третьего дня отвели ему в № 6 по ордеру комнату, а сегодня отказался. Какой любезный! Вызывают на Дальний Восток, в плавание. Только что приехал и вызывают. Моряк он, всю жизнь в море пробыл. В Америке, в Японии, в Индии... Наш, русский, старый революционер 1905 года... Заслуженный. Какие рекомендации! Жаль такого жильца... Мы бы его сейчас в председатели заперли...

— Интересный? — говорю.

— Да, очень. Вот от него мне памятка осталась. Тогда я ему бланк нашей анкеты дал, он написал, а я прочел и усомнился. А он говорит: «Все правда. Как написано — так и есть. Врать не умею».

Управляющий передает мне нашу домовую анкету. Читаю по рубрикам:

«Касьян Иванович Иванов, 45 лет.

Место рождения: Москва, дом Ромейко на Хитровке.

Мать: солдатка — нищенка.

Отец: неизвестный».

А в самом верху анкеты, против рубрики «Должность» написано: «Штурман дальнего плавания».

СУХАРЕВКА

Сухаревка — дочь войны. Смоленский рынок — сын чумы.

Он старше Сухаревки на 35 лет. Он родился в 1777 году. После московской чумы последовал приказ властей продавать подержанные вещи исключительно на Смоленском рынке и то только по воскресеньям во избежание разнесения заразы.

После войны 1812 года, как только стали возвращаться в Москву москвичи и начали разыскивать свое разграбленное имущество, генерал-губернатор Растопчин издал приказ, в котором объявил, что «все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только один раз в неделю, в воскресенье, в одном только месте, а именно на площади против Сухаревой башни» И в первое же воскресенье горы награвленного имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок.

Это было торжественное открытие вековой Сухаревки.

Сухарева башня названа Петром I в честь Сухарева, стрелецкого полковника, который, единственный со своим полком, остался верен Петру во время стрелецкого бунта.

Высоко стояла вековая Сухарева башня с ее огром-

ными часами. Издалека было видно. В верхних ее этажах помещались огромные цистерны водопровода, снабжавшего водой Москву.

Много легенд ходило о Сухаревой башне: и «колдун Брюс» делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд — одна нелепее другой.

По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал.

Против роскошного дворца Шереметевской больницы вырастали сотни палаток, раскинутых за ночь на один только день. От рассвета до потемок колыхалось на площади море голов, оставляя узкие дорожки для проезда по обеим сторонам широченной в этом месте Садовой улицы. Толклось множество народа, и у всякого была своя цель.

Сюда в старину москвичи ходили разыскивать украденные у них вещи, и не безуспешно, потому что истари Сухаревка была местом сбыта краденого. Вор-одиночка тащил сюда под полой «стыренные» вещи, скупщики возили их возами. Вещи продавались на Сухаревке дешево, «по случаю». Сухаревка жила «случаем», нередко несчастным. Сухаревский торговец покупал там, где несчастье в доме, когда все нипочем; или он «укупит» у не знающего цену нуждающегося человека, или из-под полы «товарца» приобретет, а этот «товарец» иногда дымом поджога пахнет, иногда и кровью облит, а уж слезами горькими — всегда. За бесценок купит и дешево продает.

Лозунг Сухаревки: «на грош пятаков!»

Сюда одних гнала нужда, других — азарт наживы, а третьих — спорт, опять-таки с девизом: «на грош пятаков». Один нес последнее барахло из крайней нужды и отдавал за бесценок: окружают барышники, чуть не силой вырвут. И тут же на глазах перепродадут втридорога. Вор за бесценок — только бы продать поскорее — бросит тем же барышникам свою добычу. Покупатель необходимого являлся сюда с последним рублем, зная, что здесь можно дешево купить, и в большинстве

случаев его надували: недаром говорили о платье, мебели и прочем:

— Сухаревской работы!

Ходили сюда и московские богачи с тем же поиском «на грош пятаков».

Я много лет часами ходил по площади, заходил к Бакастову и в другие трактиры, где с утра воры и бродяги дуются на биллиарде или в азартную биксу или фортунку, знакомился с этим человеком и изучал разные стороны его быта. Чаше всего я заходил в самый тихий трактир, низок Григорьева, посещавшийся более скромной сухаревской публикой: тут игры не было, значит, и воры не заходили.

Я подружился с Григорьевым, тогда еще молодым человеком, воспитанным и образованным самоучкой. Жена его, вполне интеллигентная, стояла за кассой, получая деньги и гремя трактирными медными марками — деньгамн, которые выбрасывали из «лопаточников» (бумажников) юркие ярославцы-половые в белых рубашках.

Я садился обыкновенно направо от входа, у окна, за хозяйский столик вместе с Григорьевым и беседовал с ним часами. То и дело подбегал к столу его сын, гимназист-первоклассник, с восторгом показывал купленную им на площади книгу (он увлекался «путешествиями»), брал деньги и быстро исчезал, чтобы явиться с новой книгой.

Кругом, в низких прокуренных залах, галдели гости, к вечеру уже подвыпившие. Среди них сновали торгаши с мелочным товаром, бродили вокруг столов случайно проскользнувшие нищие, гремели кружками монашеские сборщицы.

Влетает оборванец, выпивает стакан водки и хочет убежать. Его задерживают половые. Скандал. Кликнули с поста городского, важного, толстого. Узнав, в чем дело, он плюет и, уходя ворчит:

— Из-за пятака правительство беспокоют!

Изредка заходили сыщики, но здесь им делать было нечего. Мне их указывал Григорьев и много о них го-

ворил. И многое из того, что он говорил, мне пригодилось впоследствии.

У Григорьева была большая прекрасная библиотека, составленная им исключительно на Сухаревке. Сын его, будучи студентом, участвовал в революции. В 1905 году он был расстрелян царскими войсками. Тело его нашли на дворе Пресненской части, в груде трупов. Отец не пережил этого и умер. Надо сказать, что и ранее Григорьев считался неблагонадежным и иногда открыто воевал с полицией и ненавидел сыщиков...

Настоящих сыщиков до 1881 года не было, потому что сыскная полиция как учреждение образовалась только в 1881 году. До тех пор сыщиками считались только два пристава — Замайский и Муравьев, имевшие своих помощников из числа воров, которым мирволили в мелких кражах, а крупные преступления они должны были раскрывать и важных преступников ловить. Кроме этих двух, был единственно знаменитый в то время сыщик Смолин, бритый плотный старик, которому поручались самые важные дела. Центр района его действия была Сухаревка, а отсюда им были раскинуты нити повсюду, и он один только знал все. Его звали «Сухаревский губернатор».

Десятки лет он жил на 1-й Мещанской в собственном двухэтажном домике вдвоем со старухой-прислугой. И еще, кроме мух и тараканов, было только одно живое существо в его квартире — это состарившаяся с ним вместе большущая черепаха, которую он кормил из своих рук, садил на колени, и она ласкалась к нему своей голой головой с умными глазами. Он жил совершенно одиноко, в квартире его — все знали — было много драгоценностей, но он никого не боялся: за него горой стояли громилы и берегли его, как он их берег, когда это было возможно. У него в доме никто не бывал: принимал только в сенях. Дружил с ворами, громилами и главным образом с шулерами, бывая в игорных домах, где его не стеснялись. Он знал все, видел все — и молчал. Разве уж если начальство прикажет разыскать какую-нибудь дерзкую кражу, особенно у известного лица, — ну, разыщет, сами громилы скажут и своего выдадут...

Был с ним курьезный случай: как-то украли медную пушку из Кремля, пудов десяти весу, и приказало ему начальство через три дня пушку разыскать. Он всех воров на ноги.

— Чтоб была у меня пушка! Свалите ее на Антроповых ямах в бурьян... Чтоб завтра пушка оказалась, где приказано.

На другой день пушка действительно была на указанном пустыре. Начальство перевезло ее в Кремль и водрузило на прежнем месте, у стены. Благодарность получил.

Уже много лет спустя выяснилось, что пушка для Смолина была украдена другая, с другого конца кремлевской стены послушными громилами, принесена на Антроповы ямы и возвращена в Кремль, а первая так и исчезла.

В преклонных годах умер Смолин бездетным. Пережила его только черепаха. При описи имущества, которое в то время, конечно, не все в опись попало, найдено было в его спальне два ведра золотых и серебряных часов, цепочек и портсигаров.

Громилы и карманники очень соболезновали:

— Сколько добра-то у нас пропало! Оно ведь все наше добро-то было... Ежели бы знать, что умрет Андрей Михайлович — прямо голыми руками бери!

Десятки лет околачивался при кварталах сыщиком Смолин. Много легенд по Сухаревке ходило о нем. Еще до русско-турецкой войны в Златоустенском переулке в доме Медынцева совершенно одиноко жил богатый старик индеец. Что это был за человек, никто не знал. Кто говорил, что он торгует восточными товарами, кто его считал за дисконтера. Кажется, то и другое имело основание. К нему иногда ходили какие-то восточные люди, он был окружен сплошной тайной. Восточные люди вообще жили тогда в подворьях Ильинки и Никольской. И он жил в таком переулке, где днем торговля идет, а ночью ни одной души не увидишь. Кому какое дело — живет индеец и живет! Мало ли какого народу в Москве.

Вдруг индейца нашли убитым в квартире. Все было снаружи в порядке: следов грабежа не видно. В углу,

на столике, стоял аршинный Будда литого золота; замки не взломаны. Явилась полиция для розысков преступников. Драгоценности целыми сундуками направили в хранилище Сиротского суда: бриллианты, жемчуг, золото, бирюза — мерами! Напечатали объявление о вызове наследников. Заторговала Сухаревка! Бирюзу горстями покупали, жемчуг... бриллианты...

Дело о задушенном индейце в воду кануло, никого не нашли. Наконец, года через два явился законный наследник — тоже индеец, но одетый по-европейски. Он приехал с деньгами, о наследстве не говорил, а цель была одна — разыскать убийц дяди. Его сейчас же отдали на попечение полиции и Смолина.

Смолин первым делом его познакомил с восточными людьми Пахро и Абазом, и давай индейца для отыскания следов по шулерским мельницам таскать — выучил пить и играть в модную тогда стуколку... Запутали, закружили юношу. В один прекрасный день он поехал ночью из игорного притона домой — да и пропал. Поговорили и забыли.

А много лет спустя, как-то в дружеском разговоре с всеведущим Н. И. Пастуховым, я заговорил об индейце. Оказывается, он знал много, писал тогда в «Современных известиях», но об индейце генерал-губернатором было запрещено даже упоминать.

— Кто же был этот индеец? — спрашиваю.

— Темное дело. Говорят, какой-то скрывавшийся глава секты душителей.

— Отчего же запретил о нем писать генерал-губернатор?

— Да оттого, что в спальне у Закревского золотой Будда стоял!

— Разве Закревский был буддист?!

— Как же, с тех пор, как с Сухаревки ему Будду этого принесли!

Небольшого роста, плечистый, выбритый и остриженный начисто, в поношенном черном пальто и картузе с лаковым козырьком, солидный и степенный, точь-в-точь камердинер средней руки, двигается незаметно

Смолин по Сухаревке. Воры исчезают при его появлении. Если увидят, то знают, что он уже их заметил — и, улуча удобную минуту, подбегают к нему... Рыжий, шеголеватый карманник Пашка Рябчик что-то спроворил в давке и хотел скрыться, но взгляд сыщика остановился на нем. Сделав круг, Рябчик был уже около и что-то опустил в карман пальто Смолина.

— Щучка здесь... с женой... Проигрался... Зло работает...

— С Аннушкой?

— Да-с... Юрка к Замайскому поступил... Игроки с деньгами! У старьевщиков покупают... Вьют... Голиаф... Ватошник... Кукишь и сам Цапля. Шуруют вон, гляди...

Быстро выпалил и исчез. Смолин переложил серебряные часы в карман брюк.

Издали углядел в давке высокую женщину в ковровом платке, а рядом с ней козлиную бородку Щучки. Женщина увидала и шепнула бороде. Через минуту Щучка уже терся как незнакомый около Смолина.

— Сегодня до кишок меня раздели... У Васьки Темного... проигрался!

— Ничего, злее воровать будешь!

Щучка опустил ему в карман кошелек.

— Аннушка сработала?

— Она... Сам не знаю, что в нем...

— А у Цапли что?

— Прямо плачу, что не попал, а угодил к Темному! Вот дело было! Сашку Утюга сегодня на шесть тысяч взяли...

— Сашку? Да он сослан в Сибири!

— Какое! Всю зиму на Хитровке околачивался... болел... Марк Афанасьев подкармливал. А в четверг пофартило, говорят, в Гуслицах с кем-то купца пришил... Как одну копейку шесть больших отдал. Цапля метал... Архивирус метал. Резал Назаров.

— Расплюев!

— Да, вон он с Цаплей у палатки стоит... Андрей Михайлович, первый фарт тебе отдал!.. Дай хоть копеечку на счастье...

— На, разживайся! — И отдал обратно кошелек.

— Вот, спасибо! Век не забуду... Ведь почин дороже

денег... Теперь отыграюсь! Да! Сашку до копыа разыграли. Дали ему утром сотенный билет, он прямо на вокзал в Нижний... А Цапля завтра новую мельницу открывает, богатую.

Смолин подходит к Цапле.

— С добычей! Когда на новоселье позовешь!

У Цапли и лицо вытянулось.

— Сашку-то сегодня на шесть больших слопали! Ну, когда новоселье?..

Оторопел окончательно старый Цапля.

— Цапля! Это что ты отобрал? Портреты каких-то вельмож польских... На что они тебе?

— Для дураков, Андрей Михайлович, для дураков... Повешу в гостиной — за моих предков сойдут... Так в четверг, милости просим, там же на Цветном, над моей старой квартирой... сегодня снял в бельэтаже...

— Сашку на Волгу спроводили?

Добивает Цаплю всеведущий сыщик и идет дальше, к ювелирным палаткам, где выигравшие деньги шулера обращают их в золотые вещи, чтоб потом снова проиграться на мельницах...

Поговорит с каждым, удивит каждого своими познаниями, а от них больше выудит...

— Это кто такой франт, что с Абазом стоит?

— Невский гусь... как его...

— Кихибарджи?.. Зачем он здесь?

— За кем-то из купцов охотится... в «Славянском базаре» в сорокарублевом номере остановились. И Караулов с ними...

И по развалу проползет тенью Смолин.

Увидал Комара.

— Ну как твои куклы?

Все Смолин знает — не то, что где было, а что и когда будет и где...

И знает, и будет молчать, пока его самого начальство не прищучит!

* * *

Из властей предержащих почти никто не бывал на Сухаревке, кроме знаменитого московского полицмейстера Н. И. Огарева, голова которого с единственными

в Москве усами черными, лежащими на груди, изредка по воскресеньям маячила над толпой около палаток антикваров. В палатках он время от времени покупал какие-нибудь удивительные стенные часы. И всегда платил за них наличные деньги, и никогда торговцы с него, единственного может быть, не запрашивали лишнего. У него была страсть к стенным часам. Его квартира была полна стенными часами, которые били на разные голоса непрерывно, одни за другими. Еще он покупал карикатуры на полицию всех стран, и одна из его комнат была увешана такими карикатурами. Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания.

Особенно он дорожил следующей карикатурой.

Нарисован забор. Вдали каланча с вывешенными шарами и красным флагом (сбор всех частей). На заборе висят какие-то цветные лохмотья, а обозленная собака стоит на задних лапках, карабкается к лохмотьям и никак не может их достать.

Подпись:

«Далеко Арапке до тряпки» (в то время в Петербурге был обер-полицмейстером Трепов, а в Москве — Арапов).

— Вот идиоты, — говорил Н. И. Огарев.

Ну кто бы догадался! Так бы и прошла насмешка незаметно... Я видел этот номер «Будильника», внимания на него не обратил до тех пор, пока городовые не стали отбирать журнал у газетчиков. Они все и рассказали.

В те времена палаток букинистов было до тридцати. Здесь можно было приобрести все, что хочешь. Если не найдется нужный том какого-нибудь разрозненного сочинения, только закажи, к другому воскресенью достанут. Много даже редчайших книг можно было приобрести только здесь. Библиофилы не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню готовились букинисты! Шесть дней рыщут — ищут товар по частным домам, усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов, а «стрелки» скупают повсюду книги и перепродают их букинистам, собиравшимся в трактирах на Рождест-

венке, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа, завершавшаяся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста и каждый букинист знал каждого покупателя: что ему надо и как он платит. Особым почетом у букинистов пользовались профессор И. Е. Забелин, Н. С. Тихонравов и Е. В. Барсов.

Любили букинисты и студенческую бедноту, делали для нее всякие любезности. Приходит компания студентов, человек пять, и общими силами покупают одну книгу или издание лекций совсем задешево, и все учатся по одному экземпляру. Или брали напрокат книгу, уплачивая по пятаку в день. Букинисты давали книги без залога, и никогда книги за студентами не пропадали.

Букинисты и антиквары (последних звали «старьевщиками») были аристократической частью Сухаревки. Они занимали место ближе к Спасским казармам. Здесь не было той давки, что на толкучке. Здесь и публика была чище: коллекционеры и собиратели библиотек, главным образом из именитого купечества.

Всем букинистам был известен один собиратель, каждое воскресенье копавшийся в палатках букинистов и в разваленных на рогожах книгах, оставивший после себя ценную библиотеку. И рассчитывался он всегда неуклонно так: сторгует, положим, книгу, за которую просили пять рублей, за два рубля, выжав все из букиниста, и лезет в карман. Вынимает два кошелька, из одного достает рубль, а из другого вываливает всю мелочь и дает один рубль девяносто три копейки.

— Семи копеечек нет... Вот, получите.

Знают эту его систему букинисты, знают, что ни за что не добавит, и отдают книгу.

А один букинист раз сказал ему:

— Ну как вам не совестно копеечки-то у нашего брата вымарщивать?

— Ты ничего не понимаешь! А в год-то их сколько накопится?

Знали еще букинисты одного курьезного покупателя. Долгое время ходил на Сухаревку старый лакей с аршином в руках и требовал книги в хороших переплетах

и непременно известного размера. За ценой не стоял. Его чудака-барин, разбитый параличом и не оставлявший постели, таким образом составлял библиотеку, вид которой утешал его.

На этой «аристократической» части Сухаревки впережку с букинистами стояли и палатки антикваров.

Уважаемым покупателем у последних был Петр Иванович Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке. К нему товар носили на дом. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антикваров всегда была открыта. Вваливаются в амбар барахольщики с огромными мешками, их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в грудах барахла, вываленного из мешков. Отбирает все лучшее, а остатки появляются на Сухаревке в палатках или на рогожах около них. Сзади этих палаток, к улице, барахольщики второго сорта раскидывали рогожи, на которых был разложен всевозможный чердачный хлам: сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала.

И любители роются в товаре и всегда находят что купить. Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода, обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которые тут же отправляет домой, на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы.

— Что покупаете? — спрашиваю как-то его.

— Серебряный звон!

Для Сухаревки это развлечение.

Колокол лют! Шушукуются по Сухаревке — и тотчас же по всему рынку, а потом и по городу разнесутся нелепые рассказы и вранье. И мало того, что чужие повторяют, а каждый сам старается похлеще соврать, и обязательно действующее лицо, время и место действия точно обозначит.

— Слышали, утром-то сегодня? Под Каменным мостом кит на мель сел... Народищу там!

— В беговой беседке у швейцара жена родила тройню — и все с жеребьячими головами.

— Сейчас Спасская башня провалилась. Вся! И с часами! Только верхушку видать.

Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай:

— Колокол льют!

Сотни лет ходило поверье, что чем больше небылиц разойдется, тем звончее колокол отольется.

А потом встречаются:

— Чего ты назвонил, что башня провалилась? Бегал — на месте стоит, как стояла!

— У Финляндского на заводе большой колокол льют! Ха-ха-ха!

С восьмидесятых годов, когда в Москве начали выходить газеты и запестрели объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал «серебряный звон». За ним очень ухаживали старьевщики, так как он был не из типов, искавших «на грош пятаков».

Это был покупатель со строго определенной целью — купить «серебряный звон», а не «на грош пятаков». Близок к нему был еще один «чайник», не пропускавший ни одного воскресенья, скупавший, не выжиливая копеечку, и фарфор, и хрусталь, и картины...

Между любителями-коллекционерами были знатоки, особенно по хрусталу, серебру и фарфору, но таких было мало; большинство покупателей мечтало купить за «красненькую» настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его, или купить из «первых рук» краденое бриллиантовое кольцо за полсотни... Пускай потом картина Рафаэля окажется доморощенной мазней, а кольцо — бутылочного стекла, покупатель все равно идет опять на Сухаревку в тех же мечтах и до самой смерти будет искать «на грош пятаков». Ни

образования, ни знания, ничего, кроме тятенькиных капиталов и природного умения наживать деньги, у него не имеется.

И торгуются такие покупатели из-за копейки до слез и радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины с отбитой рукой и поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталась:

— Племянница Венеры Милосской!

— Что?!

— А рука-то где! А вы говорите!

Еще обидится! И пойдет торговаться с извозчиком из-за гривенника.

Много таких ходило по Сухаревке, но посещали Сухаревку и истинные любители старины, которые оставили богатые коллекции, ставшие потом народным достоянием.

...Но много их и пропало. Все делалось как-то втихомолку, по-сухаревски.

И все эти антиквары и любители были молчаливы, как будто они покупали краденое. Купит, спрячет и молчит. И все в одиночку, тайно друг от друга.

Но раз был случай, когда они все жадной волчьей стаей или, вернее, стаей пугливого воронья набросились на крупную добычу. Это было в восьмидесятых годах.

Тогда умер знаменитый московский коллекционер М. М. Зайцевский более сорока лет собиравший редкости изящных искусств, рукописей, пергаментов, первопечатных книг. Полвека его знала вся Сухаревка.

За десятки лет все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для публики и составлявший в полном смысле этого слова жизнь для своего старика-владельца, забывавшего весь мир ради какой-нибудь «новенькой старинной штучки» и никогда не отступившего, чтобы не приобрести ее.

Он ухаживал со страстью и терпением за какой-нибудь серебряной крышкой от кружки и не успокаивался, пока не приобретал ее. Я знаком был с М. М. Зайцевским, но трудно было его уговорить показать собранные им редкости. Да никому он их и не показывал. Сам, один любовался своими сокровищами, тщательно их охраняя от постороннего глаза.

Прошло сорок лет, а у меня до сих пор еще мелькают перед глазами редкости этих четырех больших комнат его собственного дома по Хлебному переулку. Стены комнат тесно увешены массой старинных картин. На первом плане картина, изображающая святого Иеронима. Это оригинал замечательного художника. Некоторые знатоки приписывали его кисти Луки Джордано. Рядом с этой картиной помещались две громадные картины фламандской школы, изображающие пир и торжественный выход какого-то властителя. Далее картина Лессуера «Христос с детьми», картина Адриана Стаде и множество других картин прошлых веков.

В следующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная с икон строгановского письма, кончая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонения на христиан. Тут же коллекция крестов. Между ними золотой складень с надписью: «Моление головы московских стрельцов Матвея Тимофеевича Синягина». Третья комната занята портретами на кости и на металле. Портрет Екатерины II, сделанный из немецких букв, которые можно рассмотреть только в лупу. Из букв составлялась вся история царствования. Еще два портрета маслом с графа Орлова-Чесменского. На одном портрете граф изображен на своем Барсе верхом, а на другом — в санях, запряженных Свирепым. Около на столе лежит кованая, вся в бирюзе, сбруя Свирепого. Далее сотни часов, рогов, кружек, блюд, а посреди их статуя Ермака Тимофеевича, грудь которого сделана из огромной цельной жемчужины. Она стоит на редчайшем серебряном блюде XI века.

Перечислить все, что было в этих залах, невозможно. А на дворе, кроме того, большой сарай был завален весь разными редкостями более громоздкими. Тут же вся его библиотека. В отделении первопечатных книг была книга «Учение Фомы Аквинского», напечатанная в 1467 г. в Майнце, в типографии Шефера, компаньона изобретателя книгопечатания Гутенберга.

В отделе рукописей были две громадные книги на пергаменте с сотнями рисунков рельефного золота. Это «Декамерон» Бокаччо, писанная по-французски в 1414 г.

После смерти владельца его наследники, не откры-

вая музея для публки, выставили некоторые вещи в залах Исторического музея и снова взяли их, решив продать свой музей, что было необходимо для дележа наследства. Ученые-археологи, профессора, хранители музеев дивились редкостям, высоко ценили их и соблазновали, что казна не может их купить для своих хранилищ.

Три месяца музей стоял открытым для покупателей, но продать, за исключением мелочей, ничего не удалось: частные московские археологи, воспитанные на традициях Сухаревки с девизом «на грош пятаков», ходили стоями и ничего не покупали. Сухаревские старьевщики-барахольщики типа «Ужо», коллекционеры, бесящиеся с жиру или собирающие коллекции, чтобы похвастаться перед знакомыми, или скупающие драгоценности для перевода капиталов из одного кармана в другой, или просто желающие помаклячить искатели «на грош пятаков», — вели себя возмутительно.

Они с видом знагоков старались «овладеть» своими глазами, разбегающимися, как у вора на ярмарке, при виде сокровищ, поднимали голову и, рассматривая истинно редкие, огромной ценности вещи, говорили небрежно:

— М...н...да... Но это не особенная редкости! Пожалуй, я возьму ее. Пусть дома валяется... Целковых двести дам.

Так ценили финифтьевый ларец, стоивший семь тысяч рублей.

Об этом ларце в воскресенье заговорили молчаливые раритетчики на Сухаревке. Предлагавший двести рублей на другой день подсылал своего подручного купить его за три тысячи рублей. Но наследники не уступили. А Сухаревка, обиженная, что в этом музее даром ничего не укупишь, начала «колокола лить».

Несколько воскресений между антикварами только и слышалось, что лучшие вещи уже распроданы, что наследники нуждаются в деньгах и уступают за бесценок, но это не помогло сухаревцам «укупить на грош пятаков».

В один прекрасный день на двери появилась вывес-

ка, гласившая, что сухаревских маклаков и антикваров из переулков (были названы два переулка) просят «не трудиться звонить».

Дальнейшую судьбу музея и его драгоценностей я не знаю.

Помню еще, что сын владельца музея В. М. Зайцевский, актер и рассказчик, имевший в свое время успех на сцене, кажется, существовал только актерским некрупным заработком, умер в начале этого столетия. Его знали под другой, сценической фамилией, а друзья, которым он в случае нужды помогал щедрой рукой, звали его просто — Вася Днепров.

Что он Зайцевский — об этом и не знали. Он как-то зашел ко мне и принес изданную им книжку стихов и рассказов, которые он исполнял на сцене. Книжка называлась «Пополом». Меня он не застал и через день позвонил по телефону, спросив, получил ли я ее.

— Спасибо, — ответил я, — жаль, что не застал меня. Кстати, скажи, цел ли отцовский музей?

— Эге! Хватился! Только и остался портрет отца, и то я его этой зимой на Сухаревке купил.



Неизменными посетителями Сухаревки были все держатели антикварных магазинов. Один из них являлся с рассветом, садился на ящик и смотрел, как расставляют вещи. Сидит, глядит и, чуть усмотрит что-нибудь интересное, сейчас ухватит раньше любителей-коллекционеров, а потом перепродает им же втридорога.

Нередко антиквары гнали его:

— Да уходите, не мешайте, дайте разложиться!

— Ужо! Ужо! — отвечает он всегда одним и тем же словом и сидит, как примороженный.

Так и звали его торговцы:

— Ужо!

Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповского¹ фарфора. Он покупал иногда серебряные

¹ Фарфоровый завод Попова.

чарочки, из которых мы пили на его «средах», покупал старинные дешевые медные, бронзовые серьги. Он прекрасно знал старину, и его обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар.

На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного «Попова». Подделки практиковались во всех областях.

Нумизматы неопытные также часто попадались на сухаревскую удочку. В серебряном ряду у антикваров стояли витрины, полные старинных монет. Кроме того, на застекленных лотках продавали монеты ходячие нумизматы. Спускали по три, по пяти рублей редкостные рубли Алексея Михайловича и огромные четырехугольные фальшивые медные рубли московской и казанской работы.

Поддельных Рафаэлей, Корреджио, Рубенсов — сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей «на грош пятаков». Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел.

Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью: «И. Репин»; на ней ярлык: десять рублей.

— Вот вам десять рублей. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему.

Приносит дама к знакомым картину и показывает ее И. Е. Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подписывает внизу картины: «Это не Репин. И. Репин».

Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана, благодаря репинскому автографу, за сто рублей.

Старая Сухаревка занимала огромное пространство в пять тысяч квадратных метров. А кругом, кроме Шереметевской больницы, во всех домах были трактиры, пивные, магазины, всякие оптовые торговли и лавки — сапожные и с готовым платьем, куда покупателя затаскивали чуть ли не силой. В ближайших

переулках — склады мебели, которую по воскресеньям выносили на площадь.

Главной же, народной Сухаревкой были толкучка и развал.

Какие два образных слова: народ толчется целый день в одном месте, и так попавшего в те места толкают, что потом всякое место болит! Или развал: развалият нескончаемыми рядами на рогожах немудрый товар и торгуют кто чем: кто рваной обувью, кто старым железом; кто ключи к замкам подбирает и тут же подпиливает, если ключ не подходит. А карманники по всей площади со своими тырщиками снуют: окружат, затырят, вытащат. Кричи «караул» — никто и не послушает, разве за карман схватится, а он, гляди, уже пустой, и сам поет: «Караул! Ограбили!» И карманники шайками ходят, и кукольники с подкидчиками шайками ходят, и сменщики шайками, и барышники шайками.

На Сухаревке жулью в одиночку делать нечего. А сколько сортов всякого жулья! Взять хоть «играющих»: во всяком удобном уголку садятся прямо на мостовую трое-четверо и открывают игру в три карты — две черные, одна красная. Надо угадать красную. Или игра в ремешок: свертывается кольцом ремешок, и надо гвоздем попасть так, чтобы гвоздь остался в ремешке. Но никогда никто не угадает красной, и никогда гвоздь не остается в ремне. Ловкость рук поразительная.

И десятки шаек игроков шатаются по Сухаревке, и сотни простаков, желающих нажить, продуваются до копейки. На лотке с гречневиками тоже своя игра; ею больше забавляются мальчишки в надежде даром съесть вкусный гречневик с постным маслом. Дальше ходячая лотерея — около нее тоже жулье.

Имеются жулики и покрупнее.

Пришел, положим, мужик свой последний полушубок продавать. Его сразу окружает шайка барышников. Каждый торгуется, каждый дает свою цену. Наконец, сходятся в цене. Покупающий неторопливо лезет в карман, будто за деньгами, и передает купленную вещь соседу. Вдруг сзади мужика шум, и все глядят

туда, и он тоже туда оглядывается. А полушубок в единственный миг, с рук на руки, и исчезает.

— Что же деньги-то, давай!

— Че-ево?

— Да деньги за шубу!

— За какую? Да я ничего и не видал!

Кругом хохот, шум. Полушубок исчез, и требовать не с кого.

Шайка сменщиков: продадут золотые часы, с пробой, или настоящее кольцо с бриллиантом, а когда придет домой покупатель, поглядит — часы медные и без нутра, и кольцо медное, со стеклом.

Положим, это еще Кречинский делал. Но Сухаревка выше Кречинского. Часы или булавку долго ли подменить! А вот подменить дюжину штанов — это может только Сухаревка. Делалось это так: ходят малые по толкучке, на плечах у них перекинута связка штанов, совершенно новеньких, только что сшитых, аккуратно сложенных.

— Почему штаны?

— По четыре рубля. Нет, ты гляди, товар-то какой... По случаю аглицкий кусок попал. Тридцать шесть пар вышло. Вот и у него, и у него. Сейчас только вынесли.

Покупатель и у другого смотрит.

— По три рубля... пару возьму.

— Эка!

— Ну, красненькую за трое... Берешь?

— По четыре... А вот что, хошь ежели, бери всю дюжину за три красных...

У покупателя глаза разгорелись: кому ни предложи, всякий купит по три, а то и по четыре рубля. А сам у того и другого смотрит и считает, — верно, дюжина. А у третьего тоже кто-то торгует тут рядом.

Сторговались за четвертную. Покупатель отдает деньги, продавец веревочкой связывает штаны... Вдруг покупателя кто-то бьет по шее. Тот оглядывается.

— Извини, обознался, за приятеля принял!

Покупатель получает штаны и уходит. Приносит домой. Оказывается, одна штанина сверху и одна снизу, а между ними — барахло.

Сменили пачку, когда он оглянулся.

Купил «на грош пятаков»!

Около селедочниц, сидящих рядами и торгующих вонючей обжоркой, жулья меньше; тут только снуют, тоже шайками, бездомные ребятишки, мелкие карманники и поездошники, таскающие у проезжих саквояжи из пролеток. Обжорка их любимое место, их биржа. Тухлая колбаса в жаровнях, рванинка, бульонка, обрезки, ржавые сельди, бабы на горшках с тушеной картошкой... Вдруг ливень. Развал закутывает рогожами товар. Кто может, спасается под башню. Только обжорка недвижима — бабы поднимают сзади подола и окутывают голову... Через несколько минут опять голубое небо, и толпа опять толчется на рынке.

После дождя и в дождь особенно хорошо торгуют обувью.

В одну из палаток удалось затащить чиновника в сильно поношенной шинели. Его долго рвали пополам два торговца — один за правую руку, другой за левую.

За два рубля чиновник покупает подержанные штiblеты, обувается и уходит, лавируя между лужами.

Среди торговцев — спор.

— Не дойдет!

— Дойдет!

— На пару пива?

— На сколько?

— На четверть часа.

— Пошло.

— Нет, браться идет!

Чиновник уселся на тумбу около башни. Небритый и грязный цирюльник мигнул вихрастому мальчишке, тот схватил немытую банку из-под мази, отбежал, черпнул из лужи воды и подал.

Здесь бритье стоило три копейки, а стрижка — пять.

По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались этому ремеслу на отставных солдатах, которых брили даром. Изрежет неумелый мальчуган несчастного, а тот сидит и терпит, потому что в билете у него написано: «бороду брить, волосы стричь, по миру не ходить». Через неделю опять солдат просит побрить!

— Ну, недорезанный, садись! — приглашает его на тумбу московский Фигаро.

Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту галдящую орду, а иногда и отдаваться воле зазывал.

Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают.

— Пожалте-с, у нас покупали!

Тащат и тащат. Хочешь — не хочешь, заведут в лавку. А там уже обступят другие приказчики: всякий свое дело делает и свои заученные слова говорит. Срепетовка ролей и исполнение удивительные. Заставят пересмотреть, а то и примерить всё: и шубу, и пальто, и поддевку.

— Да ведь мне ничего не надо!

— Теперь не надо. Опосля понадобится. Лишнее знание не повредит. Окромя пользы, от этого ничего. Может, что знакомым понадобится, вот и знаете, где купить, а каков товар — своими глазами убедились.

Шумит зазывала на улице у лавки.

Идет строгая дама.

— Сударыня! У нас покупали. Для супруга пальто, для деток поддевки-с...

Дама гордо проходит мимо. Тон зазывалы меняется.

— Сударыня, сударыня! Из брюк чего-нибудь не желаете ли!.. — кричит ей вдогонку при общем хохоте зазывала и ловит новых прохожих.

А какие там типы были! Я знал одного из них. Он брал у хозяина отпуск и уходил на масленицу и пасху в балаганы на Девичьем поле в деда-зазывалы. Ему было под сорок, жил он с мальчиков у одного хозяина. Звали его Ефим Макариевич. Не Макарыч, а из почтения — Макариевич.

У лавки солидный и важный, он был в балагане неузнаваем с своей седой подвязанной бородой. Как заорет на все поле:

— Рррра-ррр-ра-а! К началу! У нас Юлия Пастраны¹ — двоюродная внучка от облизьяны! Дыра на боку, вся в шелку!.. — И пойдет и пойдет...

¹ Женщина с бородой, которую в то время показывали в цирках и балаганах.

Толпа уши развесит. От всех балаганов сбегаются люди «Юшку-комедианта» слушать. Таращим и мы на него глаза, стоя в темноте и давке, задрав головы. А он седой бородой трясет да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем да как завизжит:

— Чего ты чужой карман шарить?

И все завертят головами, а он уже дальше: ворону увидал — и к ней.

— Дура ты, дура! Куда тебя зря нечистая сила прет... Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы!.. Рр-ра-ра! К началу-у, к началу!

Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз.

А через минуту опять выскакивает, на ходу бороду нацепляет:

— Эге-ге-гей! Публик почтенная, полупочтенная и которая так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем. Знай наших, не умирай скорча.

Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается.

Толпа замрет.

— Ой-ой-ой! Да никак начали! Торопись, ребя!

И балаган всегда полон, где Юшка орет.

Однажды, беседуя с ним за чайком, я удивился тому, как он ловко умеет владеть толпой. Он мне ответил:

— Это что, толпа — баранье стадо. Куда козел, туда и она. Куда хочешь повернешь. А вот на Сухаревке попробуй! Мужiku в одиночку втолкуй, какому-нибудь коблу лесному, а еще труднее — кулугуру степному, да вставь его в лавку зайти, да уговори' его ненужное купить. Это, брат, не с толпой под Девичим, а в сто раз потруднее! А у меня за тридцать лет на Сухаревке никто мимо лавки не прошел. А ты — толпа. Толпу... зимой купаться уговорю!

Сухаревка была особым миром, никогда более не повторяемым.

Она вся в этом анекдоте.

Один из посетителей шмаровинских «сред», худож-

ник-реставратор, возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала, по обыкновению, заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу, точь-в-точь под пару имеющейся у него.

Можете себе представить радость настоящего любителя, приобретшего такое ценное сокровище!

А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали его квартиру.

Он купил свою собственную вазу!

ПОД КИТАЙСКОЙ СТЕНОЙ

Постройка Китайской стены, отделяющей Китай-город от Белого города, относится к половине XVI века. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города «Китай-городом» в воспоминание своей родины — «Китай-городка» на Подолни.

В начале прошлого столетия, в 1806 году, о китай-городской стене писал П. С. Валуев: «Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников; к стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни... Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург... Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки».

После этого, как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по-старому, и вдобавок на Старой площади, между Ильинскими и Никольскими воротами, открылся Толкучий рынок, который в половине восьмидесятых годов был еще в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил В. Е. Маковский на кар-

тине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в восьмидесятих годах, но следы ее остались, — она развела трущобы в самом центре города, которые уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной — Лубянская площадь с ее трактирами-притонами и знаменитой «Шиповской крепостью».

В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Н. И. Новикова, где он печатал свои издания. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шипову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинальному: он не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться по сколько угодно человек в квартире, и никакой не только прописки, но и записей жильцов не велось...

Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшими отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали всю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденного, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно.

Обитатели «Шиповской крепости» делились на две категории: в одной — беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики и скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка, затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это развеселый пьяный народ, ищущий здесь убежища от полиции.

Категория вторая — люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые с каторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но молча, под недо-

лимым страхом, ни словом, ни взглядом не нарушают их тайны.

Первая категория исчезает днем для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит.

Вторая категория днем спит, а ночью «работает» по Москве или ее окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли «иванами», а впоследствии «деловыми ребятами».

И вот, когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи «иваны» заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врываться в дом, они, вооруженные, бросились сзади на полицию, и началась свалка. Полиция, ворвавшаяся в дом, встретила сопротивление портянщиков изнутри и налет «иванов» снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве.

«Иваны», являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочки Старой и Новой площади, открывавшиеся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые воза пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в темных подвалах и отыскать было нельзя.

Лавочки мрачны даже днем, — что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждая из этих лавочек как бы имеет свою специальную, небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой — старую, чиненую обувь, в третьей — шерсть и бумагу, в четвертой — лоскут, в пятой — железный и медный лом... Но все это только приличная обстановка для непосвященных, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих лавочках принималось все, что туда ни привозилось и ни при-

носились — от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника...

Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную десятипудовую пушку, украденную из Кремля.

Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек — от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки, а на рассвете оптом, узлами, от «иванов» — ночную добычу, иногда еще с необсохшей кровью. Получив деньги, «иваны» шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в «Ад» на Трубу или в «Поляков трактир». Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а «иваны» — к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных каморках «тырбанили слам» — делили добычу и тут же сбывали ее трактирщику или специальным скупщиком.

В дни существования «Шиповской крепости» главным разбойничьим притоном был близ Яузы «Поляков трактир», наполненный отдельными каморками, где производился дележ награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались...

В одной из этих каморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей... Здесь же, на чердаке, были найдены трубчистом две отрубленные ноги в сапогах.

После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьезные «иваны» не увлекались пьянством и женщинами. Их страстью была игра. Тут «фортунка» и «судьба» и, конечно, шулера.

Трактир Полякова, продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шипова приобрело императорское человеколюбивое общество, и весьма не человеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так:

— Нахлынули в темную ночь солдаты — тишина и



Московская конка.



Здание гостиницы «Дрезден».

мрак во всем доме. Входят в первую квартиру — темнота, зловоние и беспорядок, на полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое: хозяин да его сын мальчишка.

В другой та же история, в третьей — на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы — и ни одного жильца. А у всех выходов — солдаты, уйти некуда. Перерыли сарай, погреба, чуланы — нашли только несколько человек, молчаливых как пни, и только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома, и они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории, а «иваны» первое время поразбредлись, а потом тоже явились на Хитров и заняли подвалы и тайники дома Ромейко в «Сухом овраге».

Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и так же тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденого.

Целые квартиры заняли портные особой специальности — «раки». Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство из ремесленной управы. «Раками» их звали потому, что они вечно, «как раки на мели», сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки.

Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными «коммерсантами», неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, «коммерсантами», сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое.

Смело можно сказать, что ни один домовладелец не получал столько верных и громадных процентов, какие получали эти съемщики квартир и приемщики краденого.

В этом громадном трехэтажном доме, за исключени-

ем нескольких лавок, харчевен, кабака в нижнем этаже и одного притона-трактира, вся остальная площадь состояла из мелких, грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями.

Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них. Кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки... В такой квартире в трех-четырех разгороженных комнатках жило человек тридцать, вместе с детьми...

Летом с пяти, а зимой с семи часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро, хозяйки и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла и сунув за пазуху туго набитый кошелек, грязные и оборванные, бегут на толкучку, на промысел. Это съемщики квартир, которые сами работают с утра до ночи. И жильцы у них такие же. Даже детишки вместе со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными черт знает из какого табаку.

Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают, — квартиры загрознены до невозможности, и их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда или, за редким исключением, не больше двух раз в году убирают свои квартиры, населенные ворами, пьяницами и проститутками.

Эти съемщицы тоже торгуют хламом, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями...

Первая категория торговки являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запасть свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя, и всякий совал, что у него есть: и пиджак, и брюки, и фуражку, и белье.

Все это рваное, линяющее, ползет чуть не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными, черное пальто окажется серо-буромалиновым, на фуражке после первого дождя выступит красный околыш, у сюртука одна пола окажется синей, другая — желтой, а полспины зеленой. Белье расползается при первой стирке. Это все «произведения» пер-

вой категории шиповских ремесленников, «выдержавших экзамен» в ремесленной управе.

Чуть свет являлись на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из Шипова дома, а из желающих продать — столичная беднота: лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником, бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу, голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка, и жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу.

Вот эти-то продавцы от горькой нужды — самые выгодные для базарных коршунов. Они стайей окружали жертву, осыпали ее насмешками, пугали злыми намеками и угрозами и окончательно сбивали с толку.

— Почему?

— Четыре рубля, — отвечает сконфуженный студент, никогда еще не выдавший толкучки.

— Га! Четыре! А рублевку хошь?

Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле, и каждый бросал свое едкое слово.

— Хапаный!.. Покупать не стоит. Еще попадешься!

Студент весь красный... Слезы на глазах. А те рвут... рвут...

Плачет голодная мать.

— Может, нечистая еще какая!

И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая пятую часть назначенной цены.

— Должно быть, краденый, — замечает старик барышник, напрасно предлагавший купчихе три рубля за самовар, стоящий пятнадцать, а другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомлела от ужаса:

— За будочником бы спосылать...

Эти приемы всегда имели успех: и сконфуженный студент, и горемыка-мать, и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости, только выдавший виды чиновник равнодушно твердит свое да еще заступает за других, которых маклаки собираются обжулить. В конце

концов, он продает свой собачий воротник за подходящую цену, которую ему дают маклаки, чтобы только он «не отсвечивал».

Это картина самого раннего утра, когда вторая категория еще опохмеляется. Но вот выползает и она. Площадь меняет свое население, часы обирательства бедноты сменяются часами эксплуатации пороков и слабостей человеческих. На толкучке толчется масса пьяниц, притащивших и свое и чужое добро, чтобы только добыть на опохмелку. Это типы, подходящие к маклакам второй категории, и на них другой способ охоты приноворен, потому что эти продавцы — народ не совестливый и не трусливый, их и не запугаешь и не заговоришь. На одно слово десять в ответ, да еще родителей до прабабушки помянут.

Сомнительного продавца окружают маклаки. Начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет и приступают к торгу, предлагая свою цену:

— Два рубля? Полтора! Гляди сам, больше не стоит!

— Сказал два, меньше ни копей!

— Ну без четверти бери, леший ты упрямый!

— Два! — безапелляционно отрезает тот.

— Ну, держи деньги, что с тобой делать! — как бы нехотя говорит торговка, торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь.

Тот начинает считать деньги, и вместо двух у него оказывается полтора.

— Давай полтину! Ведь я за два продавал.

Торговка стоит перед ним невозмутимо.

— Отдай мою вещь назад!

— Да бери, голубок, бери, мы ведь силой не отнимаем, — говорит торговка и вдруг с криком ужаса: — Да куды ж это делось-то? Ах, батюшки-светы, ограбили, среди белого дня ограбили!

И с этими словами исчезает в толпе.

Жаждающие опохмелиться отдают вещь за то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть — нутро горит.

Начиная с полдня являются открыто уже не продающие ничего, а под видом покупки проходят в лавочки,

прилепленные в Китайской стене на Старой площади, где, за исключением двух-трех лавочек, все занимаются скупкой краденого.

На углу Новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского старообрядца С. Т. Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели. Бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были две такие же старокнижные лавки, а дальше уж, до закрытия толкучки, в любую можно сунуться с темным товаром.

Толкучка занимала всю Старую площадь — между Ильинкой и Никольской, и отчасти Новую — между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону — Китайская стена, по другую — ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах — конторы и склады, а в нижних — лавки с готовым платьем и обувью.

Все это — товар дешевый, главным образом русский: шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато, для простого люда. Было, впрочем, и «модье» с претензией на шик, сшитое теми же портными.

Лавки готового платья. И здесь, так же как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателя. Около входа всегда галдеж от десятка «зазывал», обязанностью которых было хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье.

— Да мне не надо платья! — отбивается от двух молодых в поддевках, ухвативших его за руки, какой-нибудь купец или даже чиновник.

— Помилте, вышздоровье, — или, если чиновник, — васкобродние, да вы только поглядите товар.

И каждый не отстаёт от него, тянет в свою сторону, к своей лавке.

А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера... Великие мастера были «зазывалы»!

— У меня только в лавку зайди, не надо, да купи! Уговорю!.. — скажет хороший «зазывало» — и действительно уговорит.

Такие же «зазывалы» были и у лавок с готовой обувью на Старой площади, и в закоулках Ямского приказа на Москворецкой улице.

И там и тут торговали специально грубой привозной обувью — сапогами и башмаками, главным образом кимрского производства. В семидесятых годах еще практиковались бумажные подметки, несмотря на то, что кожа сравнительно была недорого, — но уж таковы были девизы и у купца и у мастера: «на грош пятаков» и «не обманешь — не продашь».

Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, а надуть покупателя благодаря «зазывалам» было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет две-три улицы по лужам в дождливую погоду — глядь, подошва отстала и вместо кожи — бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку... «Зазывалы» уж узнали, зачем, и на его жалобы закидают словами и его же выставят мошенником: пришел, мол, халтуру сорвать, купил на базаре сапоги, а лезешь к нам...

— Ну, ну, в какой лавке купил?

Стоит несчастный покупатель, растерявшись, глядит — лавок много, у всех вывески и выходы похожи и у каждой толпа «зазывал»...

Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки...

Был в шестидесятых годах в Москве полицмейстер Лужин, страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его доезжачему всучили на Старой площади сапоги с бумажными подошвами, и тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получается купцами товар. Лужин послал его узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на Старую площадь к самому крупному оптовику-торговцу привезли несколько возов обуви из Кимр.

Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на Старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот не предупредил купца. Лужин поспел в

то самое время, когда с возов сваливали обувь в склады. Арестованы были все: и владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из Кимр с возами скупщики и продавцы обуви. Опечатав товар и склады, Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар.

Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут, а кимряки после жестокой порки дали зарок, что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы.

И действительно, кимряки стали работать по чести, о бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877—1878 годов не слышно было.

Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были «вовлечены в невыгодную сделку», как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазали по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах и гибли от простуды... И опять с тех пор пошли бумажные подметки... на Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом: «на грош пятаков» и «не обманешь — не продашь».

Только с уничтожением толкучки в конце восьмидесятых годов очистилась Старая площадь, и «Шипов дом» принял сравнительно приличный вид.

Отдел благоустройства МКХ в 1926 году привел китай-городскую стену — этот памятник старой Москвы — в тот вид, в каком она была пятьсот лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения.

Вспоминается бессмертный Гоголь:

«Возле того забора навалено на сорок телег всякого сора. Что за скверный город. Только поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт их знает, откуда и нанесут всякой дряни...»

Такова была до своего сноса в 1934 году китай-городская стена, еще так недавно находившаяся в самом неприглядном виде. Во многих местах стена была совер-

шенно разрушена, в других чуть не на два метра вросла в землю, башни изуродованы поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство: дачи не надо!

...Возле древней башни
На стенах старинных были чуть не пашни.

Из расщелин стен выросли деревья, которые были видны с Лубянской, Варварской, Старой и Новой площадей.

ТАЙНЫ НЕГЛИНКИ

Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливало при каждом ливне, и заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это оттого, что никогда нечищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от Самотеки под Цветным бульваром, Неглинным проездом, Театральной площадью и под Александровским садом вплоть до Москвы-реки, не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду. Это было положительно бедствием, но «отцы города» не обращали на это никакого внимания.

В древние времена здесь протекала речка Неглинка. Еще в екатерининские времена она была заключена в подземную трубу: набили свай в русло речки, перекрыли каменным сводом, положили деревянный пол, устроили стоки уличных вод через спускные колодцы и сделали подземную клоаку под улицами. Кроме «законных» сточных труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот, вместо того чтобы вывозить их в бочках, как это было повсеместно в Москве до устройства канализации. И все эти нечистоты шли в Москву-реку.

Это знала полиция, обо всем этом знали гласные-

домовладельцы, и все, должно быть, думали: не нами заведено, не нами и кончится!

Побывав уже под Москвой в шахтах артезианского колодца и прочитав описание подземных клоак Парижа в романе Виктора Гюго «Отверженные», я решил во что бы то ни стало обследовать Неглинку. Это было продолжение моей постоянной работы по изучению московских трущоб, с которыми Неглинка имела связь, как мне пришлось узнать в притонах Грачевки и Цветного бульвара.

Мне не трудно было найти двух смельчаков, решившихся на это путешествие. Один из них — беспаспортный водопроводчик Федя, пробавлявшийся поденной работой, а другой — бывший дворник, солидный и обстоятельный. На его обязанности было опустить лестницу, спустить нас в клоаку между Самотекой и Трубной площадью и затем встретить нас у соседнего пролета и опустить лестницу для нашего выхода. Обязанность Феди — сопутствовать мне в подземелье и светить.

И вот в жаркий июльский день мы подняли против дома Малоюшина, близ Самотеки, железную решетку спускного колодца, опустили туда лестницу. Никто не обратил внимания на нашу операцию — сделано было все очень скоро: подняли решетку, опустили лестницу. Из отверстия валил зловонный пар. Федя, водопроводчик, полез первый; отверстие, сырое и грязное, было узко, лестница стояла отвесно, спина шаркала о стену. Послышалось хлюпанье воды и голос, как из склепа:

— Лезь, что ли!

Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоявшей, качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, рабочим, оставшимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец, послышались шум воды и хлюпанье. Я посмотрел наверх. Мне виден был только четырехугольник голубого, яркого неба и лицо ра-

бочего, державшего лестницу. Холодная, до костей пронизывающая сырость охватила меня.

Наконец, я спустился на последнюю ступеньку и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды.

— Опускайся смелей; становись, неглубоко тутотка, — глухо, гробовым голосом сказал мне Федя.

Я встал на дно, и холодная сырость воды проникла сквозь мои охотничьи сапоги.

— Лампочку зажечь не могу, спички подмокли! — жалуется мой спутник.

У меня спичек не оказалось. Федя полез обратно.

Я остался один в этом замураванном склепе и прошел по колено в бурлящей воде шагов десять. Остановился. Кругом меня был мрак. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал.

Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку... Даже страшно стало. Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слышал, как подошел ко мне Федя и толкнул меня в спину. Я обернулся. В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого мрака. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть. Это над нами проехала телега. Я вспомнил подобный грохот при моем путешествии в тоннель артезианского колодца, но здесь он был несравненно сильнее. Все чаще и чаще над моей головой гремели эки-

пажи. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо,—приходилось нагибаться, и все же при этом я доставал головой и плечами свод. Ноги проваливались в грязь, натыкаясь иногда на что-то плотное. Все это заплыло жидкой грязью, рассмотреть нельзя было, да и до того ли было.

Дошагали в этой вони до первого колодца и наткнулись на спущенную лестницу. Я поднял голову, обрадовался голубому небу.

— Ну, целы? Вылазь! — загудел сверху голос.

— Мы пройдем еще, спускай через пролет.

— Ну-к что ж, уж глядеть, так глядеть!

Я дал распоряжение перенести лестницу на два пролета вперед; она поползла вверх. Я полюбовался голубым небом, и через минуту, утопая выше колен в грязь и каких-то обломках и переползая уличные отбросы, мы зашагали дальше.

Опять над нами четырехугольник ясного неба. Через несколько минут мы наткнулись на возвышение под ногами. Здесь была куча грязи особенно густой, и, видимо, под грязью было что-то навалено... Полезли через кучу, осветив ее лампочкой. Я ковырнул ногой, и под моим сапогом что-то запружинило... Перешагнули кучу и пошли дальше. В одном из таких заносов мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Особенно трудно было перебраться через последний занос перед выходом к Трубной площади, где ожидала нас лестница. Здесь грязь была особенно густа, и что-то все время скользило под ногами. Об этом боязно было думать.

А Федю все-таки прорвало:

— Верно говорю: по людям ходим.

Я промолчал. Смотрел вверх, где сквозь железную решетку сияло голубое небо. Еще пролет, и нас ждут уже открытая решетка и лестница, ведущая на волю.

* * *

Мои статьи о подземной клоаке под Москвой наде-
ляли шуму. Дума постановила начать перестройку Не-
глинки, и дело это было поручено моему знакомому
инженеру Н. М. Левачеву, известному охотнику, с ко-
торым мы ездили не раз на зимние волчьи охоты.

С ним, уже во время работ, я спускался второй
раз в Неглинку около Малого театра, где канал делает
поворот и где русло было так забито разной нечистью,
что вода едва проходила сверху узкой струйкой: здесь
и была главная причина наводнений.

Наконец, в 1886 году Неглинка была перестроена.
Репортёрская заметка сделала свое дело. А моего
отчаянного спутника Федю Левачев взял в рабочие,
как-то устроил ему паспорт и сделал потом своим де-
сятником.

* * *

За десятки лет после левачевской перестройки снова
грязь и густые нечистоты образовали пробку в повороте
канала под Китайским проездом около Малого театра.
Во время войны наводнение было так сильно, что залило
нижние жилые этажи домов и торговые завсдения, но
никаких мер сонная хозяйка столицы — Городская дума
не принимала.

Только в 1926 году взялся за Неглинку Моссовет и,
открыв ее от Малого театра, под которым тогда подво-
дился фундамент, до половины Свердловской площади,
вновь очистил загрязненное русло и прекратил навод-
нения.

Я как-то шел по Неглинной и против Государствен-
ного банка увидел посреди улицы деревянный барак, об-
несенный забором, вошел в него, встретил инженера,
производившего работы, — оказалось, что он меня знал,
и на мою просьбу осмотреть работы изъявил согласие.
Посредине барака зияло узкое отверстие, из которого
торчал конец лестницы.

Я попробовал спуститься, но шуба мешала, — а
упускать случай дать интересную заметку в «Вечернюю

Москву», в которой я тогда работал, не хотелось. Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз.

Знакомый подземный коридор, освещенный тусклыми сквозь туман электрическими лампочками. По всему желобу был настлан деревянный помост, во время оттепели все-таки заливавшийся местами водой. Работы уже почти кончились, весь ил был убран, и подземная клоака была приведена в полный порядок.

Я прошел к Малому театру и, продрогший, промочив ноги и нанюхавшись запаха клоаки, вылез по мокрой лестнице. Надел шубу, которая меня не могла согреть, и направился в редакцию, где сделал описание работ и припомнил мое старое путешествие в клоаку.

На другой день я читал мою статью уже лежа в постели при высокой температуре, от гриппа я в конце концов совершенно оглох на левое ухо, а потом и правое оказалось поврежденным.

Это было эпилогом к моему первому подземному путешествию в бездны Неглинки сорок лет назад.

НОЧЬ НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ

Дырка в кармане! Что может быть ничтожнее этого?

А случилось так, что именно эта самая маленькая, не замеченная вовремя дырка оказалась причиной многих моих приключений.

Был август 1883 года, когда я вернулся после пяти-месячного отсутствия в Москву и отдался литературной работе: писал стихи и мелочи в «Будильнике», «Развлечении», «Осколках», статьи по различным вопросам, давал отчеты о скачках и бегах в московские газеты. Между ипподромными знакомыми всех рангов и положений пришлось познакомиться с людьми самых темных профессий, но всегда щегольски одетых, крупных игроков в тотализатор. Я усиленно поддерживал подобные знакомства: благодаря им я получал интересные сведения для газет и проникал иногда в тайные игорные дома, где меня не стеснялись и где я встречал таких людей, которые были приняты в обществе, состояли даже членами клубов, а на самом деле были или шулера, или аферисты, а то и атаманы шаек. Об этом мире можно написать целую книгу. Но я ограничусь только воспоминаниями об одном за-всегдае бегов, щеголе-блондине с пушистыми усами, имевшем даже собственного рысака, бравшего призы.

В тот день, когда произошла история с дыркой, он подошел ко мне на ипподроме за советом: записывали ему свою лошадь на следующий приз, имеет ли она

шансы? На подъезде, после окончания бегов, мы случайно еще раз встретились, и он предложил, по случаю дождя, довезти меня в своем экипаже до дому. Я отказывался, говоря, что еду на Самотеку, а это ему не по пути, но он уговорил меня и, отпустив кучера, лихо домчал в своем шарабане до Самотеки, где я зашел к моему старому другу, художнику Павлику Яковлеву.

Дорогой все время разговаривали о лошадях, — он считал меня большим знатоком и уважал за это.

От Яковлева я вышел около часа ночи и зашлепал в своих высоких сапогах по грязи средней аллеи Цветного бульвара, по привычке сжимая в правом кармане неразлучный кастет — подарок Андреева-Бурлака. Впрочем, эта предосторожность была излишней: ни одной живой души, когда

Осенний мелкий дождичек
Сеет, сеет сквозь туман.

Ночь была непроглядная. Нигде ни одного фонаря, так как по думскому календарю в те ночи, когда должна светить луна, уличного освещения не полагалось, а эта ночь по календарю считалась лунной. А тут еще вдобавок — туман. Он клубился над кустами, висел на деревьях, казавшихся от этого серыми призраками.

В такую только ночь и можно идти спокойно по этому бульвару, не рискуя быть ограбленным, а то и убитым ночными завсегдатаями, выходящими из своих трущоб в грачевских переулках и Арбузовской крепости, этого громадного бывшего барского дома, расположенного на бульваре.

Самым страшным был выходящий с Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными, последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри.

Характерно, что на всех таких дворах не держали собак... Здесь жили женщины, совершенно потерявшие об-

раз человеческий, и их коты, скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома Хитровки. По ночам коты выходили на Цветной бульвар и на Самотеку, где их «марухи» замарьяживали пьяных. Они или приводили их в свои притоны, или тут же раздевали следившие по пятам своих «дам» коты. Из последних в притонах вербовались «составителями» громилы для совершения преступлений, и сюда никогда не заглядывала полиция, а если по требованию высшего начальства, главным образом прокуратуры, и делались обходы, то «хозяйки» заблаговременно знали об этом, и при «внезапных» обходах никогда не находили того, кого искали...

Хозяйки этих квартир, бывшие проститутки большей частью, являлись фиктивными содержательницами, а фактическими были их любовники из беглых преступников, разыскиваемых полицией, или разные не попавшие еще аферисты и воры.

У некоторых шулеров и составителей игры имелись при таких заведениях сокровенные комнаты, «мельницы», тоже самого последнего разбора, предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников, которые только в такие трущобы являлись для удовлетворения своего азарта совершенно спокойно, зная, что здесь не будет никого чужого. Пронюхают агенты шулера—составителя игры, что у какого-нибудь громилы после удачной работы появились деньги, сейчас же устраивается за ним охота. В известный день его приглашают на «мельницу» поиграть в банк, — другой игры на «мельницах» не было, — а к известному часу там уж собралась стройно спевшаяся компания шулеров, приглашается и исполнитель, банкомет, умеющий бить наверняка каждую нужную карту, — и деньги азартного вора переходят компании. Специально для этого и держится такая «мельница», а кроме того, в ней в дни, не занятые «деловыми», играет всякая шпана мелкотравчатая и дает верный доход — с банка берут десять процентов. На большие «мельницы», содержимые в шикарных квартирах, «деловые ребята» из осторожности не ходили — таких «мельниц» в то время в Москве был десяток на главных улицах.

Временем наибольшего расцвета такого рода заведений были восьмидесятые годы. Тогда содержательницы притонов считались самыми благонамеренными в политическом отношении и пользовались особым попустительством полиции, щедро ими оплачиваемой, а охранное отделение не считало их «опасными для государственного строя» и даже покровительствовало им вплоть до того, что содержатели притонов и «мельниц» попадали в охрану при царских проездах. Тогда полиция была занята только вылавливанием «неблагонадежных», революционно настроенных «элементов», которых арестовывали и ссылали сотнями.

И блаженствовал трушобный мир на Грачевке и Цветном бульваре...

Я шагал в полной тишине среди туманных призраков и вдруг почувствовал какую-то странную боль в левой ноге около щиколотки; боль эта стала в конце концов настолько сильной, что заставила меня остановиться. Я оглядывался, куда бы присесть, чтоб переобуться, но скамейки нигде не было видно, а нога болела нестерпимо.

Тогда я прислонился к дереву, стянул сапог и тотчас открыл причину боли: оказалось, что мой маленький перочинный ножик провалился из кармана и сполз в сапог. Сунув ножик в карман, я стал надевать сапог и тут услышал хлюпанье по лужам и тихий разговор. Я притих за деревом. Со стороны Безымянки темнеет на фоне радужного круга от красного фонаря тихо движущаяся группа из трех обнявшихся человек.

— Заморился, отдохнем... Ни живой собаки нет...

— Эх, нюня дохлая! Ну, опускай...

Крайние в группе наклонились, бережно опуская на землю среднего.

«Пьяного ведут», — подумал я.

Успеваю рассмотреть огромную фигуру человека в поддевке, а рядом какого-то куцого, горбатого. Он качал рукой и отдувался.

— Какой здоровущий был, все руки оттянул!

А здоровущий лежал плашмя в луже.

— Фокач, бросим его тут... а то в кусты рядом...

— Это у будки-то, дуроплясина! Побегут завтра легаши по всем хазам...

— В трубу-то вернее, и концы в воду!

— Делать, так делать вглухую. Ну, берись! Теперь на руках можно.

Большой взял за голову, маленький — за ноги, и понесли, как бревно.

Я — за ними, по траве, чтобы не слышно. Дождик переставал. Журчала вода, стекая по канавке вдоль тротуара, и с шумом падала в приемный колодец подземной Неглинки сквозь железную решетку. Вот у нее-то «труженики» остановились и бросили тело на камни.

— Поднимай решеть!

Маленький наклонился, а потом выпрямился:

— Чи жало, не могу!

— Эх, рвань дохлая!

Гигант рванул и сдвинул решетку.

«Эге, — сообразил я, — вот что значит: «концы в воду».

Я зашевелился в кустах, затопал и гаркнул на весь бульвар:

— Сюда, ребята! Держи их!

И, вынув из кармана полицейский свисток, который на всякий случай всегда носил с собой, шляясь по трущобам, дал три резких, продолжительных свистка.

Оба разбойника метнулись сначала вдоль тротуара, а потом пересекли улицу и скрылись в кустах на пустыре.

Я подбежал к лежавшему, нащупал лицо. Борода и усы бритые... Большой стройный человек. Ботинки, брюки, жилет, а белое пятно оказалось крахмальной рубахой. Я взял его руку — он шевельнул пальцами. Жив!

Я еще тройной свисток — и мне сразу откликнулись с двух разных сторон. Послышались торопливые шаги: бежал дворник из соседнего дома, а со стороны бульвара — городской, должно быть, из будки... Я спрятался в кусты, чтобы удостовериться, увидят ли человека у решетки. Дворник бежал вдоль тротуара и прямо наткнулся на него и засвистал. Подбежал городской... Оба

наклонились к лежавшему. Я хотел выйти к ним, но опять почувствовал боль в ноге: опять провалился ножик в дырку!

И это решило дальнейшее: зря рисковать нечего, завтра узнаю.

Я знал, что эта сторона бульвара принадлежит первому участку Сретенской части, а противоположная с Безымянкой, откуда тащили тело, — второму.

На Трубной площади я взял извозчика и поехал домой.

К десяти часам утра я был уже под сретенской каланчой, в кабинете пристава Ларепланда. Я с ним был хорошо знаком и не раз получал от него сведения для газет. У него была одна слабость. Бывший кантонист, десятки лет прослужил в московской полиции, дошел из городских до участкового, получил чин коллежского асессора и был счастлив, когда его называли капитаном, хотя носил погоны гражданского ведомства.

— Капитан, я сейчас получил сведения, что сегодня ночью нашли убитого на Цветном бульваре.

— Во-первых, никакого убитого не было, а подняли пьяного, которого ограбили на Грачевке, перетащили его в мой участок и подкинули. Это уж у воров так заведено, — чтобы хлопот меньше и им и нам. Кому надо в чужом участке доискиваться! А доказать, что перетащили, нельзя. Это первое. А второе: покорнейшая к вам просьба об этом ни слова в газете не писать. Я даже протокола не составлял и дело прикончил сам. Откуда только вы узнали — диву даюсь! Этого никто, кроме поднявших городских да потерпевшего, не знает... А он-то и просил прекратить дело. Нет, уж вы, пожалуйста, не пишите, а то меня подведете, — я и обер-полицмейстеру не доносил.

И рассказал мне Ларепланд, что ночью привезли бесчувственно пьяного, чуть не догола раздетого человека, которого подняли на мостовой, в луже.

— Сперва думали — мертвый, полсжили в часовню, где два тела опившихся лежали, а он зашевелился и заговорил. Сейчас — в приемный покой, отходили, а утром я с ним разговаривал. Оказался богатый немец, в

конторе Вогау его брат служит. Сейчас же его вызвали, он приехал в карете и увез брата. Немец загулял, попал в притон, девки затащили, а там опои́ли его «малинкой», обобрали и выбросили на мой участок. Это у нас то и дело бывает... То из того ко мне подарок, то наши ребята во второй подкинут... Там капитан Капени (тоже кантонист) мой приятель, ну и прекращаем дело. Да и пользы никому нет — все по-старому будет, одни хлопоты. Хорошо, что еще жив остался — вовремя признак жизни подал!

Молодой, красивый немец... Попал в притон в нетрезвом виде, заставили его пиво пить вместе с девками. Помнит только, что все пили из стаканов, а ему поднесли в граненой кружке с металлической крышкой, а на крышке птица,— ее только он и запомнил...

Я пообещал ничего не писать об этом происшествии и, конечно, ничего не рассказал приста́ву о том, что видел ночью, но тогда же решил заняться исследованием Грачевки, так похожей на Хитровку, Арженовку, Хапиловку и другие трущобы, которые я не раз посещал.

КРУЖКА С ОРЛОМ

В свободный вечер попал на Грачевку.

Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров — постоянных посетителей скачек — и кой-кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам, не официальным, с красными фонарями, а по тем, которые ютятся в подвалах на темных, грязных дворах и в промозглых «фатерах» «Колосовки», или «Безымянки», как ее еще иногда называли.

К полуночи этот переулок, самый воздух которого был специфически зловонен, гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепьяно, то скрипки, то гармоники; когда отворялись двери под красным фонарем, то неслись пьяные песни.

В одном из глухих, темных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептыванья, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань...

Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают дочиста и выбрасывают на пустыри.

Около входов стоят женщины, показывают «живые картины» и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни вплоть до папироски за ту же цену...

Когда я пересек двор и подошел к входу в подвал,

расположенному в глубине двора, то услышал приглашение на французском языке и далее по-русски:

— Зайдите к нам, у нас весело!

От стены отделилась высокая женщина и за рукав потащила меня вниз по лестнице.

— У нас и водка и пиво есть.

Вошли. Перед глазами мельтешился красноватый свет среди пара и копоти. Хаос звуков. Под черневшими сводами огромной комнаты стояли три стола. На стене близ двери коптила жестяная лампочка, и черная струйка дыма расходилась воронкой под сводом, сливаясь незаметно с черным от сажи потолком. На двух столах стояли такие же лампочки, пустые бутылки, валялись объедки хлеба, огурцов, селедки. На крайнем к окну столе шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак богатырского сложения, с окладистой, степенной бородой, в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти исчезала колода карт. Кругом теснились оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.

— Семитка око...

— Имею — пятак. На пё.

— Угол от пятака...— слышались возгласы игроков.

Дальше, сквозь отворенную дверь, виднелась другая такая же комната. Там тоже стоял в глубине стол, но уже с двумя свечками, и за столом тоже шла игра в карты...

Передо мной, за столом без лампы, сидел небритый бледный человек в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом:

И чай пил-ла, и б-булки-и ела,
Паз-за-была и с кем си-идела...

Испитой юноша, на вид лет семнадцати, в лакированных сапогах, в венгерке и в новом картузе на затылке, стуча дном водочного стакана по столу, убедительно доказывал что-то маленькому потрепанному человечку:

— Слушай, ты...

— И что слушаешь? Что слушаешь? Работали вместе, и слам пополам...

— Оно пополам и есть!.. Ты затырка, я по ширмохе, тебе лопатошник, а мне бака... В лопатошнике две красных!..

— Бака-то полста ходит, небось анкер...

— Провалиться, за четвертную ушла...

— Заливаешь!

— Пра-слово! Чтоб сдохнуть!

— Где же они?

— Прожил! Вот коньки лаковые, вот чепчик... Ни финаги в кармане!

— Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!

Испитой юноша посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал:

— Не лягаш¹ ли?

— Тебе все лягавые чудятся...

— Да вот сейчас узнаем... — Он обратился к пришедшей меня «даме»: — Па-алковни-ца, что, кредитного свою, что ли, привела?

— Не-ет. Просто стрюк шатаный...

«Полковница» повернула к говорившему свое строгое густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими черными, глубоко запавшими глазами и крикнула:

— Барие выпить хочет. Садитесь, садитесь! Je vous prie!²

— Садись — гость будешь, вина купишь — хозяин будешь! — крикнул бородач-банкет, тасовавший карты.

Я сел рядом с Оськой.

— Что ж, барин, ставь вина, угощай свою полковницу, — проговорил юноша в венгерке.

— Изволь!

— Да уж расшибись на рупь-целковый, всех угощай. Вон и барон мучится с похмелья...

Мужчина в форменной фуражке лихо подлетел ко мне и скороговоркой выпалил:

¹ Сыщик.

² Прошу вас! (франц.).

— Барон Дерфгаузен... Отто Карлович... Прошу любить и жаловать, — он шаркнул ножкой в опорках.

— Вы барон? — спросил я.

— Ma parole! Даю слово. Барон и губернский секретарь... в Лифляндии родился, в Берлине обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался... Одолжите двугривенный. Пойду отыгрываться... До первой встречи.

— Извольте!

И через минуту слышался его властный голос:

— Куш под картой. Имею... Имею...

— Верно, господин, он настоящий барон, — зашептал мне Оська. — Теперь свидетельства на бедность да разные фальшивые удостоверения строчит... А как печати на колченом стекле салит! Ежели желаете вид на жительство — прямо к нему. И такция недорогая... Сейчас ежели плакат, окромя бланка, полтора рубля, вечность — три.

— Вечность?

— Да, дворянский паспорт или указ об отставке... С чинами, с орденами пропишет...

— Барон... Полковница... — в раздумье проговорил я.

— И полковница настоящая, а не то что какая-нибудь подполковница... Она с самим живет... Заведение на ее имя.

Тут полковница перебила его и, пересыпая речь безграмотными французскими фразами, начала рассказывать, как ее выдали подростком еще за старика, гарнизонного полковника, как она с соседом-помещиком убежала за границу, как тот ее в Париже бросил, как впоследствии она вернулась домой, да вот тут в Безымянке и очутилась.

— Ну ты, стерва, будет языком трепать, тащи пива! — крикнул, не оглядываясь, банкомет.

— Несу, оголтелый, чего орешь, каторга!

— Унгдюк! Не везет... А? Каково? Нет, вы послушайте. Ставлю на шестерку куш — дана! На пё. Имею полкуша на пё, очки вперед... Взял. Отгтбаюсь — бита. Тем же кушем иду — бита... Ставлю на смарку — бита! Подряд, подряд!..

— Проиграли, значит?

— Вдрызг! А ведь только последнюю бы дали — и я крез! Талию изучил — и вдруг бита!.. Одолжите еще... до первой встречи... Тот же куш...

Опять даю двугривенный.

— Ол-райт! Это по-барски... До первой встречи!..

Полковница налила пива в четыре стакана, а для меня в хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой, на которой красовался орел.

Барон оторвался на минуту от карт и, подняв стакан, молодецки возгласил:

— За здоровье дам! Ур-ра!

— А вы что же не пьете? Кушайте! — обратилась ко мне полковница.

— Не пью пива... — коротко ответил я.

В это время игра кончилась.

Банкомет, сунув карты и деньги в карман и убавив огонь в лампе, встал.

— Шабаш, до завтра! Выкидывайтесь все отсель.

Игроки, видимо привыкшие ему повиноваться, мгновенно поднялись и молча ушли. Остался только барон, все еще ерепенившийся. Банкомет выкинул ему двугривенный:

— Подавись и выкидывайся!.. Надоел ты мне. Куш под картой, очки вперед! На грош амуниции, на рубль амбиции! Уходи, не проедайся!

Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил его за дверь, которую тотчас же запер на крюк. Даже выругаться барон не успел. Остались: Оська, карманник в венгерке, пьяная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам.

Из соседней комнаты доносились восклицания картежников. Там, должно быть, шла игра серьезная.

Полковница вновь наполнила пивом стаканы, а мне придвинула мою нетронутую кружку:

— Кушайте же, не обижайте нас.

— Да ведь не один же я? Вот и молодой человек не пьет...

— Шалунок-то? Ему нельзя, — сказал Оська.

— Ему доктор запретил... — успокоила полковница.

— А вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не по-

лагается. Извольте пить! — сказал бородач-банкомет и потянулся ко мне чокаться.

Я отказался.

— Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете нами! Это у нас не полагается. Пейте! Ну? Не доводи до греха, пей!

— Нет!

— А, нет? Оська, лей ему в глотку!

Банкомет вскочил со стула, схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот.

Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он с воем грохнулся на пол.

— Что еще там? — раздался позади меня голос, и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне, и мы оба замерли от удивления.

— Это вы? — воскликнул человек в сюртуке и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкомета, борода которого была в крови. Тот снова упал. Передо мной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой «спортсмен», который вез меня в своем шарабане. Все остальные окаменели.

Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи кружку с пивом и выплеснул на пол.

— Убери! — приказал он дрожавшей от страха полковнице. — Владимир Алексеевич, как вы сюда попали? Зайдемте ко мне в комнату.

— Ну вас к черту! Я домой...

И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стоял, лежа на брюхе и выплевывая зубы, банкомет.

— Нет, нет, я вас провожу!..

Выскочил за мной, под локоть помогая мне подняться по избитым камням лестницы, и бормотал извинения...

Я упорно молчал. В голове мелькало: «Концы в

воду, Ларепланд с «малинкой», нмец, кружка с птицей...»

«Спортсмен» продолжал рассыпаться передо мной в извинениях и между прочим сказал:

— Все-таки я вас спас от Самсона. Он ведь мог вас изуродовать.

— Ну, спас-то я себя сам, потому что «малинки» не выпил.

— Откуда вы знаете? — встрепнулся он и вдруг спохватился и уже другим тоном добавил: — Какой такой «малинки»?

— А которую ты выплеснул из кружки. Мало ли что я знаю.

— Вы... вы... — Зубы стучали, слово не выходило.

— Все знаю да молчать умею.

— Вижу-с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли. Там отдельный выход. Приятели собрались... В картишки поиграть. Ведь я здесь не живу...

— Видел... Голиафа, маркера, узнал.

— Да... он под рукой сидел... метал Кречинский. Там еще Цапля... Потом Ватошник, потом...

— Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик!

— Кому сыщик, а нам дружок... Еще раз, простите великодушно.

— Помни: я все знаю, но и виду не подам никогда. Будто ничего не было. Прощай! — крикнул я ему уже из калитки...

При встречах «спортсмен» старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал:

— Обещались, Владимир Алексеевич, а вот в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока... А ведь как ясно — Феньку все знают за полковницу, а барона по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили, его ведь вся полиция знает, он даже прописанный. Главное вот барон...

— Ну, успокойся, больше не буду.

Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мною притон, игру в карты, отравленного «малинкой» гостя, которого потащила

сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только Колосов переулок назвал Безымянным. Обстановку описал и в подробностях, как живых, действующих лиц. Барон Дорфгаузен, Отто Карлович... и это действительно было его настоящее имя.

А эпитафия к рассказу был такой:

«...При очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие...»

ДРАМАТУРГИ ИЗ «СОБАЧЬЕГО ЗАЛА»

Всё от пустяков — вроде дырки в кармане.

В те самые времена, о которых я пишу сейчас, был у меня один разговор:

— Персидская ромашка! О нет, вы не шутите, это в жизни вещь великая. Не будь ее на свете — не был бы я таким, каким вы меня видите, а мой патрон не состоял бы в членах Общества драматических писателей и не получал бы тысячи авторского гонорара, а «Собачий зал»... Вы знаете, что такое «Собачий зал»?..

— Не знаю.

— А еще репортер известный, «Собачьего зала» не знаете!

Разговор этот происходил на империале вагона конки, тащившей нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой, в свеженькой коломнянковой паре, шляпе калабрийского разбойника и шотландском шарфике, завязанном «неглиже с отвагой, а ля черт меня побери», был человек с легкой проседью на висках и с бритым актерским лицом. Когда я на станции поднялся по винтовой лестнице на империал, он назвал меня по фамилии и, подвинувшись, предложил место рядом. Он курил огромную дешевую сигару. Первые слова его были:

— Экономия: внизу в вагоне пятак, а здесь, на свежем воздухе, три копейки... И не из экономии я езжу здесь, а вот из-за нее... — И погрозил дымящейся сигари-

щей. — Именно эти сигары только и курю... Три рубля вагон, полтора рубля грядка, да-с, — клопосдохс, настоящий империял, потому что только на империяле конки и курить можно... Не хотите ли сделаться империялистом? — предлагает мне сигару.

— Не курю, — и показал ему в доказательство табакерку, предлагая понюшку.

— Нет уж, увольте. Будет с меня домашнего чиханья.

А потом и бросил ту фразу о персидской ромашке... Швырнул в затылок стоявшего на Садовой городского окурок сигары, достал из кармана свежую, закурил и откомендовался:

— Я — драматург Глазов. Вас я, конечно, знаю.

— А какие ваши пьесы?

— Мои? А вот...

И он перечислил с десяток пьес, которые, судя по афишам, принадлежали перу одного известного режиссера, прославившегося обилием переделок иностранных пьес. Его я знал и считал, что он автор этих пьес.

— Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие... — Я назвал фамилию.

— Да, они принадлежали ему, а автор их — я. Семнадцать пьес в прошлом году ему сделал и получил за это триста тридцать четыре рубля. А он на каждой согни наживает, да и писателем драматическим числится, хотя собаку через «ять» пишет. Прежде в парикмахерской за кулисами мастерам шипцы подавал, задаром нищих брил, постигая ремесло, а теперь вот и деньги, и почет, и талантом считают... В Обществе драматических писателей заседает... Больше ста пьес его числится по каталогу, переведенных с французского, английского, испанского, польского, венгерского, итальянского и пр. и пр. А все они переведены с «арапского»!

— Как же это случилось?

— Да так. Года два назад написал я комедию. Туда, сюда — не берут. Я — к нему в театр. Не застаю. Иду на дом. Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит важно, развальясь в кресле у письменного стола.

— Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим, и гонорар пополам, — предлагаю ему.

Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару и газету.

— И талант у вас есть, и сцену знаете, только мне свое имя вместе с другим ставить неудобно. К нашему театру пьеса тоже не подходит.

— Жаль!

— Вам, конечно, деньги нужны? Да?

— Прямо жить нечем.

— Ну, так вот, переделайте мне эту пьесу.

И подал мне французскую пьесу, переведенную одним небезызвестным переводчиком, жившим в Харькове.

Я посмотрел новенькую, только что процenzурованную трехактную пьесу.

— Как переделать? Да ведь она переведена?

— Да очень просто: сделать нужно так, чтобы пьеса осталась та же самая, но чтобы и автор и переводчик не узнали ее. Я бы это сам сделал, да времени нет... Как эту сделаете, я сейчас же другую дам.

Я долго не понимал сначала, чего он, собственно, хочет, а он начал мне способы переделки объяснять, и так-то образно, что я сразу постиг, в чем дело.

— Ну-с, так через неделю чтобы пьеса была у меня. Неделя — это только для начала, а там надо будет пьесы в два дня перешивать.

Через неделю я принес. Похвалил, дал денег и еще пьесу. А там и пошло, и пошло: два дня — трехактный фарс и двадцать пять рублей. Пьеса его и подпись его, а работа целиком моя.

Я заинтересовался, слушал и ровно ничего не понимал.

Вагон остановился у Страстного, и, слезая с импернала, Глазов предложил мне присесть на бульваре, у памятника Пушкину. Он рассказывал с увлечением. Я слушал со вниманием.

— Как же вы переделывали и что? Откуда же режиссер брал столько пьес для переделки? — спросил я.

— Да ведь он же режиссер. Ну, пришлют ему пьесу для постановки в театре, а он сейчас же за мной. Прихожу к нему тайком в кабинет. Двери позатворяет, слышу — в гостиной знакомые голоса, товарищи по сце-



Старый «Метрополь».



Тверская у Триумфальных ворот.

не там, а я, как краденый. Двери кабинета на ключ. Подает пьесу — только что с почты — и говорит:

— Сделай к пятнице. В субботу должны отослать обратно. Больше двух дней держать нельзя.

Раз в пьесе, полученной от него, письмо попало: писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не может по независящим обстоятельствам. Конечно, зачем чужую ставить, когда своя есть! Через два дня я эту пьесу перелицевал, через месяц играли ее, а фарс с найденным письмом отослали автору обратно в тот же день, когда я возвратил его.

Мой собеседник увлекся

— И сколько пьес я для него переделал! И как это просто! Возьмешь, это самое, новенькую пьесу, прочитаешь и первое дело даешь ей подходящее название. Например, автор назвал пьесу «В руках», а я сейчас — «В рукавицах», или назовет автор — «Рыболов», а я — «На рыбной ловле». Переменишь название, принимаешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только в голову взбредут, только бы на французские походили. Взбрело в голову первое попавшееся слово, и сейчас его на французское. Маленьких персонажей перешиваешь по-своему: итальянца делаешь греком, англичанина — американцем, лакея — горничной... А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь автомата или попугая. Попугай или автомат на сцене, а нужные слова за него говорят за кулисами. Ну-с, с действующими лицами покончишь, декорации и обстановку переиначишь. Теперь надо изменять по-своему каждую фразу и перетасовывать явления. Придумываешь эффектный конец, соль оригинала заменяешь сальцем, и пьеса готова.

Он сразу впал в минорный тон.

— Обворовываю талантливых авторов! Ведь на это я пошел, когда меня с квартиры гнали... А потом привык. Я из-за куска хлеба, а тот имя свое на пьесах выставляет, слава и богатство у него. Гонорары авторские лопатой гребет, на рысках ездит... А я? Расхожусь все мои, получаю за пьесу двадцать рублей, из них пять рублей переписчикам... Опохмеляю их, оголтелых, чаем пою... Пока не опохмелишь, руки-то у них ходуном ходят...

Он много еще говорил и взял с меня слово обязательно посетить его.

— Мы только с женой вдвоем. Она — бывшая провинциальная артистка, драматическая инженерю. Завтра я свободен, заказов пока нет. Итак, завтра в час дня.

— Даю слово.

На другой день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с трактиром «Молдавия», на Живодерке¹, в квартиру Глазова.

В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека, одетых в лохмотья; четвертый — в крахмальной рубаше и в одном жилете — из большой коробки сыпал оборванцев каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым.

— Здравствуйте, Глазов! — крикнул я с лестницы.

— А, это вы, Владимир Алексеевич! Сейчас... Только пересыплю этих дьяволов, — и он бросал горстями порошок за ворот, за пазуху, даже за пояс брюк троим злополучникам.

Несчастные ежились, хохотали от щекотки и чихали.

— Ну, подождите, пока не повылазят. А мы пойдем. Пожалуйте!

И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартирку.

— Что за история? — спрашиваю я.

— Переписчики пришли, — серьезно ответил мне Глазов. — Сейчас заказ принесли срочный.

— Так в чем же дело?

— Персидской ромашкой я пересыпаю... А без этого их нельзя... Извините меня... Я сейчас оденусь.

Он накинул пиджак.

— Эллен! Ко мне мой друг пришел... Писатель... Приготовь нам закусить... Да иди сюда.

— Mille pardon... Я не одета еще.

Из спальни вышла молодая особа с папильотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице.

¹ Теперь улица Красина.

— Моя жена... Стасова-Сарайская... Инженерная драматическая.

— Ах, Жорж! Не может он без глупых шуток! — улыбнулась она мне. — Простите, у нас беспорядок. Жорж возится с этой рванью, с переписчиками... Сидят и чешутся... На сорок копеек в день персидской ромашки выходит... А то без нее такой зоологический сад из квартиры сделают, что сбежишь... Они из «Собачьего зала».

Глазов перебивает:

— Да. Великое дело — персидская ромашка. Сам я это изобрел. Сейчас их осыплешь — и в бороду, и в голову, и в белье, у которых есть... Потом полчаса поддержишь в сенях, и все в порядке: пишат, не чешутся, и в комнате чисто...

— Так, говорите, без персидской ромашки и пьес не было бы?

— Не было бы. Ведь их в квартиру пускать нельзя без нее... А народ они грамотный и сцену знают. Некоторые — бывшие артисты... В два дня пьесу стряпаем: я — явление, другой — явление, третий — явление, и кипит дело... Эллен, ты угощай завтраком гостя, а я займусь пьесой... Уж извините меня пока... Завтра утром сдавать надо... Посидите с женой.

Мы вошли в комнату рядом со спальней, где на столе стояла бутылка водки, а на керосинке жарилось мясо.

В декабре стояла сырая, пронизывающая погода: снег растаял, стояли лужи; по отвратительным московским мостовым проехать невозможно было ни на санях, ни на колесах.

То же самое было и на Живодерке, где помещался «Собачий зал Жана де Габриель». Населенная мастеровым людом, извозчиками, цыганами и официантами, улица эта была весьма шумной и днем и ночью. Когда уже все «заведения с напитками» закрывались и охочему человеку негде было достать живительной влаги, тогда он шел на эту самую улицу и удовлетворял свое желание в «Таверне Питера Питта».

Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на

языке обитателей «Собачьего зала», состоявшего при «Таверне Питера Питта».

По словам самого Жана Габриеля, он торговал напитками по двум уставам: с семи утра до одиннадцати вечера — по питейному, а с одиннадцати вечера до семи утра — по похмельному.

Вечером, в одиннадцать часов, лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли два громадных сундука — один с бутылками, другой с полубутылками. Торговала ими «бабушка» на вынос и распиночно в «Собачьем зале». На вынос торговали через форточку. Покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит бутылку. Форточка эта называлась «шланбой». Таких «шланбоев» в Москве было много: на Грачевке, на Хитровке и на окраинах. Если ночью надо достать водки, подходи прямо к городовому, спроси, где достать, и он укажет дом:

— Войдешь в ворота, там шланбой, занавеска красная. Войдешь, откроется форточка... А потом мне гривенник сунешь или дашь глотнуть из бутылки.

Возвращаясь часу во втором ночи с Малой Грузинской домой, я скользил и тыкался по рытвинам тротуаров Живодерки. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма отрепанный, небритый человек с актерским лицом. Знакомые черты, но никак не могу припомнить.

Он назвался.

— Запутался, брат, запил. Второй год в «Собачьем зале» пребываю. Сцену бросил, переделкой пьес занимаюсь.

Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером — и больно стало при виде этого опустившегося бедняка: опух, дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются.

— Водочки бы, — нерешительно обратился он ко мне.

— Да ведь поздно, а то угостил бы.

— Нет, что ты! Пойдем со мною, вот здесь, рядом...

Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледеленному тротуару. На углу переуллка стоял деревянный двухэтажный дом и рядом с ним, через ворота,

освещенный фонарем, старый флигель с казенной зеленой вывеской «Винная лавка».

Мы остановились у ворот.

Актер стукнул в калитку.

— Кто еще? — прохрипели со двора.

— Сезам, отворись, — ответил мой спутник.

— Кто? — громче хрипело со двора.

— Шланбой.

По этому магическому слову калитка отворилась, со двора пахнуло зловонием, и мы прошли мимо дворника в тулупе, с громадной дубиной в руках, на крыльцо флигеля и очутились в сенях.

— Держись за меня, а то загремишь, — предупредил меня спутник.

Роли переменились: теперь я держался за его руку.

Он отворил дверь. Пахнуло теплом, ужасным, зловонным теплом жилой трущобы.

Картина, достойная описания: маленькая комната, грязный стол с пустыми бутылками, освещенный жестяной лампой; налево громадная русская печь (помещение строилось под кухню), а на полу вповалку спало более десяти человек обоего пола, вперемежку, так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола.

— Вот мы и дома, — сказал спутник и заорал диким голосом: — Проснитесь, мертвые, восстаньте из гробов! Мы водки принесли!..

Кучи лохмотьев зашевелились, послышались недовольные голоса, ругань.

А он продолжал:

— Мы водки принесли!

И полез на печь.

— Бабка, водки!

— Ишь вас носит, дьяволы-полунощники, покоя вам нет...

— Аркашка, ты? — послышалось с печи.

А с полу вставали, протирали глаза, бормотали:

— Где водка?..

— Дайте, черти, воды! Горло пересохло! — стонала полураздетая женщина, с растрепанными волосами, матово-бледная, с синяком на лбу.

— Аркашка, кого привел?.. Карася?

— Да еще какого, бабка... Водки!

С печи слезли грязная, морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть пенсне с одним стеклом: другое было разбито, и он закрывал глаз, против которого не было стекла.

— Тоже артист и автор, — рекомендовал Аркашка.

Я рассматривал комнату. Над столом углем была нарисована нецензурная карикатура, изображавшая человека, который, судя по лицу, много любил и много пострадал от любви; под карикатурой подпись:

«Собачий зал Жана де Габриель»

Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев,

ДВОРЦЫ, КУПЦЫ И ЛЯПИНЦЫ

Во всех благоустроенных городах тротуары идут по обе стороны улицы, а иногда, на особенно людных местах, поперек мостовых для удобства пешеходов делались то из плетняка, то из асфальта переходы. А вот на Большой Дмитровке булыжная мостовая пересечена наискось прекрасным тротуаром из гранитных плит, по которому никогда и никто не переходит, да и переходить незачем: переулков близко нет.

Этот гранитный тротуар начинается у подъезда небольшого особняка с зеркальными окнами. И как раз по обе стороны гранитной диагонали Большая Дмитровка была всегда самой шумной улицей около полуночи.

В Богословском (Петровском) переулке с 1883 года открылся театр Корша. С девяти вечера отовсюду поодиночке начинали съезжаться извозчики, становились в линию по обеим сторонам переулка, а не успевшие занять место вытягивались вдоль улицы по правой ее стороне, так как левая была занята лихачами и парными «голубчиками», платившими городу за эту биржу крупные суммы. «Ваньки», желтоглазые погонялки — эти извозчики низших классов, а также кашники, приезжавшие в столицу только на зиму, платили «халтуру» полиции.

Дежурные сторожа и дворники, устанавливавшие порядок, подходили к каждому подъезжающему извозчи-

ку, и тот совал им в руку заранее приготовленный гривенник.

Городовой важно прогуливался по середине улицы и считал запряжки для учета при дележе. Иногда он подходил к лихачам, здоровался за руку: взять с них, с биржевых плательщиков, было нечего. Разве только приятель-лихач угостит папироской.

Прохожих в эти театральные часы на улице было мало. Чаще других пробегали бедно одетые студенты, возвращаясь в свое общежитие на заднем дворе купеческого особняка.

Извозчики стояли кучками у своих саней, курили, болтали, распивали сбитень, а то и водочку, которой приторговывали сбитенщики, тоже с негласного разрешения городского.

Еще с начала вечера во двор особняка въехало несколько ассенизационных бочек, запряженных парами кляч, для своей работы, которая разрешалась только по ночам. Эти «ночные брокеры», прозванные так в честь известной парфюмерной фирмы, открывали выгребные ямы и переливали содержимое черпаками на длинных рукоятках и увозили за заставу. Работа шла. Студенты протискивались сквозь вереницы бочек, окруживших вход в общежитие.

Вдруг извозчики засуетились и выстроились вдоль тротуаров в выжидательных позах.

— Корш отходит!

Из переулка вываливалась театральная публика, веселая, оживленная.

Извозчики набросились:

— Вам куды? Ваш-здоровь, с Иваном!

— Рублик. Вам куды?

Орут на все голоса извозчики, толкаясь и перебивая друг друга, загораживая дорогу публике.

— Куды? Куды? — висит в воздухе.

Городовой ходит с видом, по крайней мере, командующего армией и покрикивает.

Вдруг в этот момент отворяются ворота особняка и показывается пара одров с бочкой...

— Куды? Назад! — покрывает шум громовой воз-

глас городского. — А ты чего глядишь, морда? Вишь, публика не прошла!

И дворник, сидевший у ворот, поощряется начальственным жестом в рыло.

— Дрыхнешь, дьявол!

Пара кляч задвигается усилиями обоих назад во двор, и ворота закрываются. Но аромат уже отравил ругающуюся публику...

Извозчики разъехались. Публика прошла. К сверкавшему яблочковыми фонарями подъезду Купеческого клуба подкатывали собственные запряжки, и выходившие из клуба гости на лихачах уносились в загородные рестораны «взять воздуха» после пира.

Купеческий клуб помещался в обширном доме, принадлежавшем в екатерининские времена фельдмаршалу и московскому главнокомандующему графу Салтыкову и после наполеоновского нашествия перешедшем в семью дворян Мятлевых. У них-то и нанял его московский Купеческий клуб в сороковых годах.

Тогда еще Большая Дмитровка была сплошь дворянской: Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы, Мятлевы... Только позднее дворцы стали переходить в руки купечества, и на грани настоящего и прошлого веков исчезли с фронтонов дворянские гербы, появились на стенах вывески новых домовладельцев: Солодовниковы, Голофтеевы, Цыплаковы, Шелапутины, Хлудовы, Обидины, Ляпины...

В старину Дмитровка носила еще название Клубной улицы — на ней помещались три клуба: Английский клуб в доме Муравьева, там же Дворянский, потом переехавший в дом Благородного собрания; затем в дом Муравьева переехал Приказчиный клуб, а в дом Мятлева — Купеческий. Барские палаты были заняты купечеством, и барский тон сменился купеческим, как и изысканный французский стол перешел на старинные русские кушанья.

Стерляжья уха; двухаршинные осетры; белуга в рассоле; «банкетная» телятина; белая, как сливки, ин-

дюшка, откормленная грецкими орехами; «пополамные расстегаи» из стерляди и налимьих печенок; поросенок с хреном; поросенок с кашей. Поросята на «вторничные» обеды в Купеческом клубе покупались за огромную цену у Тестова, такие же, какие он подавал в своем знаменитом трактире. Он откармливал их сам на своей даче, в особых кормушках, в которых ноги поросенка перегораживались решеткой: «чтобы он с жирку не сбрыкнул!» — объяснял Иван Яковлевич.

Каплуны и пулярки шли из Ростова Ярославского, а телятина «банкетная» от Троицы, где телят отпаивали цельным молоком.

Все это подавалось на «вторничных» обедах, многоядных и шумных, в огромном количестве.

Кроме вин, которых истреблялось море, особенно шампанского, Купеческий клуб славился один на всю Москву квасами и фруктовыми водами, секрет приготовления которых знал только один многолетний эконом клуба — Николай Агафоныч.

При появлении его в гостиной, где после кофе с ликерами переваривали в креслах купцы лукулловский обед, сразу раздавалось несколько голосов:

— Николай Агафоныч!

Каждый требовал себе излюбленный напиток. Кому подавалась ароматная листовка: черносмородиновой почкой пахнет, будто весной под кустом лежишь; кому вишневая — цвет рубина, вкус спелой вишни; кому малиновая; кому белый сухарный квас, а кому кислые щи — напиток, который так газирован, что его приходилось закупоривать в шампанки, а то всякую бутылку разорвет.

— Кислые щи и в нос шибает, и хмель вышибают! — говаривал десятипудовый Ленечка, пивший этот напиток пополам с замороженным шампанским.

Ленечка — изобретатель кулебяки в двенадцать ярусов, каждый слой — своя начинка; и мясо, и рыба разная, и свежие грибы, и цыплята, и дичь всех сортов. Эту кулебяку готовили только в Купеческом клубе и у Тестова, и заказывалась она за сутки.

На обедах играл оркестр Степана Рябова, а пели хоры — то цыганский, то венгерский, чаще же русский

от «Яра». Последний пользовался особой любовью, и содержательница его, Анна Захаровна, была в почете у гуляющего купечества за то, что умела потрафлять купцу и знала, кому какую певицу порекомендовать; последняя исполняла всякий приказ хозяйки, потому что контракты отдавали певицу в полное распоряжение содержательницы хора.

Только несколько первых персонажей хора, как, например, голосистая Поля и красавица Александра Николаевна, считались недоступными и могли любить по своему выбору. Остальные были рабынями Анны Захаровны.

Реже приглашался цыганский хор Федора Соколова от «Яра» и Христофора из «Стрельны», потому что с цыганками было не так-то просто ладить. Цыганку деньгами не купишь.

И венгерки тоже не нравились купечеству:

— По-каковски я с ней говорить буду?

После обеда, когда гурманы переваривали пищу, а игроки усаживались за карты, любители «клубнички» слушали певиц, торговались с Анной Захаровной и, когда хор уезжал, мчались к «Яру» на лихачах и парных «голубчиках», биржа которых по ночам была у Купеческого клуба. «Похищение сабинянок» из клуба не разрешалось, и певицам можно было уезжать со своими поклонниками только от «Яра».

Во время сезона улица по обеим сторонам всю ночь напролет была уставлена экипажами. Вправо от подъезда, до Глинищевского переулка, стояли собственные купеческие запряжки, ожидавшие, нередко до утра, засидевшихся в клубе хозяев. Влево, до Козицкого переулка, размещались сперва лихачи и за ними гремели бубенцами парные с отлетом «голубчики» в своих окованных жестью трехместных санях.

В корню — породистый рысак, а донская пристяжная — враспряжку, чтоб она, откинувшись влево, в кольцо выгибалась, мордой к самой земле.

И лихачи и «голубчики» знали своих клубных седоков, и седоки знали своих лихачей и «голубчиков» — прямо шли, садились и ехали.

А то вызывались в клуб лихие тройки от Ечкина

или от Ухарского и, гремя бубенцами, несли веселые компании за заставу, вслед за хором, уехавшим на парных долгушах-линейках.

И неслись по ухабам Тверской, иногда с песнями, загулявшие купцы. Молчаливые и важные лихачи на тысячных рысках перегонялись с парами и тройками.

— Эгей-гей, голубчики, грррабб-ят! — раздавался любимый ямщицкий клич, оставшийся от разбойничьих времен на больших дорогах и дико звучащий на сонной Тверской, где не только грабителей, но и прохожих в ночной час не бывало.

Умчались к «Яру» подвыпившие за обедом любители «клубнички», картежники перебирались в игорные залы, а за «обжорным» столом в ярко освещенной столовой продолжали заседать гурманы, вернувшиеся после отдыха на мягких диванах и креслах гостиной, придумывали и обдумывали разные заковыристые блюда на ужин, а накрахмаленный повар в белом колпаке делал свои замечания и нередко одним словом разбивал кулинарные фантазии, не считаясь с тем, что за столом сидела сплоченная компания именитого московского купечества.

А если приглашался какой-нибудь особенно почтенный гость, то он только молча дивился и своего суждения иметь не мог.

Но однажды за столом завсегдатаев появился такой гость, которому даже повар не мог сделать ни одного замечания, а только подобострастно записывал то, что гость говорил.

Он заказывал такие кушанья, что гурманы рты разевали и обжирались до утра. Это был адвокат, еще молодой, но плотный мужчина, не уступавший по весу сидевшим за столом. Недаром это был собиратель печатной и рукописной библиотеки по кулинарии. Про него ходили стихи:

Видел я архив обжоры,
Он рецептов вкусно жрать
От Кавказа до Ижоры
За сто лет сумел собрать.

«Вторничные» обеды были особенно многолюдны. Здесь отводили свою душу богачи-купцы, питавшиеся

всухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Арсентьичу или в «сундучный ряд» за горячей ветчиной и белугой с хреном и красным уксусом, а то просто покупая эти и другие закуски и жареные пирожки у разносчиков, снующих по городским рядам и торговым амбарам Ильинки и Никольской.

— Пир-роги горячие!

В другие дни недели купцы обедали у себя дома, в Замоскворечье и на Таганке, где их ожидала супруга за самоваром и подавался обед, то постный, то скоромный, но всегда жирный — произведение старой кухарки, не любившей вносить новшества в меню, раз установленное ею много лет назад.

И вот по вторникам ездило это купечество обжираться в клуб.

В семидесятых и восьмидесятых годах особенно славился «хлудовский стол», где председательствовал степеннейший из степенных купцов, владелец огромной библиотеки Алексей Иванович Хлудов со своим братом, племянником и сыном Михаилом, о котором ходили по Москве легенды.

* * *

А. Н. Островский в «Горячем сердце», изображая купца Хлынова, имел в виду прославившегося своими кутежами в конце прошлого века Хлудова. «Развлечение», модный иллюстрированный журнал того времени, целый год печатал на заглавном рисунке своего журнала центральную фигуру пьяного купца, и вся Москва знала, что это Миша Хлудов, сын миллионера-фабриканта Алексея Хлудова, которому отведена печатная страничка в словаре Брокгауза, как собирателю знаменитой Хлудовской библиотеки древних рукописей и книг, которую описывали известные ученые.

Библиотека эта по завещанию поступила в музей. И старик Хлудов до седых волос вечера проводил помолодому, ежедневно за лукулловскими ужинами в Купеческом клубе, пока в 1882 году не умер скоропостижно по пути из дома в клуб. Он ходил обыкновенно в высоких сапогах, длинном черном сюртуке и всегда в цилиндре.

Когда карета Хлудова в девять часов вечера подъехала, как обычно, к клубу и швейцар отворил дверку кареты, Хлудов лежал на подушках в своем цилиндре уже без признаков жизни. Состояние перешло к его детям, причем Миша продолжал прожигать жизнь, а его брат Герасим, совершенно ему противоположный, сухой делец, продолжал блестящие дела фирмы, живя незаметно.

Миша был «притчей во языцех»... Любимец отца, удалец и силач, страстный охотник и искатель приключений. Еще в конце шестидесятых годов он отправился в Среднюю Азию, в только что возникший город Верный, для отыскания новых рынков, и застрял там, проводя время на охоте на тигров. В это время он напечатал в «Русских ведомостях» ряд интереснейших корреспонденций об этом, тогда неведомом крае. Там он подружился с генералом М. Г. Черняевым. Ходил он всегда в сопровождении огромного тигра, которого приручил, как собаку. Солдаты дивились на «вольного с тигрой», любили его за удаль и безумную храбрость и за то, что он широко тратил огромные деньги, поил солдат и помогал всякому, кто к нему обращался.

Так рассказывали о Хлудове очевидцы. А Хлудов явился в Москву и снова безудержно загулял.

В это время он женился на дочери содержателя мебелированных комнат, с которой он познакомился у своей сестры, а сестра жила с его отцом в доме, купленном для нее на Тверском бульваре. Женившись, он продолжал свою жизнь без изменения, только стал еще задавать знаменитые пиры в своем Хлудовском тупике, на которых появлялся всегда в разных костюмах: то в кавказском, то в бухарском, то римским полуголым гладиатором с тигровой шкурой на спине, что к нему шло благодаря чудному сложению и отработанным мускулам и от чего в восторг приходили московские дамы, присутствовавшие на пирах. А то раз весь выкрасился черной краской и явился на пир негром. И всегда при нем находилась тигрица, ручная, ласковая, прожившая очень долго, как домашняя собака.

В 1875 году начались события на Балканах: восстала Герцеговина. Черняев был в тайной переписке с серб-

ским правительством, которое приглашало его на должность главнокомандующего. Переписка, конечно, была прочитана третьим отделением, и за Черняевым был учрежден надзор, в Петербурге ему отказано было выдать заграничный паспорт. Тогда Черняев приехал в Москву к Хлудову, последний устроил ему и себе в канцелярии генерал-губернатора заграничный паспорт, и на лихой тройке, никому не говоря ни слова, они вдвоем укатили из Москвы — до границ еще распоряжение о невыпуске Черняева из России не дошло. Словом, в июле 1876 года Черняев находился в Белграде и был главнокомандующим сербской армии, а Миша Хлудов неотлучно состоял при нем.

Мой приятель, бывший участник этой войны, рассказывал такую сцену:

— Приезжаю с докладом к Черняеву в Делиград. Меня ведут к палатке главнокомандующего. Из палатки выходит здоровенный русак в красной рубахе с солдатским Георгием и сербским орденом за храбрость, — а в руках у него бутылка рома и чайный стакан.

— Ты к Черняеву? К Мише? — спрашивает меня.

Я отвечаю утвердительно.

— Ну так это все равно, и он Миша и я Миша. На, пей.

Налил стакан рому. Я отказываюсь.

— Не пьешь? Стало быть, ты дурак. — И залпом выпил стакан.

А из палатки выглянул Черняев и крикнул:

— Мишка, пошел спать!

— Слушаю, ваше превосходительство. — И, отсалютовав стаканом, исчез в соседней палатке.

Вернулся Хлудов в Москву, женился во второй раз, тоже на девушке из простого звания, так как не любил ни купчих, ни барынь. Очень любил свою жену, но пьянствовал по-старому и задавал свои обычные сбеда.

И до сих пор есть еще в Москве в живых люди, помнящие обед 17 сентября, первые именины жены после свадьбы. К обеду собралась вся знать, административная и купеческая. Перед обедом гости были приглашены в зал посмотреть подарок, который муж сделал своей молодой жене. Внесли огромный ящик сажени две дли-

ны, рабочие сорвали крышку. Хлудов с топором в руках сам старался вместе с ними. Отбили крышку, перевернули его дном кверху и подняли. Из ящика вывалился... огромный крокодил.

Последний раз я видел Мишу Хлудова в 1885 году на собачьей выставке в Манеже. Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног его сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудова. Это была его последняя тигрица, недавно привезенная из Средней Азии, но уже прирученная им, как собачонка.

Вскоре Хлудов умер в сумасшедшем доме, а тигрица Машка переведена в Зоологический сад, где была посажена в клетку и зачахла.



Всё это были люди, проедавшие огромные деньги. Но были и такие любители «вторничных» обедов, которые из скупости посещали их не более раза в месяц.

Таков был один из Фирсановых. За скупость его звали «костяная яичница». Это был миллионер, лесной торговец и крупный дисконтер, скарעד и копеечник, каких мало. Детей у него в живых не осталось, и миллионы пошли по наследству каким-то дальним родственникам, которых он при жизни и знать не хотел. Он целый день проводил в конторе, в маленькой избушке при лесном складе, в глухом месте, невдалеке от товарной станции железной дороги. Здесь он принимал богачей, нуждавшихся в деньгах, учитывал векселя на громадные суммы под большие проценты и делал это легко, но в мелочах был скуп невероятно.

В минуту откровенности он говорил:

— Ох, мученье, а не жизнь с деньгами. В другой раз я проснусь и давай на счетах прикидывать. В день сто тысяч вышло. Ну, десятки-то тысяч туда-сюда, не беспокоись о них — знаешь, что на дело ушли,

не жаль. А вот мелочь! Вот что мучит. Примерно, привезет из моего имени приказчик продукты, ну, масла, овса, муки... Примешь от него, а он, идол этакий, стоит перед тобой и глядит в глаза... На чай, вишь, — привычка у них такая — дожидается!.. Ну, вынешь из кармана кошелек, достанешь гривенник, думаешь дать, а потом мелькнет в голове: ведь я ему жалованье плачу, за что же еще сверх того давать? А потом опять думаешь: так заведено. Ну, скрепя сердце и дашь, а потом ночью встанешь и мучаешься, за что даром гривенник пропал. Ну вот, я и удумал, да так уж и начал делать: дам приказчику три копейки и скажу: «Вот тебе три копейки, добавь свои две, пойдн в трактир, закажи чайку и пей в свое удовольствие, сколько хочешь».

В 1905 году в его контору явились экспроприаторы. Скомандовав служащим «руки вверх», они прошли к «самому» в кабинет и, приставив револьвер к виску, потребовали:

— Отпирай шкаф!

Он так рассказывал об этом случае:

— Отпираю, а у самого руки трясутся, уже и денег не жаль: боюсь, вдруг пристрелят. Отпер. Забрали тысяч десять с лишком, меня самого обыскали, часы золотые с цепочкой сняли, приказали четвергь часа не выходить из конторы... А когда они ушли, уж и хохотал я, как их надул: пока они мне карманы обшаривали, я в кулаке держал десять золотых, успел со стола схватить... Не догадались кулак-то разжать! Вот как я их надул!.. Хи-хи-хи! — и раскатывался дробным смехом.

Над ним, по купеческой привычке, иногда потешались, но он ни на кого не обижался.

Не таков был его однофамилец, с большими рыжими усами вроде сапожной щетки. Его никто не звал по фамилии, а просто именовали: Паша Рыжесов, на что он охотно откликался. Паша тоже считал себя гурманом, хоть не мог отличить рябчика от куропатки. Раз собеседники зло над ним посмеялись, после чего Паша не ходил на «вторничные» обеды года два, но его уговорили, и он снова стал посещать обеды: старое было забыто. И вдруг оно всплыло совсем

неожиданно, и стол уже навсегда лишился общества Паши.

В числе обедающих на этот раз был антрепренер Ф. А. Корш, часто бывавший в клубе; он как раз сидел против Рыжеусова.

— Павел Николаевич, что это я вас у себя в театре не вижу?

— Помилуйте, Федор Адамыч, бываю изредка... Вот на это воскресенье велел для ребятишек ложу взять. Что у вас пойдет?

— В воскресенье? «Женитьба».

— Что-о?

— «Женитьба» Гоголя...

— Ну и зачем вы эту мезозость ставите?

Ф. А. Корш даже глаза вытарашил и не успел ответить, как весь стол прыснул от смеха.

— Подлецы вы все, вот что! Сволочь! — взвизгнул Рыжеусов, выскочил из-за стола и уехал из клуба.

Хохот продолжался, и удивленному Ф. А. Коршу наперерыв рассказывали причину побега Рыжеусова.

Года два назад за ужином, когда каждый заказывал себе блюдо по вкусу, захотел и Паша щегольнуть своим гурманством.

— А мне дупеля! — говорит он повару, вызванному для приема заказов.

— Дупеля? А ты знаешь, что такое дупель? — спрашивает кто-то.

— Конечно, знаю... Птичка сама по себе махонькая, так с рябчонка, а ноги во-о какие, а потом нос во-о какой!

Повар хотел возразить, что зимой дупелей нет, но веселый Королев мигнул повару и вышел вслед за ним. Ужин продолжался.

Наконец, в закрытом мельхиоровом блюде подают дупеля.

— А нос где? — спрашивает Паша, кладя на тарелку небольшую птичку с длинными ногами.

— Зимой у дупеля голова отрезается... Едок, а этого не знаешь, — поясняет Королев.

— А!

Начинает есть и, наконец, отрезает ногу.

— Почему нога нитками пришита?.. И другая тоже? — спрашивает у официанта Паша.

Тот фыркает и закрывается салфеткой. Все недоуменно смотрят, а Королев серьезно объясняет:

— Потому, что я приказал к рябчику пришить петушью ногу.

Об этом на другой день разнеслось по городу, и уж другой клочки Рыжеусову не было, как «Нога петушья»!

Однажды заташили его приятели в Малый театр на «Женитьбу», и он услышал: «У вас нога петушья!» — вскочил и убежал из театра.

Когда Гоголю поставили памятник, Паша ругательно ругался:

— Ему! Надсмешнику!

Бывал на «вторничных» обедах еще один чудака, Иван Савельев. Держал он себя гордо, несмотря на долгополый сюртук и сапоги бутылками. У него была булочная на Покровке, где все делалось по «военно-государственному», как он сам говорил. Себя он называл фельдмаршалом, сына своего, который заведовал другой булочной, именовал комендантом, калачников и булочников — гвардией, а хлебопекон — гарнизоном.

Наказания провинившимся он никогда не производил единолично, а устраивал формальные суды. Стол покрывался зеленым сукном, ставился хлеб с серебряной солонкой, а для подсудимых приносились из кухни скамьи.

Наказания были разные: каторжные работы — значит отхожие места и помойки чистить, ссылка — перевод из главной булочной во вторую. Арест заменялся денежным штрафом, лишение прав — уменьшением содержания, а смертная казнь — отказом от места.

Все старшие служащие носили имена героев и государственных людей: Скобелев, Гурко, Радецкий, Александр Македонский и так далее. Они отвечали только на эти прозвища, а их собственные имена были забыты. Так и в книгах жалованье писалось:

Александр Македонский—крендельщик	. . . 6	рублей
Гурко — калашник		6 »
Наполеон — водовоз		4 »

Так звали служащих и все старые покупатели. Надо заметить, что все «герои» держали себя гордо и поддерживали тем славу имен своих.

Гурманы охотно приглашали за свой стол Ивана Савельева, когда он изредка появлялся в клубе, потому что с ним было весело. Для потехи!

Даже постоянно серьезных братьев Ляпиных он умел рассмешить. Братья Ляпины не пропускали ни одного обеда. «Неразлучники» — звали их. Было у них еще одно прозвание — «чет и нечет», но оно забылось, его помнили только те, кто знал их молодыми.

Они являлись в клуб обедать и уходили после ужина. В карты они не играли, а целый вечер сидели в клубе, пили, ели, беседовали со знакомыми или проводили время в читальне, надо заметить, всегда довольно пустой, хотя клуб имел прекрасную библиотеку и выписывал все русские и многие иностранные журналы.

Братья Ляпины — старики, почти одногодки. Старший — Михаил Иллиодорович — толстый, обрюзгший, малоподвижный, с желтоватым лицом, на котором, выражаясь словами Аркашки Счастливецва, вместо волос «какие-то перья растут».

Младший — Николай — энергичный, бородатый, был полной противоположностью брату. Они, холостяки, вдвоем занимали особняк с зимним садом. Ляпины обладали хорошим состоянием и тратили его на благотворительные дела...

История Ляпиных легендарная, и зря ее не рассказывали всякому купцу, знавшие Ляпиных смолоду.

Ляпины родом крестьяне не то тамбовские, не то саратовские. Старший в юности служил у прасола и гонял гурты в Москву. Как-то в Моршанске, во время одного из своих путешествий, он познакомился со скопцами, и те уговорили его перейти в их секту, предлагая за это большие деньги.

Склонили его на операцию, но случилось, что сделали только половину операции, и, вручив часть обещанной суммы, докончить операцию решили через год и тогда же и уплатить остальное. Но на полученную сумму Ляпин за год успел разбогатеть и отказался от денег и операции.

А все-таки Михаил Иллиодорович обрюзг, потолстел и частенько прихварывал: причина болезни была одна — объедение.

* * *

*

В половине восьмидесятых годов выдалась бесснежная зима. На масленице, когда вся Москва каталась на санях, была настолько сильная оттепель, что мостовые оголились, и вместо саней экипажи и телеги гремели железными шинами по промерзшим камням — резиновых шин тогда не знали.

В пятницу и субботу на масляной вся улица между Купеческим клубом и особняком Ляпиных была аккуратно уложена толстым слоем соломы.

Из-под соломы не было видно даже поперечного гранитного тротуара, который, только для своего удобства, Ляпины провели в Купеческий клуб от своего подъезда.

И вот у этого подъезда, прошуршав по соломе, остановилась коляска. Из нее вышел младший брат Ляпин и помог выйти знаменитому профессору Захарьину.

Через минуту профессор, миновав ряд шикарных комнат, стал подниматься по узкой деревянной лестнице на антресоли и очутился в маленькой спальне с низким потолком.

Пахло здесь деревянным маслом и скипидаром. В углу, на пуховиках огромной кровати красного дерева, лежал старший Ляпин и тяжело дышал.

Сердито на него посмотрел доктор, которому брат больного уже рассказал о «вторничном» обеде и о том, что братец понатужился блинами, — так, десяточка на два перед обедом.

— Это что? — закричал профессор, ткнув пальцем в стенку над кроватью.

— Клопик-с... — сказал Михалыч, доверенный, сидевший неотлучно у постели больного.

— Как свиньи живете. Забрались в дыру, а рядом залы пустые. Перенесите спальню в светлую комнату! В гостиную! В зал!

Пошупал пульс, посмотрел язык, прописал героическое слабительное, еще поругался и сказал:

— Завтра можешь встать!

Взял пятьсот рублей за визит и уехал.

На другой день к вечеру солома с улицы была убрана, но предписание Захарьина братья не исполнили: спален своих не перевели...

Они смотрели каждый в свое зеркало, укрепленное на наружных стенах так, что каждое отражало свою сторону улицы, и братья докладывали друг другу, что видели:

— Пожарные по Столешникову вниз поехали.

— Студент к подъезду подошел.

Николай уезжал по утрам на Ильинку, в контору, где у них было большое суконное дело, а старший весь день сидел у окна в покойном кожаном кресле, смотрел в зеркало и ждал посетителя, которого пустит к нему швейцар — прямо, без доклада. Михаил Иллиодорович всегда сам разговаривал с посетителями.

Главным образом это были студенты, приходившие проситься в общежитие.

Швейцар знал, кого пустить, тем более, что подходящего к двери еще раньше было видно в зеркале.

Входит в зал бедно одетый юноша.

— Пожить бы у вас...

— Что же, можно. А вы кто такой будете?

Если студент университета, Ляпин спросит, какого факультета, и сам назовет его профессоров, а если ученик школы живописи, спросит — в каком классе, в натурном ли, в головном ли, и тоже о преподавателях поговорит, причем каждого по имени-отчеству назовет.

— Так-с! Значит, пожить у нас хотите?

Раскроет книгу жильцов, посмотрит отметки в общежитии и, если есть вакансия, даст записку.

— Вот с этой бумажкой идите в общежитие, спросите Михалыча, заведующего, и устраивайтесь.

На дворе огромного владения Ляпиных сзади особняка стояло большое каменное здание, служившее когда-то складом под товары, и его в конце семидесятых годов Ляпины перестроили в жилой дом, открыв здесь бесплатное общежитие для студентов университета и учеников Училища живописи и ваяния.

Поселится юноша и до окончания курса живет, да и

кончившие курс иногда оставались и жили в «Ляпинке» до получения места.

Вообще среди учащихся немногие были обеспечены — большинство беднота. И студенты и ученики Училища живописи резко делились на богачей и на многочисленную голь перекатную:

Эти две различные по духу и по виду партии далеко держались друг от друга. У бедноты не было знакомств, им некуда было пойти, да и не в чем. Ютились по углам, по комнаткам, а собирались погулять в самых дешевых трактирах. Излюбленный трактир был у них неподалеку от училища, в одноэтажном домике на углу Уланского переулка и Сретенского бульвара, или еще трактир «Колокола» на Сретенке, где собирались живописцы, работавшие по церквам. Все жили по-товарищески: у кого заведется рублишко, тот и угощает.

Многие студенты завидовали ляпинцам — туда попадали только счастливы: всегда полно, очереди не дождешься.

Много из «Ляпинки» вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Жил там некоторое время П. И. Постников, известный хирург; жил до своего назначения профессор Училища живописи художник Корин; жили Петровичев, Пырин. Многих «Ляпинка» спасла от нужды и гибели.

Были и «вечные» ляпинцы. Были три художника — Л., Б. и Х., которые по десять — пятнадцать лет жили в «Ляпинке» и оставались в ней долгое время уже по выходе из училища. Обжились тут, обленились. Существовали разными способами: писали картинки для Сухаревки, малярничали, когда трезвые... Ляпины это знали, но не гнали: пускай живут, а то пропадут на Хитровке.

«Ляпинка» была для многих студентов счастьем. Бывало нередко, что бесквартирные студенты проводили ночи на бульварах...

* *
*

В восьмидесятые годы, кажется в 1884 году, Московский университет окончил доктор Владимирова, семинарист, родом из Галича. На четвертом курсе полуголод-

ный Владимиров остался без квартиры и недели две проводил майские ночи, гуляя по Тверскому бульвару, от памятника Пушкина до Никитских ворот. В это же время, около полуночи, из своего казенного дома переходил бульвар обер-полицмейстер Козлов, направляясь на противоположную сторону бульвара, где жила известная московская красавица-портниха. Утром, около четырех-пяти часов, Козлов возвращался тем же путем домой. Владимиров, как и другие бездомовники, проводившие ночи на Тверском бульваре, знал секрет путешествий Козлова. Бледный юноша в широкополой шляпе, модной тогда среди студентов (какие теперь только встречаются в театральных реквизитах для шиллеровских разбойников), обратил на себя внимание Козлова. Утром как-то они столкнулись, и Козлов, расправив свои чисто военные усы, спросил:

— Молодой человек, отчего это я вас встречаю по ночам гуляющим вдоль бульвара?

— А оттого, что не всем такое счастье, чтобы гулять поперек бульвара каждую ночь.

* * *

Грязно, конечно, было в «Ляпинке», зато никакого начальства. В каждой комнате стояло по четыре кровати, столики с ящиками и стулья. Помещение было даровое, а за стол брали деньги.

Внизу была столовая, где подавался за пятнадцать копеек в два блюда мясной обед — щи и каша, бесплатно раз в день давали только чай с хлебом. Эта столовая была клубом, где и «крамольные» речи говорились, и песни пелись, и революционные прокламации первыми попадали в «Ляпинку» и читались открыто: сыщики туда не проникали, между своими провокаторов и осведомителей не было. Чуть подозрительное лицо появится, сейчас ляпинцы учуют, окружают и давай делать допрос по-ляпински: отбили охоту у сыщиков. Тем не менее в «Ляпинке» бывали обыски и нередко арестовывалась молодежь, но жандармы старались это делать, из боязни столкновения, не в самом помещении, а на улице, — ловили поодиночке. Во время студенческих вол-

нений здесь происходили сходки. Десятки лет свободно существовала «Ляпинка», принимая учащуюся молодежь.

Известен только один случай, когда братья Ляпины отказались принять в «Ляпинку» ученика Училища живописи, — а к художникам они благоволили особенно.

На одной из ученических выставок в Училище живописи всех поразила картина «Мертвое озеро». Вещь прекрасная, но жуткая: каменная пустыня, кровавая от лучей заката, посередине — озеро цвета застывшей крови. Автор картины — неуклюжий, оборванный человек, уже пожилой, некрасивый, с озлобленным выражением глаз, косматая шапка волос, не ведавших гребня. Это был ученик Жуков. Он пошел к Ляпину проситься в общежитие, но своим видом и озлобленно-дерзким разговором произвел на братьев такое впечатление, что они отказали ему в приеме в общежитие. Он ушел, встретил на улице знакомого кучера из той деревни, где был волостным писарем до поступления в училище. Кучер служил у какой-то княгини и, узнав, что Жукову негде жить, приютил его в своей комнатке, при конюшне.

Была у Жукова еще аллегорическая картина «После потопа», за которую совет профессоров присудил ему первую премию в пятьдесят рублей, но деньги выданы не были, так как Жуков был вольнослушателем, а премии выдавались только штатным ученикам. Он тогда был в классе профессора Савицкого, и последний о нем отзывался так:

— Жемчужина школы!

И погибла эта жемчужина школы.

Когда его перевели из кучерской в комнату старинного барского дома, прислуга стала глумиться над ним, и не раз он слышал ужасное слово:

— Дармоед.

И в один злополучный день прислуга, вошедшая убирать его комнату, увидела: из камина торчали ноги, а среди пылающих дров в камине лежала обуглившаяся верхняя часть тела несчастного художника. Директор школы князь Львов выдал сто рублей на похороны Жукова, которого товарищи проводили на Даниловское кладбище. Более близкие его друзья — а их было у него

очень мало — рассказывали, что после него осталась большая поэма в стихах, посвященная девушке, с которой он и знаком не был, но был в нее тайно влюблен... Рассказывали, что он очень тяготился своей невзрачной наружностью, был болезненно самолюбив. А все-таки, думается, выдай ему училище пятьдесят рублей, мы, может быть, увидели бы крупного, оригинального художника — этого ждал и Савицкий и товарищи, верившие в его талант...

Много талантов погибло от бедности. Такова судьба Волгушева. Слесарь, потом ученик школы, участник крупных выставок, обитатель «Ляпинки»... Его волжские пейзажи были прекрасны. Он умер от чахотки: заболел, лечиться не на что. Это тоже был человек гордый, неуступчивый... С ним был такой случай. Перед окончанием курса несколько учеников, лучших пейзажистов, были приглашены московским генерал-губернатором князем Сергеем Александровичем в его подмосковное имение «Ильинское» на лето отдыхать и писать этюды. Среди них был и Волгушев. На рождественской ученической выставке Сергей Александрович, неуклонно посещавший эти выставки, остановился перед картиной Волгушева, написанной у него в имении, расхвалил ее и спросил о цене.

Подозвали Волгушева. В отрепанном пиджаке, как большинство учеников того времени, он подошел к генерал-губернатору, который был выше его ростом на две головы, и взял его за пуговицу мундира, что привело в ужас все начальство.

— Какая цена этой картины? Она мне нравится, я хочу ее приобрести, — сказал Сергей Александрович.

— Пятьсот рублей, — отрезал Волгушев, продолжая вертеть княжескую пуговицу.

— Это слишком дорого.

— А дорого, так и не надо, дешевле не продам! — Волгушев бросил вертеть пуговицу и отошел.

Цена была неслыханная, и, кроме того, по расценке выставочной комиссии, она объявлена была в сто рублей. На это указали Волгушеву.

— Знаю; всякому другому — сто, а этому — пятьсот. Уж очень он важен... Я тоже важничать умею...



Как-то на выставке появился женский портрет ученика из класса В. А. Серова. Автор его тоже жил в «Ляпинке». Портрет этот — молодая девица в белом платье на белом фоне, в белой раме — произвел впечатление, и одна молодая дама пожелала познакомиться с художником. Ей представили автора: ляпинец как ляпинец. Но на костюм эта важная дама не обратила внимания и предложила ему написать ее портрет. На другой день в том же своем единственном пиджаке он явился в роскошную квартиру против дома генерал-губернатора и начал писать одновременно с нее и с ее дочери. Молчаливый и стесняющийся обстановки по первоначально, художник наконец поободрился, стал разговаривать, дама много расспрашивала его о жизни художников и изъявила желание устроить для них у себя вечеринку.

— Позовите ко мне ваших товарищей, только скажите, чем и как их угощать.

— Водка, селедка, огурцы, колбаса, и, пожалуй, пивка бы хорошо. Чаю не надо. А сколько позвать? Человек пяток не много?

— Да что вы! Сколько хотите зовите: чем больше, тем лучше.

— Я и тридцать наберу!

— Вот на тридцать и приготовим, очень рада.

В назначенный день к семи часам вечера приперла из «Ляпинки» артель в тридцать человек. Швейцар в ужасе, никого не пускает. Выручила появившаяся хозяйка дома, и княжеский швейцар в шегольской ливрее снимал и развешивал такие пальто и полушубки, каких вестибюль и не видывал. Только места для калош остались пустыми.

Поперла ватага по коврам в роскошную столовую и сразу расселась за огромный стол, уставленный всевозможными закусками, винами, пивом, водкой. Хозяйка и две ее знакомых дамы заняли места в конце стола. Предусмотрительно устроитель вечера усадил среди дам двух нарочно приглашенных неляпинцев, франтов-художников, красавцев, вращавшихся в светском обществе, которые заняли хозяйку дома и бывших с ней дам; боль-

ше посторонних никого не было. Муж хозяйки дома, старый генерал, вышел было, взглянул, поклонился, но его никто даже не заметил, и он скрылся, осторожно приотворив дверь.

С каждой рюмкой компания сживлялась, чокались, пили, наливали друг другу, шумели, и один из ляпинцев, совершенно пьяный, начал даже очень громко «родителей поминать». Более трезвые товарищи его уговорили уйти, швейцар помог одеться, и «Атамоныч» побрел в свою «Ляпинку», благо это было близко. Еще человек шесть «тактично» выпроводили таким же путем товарищи, а когда все было съедено и выпито, гости понемногу стали уходить.

Долго об этой пирушке вспоминали ее участники.



Были у ляпинцев и свои развлечения — театр Корша присылал им пять раз в неделю бесплатные билеты на галерку, а цирк Саламонского каждый день, кроме суббот, когда сборы всегда были полные, присылал двадцать медных блях, которые заведующий Михалыч и раздавал студентам, требуя за каждую бляху почему-то одну копейку. Студенты охотно платили, но куда эти копейки шли, никто не знал.

Кроме этого, удовольствий для студентов-ляпинцев никаких не было, если не считать бесплатного входа на художественные выставки.

Развлекались еще ляпинцы во время студенческих волнений, будучи почти всегда во главе движения. Раз было так, что больше половины «Ляпинки» ночевало в пересыльной тюрьме.

«СРЕДЫ» ХУДОЖНИКОВ

За Нарышкинским сквером, на углу Малой Дмитровки, против Страстного монастыря, в старинном барском доме много лет помещалось «Общество любителей художеств», которое здесь устраивало модные тогда «Периодические выставки».

На них лучшие картины получали денежные премии и прекрасно раскупались. Во время зимнего сезона общество устраивало «пятницы», на которые по вечерам собирались художники, ставилась натура, и они, «уставляя брады свои» в пюпитры, молчаливо и сосредоточенно рисовали, попивая чай и перекидываясь между собой редкими словами.

Иногда кто-нибудь в это время играл на рояле, кто-нибудь из гостей-певцов пел или читал стихи. Вечера оканчивались скромной закуской. На них присутствовали только корифеи художества: Маковские, Поленов, Сорокин, Ге, Неврев и члены общества — богатеи-меценаты П. М. Третьяков, Свешников, Куманин. Учащимся и молодым художникам доступа не было, а потому «пятницы» были нудны и скучны — недаром их прозвали «казенные пятницы». На них почти постоянно бывал художник-любитель К. С. Шиловский, впоследствии актер Малого театра Лошивский, человек живой, талантливый, высокообразованный. Он скучал на этих заседаниях и вот как-то пригласил кое-кого из членов «пятниц» к себе на «субботу».

И стали у него на квартире, в Пименовском переулке, собираться художники. Они рисовали, проводили время за чайным столом в веселых беседах, слушали музыку, чтение, пение; много бывало и молодежи. Все это заканчивалось ужином. На «субботах» бывал В. Е. Шмаровин, знаток живописи и коллекционер. На одной из ученических выставок он первый «углядел» Левитана и приобрел его этюдик. Это была первая вещь, проданная Левитаном, и это было началом их дружбы. Шмаровин вообще дружил с полуголодной молодежью Училища живописи, покупал их вещи, а некоторых приглашал к себе на вечера, где бывали также и большие художники. Как-то на «субботе» Шиловского он пригласил его и всех гостей к себе на следующую «среду», и так постепенно «пятницы» заглохли и обезлюдели. «Субботы» Шиловского, которые так увлекли художников попервоначалу, тоже не привились. Хлебосольный Шиловский на последние рубли в своей небольшой, прекрасно обставленной квартире угощал своих гостей ужинами с винами — художники стали стесняться бывать и ужинать на чужой счет, да еще в непривычной барской обстановке.

«Среды» Шмаровина были демократичны. Каждый художник, состоявший членом «среды», чувствовал себя здесь как дома, равно как и гости. Они пили и ели на свой счет, а хозяин дома, «дядя Володя», был, так сказать, только организатором и директором-распорядителем.

На «средах» все художники весь вечер рисовали акварель: Левитан — пейзаж, француз баталист Дик де Лонлей — боевую сценку, Клод — карикатуру, Шестеркин — натюрморт, Богатов, Ягужинский и т. д. — всякий свое. На рисунке проставлялась цена, которую получал художник за свою акварель, — от рубля до пяти. Картины эти выставлялись тут же в зале «для обозрения публики», а перед ужином устраивалась лотерея, по гривеннику за билет. Кто брал один билет, а иной богатенький гость и десяток, и два — каждому было лестно выиграть за гривенник Левитана! Оставшиеся картины продавались в магазинах Дациаро и Аванцо. Из вырученной от лотереи суммы тут же уплачивалась

стоимость картины художникам, а остатки шли на неза-тейливый ужин. Кроме того, на столах лежали папки с акварелями, их охотно раскупали гости.

И каждый посетитель «сред» сознавал, что он пьет-ест не даром.

На «субботах» и «средах» бывала почти одна и та же публика. На «субботах» пили и ели под звуки бубна, а на «средах» пили из «кубка Большого орла» под звуки гимна «среды», состоявшего из одной строчки — «Недурно пушено», на музыку «Та-ра-ра-бум-бия».

И вот на одну из «сред» в 1886 году явился в разгар дружеской беседы К. С. Шиловский и сказал В. Е. Шмаровину:

— Орел и бубен должны быть вместе, пусть будут они у тебя на средах!

«Субботы» кончились — и остались «среды».

Почетный «кубок Большого орла» на бубне Шиловского подносился Шмаровиным каждому вновь принятому в члены «среды» и выпивался под пение гимна «Недурно пушено» и грохот бубна...

Это был обряд «посвящения» в члены кружка. Так же подносился «Орел» почетным гостям или любому из участников «сред», отличившемуся красивой речью, удачным экспромтом, хорошо сделанным рисунком или карикатурой. Весело зажили «среды». Собирались, рисовали, пили и пели до утра.

В артистическом мире около этого времени образовалось «Общество искусства и литературы», многие из членов которого были членами «среды».

В 1888 году «Общество искусства и литературы» устроило в Благородном собрании блестящий бал. Точные исторические костюмы, декорация, обстановка, художественный грим — все было сделано исключительно членами «среды».

И. Левитан, Голоушев, Богатов, Ягужинский и многие другие работали не покладая рук. Бал удался — «среда» окрепла.

В 1894 году на огромный стол, где обычно рисовали по «средам» художники свои акварели, В. Е. Шмаровин положил лист бристоля и витиевато написал сверху: «1-я среда 1894-го года». Его сейчас же заполнили ри-

сунками присутствующие. Это был первый протокол «среды».

Каждая «среда» с той поры имела свой протокол... Крупные имена сверкали в этих протоколах под рисунками, отражавшими быт современности. Кроме художников, писали стихи поэты. М. А. Лохвицкая, Е. А. Буланина, В. Я. Брюсов записали на протоколах по несколько стихотворений.

Это уже в новом помещении, в особняке на Большой Молчановке, когда на «среды» стало собираться по сто и более участников и гостей. А там, в Савеловском переулке, было еще только начало «сред».

На звонок посетителей «сред» выходил В. Е. Шмаровин.

— Ну вот, друг, спасибо, что пришел! А то без тебя чего-то не хватало... Иди погрейся с морозца, — встречал он обычно пришедшего.

Кругом все знакомые... Приветствуя, В. Е. Шмаровин иногда становится перед вошедшим: в одной руке серебряная стопочка допетровских времен, а в другой — екатерининский штоф, «квинтель», как называли его на «средах».

Основная масса гостей являлась часов в десять. Старая няня, всеобщий друг, помогает раздеваться... Выходит сам «дядя Володя», целуется... Отворяется дверь в зал с колоннами, весь увешанный картинами... Посредине стол, ярко освещенный керосиновыми лампами с абажурами, а за столом уже сидит десяток художников — кто над отдельным рисунком, кто протокол заполняет... Кругом стола ходили гости, смотрели на работу. Вдруг кто-нибудь садился за рояль. Этот «кто-нибудь» обязательно известность музыкального мира: или Лентовская, или Аспергер берется за виолончель — и еще веселее работает под музыку. Входящие не здороваются, не мешают работать, а проходят дальше, или в гостиную через зал, или направо в кабинет, украшенный картинами и безделушками. Здесь, расположившись на мягкой мебели, беседуют гости... Лежат бубен, гитары, балалайки... Через коридор идут в столовую, где кипит самовар, хозяйка угощает чаем с печеньем и вареньем. А дальше комната, откуда слышатся звуки



Петрозка.



Московский: гужевой транспорт.

арфы, — это дочь хозяина играет для собравшихся подруг... Позднее она будет играть в квартете, вместе со знаменитостями, в большом зале молчановского особняка.

Была еще комната: «мертвецкая».

Это самая веселая комната, освещенная темно-красным фонарем с потолка. По стенам — разные ископаемые курганные древности, целые плато старинных серег и колец, оружие — начиная от каменного века — кольчуги, шлемы, бердыши, ятаганы.

Вдоль стен широкие турецкие диваны, перед ними столики со спичками и пепельницами, кальян для любителей. Сидят, хохочут, болтают без умолку... Кто-нибудь бренчит на балалайке, кое-кто дремлет. А «мертвецкой» звали потому, что под утро на этих диванах обыкновенно спали кто лишнее выпил или кому очень далеко было до дому...

В полночь раздавались удары бубна в руках «дяди Володи»... Это первый сигнал. Художники кончают работать. Через десять минут еще бубен...

Убираются кисти, бумаги; рисунки, еще не высохшие, ставятся на рояль. Все из-за стола расходятся по комнатам — в зале накрывают ужин... На множестве расписанных художниками тарелок ставится закуска, описанная в меню протокола. Колбасы: жеваная, дегтярная, трафаретная, черепаховая, медвежье ушко с жирком, моржовые разварные клыки, собачья радость, пятки пилигрима... Водки: горилка, брыкаловка, сногшибаловка, трын-травная и другие... Наливки: шмаровка, настоянная на молчановке, декадентская, варенуха из бубновых валетов, аукционная, урядницкая на комаре и таракане... Вина: из собственных садов «среды», с берегов моря житейского, розовое с изюминкой пур для дам. Меню ужина: 1) чудо-юдо рыба лещ; 2) тела птицы индейские на кости; 3) рыба лабардан, соус китовые поплавки всмятку; 4) сыры: сыр бри, сыр Дарья, сыр Марья, сыр Бубен; 5) сладкое: мороженое «недурно пущено». На столе стоят старинные гербовые квинтеля с водками, чарочки с ручками и без ручек — все это десятками лет собиралось В. Е. Шмаровым на Сухаревке. И в центре стола ставился бочонок с пивом, перед ним сидел сам «дядя Володя», а дежур-

ный по «среде» виночерпий разливал пиво. Пили. Ели. Вставал «дядя Володя», звякал в бубен. Все затихало.

— Дорогие товарищи, за вами речь.

И указывал на кого-нибудь, не предупреждая, — приходилось говорить. А художник Синцов уже сидел за роялем, готовый закончить речь гимном... Скажет кто хорошо — стол кричит:

— Орла!

Кубок пьется под музыку и общее пение гимна «Недурно пущено».

Утро. Сквозь шторы пробивается свет. Семейные и дамы ушли... Бочонок давно пуст... Из «мертвецкой» слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры: стол с неприбранной посудой, пустой «Орел» высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном, и, облокотясь на стол, дремлет «дядя Володя». Поэт «среды» подписывает рисунок на законченном протоколе:

Да, час расставанья пришел,
День занимается белый,
Бочонок стоит опустелый,
Стоит опустелый «Орел»...

1922 год. Все-таки собирались «среды». Это уж было не на Большой Молчановке, а на Большой Никитской, в квартире С. Н. Лентовской. «Среды» назначались не регулярно. Время от времени «дядя Володя» присылал приглашения, заканчивавшиеся так:

«22 февраля в среду на «среде» чаепитие. Условия следующие: 1) самовар и чай от «среды»; 2) сахар и все иное съедобное, смотря по аппетиту, прибывший приносит на свою долю с собой в количестве невозбранном...»

НАЧИНАЮЩИЕ ХУДОЖНИКИ

Настоящих любителей, которые приняли бы участие в судьбе молодых художников, было в старой Москве мало. Они ограничивались самое большое покупкой картин для своих галерей и «галдарей», выторговывая каждый грош.

Настоящим меценатом, кроме П. М. Третьякова и К. Т. Солдатенкова, был С. И. Мамонтов, сам художник, увлекающийся и понимающий.

Около него составилась кружок людей, уже частью знаменитостей, или таких, которые показывали с юных дней, что из них выйдут крупные художники, как и оказывалось впоследствии.

Беднота, гордая и неудачливая, иногда с презрением относилась к меценатам.

— Примамонтились, воротнички накрахмалили! — говорили бедняки о попавших в кружок Мамонтова.

Трудно было этой бедноте выбиваться в люди. Большинство дети неимущих родителей — крестьяне, мещане, попавшие в Училище живописи только благодаря страстному влечению к искусству. Многие, окончив курс впроголодь, люди талантливые, должны были приискивать какое-нибудь другое занятие. Многие из них стали церковными художниками, работавшими по стенной живописи в церквях. Таков был С. И. Грибков, таков был Баженов, оба премированные при окончании, надежда училища. Много их было таких.

Грибков по окончании училища много лет держал живописную мастерскую, расписывал церкви и все-таки неуклонно продолжал участвовать на выставках и не прерывал дружбы с талантливыми художниками того времени.

По происхождению — касимовский мещанин, бедняк, при окончании курса получил премию за свою картину «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». Имел премии позднее уже от Общества любителей художеств за исторические картины. Его большая мастерская церковной живописи была в купленном им доме у Калужских ворот.

Дом был большой, двухэтажный, населен беднотой — прачки, мастеровые, которые никогда ему не платили за квартиру, и он не только не требовал платы, но еще сам ремонтировал квартиры, а его ученики красили и белили.

В его большой мастерской было место всем. Приезжает какой-нибудь живописец из провинции и живет у него, конечно, ничего не делая, пока место найдет, пьет, ест. Потерял живописец временно место — приходит тоже, живет временно до работы.

В учениках у него всегда было не меньше шести мальчуганов. И работали по хозяйству и на посылушках, и краску терли, и крыши красили, но каждый вечер для них ставился натурщик, и они под руководством самого Грибкова писали с натуры.

Немало вышло из учеников С. И. Грибкова хороших художников. Время от времени он их развлекал, устраивал по праздникам вечеринки, где водка и пиво не допускались, а только чай, пряники, орехи и танцы под гитару и гармонию. Он сам на таких пирушках до поздней ночи сидел в кресле и радовался, как гуляет молодежь.

Иногда на этих вечеринках рядом с ним сидели его друзья-художники, часто бывавшие у него: Неврев, Шмельков, Пукирев и другие, а известный художник Саврасов жил у него целыми месяцами.

В последние годы, когда А. К. Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в грибковской мастерской в рубище. Ученики радостно встречали знаменитого художника и вели его прямо в кабинет к

С. И. Грибкову. Друзья обнимались, а потом А. К. Саврасова отправляли с кем-нибудь из учеников в баню к Крымскому мосту, откуда он возвращался подстриженный, одетый в белье и платье Грибкова, и начиналось вырезвление.

Это были радостные дни для Грибкова. Живет месяц, другой, а потом опять исчезает, ютится по притонам, рисуя в трактирах, по заказам буфетчиков, за водку и еду.

Всем помогал С. И. Грибков, а когда умер, пришлось хоронить его товарищам: в доме не оказалось ни гроша.

А при жизни С. И. Грибков не забывал товарищей. Когда разбил паралич знаменитого В. В. Пукирева и он жил в бедной квартирке в одном из переулков на Пречистенке, С. И. Грибков каждый месяц посылал ему пятьдесят рублей с кем-нибудь из своих учеников. О В. В. Пукиреве С. И. Грибков всегда говорил с восторгом:

— Ведь это же Дубровский, пушкинский Дубровский! Только разбойником не был, а вся его жизнь была, как у Дубровского, — и красавец, и могучий, и талантливый, и судьба его такая же!

Товарищ и друг В. В. Пукирева с юных дней, он знал историю картины «Неравный брак» и всю трагедию жизни автора: этот старый важный чиновник — живое лицо. Невеста рядом с ним — портрет невесты В. В. Пукирева, а стоящий со скрещенными руками это сам В. В. Пукирев, как живой.

У С. И. Грибкова начал свою художественную карьеру и Н. И. Струнников, поступивший к нему в ученики четырнадцатилетним мальчиком. Так же, как и все, был «на побегушках», был маляром, тер краски, мыл кисти, а по вечерам учился рисовать с натуры. Раз С. И. Грибков послал ученика Струнникова к антиквару за Калужской заставой реставрировать какую-то старую картину.

В это время к нему приехал П. М. Третьяков покупать портрет архимандрита Феофана работы Тропинина. Увидав П. М. Третьякова, антиквар бросился снимать с него шубу и галоши, а когда они вошли в комнату, то

схватил работавшего над картиной Струнникова и давай его наклонять к полу:

— Кланяйся в ноги, на колени перед ним. Ты знаешь, кто это?

Н. И. Струнников в недоумении упирался, но П. М. Третьяков его выручил, подал ему руку и сказал:

— Здравствуйте, молодой художник!

Портрет Тропинина П. М. Третьяков купил тут же за четыреста рублей, а антиквар, когда ушел П. М. Третьяков, заметался по комнате и заскулил:

— А-ах, продешевил, а-ах, продешевил!

Н. И. Струнников, сын крестьянина, пришел в город без копейки в кармане и добился своего не легко. После С. И. Грибкова он поступил в Училище живописи и начал работать по реставрации картин у известного московского парфюмера Брокера, владельца большой художественной галереи.

За работу Н. И. Струнникову Брокер денег не давал, а только платил за него пятьдесят рублей в училище и содержал «на всем готовом». А содержал так: отвел художнику в сторожке койку пополам с рабочим, — так двое на одной кровати и спали, и кормил вместе со своей прислугой на кухне. Проработал год Н. И. Струнников и пришел к Брокеру:

— Я ухожу.

Брокер молча вынул из кармана двадцать пять рублей. Н. И. Струнников отказался.

— Возьмите обратно.

Брокер молча вынул бумажник и прибавил еще пятьдесят рублей. Н. И. Струнников взял, молча повернулся и ушел.

Не легка была жизнь этих начинающих художников без роду, без племени, без знакомства и средств к жизни.

Легче других выбивались на дорогу, как тогда говорили, «люди в крахмальных воротничках». У таких заводились знакомства, которые нужно было поддерживать, а для этого надо было быть хорошо воспитанным и образованным.

У Жуковых, Волгушевых и других таких — имя их легион — ни того, ни другого.

Воспитание в детстве было получить негде, а образование Училище живописи не давало, программа общеобразовательных предметов была слаба, да и смотрели на образование, как на пустяки, — были уверены, что художнику нужна только кисть, а образование — вещь второстепенная.

Это ошибочное мнение укоренилось прочно, и художников образованных в то время почти не было. Чудно копирует природу, дает живые портреты — и ладно. Уменья мало-мальски прилично держать себя добыть негде. Полное презрение ко всякому приличному обществу — «крахмальным воротничкам» и вместе — к образованию. До образования ли, до наук ли таким художникам было, когда нет ни квартиры, ни платья, когда из сапог пальцы смотрят, а штаны такие, что приходится задом к стене поворачиваться. Мог ли в таком костюме пойти художник в богатый дом писать портрет, хотя мог написать лучше другого... Разве не от этих условий погибли Жуков, Волгушев? А таких было сотни, погибавших без средств и всякой поддержки.

Только немногим удавалось завоевать свое место в жизни. Счастьем было для И. Левитана с юных дней попасть в кружок Антона Чехова. И. И. Левитан был беден, но старался по возможности прилично одеваться, чтобы быть в чеховском кружке, также в то время белом, но талантливым и веселом. В дальнейшем через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный, прекрасно меблированный дом, где он и написал свои лучшие вещи.

Выбился в люди А. М. Корин, но он недолго прожил — прежняя ляпинская жизнь надорвала его здоровье. Его любили в училище как бывшего ляпинца, выбившегося из таких же, как они сами, теплой любовью любили его. Преклонялись перед корифеями, а его любили так же, как любили и А. С. Степанова. Его мастерская в Училище живописи помещалась во флигельке, направо от ворот с Юшкова переулка.

Огромная несусразная комната. Холодно. Печка ды-

мит. Посредине на подстилке какое-нибудь животное: козел, овца, собака, петух... А то — лисичка. Юркая, с веселыми глазами, сидит и оглядывается; вот ей захотелось прилечь, но ученик отрывается от мольберта, прутиком пошевелит ей ногу или мордочку, ласково погрозит, и лисичка садится в прежнюю позу. А кругом ученики пишут с нее и посреди сам А. С. Степанов делает замечания, указывает.

Ученики у А. С. Степанова были какие-то особенные, какие-то тихие и скромные, как и он сам. И казалось, что лисичка сидела тихо и покорно оттого, что ее успокаивали эти покойные десятки глаз, и под их влиянием она была послушной, и, кажется, сознательно послушной.

Этюды с этих лисичек и другие классные работы можно было встретить и на Сухаревке, и у продавцов «под воротами». Они попадали туда после просмотра их профессорами на отчетных закрытых выставках, так как их было девать некуда, а на ученические выставки классные работы не принимались, как бы хороши они ни были. За гроши продавали их ученики кому попало, а встречались иногда среди школьных этюдов вещи прекрасные.

Ученические выставки бывали раз в году — с 25 декабря по 7 января. Они возникли еще в семидесятых годах, но особенно стали популярны с начала восьмидесятых годов, когда на них уже обозначились имена И. Левитана, Архипова, братьев Коровиных, Святославского, Аладжалова, Милорадовича, Матвеева, Лебедева и Николая Чехова (брата писателя).

На выставках экспонировались летние ученические работы. Весной, по окончании занятий в Училище живописи, ученики разъезжались кто куда и писали этюды и картины для этой выставки. Оставались в Москве только те, кому уж окончательно некуда было деваться. Они ходили на этюды по окрестностям Москвы, давали уроки рисования, нанимались по церквям расписывать стены.

Это было самое прибыльное занятие, и за летнее время ученики часто обеспечивали свое существование

на целую зиму. Ученики со средствами уезжали в Крым, на Кавказ, а кто и за границу, но таких было слишком мало. Все, кто не скапливал за лето каких-нибудь грошовых сбережений, надеялся только на продажу своих картин.

Ученические выставки пользовались популярностью, их посещали, о них писали, их любила Москва. И владельцы галерей, вроде Солдатенкова, и никому не ведомые москвичи приобретали дешевые картины, иногда будущих знаменитостей, которые впоследствии приобретали огромную ценность.

Это был спорт: угадать знаменитость, все равно, что выиграть двести тысяч. Был один год (кажется, выставка 1897 года), когда все лучшие картины закупили московские «иностранцы»: Прове, Гутхейль, Кноп, Катуар, Брокер, Гоппер, Морич, Шмидт...

После выставки счастливы, успевшие продать свои картины и получить деньги, переодевались, расплачивались с квартирными хозяйками и первым делом — с Моисеевной.

Во дворе дома Училища живописи во флигельке, где была скульптурная мастерская Волнухина, много лет помещалась столовка, занимавшая две сводчатые комнаты, и в каждой комнате стояли чисто-начисто вымытые простые деревянные столы с горами нарезанного черного хлеба. Кругом на скамейках сидели обедавшие.

Столовка была открыта ежедневно, кроме воскресений, от часу до трех, и всегда была полна. Раздетый, прямо из классов, наскоро прибегает сюда ученик, берет тарелку и металлическую ложку и прямо к горячей плите, где подслеповатая старушка Моисеевна и ее дочь отпускают кушанья. Садится ученик с горячим за стол, потом приходит за вторым, а потом уж платит деньги старушке и уходит. Иногда, если денег нет, просит подождать, и Моисеевна верила всем.

— Ты уж принеси... а то я забуду, — говорила она.

Обед из двух блюд с куском говядины в супе стоил семнадцать копеек, а без говядины одиннадцать копеек. На второе — то котлеты, то каша, то что-нибудь из картошки, а иногда полная тарелка клюквенного киселя и

стакан молока. Клюква тогда стоила три копейки фунт, а молоко две копейки стакан.

Не было никаких кассирш, никаких билетиков. И мало было таких, кто надует Моисеевну, почти всегда платили наличными, займут у кого-нибудь одиннадцать копеек и заплатят. После выставок все расплачивались обязательно.

Бывали случаи, что является к Моисеевне какой-нибудь хорошо одетый человек и сует ей деньги.

— Это ты, батюшка, за что же?

— Должен тебе, Моисеевна, получи!

— Да ты кто будешь-то? — и всматривается в лицо подслеповатыми глазами.

Дочка узнает скорее и называет фамилию. А то сам скажется.

— Ах ты, батюшки, да это, Санька, ты? А я и не узнала было... Ишь, франт какой!.. Да что ты мне много даешь?

— Бери, бери, Моисеевна, мало я у тебя даром обедов-то поел.

— Ну вот и спасибо, соколик!

НА ТРУБЕ

...Ехали бояре с папиросками в зубах,
Местная полиция на улице была...

Такова была подпись под карикатурой в журнале «Искра» в начале шестидесятых годов прошлого столетия.

Изображена тройка по середине улицы. В санях четыре щеголя папиросы раскуривают, а два городских лошадей останавливают.

Эта карикатура сатирического журнала была ответом на запрещение курить на улицах, виновных отправляли в полицию, «несмотря на чин и звание», как было напечатано в приказе обер-полицмейстера, опубликованном в газетах.

Немало этот приказ вызвал уличных скандалов, и немало от него произошло пожаров: курильщики в испуге бросали папиросы куда попало.

В те годы курение папирос только начинало вытеснять нюхательный табак, но все же он был еще долго в моде.

— То ли дело нюхануть! И везде можно, и дома воздух не портишь... А главное, дешево и сердито!

Встречаются на улице даже мало знакомые люди, поздороваются шапочно, а если захотят продолжать знакомство — табакерочку вынимают.

— Одолжайтесь.

— Хорош. А ну-ка моего...

Хлопнет по крышке, откроет.

— А ваш лучше. Мой-то костромской мятный. С канупером табачок, по крепости — вырви глаз.

— Вот его сиятельство князь Урусов — я им овес поставлю — угощали меня из жалованной золотой табакерки Хра... Хра... Да... Храппе.

— Раппе. Парижский. Знаю.

— Ну вот... Духовит, да не заборист. Не понравился... Ну я и говорю: «Ваше сиятельство, не обессудьте уж, не побрезгуйте моим...» Да вот эту самую мою анютку с хвостиком, берестяную — и подношу... Зарядил князь в обе, глаза вытарашил — и еще зарядил. Да как чихнет!.. Чихает, а сам вперебой спрашивает: «Какой такой табак?.. Аглецкий?..» А я ему и говорю: «Ваш французский Храппе — а мой доморощенный — Бутатре»... И объяснил, что у будочника на Никитском бульваре беру. И князь свой Храппе бросил — на «самтре» перешел, первым покупателем у моего будочника стал. Сам заходил по утрам, когда на службу направлялся... Потом будочника в квартальные вывел...

В продаже были разные табаки: Ярославский — Дунаева и Вахрамеева, Костромской — Чумакова, Владимирский — Головкиных, Ворoshатинский, Бобковый, Ароматический, Суворовский, Розовый, Зеленчук, Мятный. Много разных названий носили табаки в «картузах с казенной бандеролью», а все-таки в Москве нюхали больше или «бутатре» или просто «самтре», сами терли махорку, и каждый сдабривал для запаха по своему вкусу. И каждый любитель в секрете свой рецепт держал, храня его якобы от дедов.

Лучший табак, бывший в моде, назывался «Розовый». Его делал пономарь, живший во дворе церкви «Троицы-Листы», умерший столетним стариком. Табак этот продавался через окошечко в одной из крохотных лавочек, осевших глубоко в землю под церковным строением на Сретенке. После его смерти осталось несколько бутылок табаку и рецепт, который настолько своеобразен, что нельзя его не привести целиком.

«Купить полсажени осинового дров и сжечь их, посеять эту золу через сито в особую посуду.

Взять листового табаку махорки десять фунтов, немного его подсушить (взять простой горшок — так называемый коломенский и ступку деревянную) и этот табак класть в горшок и тереть, до тех пор тереть, когда останется не больше четверти стакана корешков, которые очень трудно трутся; когда весь табак перетрется, просеять его сквозь самое частое сито. Затем весь табак сызнова просеять и высевок опять протереть и просеять. Золу также второй раз просеять. Соединить золу с табаком так: два стакана табаку и один стакан золы, сыпать это в горшок, смачивая водой стакан с осью, смачивать не сразу, а понемногу, и в это время опять тереть и так тереть весь табак до конца, выкладывая в одно место. Духи класть так: взять четверть фунта элексиру соснового масла, два золотника розового масла и один фунт розовой воды самой лучшей. Сосновое масло, один золотник розового масла и розовую воду соединить вместе подогретую, но не очень сильно; смесь эту взбалтывая подбавлять в каждый раствор табаку с золою и все это стирать.

Когда весь табак перетрется со смесью, его вспыскивать оставшимся одним золотником розового масла и перемешивать руками. Затем насыпать в бутылки; насыпав в бутылки табак, закурить его пробкой и завязать пузырем, поставить их на печь дней на пять или на шесть, а на ночь в печку ставить, класть их надо в лежачем положении. И табак готов».

Задолго до постройки «Эрмитажа» на углу между Грачевкой и Цветным бульваром, выходя широким фасадом на Трубную площадь, стоял, как и теперь стоит, трехэтажный дом Внукова¹. Теперь он стал ниже, потому что глубоко осел в почву. Еще задолго до ресторана «Эрмитаж» в нем помещался разгульный трактир «Крым», и перед ним всегда стояли тройки, лихачи и парные «голубчики» по зимам, а в дождливое время часть Трубной площади представляла собой непроезжное болото, вода заливала Неглинный проезд, но до Цветного бульвара и до дома Внукова никогда не доходила.

Разгульный «Крым» занимал два этажа. В третьем

¹ Потом Кононова (*Прим. автора*).

этаже, трактира второго разряда, гуляли барышники, шулера, аферисты и всякое жулье, прилично сравнительно одетое. Публику утешали песенники и гармонисты.

Бельэтаж был отделан ярко и грубо, с претензией на шик. В залах были эстрады для оркестра и для цыганского и русского хоров, а громогласный орган заводился попеременно между хорами по требованию публики, кому что нравится, — оперные арии мешались с камаринским и гимн сменялся излюбленной «Лучинушкой».

Здесь утешались загулявшие купчики и разные приезжие из провинции. Под бельэтажем нижний этаж был занят торговыми помещениями, а под ним, глубоко в земле, подо всем домом между Грачевкой и Цветным бульваром сидел громаднейший подвальный этаж, весь сплошь занятый одним трактиром; самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия преступный мир, стекавшийся из притонов Грачевки, переулков Цветного бульвара, и даже из самой «Шиповской крепости» набегали фартовые после особо удачных сухих и мокрых дел, изменяя даже своему притону «Поляковскому трактиру» на Яузе, а хитровская «Каторга» казалась пансионом благородных девиц по сравнению с «Адом».

Много лет на глазах уже вошедшего в славу «Эрмитажа» гудел пьяный и шумный «Крым» и зловеще молчал «Ад», из подземелья которого не доносился ни один звук на улицу. Еще в семи- и восьмидесятых годах он был таким же, как и прежде, а то, пожалуй, и хуже, потому что за двадцать лет грязь еще больше пропитала пол и стены, а газовые рожки за это время насквозь прокоптили потолки, значительно осевшие и потрескавшиеся, особенно в подземном ходе из общего огромного зала от входа с Цветного бульвара до выхода на Грачевку. А вход и выход были совершенно особенные. Не ищите ни подъезда, ни даже крыльца... Нет.

Сидит человек на скамейке на Цветном бульваре и смотрит на улицу, на огромный дом Внукова. Видит — идут по тротуару мимо этого дома человек пять, и вдруг — никого! Куда они девались?.. Смотрит — тротуар пуст... И опять неведомо откуда появляется пьяная толпа, шумит, дерется... И вдруг исчезает снова... То-

ропливо шагает будочник — и тоже проваливается сквозь землю, а через пять минут опять вырастает из земли и шагает по тротуару с бутылкой водки в одной руке и со свертком в другой...

Встанет заинтересовавшийся со скамейки, подойдет к дому — и секрет открылся: в стене ниже тротуара широкая дверь, куда ведут ступеньки лестницы. Навстречу выбежит, ругаясь непристойно, женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней появляется оборванец, валит ее на тротуар и бьет смертным боем, приговаривая:

— У нас жить, так жить!

Выскакивают еще двое, лупят оборванца и уводят женщину опять вниз по лестнице. Избитый тщетно силится встать и переползает на четвереньках, охая и ругаясь, через мостовую и валится на траву бульвара...

Из отворенной двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков. Среди сплошного гула резнет высокая нота подголоска-запевалы, и грядет звериным ревом хор пьяных голосов, а над ним звон разбитого стекла, и дикий женский визг, и многоголосая ругань.

А басы хора гудят в сводах и покрывают гул, пока опять не прорежет их визгливый подголосок, а его не заглушит, в свою очередь, фальшивая нота скрипки...

И опять все звуки сливаются, а теплый пар и запах газа от лопнувшей где-то трубы на минуту останавливают дыхание...

Сотни людей занимают ряды столов вдоль стен и середину огромнейшего «зала». Любопытный скользит по мягкому от грязи и опилок полу, мимо огромной плиты, где и жарится и варится, к подобию буфета, где на полках красуются бутылки с ерофеичем, желудочной, перцовкой, разными сладкими наливками и ромом за полтинник бутылка, от которого разит клопами, что не мешает этому рому пополам с чаем делаться «пуншником», любимым напитком «зеленых ног», или «болдох», как здесь зовут обратников из Сибири и беглых из тюрьм.

Все пьяным-пьяно, все гудит, поет, ругается... Только в левом углу за буфетом тише — там идет игра в ремешок, в наперсток... И никогда еще никто в эти игры не

выигрывал у шулеров, а все-таки по пьяному делу играют... Уж очень просто.

Например, игра в наперсток состоит в том, чтобы угадать, под каким из трех наперстков лежит хлебный шарик, который шулер на глазах у всех кладет под наперсток, а на самом деле приклеивает к ногтю — и под наперстком ничего нет...

В ремешок игра простая: узкий кожаный ремешок свертывается в несколько оборотов в кружок, причем партнер, прежде чем распустится ремень, должен угадать середину, то есть поставить свой палец или гвоздь, или палочку так, чтобы онн, когда ремень развернется, находились в центре образовавшегося круга, в петле. Но ремень складывается так, что петли не оказывается.

И здесь в эти примитивные игры проигрывают все, что есть: и деньги, и награбленные вещи, и пальто, еще тепленькое, только что снятое с кого-нибудь на Цветном бульваре. Около играющих ходят барышники-портянчники, которые скупают тут же всякую мелочь, все же ценное и крупное поступает к самому «Сатане» — так зовут нашего хозяина, хотя его никогда никто в лицо не видел. Всем делом орудуют буфетчик и два здоровенных вышибалы — онн же и скупщики краденого.

Онн выплывают во время уж очень крупных скандалов и бьют направо и налево, а в помощь им всегда становятся завсегдатаи — «болдохи», которые дружат с ними, как с нужными людьми, с которыми «дело делают» по сбыту краденого и пользуются у них приютом, когда опасно ночевать в почлежках или в своих «хазах». Сюда же никакая полиция никогда не заглядывала, разве только городовые из соседней будки, да и то с самыми благими намерениями — получить бутылку водки..

И притом дальше общего зала не ходили, а зал только парадная половина «Ада». Другую половину звали «Треисподняя», и в нее имели доступ только известные буфетчику и вышибалам, так сказать, заслуженные «болдохи», на манер того, как вельможи, «имеющие приезд ко двору». Вот эти-то «имеющие приезд ко двору» заслуженные «болдохи» или «иваны» из «Шиповской крепости» и «волки» из «Сухого оврага» с Хитровки имели два входа — один общий с бульвара, а другой с Грачевки,

где также исчезали незримо с тротуара, особенно когда приходилось тащить узлы, что через зал все-таки как-то неудобно.

«Тренсподняя» занимала такую же по величине половину подземелья и состояла из коридоров, по обеим сторонам которых были большие каморки, известные под названием: маленькие — «адских кузниц», а две большие — «чертовых мельниц».

Здесь грачевские шулера метали банк — единственная игра, признаваемая «иванами» и «болдохами», в которую они проигрывали свою добычу, иногда исчисляемую тысячами.

В этой половине было всегда тихо — пьянства не допускали вышибалы, одного слова или молчаливого жеста их все боялись. «Чертовы мельницы» молотили круглые сутки, когда составлялась стоящая дела игра. Круглые сутки в маленьких каморках делалось дело: то «тырбанка сламу», то есть дележ награбленного участниками и продажа его, то исполнение заказов по фальшивым паспортам или другим подложным документам особыми спецами. Несколько каморок были обставлены как спальни (двухспальная кровать с соломенным матрасом) — опять-таки только для почетных гостей и их «марух»...

Заходили сюда иногда косматые студенты, пели «Дубинушку» в зале, шумели, пользуясь уважением бродяг и даже вышибал, отводивших им каморки, когда не находилось мест в зале.

Так было в шестидесятых годах, так было и в семидесятых годах в «Аду», только прежде было проще: в «Тренсподнюю» и в «адские кузницы» пускались пары с улицы, и в каморки ходили из зала запросто всякие гости, кому надо было уединиться.

Иногда в семидесятых годах в «Ад» заходили почетные гости — актеры Народного театра и Артистического кружка для изучения типов. Бывали Киреев, Полтавцев, Вася Васильев. Тогда полиция не заглядывала сюда, да и после, когда уже существовала сыскная полиция, обходов никаких не было, да они ни к чему бы и не повели — под домом были подземные ходы, оставшиеся от водопровода, устроенного еще в екатерининские времена.

В конце прошлого столетия при канализационных работах наткнулись на один из таких ходов под воротами этого дома, когда уже «Ада» не было, а существовали лишь подвальные помещения (в одном из них помещалась спальня служащих трактира, освещавшаяся и днем керосиновыми лампами).

С трактиром «Ад» связана история первого покушения на Александра II 4 апреля 1866 года. Здесь происходили заседания, на которых и разрабатывался план нападения на царя.

В 1863 году в Москве образовался кружок молодежи, постановившей бороться активно с правительством. Это были студенты университета и Сельскохозяйственной академии. В 1865 году, когда число участников увеличилось, кружок получил название «Организация».

Организатором и душой кружка был студент Ишутин, стоявший во главе группы, квартировавшей в доме мещанки Ипатовой, по Большому Спасскому переулку, в Каретном ряду. По имени дома эта группа называлась ипатовцами. Здесь и зародилась мысль о цареубийстве, неизвестная другим членам «Организации».

Ипатовцы для своих конспиративных заседаний избирали самое удобное место — трактир «Ад», где никто не мешал им собираться в сокровенных «адских кузницах». Вот по имени этого притона группа ишутинцев и назвала себя «Ад».

Кроме трактира «Ад», они собирались еще на Большой Бронной, в развалившемся доме Чебышева, где Ишутин оборудовал небольшую переплетную мастерскую, тоже под названием «Ад», где тоже квартировали некоторые «адовцы», называвшие себя «смертниками», то есть обреченными на смерть. В числе их был и Каракозов, неудачно стрелявший в царя.

Последовавшая затем масса арестов терроризировала Москву, девять «адовцев» были посланы на каторгу (Каракозов был повешен). В Москве все были так перепуганы, что никто и заикнуться не смел о каракозовском покушении. Так все и забылось.

Еще в прошлом столетии упоминалось о связи «Ада» с каракозовским процессом, но писать об этом, конечно, было нельзя. Только в очень дружеских беседах старые

писатели Н. Н. Златовратский, Н. В. Успенский, А. М. Дмитриев, Ф. Д. Нефедов и Петр Кичеев вспоминали «Ад» и «Чебыши», да знали подробности некоторые из старых сотрудников «Русских ведомостей», среди которых был один из главных участников «Адской группы», бывавший на заседаниях смертников в «Аду» и «Чебышах». Это Н. Ф. Николаев, осужденный по каракозовскому процессу в первой группе на двенадцать лет каторжных работ.

Уже в конце восьмидесятых годов он появился в Москве и сделался постоянным сотрудником «Русских ведомостей» как переводчик, кроме того, писал в «Русской мысли». В Москве ему жить было рискованно, и он ютился по маленьким ближайшим городкам, но часто наезжал в Москву, останавливаясь у друзей. В редакции, кроме самых близких людей, мало кто знал его прошлое, но с друзьями он делился своими воспоминаниями.

Этому последнему каракозовцу немного не удалось дожить до каракозовской выставки в Музее Революции в 1926 г.

Первая половина шестидесятых годов была началом буйного расцвета Москвы, в которую устремились из глухих углов помещики проживать выкупные платежи после «освободительной» реформы. Владельцы магазинов «роскоши и моды» и лучшие трактиры обогащались; но последние все-таки не удовлетворяли изысканных вкусов господ, побывавших уже за границей, — живых стерлядей и парной икры им было мало. Знатные вельможи задавали пиры в своих особняках, выписывая для обедов страсбургские паштеты, устриц,лангустов, омаров и вина из-за границы за бешеные деньги.

Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им «салатом Оливье», без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то.

На Трубе у бутаря часто встречались два любителя его бергамотного табаку — Оливье и один из братьев Пеговых, ежедневно ходивший из своего богатого дома

в Гнездниковском переулке за своим любимым бергамотным, и покупал он его всегда на копейку, чтобы свеженький был. Там-то они и сговорились с Оливье, и Пегов купил у Попова весь его громадный пустырь почти в полторы десятины. На месте будок и «Афонькина кабака» вырос на земле Пегова «Эрмитаж Оливье», а непроездная площадь и улицы были замощены.

Там, где в болоте по ночам раздавалось кваканье лягушек и неслись вопли ограбленных завсегдатаями трактира, засверкали огнями окна дворца обжорства, перед которым стояли день и ночь дорогие дворянские запряжки, иногда еще с выездными лакеями в ливреях.

Все на французский манер в угоду требовательным клиентам сделал Оливье — только одно русское оставил: в ресторане не было фрачных лакеев, а служили московские половые, сверкавшие рубашками голландского полотна и шелковыми поясами.

И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где, кроме общих зал и кабинетов, был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож. На эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина с удостоверением, что этот коньяк из подвалов дворца Людовика XVI и с надписью «Трианон».

Набросились на лакомство не знавшие куда девать деньги избалованные баре...

Три француза вели все дело. Общий надзор — Оливье. К избранным гостям — Марнус и в кухне парижская знаменитость — повар Дюге.

Это был первый, барский период «Эрмитажа».

Так было до начала девяностых годов. Тогда еще столбовое барство чуралось выскочек из чиновного и купеческого мира. Те пировали в отдельных кабинетах.

Затем стало сходить на нет проевшееся барство. Первыми появились в большой зале московские иностранцы-коммерсанты — Кнопы, Вогау, Гопперы, Марки. Они

являлись прямо с биржи, чопорные и строгие, и занимали каждая компания свой стол.

А там поперло за ними и русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бураками на щегольские смокинги, и перемешалось в залах «Эрмитажа» с представителями иностранных фирм.

Оливье не стало. Марнус, который благоговел перед сиятельными гурманами, служил и купцам, но разговаривал с ними развязно и даже покровительственно, а повар Дюге уже не придумывал для купцов новых блюд и, наконец, уехал на родину.

Дело шло и так блестяще.

На площади перед «Эрмитажем» барские запряжки сменились лихачами в неудобных санках, запряженных тысячными, призовыми рысаками. Лихачи стояли также и на Страстной площади и у гостиниц «Дрезден», «Славянский базар», «Большая Московская» и «Прага».

Но лучшие были у «Эрмитажа», платившие городу за право стоять на бирже до пятисот рублей в год. На других биржах — по четыреста.

Сытые, в своих нелепых воланах дорогого сукна, подпоясанные шитыми шелковыми поясами, лихачи смотрят гордо на проходящую публику и разговаривают только с выходящими из подъезда ресторана «сиятельными особами».

— Вась-сиясь!..

— Вась-сиясь!..

Чтобы москвичу получить этот княжеский титул, надо только подойти к лихачу, гордо сесть в пролетку на дутых шинах и грозно крикнуть:

— К «Яру»!

И сейчас же москвич обращается в «вась-сиясь».

Воланы явились в те давно забытые времена, когда сердитый барин бил кулаком и пинал ногами в спину своего крепостного кучера.

Тогда волан, до уродства набитый ватой, спасал кучера от увечья и уцелел теперь, как и забытое слово «барин» у извозчиков без волана и «вась-сиясь» у лихачей...

Каждому приятно быть «вась-сиясем»!

Особенно много их появилось в Москве после японской войны. Это были поставщики на армию и их благо-

детели — интенданты. Их постепенный рост наблюдали приказчики магазина Елисеева, а в «Эрмитаж» они явились уже «вась-сиясями».

Был такой перед японской войной толстый штабс-капитан, произведенный лихачами от Страстного сперва в полковника, а потом лихачами от «Эрмитажа» в «вась-сиясь», хотя на погонах имелись все те же штабс-капитанские четыре звездочки и одна полоска. А до этого штабс-капитан ходил только пешком или таскался с ипподрома за пятак на конке. Потом он попал в какую-то комиссию и стал освобождать богатых людей от дальних путешествий на войну, а то и совсем от солдатской шинели, а его писарь, полуграмотный солдат, снимал дачу под Москвой для своей любовницы.

— Вась-сиясь! С Иваном! Вась-сиясь, с Федором! — встречали его лихачи у подъезда «Эрмитажа».

Худенькие офицерики в немодных шинельках бегали на скачки и бега, играли в складчину, пантировали пешедралом с ипподромов, проиграв последнюю красненькую, торговались в Охотном при покупке фруктов, колбасы, и вдруг...

Японская война!

Ожили!

Стали сперва заходить к Елисееву, покупать вареную колбасу, яблок... Потом икру... Мармелад и портвейн № 137-й. В магазине Елисеева наблюдательные приказчики примечали, как полнели, добрели и росли их интендантские покупатели.

На извозчиках подъезжать стали. Потом на лихачах, а потом в своих экипажах...

— Э... Э... А?... Пришлите по этой записке мне... и добавьте, что найдете нужным... И счет. Знаете?.. — гудел начальственно «низким басом и запускал в небеса ананасом»...

А потом ехал в «Эрмитаж», где уже сделался завсегдаем вместе с десятками таких же, как он, «вась-сиясей», и мундирных и штатских.

Но многих из них «Эрмитаж» и лихачи «на ноги поставили»!

«Природное» барство проелось в «Эрмитаже», и выскочкам такую марку удержать было трудно, да и дохо-

ды с войной прекратились, а барские замашки остались. Чтоб прокатиться на лихаче от «Эрмитажа» до «Яра» да там, после эрмитажных деликатесов, поужинать с цыганами, венгерками и хористками Анны Захаровны — ежели кто по рубашечной части, — надо тысячи три солдат полураздеть: нитки гнилые, бухарка, рубаха-недомерок...

А ежели кто по шапочной части — тысячи две папах на вершок поменьше да на старой пакле вместо ватной подкладки надо построить.

А ежели кто по сапожной, так за одну поездку на лихаче десятки солдат в походе ноги потрут да ревматизм навечно приобретут.

И ходили солдаты полураздетые, в протухлых, плешивых полушубках, в то время как интендантские «вась-сияси» «на шепоте дутым» с крашеными дульцинеями по «Ярам» ездили... За счет полушубков ротонды собольи покупали им и котиковые манто.

И кушали господа интендантские «вась-сияси» деликатесы заграничные, а в армию шла мука с червями.

Прошло время!..

Мундирные «вась-сияси» начали линять. Из титулованных «вась-сиясей» штабс-капитана разжаловали в просто барина... А там уж не то что лихачи, а и «желтоглазые» извозчики, даже извозчики-зимники на своих клячах за барина считать перестали — «Эрмитаж» его да и многих его собутыльников «поставил на ноги»...

Лихачи знали всю подноготную всякого завсегдатая «Эрмитажа» и не верили в прочность... «вась-сиясей», а предпочитали купцов в загуле и в знак полного к ним уважения каждого именовали по имени-отчеству.

«Эрмитаж» перешел во владение торгового товарищества. Оливье и Мариуса заменили новые директора: мебельщик Поликарпов, рыбак Мочалов, буфетчик Дмитриев, купец Юдин. Народ со смекалкой, как раз по новой публике.

Первым делом они перестроили «Эрмитаж» еще роскошнее, отделали в том же здании шикарные номерные бани и выстроили новый дом под номера свиданий. «Эрмитаж» увеличился стеклянной галереей и летним садом с отдельным входом, с роскошными отдельными кабинетами, эстрадами и благоуханным цветником...

«Эрмитаж» стал давать огромные барыши — пьянство и разгул пошли вовсю. Московские «именитые» купцы и богатеи посрее шли прямо в кабинеты, где сразу распоясывались... Зернистая икра подавалась в серебряных ведрах, аршинных стерлядей на уху приносили прямо в кабинеты, где их и закалывали... И все-таки спаржу с ножа ели и ножом резали артишоки. Из кабинетов особенно славился красный, в котором московские прожигатели жизни ученую свинью у клоуна Танти съели...

Особенно же славились ужины, на которые съезжалась кутящая Москва после спектаклей. Залы наполняли фраки, смокинги, мундиры и дамы в открытых платьях, сверкавших бриллиантами. Оркестр гремел на хорах, шампанское рекой... Кабинеты переполнены. Номера свиданий торговали вовсю! От пяти до двадцати пяти рублей за несколько часов. Кого-кого там не перебывало! И все держалось в секрете; полиция не мешалась в это дело — еще на начальство там наткнешься!

Роскошен белый колонный зал «Эрмитажа». Здесь привились юбилеи. В 1899 году, в Пушкинские дни, там был Пушкинский обед, где присутствовали все знаменитые писатели того времени.

А обыкновенно справлялись здесь богатейшие купеческие свадьбы на сотни персон.

И ели «чумадые» руками с саксонских сервизов все: и выписанных из Франции руанских уток, из Швейцарии красных куропаток и рыбу соль из Средиземного моря...

Яблоки кальвиль, каждое с гербом, по пять рублей штука при покупке... И прятали замоскворецкие гости по задним карманам долгополых сюртуков дюшесы и кальвиль, чтобы отвезти их в Таганку, в свои старомодные дома, где пахло деревянным маслом и кислой капустой...

Особенно часто снимали белый зал для банкетов московские иностранцы, чествовавшие своих знатных приезжих земляков...

Здесь же иностранцы встречали новый год и правили немецкую масленицу; на всех торжествах в этом зале играл лучший московский оркестр Рябова.

В 1917 году «Эрмитаж» закрылся. Собирались в кабинетах какие-то кружки, но и кабинеты опустели...

«Эрмитаж» был мрачен, кругом ни души: мимо ходить бояться.

Опять толпы около «Эрмитажа»... Огромные очереди у входов. Десятки ручных тележек ожидают заказчиков, счастливых, получивших паек от «АРА», занявшего все залы, кабинеты и службы «Эрмитажа».

Наполз нэп. Опять засверкал «Эрмитаж» ночными огнями. Затолпились вокруг оборванные извозчики попережку с оборванными лихачами, но все еще на дутых шинах. Начали подъезжать и отъезжать пьяные автомобили. Бывший распорядитель «Эрмитажа» ухитрился мишурно повторить прошлое модного ресторана. Опять появились на карточках названия: котлеты Помпадур, Мари Луиз, Валларуа, салат Оливье... Но неугрызимые котлеты — на касторовом масле, и салат Оливье был из огрызков... Впрочем, вполне к лицу посетителям-нэпманам.

В швейцарской — котиковое манто, бобровые воротники, собольи шубы...

В большом зале — те же люстры, белые скатерти, блестит посуда...

На стене, против буфета, еще уцелела надпись М. П. Садовского. Здесь он завтракал, высмеывая прожигателей жизни, и наблюдал типы. Вместо белорубашечных половых подавали кушанья служащие в засаленных пиджаках и прибегали на зов, сверкая оборками брюк, как кружевом. Публика косо поглядывала на посетителей, на которых кожаные куртки.

Вот за шампанским кончает обед шумная компания... Вскрикивает, жестикулирует, убеждает кого-то франт в смокинге, с брюшком. Набеленная, с накрашенными губами дама курит папиросу и пускает дым в лицо и подливает вино в стакан человеку во френче. Ему, видимо, неловко в этой компании, но он в центре внимания. К нему относятся убеждающие жесты жирного франта. С другой стороны около него трется юркий человек и

показывает какие-то бумаги. Обхаживаемый отводит рукой и не глядит, а тот все лезет, лезет...

Прямо-таки сцена из пьесы «Воздушный пирог», что с успехом шла в Театре революции. Все — как живые!.. Так же жестикулирует Семен Рак, так же нахальничает подкрашенная танцовщица Рита Керн... Около чувствующего себя неловко директора банка Ильи Коромыслова трется Мирон Зонт, просящий субсидию для своего журнала... А дальше секретари, секретарши, директора, коммерсанты Обрыдловы и все те же Семены Раки, самодовольные, начинающие жиреть...

И на других столах то же.

Через год в зданиях «Эрмитажа» был торжественно открыт Моссоветом Дом крестьянина.

ЧРЕВО МОСКВЫ

Охотный ряд — чрево Москвы.

В прежние годы Охотный ряд был застроен с одной стороны старинными домами, а с другой — длинным одноэтажным зданием под одной крышей, несмотря на то, что оно принадлежало десяткам владельцев. Из всех этих зданий только два дома были жилыми: дом, где гостиница «Континенталь», да стоящий рядом с ним трактир Егорова, знаменитый своими блинами. Остальное все лавки, вплоть до Тверской.

Трактир Егорова когда-то принадлежал Воронину, и на вывеске была изображена ворона, держащая в клюве блин. Все лавки Охотного ряда были мясные, рыбные, а под ними зеленные подвалы. Задние двери лавок выходили на огромный двор, Монетный, как его называли издревле. На нем были тоже одноэтажные мясные, живорыбные и яичные лавки, а посередине — двухэтажный «Монетный» трактир. В задней части двора — ряд сараюшек с погребами и кладовыми, кишевшими полчищами крыс.

Охотный ряд получил свое название еще в те времена, когда здесь разрешено было торговать дичью, приносимой подмосковными охотниками.

Впереди лавок, на площади, вдоль широкого тротуара, стояли переносные палатки и толпились торговцы с корзинами и мешками, наполненными всевозможными продуктами. Ходили охотники, обвешанные утка-

ми, тетерками, зайцами. У баб из корзин торчали головы кур и цыплят, в мешках визжали поросята, которых продавцы, вынимая из мешка, чтобы показать покупателю, непременно поднимали над головой, держа за связанные задние ноги. На мостовой перед палатками сновали пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жареными на постном масле. Сбитенщики разливали, по копейке за стакан, горячий сбитень — любимый тогда медовый напиток, согревавший извозчиков и служащих, замерзавших в холодных лавках. Летом сбитенщиков сменяли торговцы квасами, и самый любимый из них был грушевый, из вареных груш, которые в моченом виде лежали для продажи пирамидами на лотках, а квас черпали из ведра кружками.

Мясные и рыбные лавки состояли из двух отделений. В первом лежало на полках мясо разных сортов — дичь, куры, гуси, индейки, паленые поросята для жаркого и в ледяных ваннах — белые поросята для заливного. На крючьях по стенам были развешаны туши барашков и поенных молоком телят, а весь потолок занят окороками всевозможных размеров и приготовлений — копченых, вареных, провесных. Во втором отделении, темном, освещенном только дверью во двор, висели десятки мясных туш. Под всеми лавками — подвалы. Охотный ряд бывал особенно оживленным перед большими праздниками. К лавкам подъезжали на тысячных рысаках расфранченные купчихи, и за ними служащие выносили из лавок корзины и кульки с товаром и сваливали их в сани. И торчит, бывало, из рогожного кудька рядом с собольей шубой миллионерши окорок, а поперек медвежьей полости лежит пудовый мороженный осетр во всей своей красоте.

Из подвалов пахло тухлятиной, а товар лежал на полках первосортный. В рыбных — лучшая рыба, а в мясных — куры, гуси, индейки, поросята.

Около прилавка хлопочут, расхваливают товар и бесперебойно врут приказчики в засаленных долгополых поддевах и заскорузлых фартуках. На поясе у них — целый ассортимент ножей, которые чистятся только на ночь. Чистота была здесь не в моде.

Главными покупателями были повара лучших трак-

тиров и ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки-купчихи, кухарки. Все это толклось, торговалось, спорило из-за копейки, а охотнорядец рассыпался перед покупателем, памятуя свой единственный лозунг: «не обманешь — не продашь».

Беднота покупала в палатках и с лотков у разносчиков последние сорта мяса: ребра, подбедерок, покровку, требуху и дешевую баранину-ордынку. Товар лучших лавок им не по карману, он для тех, о которых еще Гоголь сказал:

«Для тех, которые почище».

Но и тех и других продавцы в лавках и продавцы на улицах одинаково обвешивают и обсчитывают, не отличая бедного от богатого, — это был старый обычай охотнорядских торговцев, неопровержимо уверенных — «не обманешь — не продашь».

Охотный ряд восьмидесятих годов самым наглядным образом представляет протокол санитарного осмотра этого времени.

Осмотр начался с мясных лавок и Монетного двора.

«О лавках можно сказать, что они только по наружному виду кажутся еще сносными, а помещения, закрытые от глаз покупателя, ужасны. Все так называемые «палатки» обращены в курятники, в которых содержится и режется живая птица. Начиная с лестниц, ведущих в палатки, полы и клетки содержатся крайне небрежно, помет не вывозится, всюду запекающаяся кровь, которою пропитаны стены лавок, не окрашенных, как бы следовало по санитарным условиям, масляною краскою; по углам на полу всюду набросан сор, перья, рогожа, мочала... колоды для рубки мяса избиты и содержатся неопрятно, туши вешаются на ржавые железные невылуженные крючья, служащие при лавках одеты в засаленное платье и грязные передники, а ножи в неопрятном виде лежат в привешанных к поясу мясников грязных, окровавленных ножнах, которые, по-видимому, никогда не чистятся... В сараях при некоторых лавках стоят чаны, в которых вымачиваются снятые с убитых животных кожи, издающие невыносимый смрад».

Осмотрев лавки, комиссия отправилась на Монет-

ный двор. Посредине его — сорная яма, заваленная грудой животных и растительных гниющих отходов, и несколько деревянных срубов, служащих вместо помойных ям и предназначенных для выливания помоев и отходов со всего Охотного ряда. В них густой массой, почти в уровень с поверхностью земли, стоят зловонные нечистоты, между которыми виднеются плавающие внутренности и кровь. Все эти нечистоты проведены без разрешения управы в городскую трубу и без фильтра стекают по ней в Москву-реку.

Нечистоты заднего двора «выше всякого описания». Почти половину его занимает официально бойня мелкого скота, помещающаяся в большом двухэтажном каменном сарае. Внутренность бойни отвратительна. Запекшаяся кровь толстым слоем покрывает асфальтовый пол и пропитала некрашеные стены. «Все помещение довольно обширной бойни, в которой убивается и мелкий скот для всего Охотного ряда, издает невыносимое для свежего человека зловоние. Сарай этот имеет маленькое отделение, еще более зловонное, в котором живет сторож заведующего очисткой бойни Мокеева. Площадь этого двора покрыта толстым слоем находящейся между камнями запекшейся крови и обрывков внутренностей, подле стен лежит дымящийся навоз, кишки и другие гниющие отбросы. Двор окружен погребам и запертыми сараями, помещающимися в полуразвалившихся постройках».

«Между прочим, после долгих требований ключа был отперт сарай, принадлежащий мяснику Ивану Кузьмину Леонову. Из сарая этого по двору сочилась кровавая жидкость от сложенных в нем нескольких сот гнилых шкур. Следующий сарай для уборки битого скота, принадлежащий братьям Андреевым, оказался чуть ли не хуже первого. Солонина вся в червях и т. п. Когда отворили дверь — стаи крыс выскакивали из ящиков с мясной тухлятиной, грузно шлепались и исчезали в подполье!.. И так везде... везде».

Протокол этого осмотра исторический. Он был прочитан в заседании городской думы и вызвал оживленные прения, которые, как и всегда, окончились бы ничем, если бы не гласный Жадаев.

Полуграмотный кустарь-ящичник, маленький, вихрастый, в неизменной поддевке и смазных сапогах, когда уже кончились прения, попросил слова; и его звонкий резкий тенор сменил повествование врача Попандопола, рисовавшего ужасы Охотного ряда. Миазмы, бациллы, бактерии, антисанитария, аммиак... украшали речь врача.

— Вер-рно! Верно, что говорит Василий Константиныч! Так как мы поставляем ящики в Охотный, так уж нагладелись... И какие там миазмы, и сколько их... Заглянешь в бочку — так они кишмя кишат... Так и ползают по солонине... А уж насчет бахтериев — так и шмыгают под ногами, рыжие, хвостатые... Так и шмыгают, того и гляди наступишь.

Гомерический хохот. Жадаев сверкнул глазами, и голос его покрыл шум.

— Чего ржете! Что я, вру, что ли? Во-о какие, хвостатые да рыжие! Во-о какие! Под ногами шмыгают... — и он развел руками на пол-аршина.

Речь Жадаева попала в газеты, насмешила Москву, и тут принялись за очистку Охотного ряда. Первым делом было приказано иметь во всех лавках кошек. Но кошки и так были в большинстве лавок. Это был род спорта — у кого кот толще. Сытые, огромные коты сидели на прилавках, но крысы обращали на них мало внимания. В надворные сараи котов на ночь не пускали после того, как одного из них в сарае ночью крысы сожрали.

Так с крысами ничего поделать и не могли, пока один из охотнорядцев, Грачев, не нашел, наконец, способ избавиться от этих хищников. И вышло это только благодаря Жадаеву.

Редактор журнала «Природа и охота» Л. П. Сабанеев, прочитав заметку о Жадаеве, встретился с Грачевым, посмеялся над «хвостатыми бахтериями» и подарил Грачеву щенка фокса-крысолова. Назвал его Грачев «Мальчиком» и поселил в лавке. Кормят его мясом досыта. Соседи Грачева ходят и посмеиваются. Крысы бегают стаями. «Мальчик» подрос, окреп. В одно утро отпирают лавку и находят двух задушенных крыс. «Мальчик» стоит около них, обрубком хвоста

виляет... На другой день — тройка крыс... А там пяток, а там уж ни одной крысы в лавке не стало — всех передушил...

Так же «Мальчик» и амбар грачевский очистил... Стали к Грачеву обращаться соседи — и «Мальчик» начал отправляться на гастроли, выводить крыс в лавках. Вслед за Грачевым завели фокстерьеров и другие торговцы, чтобы охранять первосортные съестные припасы, которых особенно много скопилось перед большими праздниками, когда богатая Москва швырялась деньгами на праздничные подарки и обжорство.

После революции лавки Охотного ряда были снесены начисто, и вместо них поднялось одиннадцатизатяжное здание гостиницы «Москва»; только и осталось от Охотного ряда что два древних дома на другой стороне площади. Сотни лет стояли эти два дома, покрытые грязью и мерзостью, пока комиссия по «Старой Москве» не обратила на них внимание, а Музейный отдел Главнауки не приступил к их реставрации.

Разломали все хлевушки и сарайчики, очистили от грязи дом, построенный Голицыным, где прежде резали кур и был склад всякой завали, и выявились на стенах, после отбитой штукатурки, пояски, карнизы и прочие украшения, художественно высеченные из кирпича, а когда выбросили из подвала зловонные бочки с сельдями и уничтожили заведение, где эти сельди коптились, то под полом оказались еще беломраморные покои. Никто из москвичей и не подозревал, что эта «копильня» в беломраморных палатах.

Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, образованнейший человек своего века, выстроил эти палаты в 1686 году и принимал в них знатных иностранцев, считавших своим долгом посетить это, как писали за границей, «восьмое чудо» света.

Рядом с палатами Голицына такое же обширное место принадлежало заклятому врагу Голицына — боярину Троекурову, начальнику стрелецкого приказа. «За беду боярину сталося, за великую досаду показалося», что у «Васьки Голицына» такие палаты!



Трибуны на бегах.



Торговцы на Сухаревке.

А в это время Петр I как раз поручил своему любимцу Троекурову наблюдать за постройкой Сухаревой башни.

И вместе с башней Троекуров начал строить свой дом, рядом с домом Голицына, чтобы «утереть ему нос», а материал, кстати, был под рукой — от Сухаревой башни. Проведал об этом Петр, назвал Троекурова казнокрадом, а все-таки в 1691 году рядом с домом Голицына появились палаты, тоже в два этажа. Потом Троекуров прибавил еще третий этаж со сводами в две с половиной сажени, чего не было ни до него, ни после.

Когда Василия Голицына, по проискам врагов, в числе которых был Троекуров, сослали и секвестровали его имущество, Петр I подарил его дом грузинскому царевичу, потомки которого уже не жили в доме, а сдавали его внаем под торговые здания. В 1871 году дом был продан какому-то купцу. Дворец превратился в трущобу.

То же самое произошло и с домом Троекурова. Род Троекуровых вымер в первой половине XVIII века, и дом перешел к дворянам Соковнинным, потом к Салтыковым, затем к Юрьевым и, наконец, в 1817 году был куплен «Московским мещанским обществом», которое поступило с ним чисто по-мещански: сдало его под гостиницу «Лондон», которая вскоре превратилась в грязнейший извозничий трактир, до самой революции служивший притоном шулеров, налетчиков, барышников и всякого уголовного люда.

Одновременно с этими двумя домами, тоже из зависти, чтоб «утереть нос» Ваське Голицыну и казнокраду Троекурову, князь Гагарин выстроил на Тверской свой дом. Это был казнокрад похуже, пожалуй, Троекурова, как поется о нем в песне:

Ах ты, сукин сын Гагарин,
Ты собака, а не барин...
Заедаешь харчевые,
Наше жалованье,
И на эти наши деньги
Ты большой построил дом
Среди улицы Тверской
За Неглинной за рекой,

Со стеклянным потолком,
С москворецкю водой,
По фонтану ведена,
Жива рыба пущена...

Неизвестно, утер ли нос Голицыну и Троекурову своим домом Матвей Гагарин, но известно, что Петр I отрубил ему голову.

Реставрированные дома Голицына и Троекурова — это последняя память об Охотном ряде... И единственная, если не считать «Петра Кириллова».

Об этом продукте Охотного ряда слышится иногда при недобросовестном отпуске товара:

— Ты мне Петра Кирилыча не заправляй!

Петр Кириллов, благодаря которому были введены в трактирах для расчета марки, был действительно лицо, увековечившее себя не только в Москве, но и в провинции. Даже в далекой Сибири между торговыми людьми нередко шел такой разговор:

— Опять ты мне Петра Кирилыча заправил!

Петр Кирилыч родился в сороковых годах в деревне бывшего Угличского уезда. Десятилетним мальчиком был привезен в Москву и определен в трактир Егорова половым.

Наглядевшись на охотнорядских торговцев, практиковавших обмер, обвес и обман, он ловко применил их методы торгового дела к своей профессии.

Кушанья тогда заказывали на слово, деньги, полученные от гостя, половые несли прямо в буфет, никуда не заходя, платили, получали сдачу и на тарелке несли ее, тоже не останавливаясь, к гостю. Если последний давал на чай, то чайные деньги сдавали в буфет на учет и делили после. Кажется, ничего украсть нельзя, а Петр Кирилыч ухитрялся. Он как-то прятал деньги в рукава, засовывал их в диван, куда садился знакомый подрядчик, который брал и уносил эти деньги, вел им счет и после, на дому, рассчитывался с Петром Кирилычем. И многие знали, а поймать не могли. Уж очень ловок был. Даст, бывало, гость ему сто рублей разменять. Вмиг разменяет, сочтет на глазах гостя, тот положит в карман, и делу конец. А другой гость начнет пересчитывать:

— Чего ты принес? Тут пятишки нет, всего девяносто пять...

Удивится Петр Кириллов. Сам перечтет, положит деньги на стол, поставит сверху на них солонку или тарелку.

— Верно, не хватает пятишки! Сейчас сбегая, не обронил ли на буфете.

Через минуту возвращается сияющий и бросает пятерку.

— Ваша правда... На буфете забыл...

Гость доволен, а Петр Кирилыч вдвое.

В то время, когда пересчитывал деньги, он успел стащить красненькую, а добавил только пятерку.

А если гость пьяненький, он получал с него так: выпил, положим, гость три рюмки водки и съел три пирожка. Значит, за три рюмки и три пирожка надо сдать в буфет 60 копеек.

Гость сидит, носом поклевывает:

— Сколько с меня?

— С вас-с... вот, извольте видеть, — загибает пальцы Петр Кирилыч, считая: — По рюмочке три рюмочки, по гривенничку три гривенничка — тридцать, три пирожка по гривенничку — тридцать, три рюмочки тридцать. Папиросок не изволили спрашивать? Два рубля тридцать.

— Сколько?

— Два рубля тридцать!

— Почему такое?

— Да как же-с? Водку кушали, пирожки кушали, папирос, сигар не спрашивали, — и загибает пальцы. — По рюмочке три рюмочки, по гривеннику три гривенника — тридцать, три пирожка — тридцать. По гривеннику три гривенника, по рюмочке три рюмочки, да три пирожка — тридцать. Папиросочек-сигарочек не спрашивали — два рубля тридцать...

Бросит ничего не понявший гость трешницу... Иногда и сдачи не возьмет, ошалелый.

И все знали, что Петр Кирилыч обсчитывает, но никто не мог понять, как именно, а товарищи-половые радовались:

— Вот молодчина!

И учились, но не у всех выходило.

Когда в трактирах ввели расчет на «марки», Петр Кирилыч бросил работу и уехал на покой в свой богато обстроенный дом на Волге, где-то за Угличем. И сказывали земляки, что, когда он являлся за покупками в свой Углич и купцы по привычке приписывали в счетах, он сердился и говорил.

— А ты Петра Кирилыча хоть мне-то не заправляй!

Да еще оставил после себя Петр Кирилыч на память потомству особый способ резать расстегаи.

Трактир Егорова, кроме блинов, славился рыбными расстегаями. Это — круглый пирог во всю тарелку, с начинкой из рыбного фарша с вязигой, а середина открыта, и в ней, на ломтике осетрины, лежит кусок налимьей печенки. К расстегаю подавался соусник ухи бесплатно.

Ловкий Петр Кирилыч первый придумал «художественно» разрезать такой пирог. В одной руке вилка, в другой ножик; несколько взмахов руки, и в один миг расстегай обращался в десятки тоненьких ломтиков, разбегавшихся от центрального куска печенки к толстым румяным краям пирога, сохранившего свою форму. Пошла эта мода по всей Москве, но мало кто умел так «художественно» резать расстегаи, как Петр Кирилыч, разве только у Тестова — Кузьма да Иван Семеныч. Это были художники!

Трактир Егорова — старозаветный, единственный в своем роде. Содержатель, старообрядец, запретил в нем курить табак:

— Чтобы нечистым зельем не пахло.

Нижний зал трактира «Низок» — с огромной печью. Здесь посетителям, прямо с шестка, подавались блины, которые у всех на виду беспрерывно пеклись с утра до вечера. Толстые, румяные, с разными начинками — «егоровские блины».

В этом зале гости сидели в шубах и наскоро ели блины, холодную белужину или осетрину с хреном и красным уксусом.

В зале второго этажа для «чистой» публики, с расписными стенами, с бассейном для стерлядей, объеда-

лись селянками и разными рыбными блюдами богачи — любители русского стола, — блины в счет не шли.

Против ворот¹ Охотного ряда, от Тверской, тянется узкий Лоскутный переулок, переходящий в Обжорный, который кривулил к Манежу и к Моховой; нижние этажи облезлых домов в нем были заняты главным образом «пырками». Так назывались харчевни, где подавались: за три копейки — чашка щей из серой капусты, без мяса; за пятак — лапша зелено-серая от «подонья» из-под льняного или конопляного масла, жареная или тушеная картошка.

Обжорный ряд с рассвета до полуночи был полон рабочего народа: кто впроголодь обедал в «пырках», а кто наскоро, прямо на улице, у торговок из глиняных корчаг — осердьем и тухлой колбасой.

В обжорке съедались все те продукты, какие нельзя было продать в лавках и даже в палатках Охотного. Товар для бедноты — слегка протухший, «крысами траченный».

Перед праздниками Охотный ряд возил московским Сквозник-Дмухановским возами съестные взятки, давали и «сухими» в конверте.

В обжорке брали «сухими» только квартальные, постовые же будочники довольствовались «натурой» — на закуску к водке:

— Ну, кума, режь-ка пополам горло! Да легкого малость зацепи...

Во время японской войны большинство трактиров стало называться ресторанами, и даже исконный тестовский трактир переименовал вывеску:

«Ресторан Тестова».

От трактира Тестова осталась только в двух-трех залах старинная мебель, а все остальное и не узнаешь! Даже стены другие стали.

Старые москвичи-гурманы перестали ходить к Тестову. Приезжие купцы, не бывавшие несколько лет в Москве, не узнавали трактира. Первым делом — декандетская картина на зеркальном окне вестибюля...

¹ Въезд во двор со стороны Тверской, против Обжорного переуллка.

В большом зале — модернистская мебель, на которую десятипудовому купчине и сесть боязно.

Приезжие идут во второй зал, низенький, с широкими дубовыми креслами. Занимают любимый стол, к которому привыкли, располагаясь на разлтых диванах...

— Вот здесь по-тестовски, как прежде бывало!

Двое половых вырастают перед столом. Те же белые рубашки, зелененькие пояски, но за поясами не торчат обычные бумажники для денег и марок.

— А где твои присяги? Где марошник-лопатошник?

— На марки расчета не ведем, у нас теперь талоны...

— А где Кузьма? Где Иван Семеныч?..

Половой смутился: видит, гости почетные.

— На покое-с, в провинцию за старостью лет уехали... в деревню.

— А ты-то углицкий?

— Нет, мы подмосковные... Теперь ярославских мало у нас осталось...

— Что же ты как пень стоишь? Что же ты гостей не угощаешь? Вот, бывало, Кузьма Егорыч...

— Не наше дело-с, теперь у нас мирдотель на это...

Подошел метрдотель, в смокинге и белом галстуке, подал карточку и наизусть забарабанил:

— Филе из куропатки... Шоффрау, соус провансаль... Беф бруи... Филе португез... Пудинг дипломат... — И совершенно неожиданно: — Шашлык по-кавказски из английской баранины.

И еще подал карточку с перечислением кавказских блюд, с подписью: шашлычник Георгий Сулханов, племянник князя Аргутинского-Долгорукова...

Выслушали всё и прочитали карточку гости.

— А ведь какой трактир-то был знаменитый, — вздохнул седой огромный старик.

— Ресторан теперь, а не трактир! — важно заявил метрдотель.

В большом, полном народа зале загудела музыка.

— А где же ваша машина знаменитая? Где она? «Лучинушку» играла... Оперы...

— Вот там; да ее не заводим: многие гости обижаются на машину — старье, говорят! У нас теперь

румынский оркестр... — И, сказав это, метрдотель повернулся, заторопился к другому столу.

Подали расстеган.

— Разве это расстегай? Это калоша, а не расстегай! Расстегай круглый. Ну-ка, как ты его разрежешь?

— Нынче гости сами режут.

Старик сказал соседу:

— Трактирщика винить нельзя: его дело торговое, значит, сама публика стала такая, что ей ни машина, ни селянка, ни расстегай не нужны. Ей подай румын, да разные супы из черепахи, да филе бурдалезы... Товарец по покупателю... У Егорова, бывало, курить не позволялось, а теперь копти потолок, сколько хошь! Потому всё, что прежде в Москве народ был, а теперь — публика,

ЛУБЯНКА

В девяностых годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади, между Большой и Малой Лубянской, вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владении Н. С. Мосолова.

В восьмидесятых годах Н. С. Мосолов, богатый помещик, академик, известный гравер и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось Варшавское страховое общество; в другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Мосолова, помещалась фотография Мебиуса. Мосолов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода — в Москве, почти никого не принимая у себя. Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете, на паре прекрасных лошадей, со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все «Лапша».

Против дома Мосолова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда Мосолов продал свой дом страховому обществу «Россия», то карету и лоша-

дей подарил своему кучеру, и «Лапша» встал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать: ездить с «Лапшой» считалось шиком.

Мосолов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и офортов, как своей работы, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру помнят старые москвичи, но редко кто удостоивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке у окна, выходившего во двор, где помещался в восьмидесятых годах гастрономический магазин Генералова.

При магазине была колбасная; чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. По двору носилась злющая собака овчарка Енотка, которая не выносила полицейских. Чуть увидит полицейского — бросается. И всякую собаку, забежавшую на двор, рвала в клочья.

В соседнем флигеле дома Мосолова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах — меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около двадцати, а в верхнем — немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году, у актера А. Д. Казакова.

— Тут все наши, тамбовские! — сказал он.

Мосолов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце восьмидесятых годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого.

Номера все были месячные, занятые постоянными жильцами. Среди них, пока не вымерли, жили тамбовские помещики (Мосолов сам был из их числа), еще в семидесятых годах приехавшие в Москву доживать свой век на остатки выкупных, полученных за «освобожденных» крестьян.

Оригинальные меблирашки! Узенькие, вроде тоннеля, коридорчики, со специфическим «нумерным» запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо лужеными и нечищенными самоварами в облаках пара, с угаром, в номера и обратно.... В не-

слышной, благодаря требованию хозяина, мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещицкой двора.

И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те года население мебелирашек являлось не чем иным, как умирающей в городской обстановке помещицкой степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли — сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная любимыми собачками и двумя верными барыне дворовыми «девками» — тоже старухами... Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру.

Некоторым жильцам, тоже старикам тамбовским помещикам, прожившимся до гола, помогал сам Мосолов.

Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами, и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель С. Н. Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные, небогатые люди, любившие уют и тишину.

Казаков жил у своего друга, тамбовского помещика Ознобишина, двоюродного брата Ильи Ознобишина, драматического писателя и прекрасного актера-любителя, останавливавшегося в этом номере во время своих приездов в Москву на зимний сезон.

Номер состоял из трех высоких комнат с большими окнами, выходящими на площадь. На полу лежал огромный мягкий ковер персидского рисунка, какие в те времена ткали крепостные искусницы. Вся мебель — красного дерева с бронзой, такие же трюмо в стиле рококо; стол красного дерева, с двумя башнями по сторонам, с разными ящиками и ящичками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке между окнами —

драгоценные, инкрустированные «були» и огромные английские часы с басовым боем... На стенах — наверху портреты предков, а под ними акварели из охотничьей жизни, фотографии, и все — в рамках красного дерева... На камине дорогие бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы — смесь фарфора и бронзы.

В спальне — огромная, тоже красного дерева кровать, и над ней ковер с охотничьим рогом, арапниками, кинжалами и портретами борзых собак. Напротив — турецкий диван; над ним масляный портрет какой-то очень красивой амазонки и опять фотографии и гравюры. Рядом с портретом Александра II в серой визитке, с собакой у ног — фотография Герцена и Огарева, а по другую сторону — принцесса Дагмара с собачкой на руках и Гарибальди в круглой шапочке.

Это все, что осталось от огромного барского имени и что украшало жизнь одинокого старого барина, когда-то прожигателя жизни, приехавшего в Москву доживать в этом номере свои последние годы.

Приходят в гости к Казакову актеры Киреев и Далматов и один из литераторов. Скушает старик в одиночестве. А потом вдруг:

— Знаете что? Видали ли вы когда-нибудь лакейский театр?

— Не понимаем.

— Ну, так увидите!

Позвонил. Вошел слуга, довольно обтрепанный, но чрезвычайно важный, с седыми баками и совершенно лысой головой.

— Самоварчик прикажете, Александр Дмитриевич?

— Да, пожалуй. Скучно очень...

— Время такое-с, все разъехавшись... Во всем коридоре одна только Языкова барыня... Кто в парк пошел, кто на бульваре сидит... Ко сну придут, а теперь еще солнце не село.

Стоит старик, положив руку на спинку кресла, и, видимо, рад поговорить.

— Никанор Маркелыч! А я к вам с просьбой... Вот это мои друзья — актеры... Представьте нам старого барина. Григорий-то здесь?

— У себя в каморке, восьмому номеру папирсы набивает.

— Позовите его да представьте... мы по рублику вам соберем.

— Помилуйте, за что же-с... Я и так рад для вас.

— Со скуки умираем, развлеките нас...

— Сейчас за Гришей сбегаю.

Он взял большое кресло, отодвинул его в противоположный угол, к окну, сказал «сейчас» и исчез.

Казаков на наши вопросы отвечал только одно:

— Увидите. А пока давайте по рублю.

Через несколько минут легкий стук в дверь, и вошел важный барин в ермолке с кисточкой, в турецком халате с красными шнурами. Не обращая на нас никакого внимания, он прошел, будто никого и в комнате нет, сел в кресло и стал барабанить пальцами по подлокотнику, а потом закрыл глаза, будто задремал. В маленькой прихожей кто-то кашлянул. Барин открыл глаза, зевнул широко и хлопнул в ладоши.

— Ванька, трубку!

И вмиг вбежал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке человек с проседью, в подстриженных баках, на одной ноге опорок, на другой — туфля. Подал барину трубку, а сам встал на колени, чиркнул о штаны спичку, зажег бумагу и приложил к трубке.

Барин раскурил и затянулся.

— А мерзавец Прошка где?

— На нем черти воду возят...

— А! — барин выпустил клуб дыма и задумался.

— Ванька малый! Принеси-ка полштоф водки алой!

— А где ее взять, барин?

— Ах ты, татарин! Возьми в поставе!

— Черт там про тебя ее поставил...

— А шампанское какое у нас есть?

— А которым ворота запирают!

— Что ты сказал? Плохо слышу!

— Что сказал — кобель языком слизал!

— Ванька малый, ты малый бывалый, нет ли для меня у тебя невесты на примете?

— Есть лучше всех на свете, красавица, полпуда навоза на ней таскается. Как поклонится — фунт отло-

мится, как павой пройдет — два нарастет... Одна нога хромая, на один глаз косая, малость конопатая, да зато бо-ога-атая!

— Ну, это не беда, давай ее сюда... А приданое какое?

— Имение большое, не виден конец, а посередке дворец — два кола вбито, бороной покрыто, добра полны амбары, заморские товары, чего-чего нет, харчей запасы невпроед: сорок кадушек соленых лягушек, сорок амбаров сухих тараканов, рогатой скотины — петух да курица, а медной посуды — крест да пуговица. А рожь какая — от колоса до колоса не слышать бабьего голоса!

— Ванька малый! А как из моей деревни пишут? Живут ли мои крепостные богато?

— Пишут, что чуть дышат, а живут страсть богато, гребут золото лопатой, а дерьмо языком, и ни рубах, ни порток ни на ком! Да вот еще вам бурмистр письмо привез...

— А где он, старый леший?

— Да уж на том свете смолу для господ кипятит!

Слуга вынимает из опорка бумажку и подает барину.

— Ах ты, сукин сын! Почему подаешь барину письмо не на серебряном подносе?

— Да серебро-то у нас в забросе, подал бы на золотом блюде, да разбежались люди...

Барин вслух читает письмо:

«Батюшка барин сивый жеребец Михайло Петрович помер шкуру вашу барскую содрали продали на вырученные деньги куплен прочный хомут для вашей милости на ярмарке свиней породы вашей милости было довольное».

— Ванька! Скот! Да это письмо старинное...

— Половину искурили — было длиннее...

— Тогда был у меня на дворце герб, в золотом поле голубой шит...

— А теперь у вас, барин, в чистом поле вот что, — и, просунув большой палец между указательным и средним, слуга преподнес барину кукиш.

Обратился к нам:

— Представление окончено; кроме этого, у нас с барином ничего нет...

Гости заплодировали, а восторженный Киреев вскочил и стал жать руки артистам.

Насилу мы уговорили их взять деньги...

Человек, игравший «Ваньку», рассказал, что это «представление» весьма старинное и еще во времена крепостного права служило развлечением крепостным, из-за него рисковавшим попасть под розги, а то и в солдаты.

То же подтвердил и старик Казаков, бывший крепостной актер, что он усиленно скрывал.

•

Рядом с домом Мосолова, на земле, принадлежавшей Консistorии¹, был простонародный трактир «Углич». Трактир извозчий, хотя у него не было двора, где обыкновенно кормятся лошади, пока их владельцы пьют чай. Но в то время в Москве была «простота», которую вывел в половине девяностых годов обер-полицмейстер Власовский.

А до него Лубянская площадь заменяла собой и извозчий двор: между домом Мосолова и фонтаном — биржа извозчицких карет, между фонтаном и домом Шипова — биржа ломовых, а вдоль всего тротуара от Мясницкой до Большой Лубянки — сплошная вереница легковых извозчиков, толкущихся около лошадей. В те времена не требовалось, чтобы извозчики обязательно сидели на козлах. Лошади стоят с надетыми торбанами, разнузданные, и кормятся.

На мостовой вдоль линии тротуара — объедки сена и потоки нечистот.

Лошади кормятся без призора, стаи голубей и воробьев мечутся под ногами, а извозчики в трактире чай пьют. Извозчик, выйдя из трактира, черпает прямо из бассейна грязным ведром воду и поит лошадь, а вокруг бассейна — вереница водовозов с бочками...

Подъезжают по восемь бочек сразу, становятся во-

¹ Консistorия — зал собрания (лат.). В дореволюционной России коллегиальный совет, подчиненный архиерею.

круг бассейна и ведерными черпаками на длинных ручках черпают из бассейна воду и наливают бочки, и вся площадь гудит ругательствами с раннего утра до поздней ночи...

Рядом с «Угличем», на углу Мясницкой — «Мясницкие» меблированные комнаты, занимаемые проезжими купцами и комиссионерами с образцами товаров. Дом, где они помещаются, выстроен Малюшиным на земле, арендуемой у Консистории.

Консистория! Слово, теперь непонятное для большинства читателей.

Попал черт в невод и в испуге вскрикивал:

— Не в Консистории ли я?!

Была такая поговорка, характеризовавшая это учреждение.

А представляло оно собой местное церковное управление из крупных духовных чинов — совет, и мелких чиновников, которыми верховодил секретарь — главная сила, которая влияла и на совет. Секретарь — это все. Чиновники получали грошовое жалованье и существовали исключительно взятками. Это делалось совершенно открыто. Сельские священники возили на квартиры чиновников взятки возами, в виде муки и живности, а московские платили наличными. Взятки давали дьяконы, дьячки, пономари и окончившие академию или семинарию студенты, которым давали места священников. Консистория владела большим куском земли по Мясницкой — от Фуркасовского переулкa до Лубянской площади. Она помещалась в двухэтажном здании казарменного типа, и при ней был большой сад. Потом дом этот был сломан, выстроен новый, ныне существующий, № 5, но и в новом доме взятки брали по-старому. Сюда являлось на поклон духовенство, здесь судили провинившихся, здесь заканчивались бракоразводные дела, требовавшие огромных взяток и подкупных свидетелей, которые для уличения в неверности того или другого супруга, что было необходимо по старому закону при разводе, рассказывали суду, состоявшему из седых архиереев, все мельчайшие подробности физической измены, чему свидетелями будто бы они были. Суду было мало того доказательства, что изменившего

супружеской верности застали в кровати; требовались еще такие подробности, которые никогда ни одно третье лицо не может видеть, но свидетели «видели» и с пафосом рассказывали, а судьи смаковали и «судили».

Выше Консistorии был Святейший синод. Он находился в Петербурге в здании под арками, равно как и Правительствующий сенат, тоже в здании под арками.

Отсюда ходила шутка:

— Слепейший синод и грабительствующий сенат живут подарками.

Между зданием Консistorии и «Мясницкими» номерами был стариннейший трехэтажный дом, где были квартиры чиновников. Это некогда был дом ужасов.

У меня сохранилась запись очевидца о посещении этой трущобы: «Мне пришлось, — пишет автор записи, — быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома, в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря на вполне приличную семейную обстановку средней руки; даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крючья и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды, и на крючья, и на кольца.

— Что это за странное здание? — спросил я у чиновника.

— Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где сто лет назад сидел Степан Иванович Шешковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных. Вот эти крючья над нами — дыбы, куда подвешивали пытаемых. А вот этот шкафчик, — мой собеседник указал на глубокую нишу, на деревянных новых полочках которой стояли бутылки с наливками и разная посуда, — этот шкафчик не больше, не меньше, как каменный мешок. Железная дверь с него снята и заменена деревянной уже нами, и теперь, как видите, в нем мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и попробуем. А во времена Шешковского сюда помещали стоймя

преступников: видите, только аршин в глубину, полтора в ширину и два с небольшим аршина в высоту. А под нами, да и под архивом, рядом с нами — подвалы с тюрьмами, страшный застенок, где пытали, где и сейчас еще кольца целы, к которым приковывали приведенных преступников. Там пострашнее. Уцелел и еще один каменный мешок с дверью, обитой железом. А подвал теперь завален разным хламом.

В дальнейшей беседе чиновник рассказал следующее:

— Я уже сорок лет живу здесь и застал еще людей, помнивших и Шешковского, и его помощников — Чередуна, Агапыча и других, знавших даже самого Ваньку Каина. Помнил лучше других и рассказывал мне ужасы живший здесь в те времена еще подростком сын старшего сторожа того времени, потом наш чиновник. При нем уж пытки были реже. А как только воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем тайной экспедиции всех, кто был заключен Екатериной II и ее предшественниками. Когда их выводили на двор, они и на людей не были похожи: кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво...

На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда, больше в сумасшедший дом... Потом, уже при Александре I, сломали дыбу, станки пыточные, чистили тюрьмы. Чередин еще распоряжался всем. Он тут и жил, при мне еще. Он рассказывал, как Пугачева при нем пытали, — это еще мой отец помнил... И Салтычиху он видел здесь, в этой самой комнате, где мы теперь сидим... Потом ее отсюда перевезли в Ивановский монастырь, в склеп, где она тридцать лет до самой смерти сидела. Вот я ее самолично видел в Ивановском монастыре... Она содержалась тогда в подземной тюрьме, выглядывала сквозь решетку, в окошечко, визжала, ругалась и плевалась на нас. Ее никогда не отпирали и еду подавали в это самое единственное окошечко. Мне было тогда лет восемь, я ходил в монастырь с матерью и хорошо все помню...»

Прошло со времени этой записи больше двадцати лет. Уже в начале этого столетия возвращаюсь я по Мясницкой с Курского вокзала домой из продолжитель-

ной поездки — и вдруг вижу: дома нет, лишь груда камня и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с извозчика и прямо к ним. Оказывается, — новый дом строить хотят.

— Теперь подземную тюрьму начали ломать, — пояснил мне десятник.

— А я ее видел, — говорю.

— Нет, вы видели подвальную, ее мы уже сломали, а под ней еще была, самая страшная: в одном ее отделении картошка и дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована... Мы и сами не знали, что там помещение есть. Пролом сделали, и наткнулись мы на дубовую, железом кованную дверь. Насилу сломали, а за дверью — скелет человеческий... Как сорвали дверь — как загремит, как цепи звякнули... Кости похоронили. Полиция приходила, а пристав и цепи унес куда-то.

Мы пролезли в пролом, спустились на четыре ступеньки вниз, на каменный пол; здесь подземный мрак еще боролся со светом из проломанного потолка в другом конце подземелья. Дышалось тяжело... Проводник мой вынул из кармана огарок свечи и зажег... Своды... кольца... крючья...

Дальше было светлее, свечку погасили.

— А вот здесь скелет на цепях был.

Обитая ржавым железом, почерневшая дубовая дверь, вся в плесени, с окошечком, а за ней низенький каменный мешок, такой же, в каком стояла наливка у старика, только с каким-то углублением, вроде узкой ниши.

При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже, должно быть, каменные мешки.

— Я приду завтра с фотографом, надо снять это и напечатать в журнале.

— Пожалуйста, приходите. Пусть знают, как людей мучили. Приходите.

Я вышел на улицу и только хотел сесть на извозчика, как увидел моего товарища по журнальной работе — иллюстратора Н. А. Богатова.

— Николай Алексеевич, есть у тебя карандаш? — останавливаю его,

— Конечно, я без карандаша и альбома — ни шагу.

Я в кратких словах рассказал о том, что видел, и через несколько минут мы были в подземелье.

Часа три мы пробыли здесь с Богатовым, пока он сделал прекрасную зарисовку, причем десятник дал нам точные промеры подземелья. Ужасный каменный мешок, где был найден скелет, имел два аршина два вершка вышины, ширины — тоже два аршина два вершка, а глубины в одном месте, где ниша, — двадцать вершков, а в другом — тринадцать. Для чего была сделана эта ниша, так мы и не догадались.

Дом сломали, и на его месте вырос новый.

В 1923—1924 годах на месте, где были «Мясницкие» меблированные комнаты, выстроены торговые помещения. Под ними оказались глубоченные подвалы со сводами и какими-то столбами, напоминавшие соседние тюрьмы «Тайного приказа», к которому, вероятно, принадлежали они. Теперь их засыпали, но до революции они были утилизированы торговцем Чичкиным для склада молочных продуктов.

По другую сторону Мясницкой, в Лубянском проезде, было владение Ромейко. В выходящем на проезд доме помещался трактир Арсентьича, задний фасад которого выходил на огромный двор, тянувшийся почти до Златоустовского переулка. Двор был застроен оптовыми лавками, где торговали сезонным товаром: весной — огурцами и зеленью, летом — ягодами, осенью — плодами, главным образом яблоками, а зимой — мороженой рыбой и круглый год — живыми раками, которых привозили с Оки и Волги, а главным образом с Дона, в огромных плетеных корзинах. Эта оптовая торговля была, собственно, для одних покупателей — лотошников и разносчиков. В начале девяностых годов это огромное дело прекратилось, владения Ромейко купил сибирский богачей Н. Д. Стахеев и выстроил на месте сломанного трактира большой дом, который потом проиграл в карты.

Позади «Шиповской крепости» был огромный пустырь, где по зимам торговали с возов мороженым мя-

сом, рыбой и птицей, а в другое время — овощами, живностью и фруктами. Разносчики, главным образом тверские, покупали здесь товар и ходили по всей Москве, вплоть до самых окраин, нося на голове пудовые лотки и поставляя продукты своим постоянным покупателям. У них можно было купить и крупного осетра, и на пятак печенки для кошки. Разносчики особенно ценились хозяйками весной и осенью, когда улицы были непроходимы от грязи, или в большие холода зимой. Хороших лавок в Москве было мало, а рынки — далеко.

Как-то, еще в крепостные времена, на Лубянской площади появился деревянный балаган с немудрящим зверинцем и огромным слоном, который и привлекал главным образом публику. Вдруг по весне слон взбесился, вырвал из стены бревно, к которым был прикован цепями, и начал разметывать балаган, победоносно трубя и нагоняя страх на окружившие площадь толпы народа. Слон, раздраженный криками толпы, старался вырваться, но его удерживали бревна, к которым он был прикован и которые застревали в обломках балагана. Слон уже успел сбить одно бревно и ринулся на толпу, но к этому времени полиция привела роту солдат, которая несколькими залпами убила великана.

Теперь на этом месте стоит Политехнический музей.

ПОД КАЛАНЧОЙ

Полтора́ста лет стоит на Тверской дом, в котором помещается теперь Моссовет. Выстроил его в 1782 году, по проекту знаменитого архитектора Казакова, граф Чернышев, московский генерал-губернатор, и с той поры дом этот вплоть до революции был бессменно генерал-губернаторским домом. Фасадом он выходит на Советскую площадь, которая называлась Скобелевской, а ранее того — Тверской площадью. В этом доме происходили торжественные приемы и блестящие балы, устраивать которые особенно любил в восьмидесятых годах князь В. А. Долгоруков, правивший столицей в патриархальном порядке. На его балах бывала вся Москва, и в роскошных залах, среди усыпанных бриллиантами великосветских дам и блестящих мундиров, можно было увидеть сапоги замоскворецких миллионеров, поддевку гласного Давыда Жадаева и долгополый сюртук ростовщика Кашина... Ростовщики и даже скупщики краденого и содержатели разбойничьих притонов бывали на этих балах, прикрытые мундирами благотворительных обществ, в которые доступ был открыт всем, кто жертвует деньги. Многие из них даже получали чины и ордена, ими прикрывали свои преступные дела, являясь недоступными для полиции.

Подъезжает в день бала к подъезду генерал-губернаторского дворца какой-нибудь Ванька Кулаков в белых штанах и расшитом «благотворительном» мун-

дире «штатского генерала», входит в вестибюль, сбрасывает на руки швейцару соболью шубу и, отсалютовав с вельможной важностью треуголкой дежурящему в вестибюле участковому приставу, поднимается по лестнице в толпе дам и почетных гостей. А пристав, бывший гвардейский офицер, принужден ему ответить, взяв под козырек, как гостю генерал-губернатора и казначею благотворительного общества, состоящего под высочайшим покровительством... Ну как же после этого пристав может составить протокол на содержателя разбойничьего притона «Каторга», трактира на Хитровом рынке?!

Вот тут-то, на этих балах, и завязывались нужные знакомства и обдывались разные делишки, а благодушный «хозяин столицы», как тогда звали Долгорукова, окруженный стеной чиновников, скрывавших от него то, что ему не нужно было видеть, рассыпался в любезностях красивым дамам.

Сам князь, старый холостяк, жил царьком, любил всякие торжества, на которых представлялся. В известные дни принимал у себя просителей и жалобщиков, которые, конечно, фильтровались чиновниками, заблаговременно докладывавшими князю, кто и зачем пришел, и характеризовавшими по-своему личность просителя. Впрочем, люди, знакомые князю, имели доступ к нему в кабинет, где он и выслушивал их один и отдавал приказание чиновникам, как поступить, но скоро все забывал, и не всегда его приказания исполнялись. Много анекдотов можно было бы припомнить про княжение Долгорукова на Москве, но я ограничусь только одним, относящимся, собственно, к генерал-губернаторскому дому, так как цель моих записок — припомнить старину главным образом о домах и местностях Москвы.

В конце семидесятых годов в Москве работала шайка «червонных валетов», блестящих мошенников, которые потом судились окружным судом и были осуждены и сосланы все, кроме главы, атамана Шпейера, который так и исчез навеки неведомо куда. Самым интересным был финал суда: когда приговор был прочитан, из залы заседания вышел почтенный, профессорского вида,

старик, сел на лихача, подозвал городского, передал ему конверт, адресованный на имя председателя суда, и уехал. В конверте оказалась визитная карточка Шпейера, и на ней написано карандашом: «Благодарю за сегодняшний спектакль. Я очень доволен. Шпейер».

Вот этот самый Шпейер, под видом богатого помещика, был вхож на балы к В. А. Долгорукову, при первом же знакомстве очаровал старика своей любезностью, а потом бывал у него на приеме, в кабинете, и однажды попросил разрешения показать генерал-губернаторский дом своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. Князь разрешил, и на другой день Шпейер привез лорда, показал, в сопровождении дежурного чиновника, весь дом, двор и даже конюшни и лошадей. Чиновник молчаливо присутствовал, так как ничего не понимал по-английски. Дня через два, когда Долгоруков отсутствовал, у подъезда дома оставилась подвода с сундуками и чемоданами, следом за ней в карете приехал лорд со своим секретарем-англичанином и приказал вносить вещи прямо в кабинет князя... Подробности этого скандала я не знаю, говорили разное. Известно только, что дело кончилось в секретном отделении генерал-губернаторской канцелярии.

Англичанин скандалил и доказывал, что это его собственный дом, что он купил его у владельца, дворянина Шпейера, за 100 тысяч рублей со всем инвентарем и приехал в нем жить. В доказательство представил купчую крепость, заверенную у нотариуса, по которой и деньги уплатил сполна. Это мошенничество Шпейера не разбиралось в суде, о нем умолчали, и как разделились с англичанином — осталось неизвестным. Выяснилось, что на 2-й Ямской улице была устроена на один день фальшивая контора нотариуса, где и произошла продажа дома. После этого только началась ловля «червонных валетов», но Шпейера так и не нашли. Вся Москва об этом молчала, знал только один фельетонист «Современных известий», Пастухов, но с него Долгоруков взял клятву, что он никогда не заикнется об этом деле. Много лет спустя Пастухов, по секрету, на рыбной ловле, рассказал мне об этом факте, а потом

подтвердил его мне известный в свое время картежник Н. В. Попов, близко знавший почти всех членов шайки «червонных валетов», с которыми якшался, и добавил ряд подробностей, неизвестных даже Пастухову. От него я узнал, что Шпейер был в этой афере вторым лицом, а главным был некий прогорелый граф, который не за это дело, а за ряд других мошенничеств был сослан в Сибирь.

Долгоруков не брал взяток. Не нужны они ему были. Старый холостяк, проживший огромное состояние и несколько наследств, он не был кутилой, никогда не играл в карты, но любил задавать балы и не знал счета деньгам, даже никогда не брал их в руки.

Правой рукой его в служебных делах был начальник секретного отделения канцелярии генерал-губернатора П. М. Хотинский — вечная московская «притча во языцех». Через него можно было умелому и денежному человеку сделать все.

Другой рукой князя был еще более приближенный человек — его бессменный камердинер Григорий Иванович Вельтищев, маленький, с большими усами.

Всеми расходами князя и всеми денежными суммами ведал он.

— Григорий, у нас для новогоднего бала все готово?

— Нет еще, ваше сиятельство. Денег еще не прислали. Придется пока перехватить тыщонок двадцать. Я думаю насчет гравера, вот напротив живет, к нему родственники приехали, а их гонят.

— Ничего не понимаю! Живых цветов побольше!

— Вот еще Лазарь Соломонович Поляков тоже просит...

— Ну да, он прекрасный человек. Скажи Павлу Михайловичу, что я приказал.

На новогоднем балу важно выступает под руку с супругой банкир Поляков в белых штанах и мундире штатского генерала благотворительного общества. Про него ходил такой анекдот:

— Ну и хочется вам затруднять свой язык? Лазарь Соломонович, Лазарь Соломонович! Зовите просто — ваше превосходительство!

Перед окнами дома Моссовета раскинута Советская площадь. На фоне сквера, целый день оживленного группами гуляющих детей, — здание Института Маркса — Энгельса — Ленина.

Против окон парадных покоев, на другом конце площади, где теперь сквер, высилась в те времена каланча Тверской части. Беспокойное было это место.

Целый день, с раннего утра — грохот по булыжнику. Пронзительно дребезжат извозничьи пролетки, громяют ломовые полки, скрипят мужицкие телеги, так как эта площадь — самое бойкое место, соединяющее через Столешников переулок два района города.

В конце прошлого века о правилах уличного движения в столице и понятия не имели: ни правой, ни левой стороны не признавали, ехали — кто как хотел, сцеплялись, кувыркались... Круглые сутки стоял несмолкаемый шум.

Это для слуха. Зрение тоже не радовали картины из парадных окон генерал-губернаторского дворца: то пьяных и буянов вели «под шары», то тащили в приемный покой при части поднятых на улицах...

И для обоняния не всегда благополучно.

По случаю лунной ночи, по правилам думского календаря, хотя луны и не видно на самом деле, уличные фонари всей Москвы погашены.

В темноте тащится ночной благоуханный обоз — десятка полтора бочек, запряженных каждая парой ободранных, облезлых кляч.

Между бочкой и лошадьёю на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет «золотарь», — так звали в Москве ассенизаторов.

Обоз подпрыгивает по мостовой, расплескивая содержимое на камни, гремя на весь квартал. И тянется, едва двигаясь, после полуночи такой обоз по Тверской, мимо дворца...

Обоз растянулся... Последние бочки на окончательно хромых лошадях поотстали... Один «золотарь» спит. Другой ест большой калач, который держит за дужку.

Динь... Динь... — раздаётся с каланчи звонок, и часовой поднимает два фонаря по блоку на высоком коромысле.

— Какой номер? — орет снизу брандмейстер.

— Третий, коло ниверситета, — отвечает сверху пожарный, указывая, где именно и какой пожар.

«Третий» — значит огонь выбился наружу.

Как бешеный вырвался вслед за вестовым с факелом, сеющим искры, пожарный обоз. Лошади — звери, воронежские битюги, белые с рыжим.

Дрожат камни мостовой, звенят стекла, и содрогаются стены зданий.

Бешеная четверка с баграми мчится через площадь по Тверской и Охотному ряду, опрокидывая бочку, и летит дальше... Бочка вверх колесами. В луже разлившейся жижи барахтается золотарь... Он высоко поднял руку и заботится больше всего о калаче... Калач — это их специальное лакомство: он удобен, его можно ухватить за ручку, а булку грязными руками брать не совсем удобно. Пожарные несутся вниз по Тверской, а бочки тянутся дальше вверх, к заставе. Навстречу летят ночные гуляки от «Яра» — ресторана в Петровском парке — на тройках, «голубчиках» и лихацах, обнявшись с надутыми дамами, с гиком режут площадь, мчась по Тверской или вниз по Столешникову на Пестровку.

На беспокойном месте жили генерал-губернаторы!

Иногда по Тверской в жаркий летний день тащится извозничья пролетка с поднятым верхом, несмотря на хорошую погоду; из пролетки торчат шесть ног: четыре — в сапожищах со шпорами, а две — в ботинках, с брюками навыпуск.

Это привлекает внимание прохожих.

— Политика везут «под шары» в Тверскую!..

И действительно, пролетка сворачивает на площадь, во двор Тверской части, останавливается у грязного двухэтажного здания, внизу которого находится пожарный сарай, а верхний этаж занят секретной тюрьмой с камерами для политических и особо важных преступников.

Пролетка остановилась. Из нее, согнувшись в три погибели, выползают два жандарма, а с ними и «политик».

Его отводят в одну из камер, маленькие окна которой прямо глядят на генерал-губернаторский дом, но

спаружи сквозь них ничего не видно: сверх железной решетки окна затянуты частой проволочной сеткой, заросшей пылью.

Звали эту тюрьму «клоповник».

В главном здании, с колоннадой и красивым фронтоном, помещалась в центре нижнего этажа гауптвахта, дверь в которую была среди колонн, а перед ней — плацпарад с загородкой казенной окраски, черными и белыми угольниками. Около полосатой, такой же окраски будки с подвешенным колоколом стоял часовой и нервно озирался во все стороны, как бы не пропустить идущего или едущего генерала, которому полагалось «вызванивать караул».

Чуть показывался с Тверской или из Столешникова переулка, или от гостиницы «Дрезден», или из подъезда генерал-губернаторского дома генерал, — часовой два раза ударял в колокол, и весь караул — двадцать человек с офицером и барабанщиком во главе — стремглав, прыгая со ступенек, выстраивался фронтом рядом с будкой и делал ружьями «на караул» под барабанный бой...

И сколько десятков раз приходилось высказывать им на чествование генералов! Мало ли их «проследует» за день по Тверской и на Тверскую через площади! Многие генералы издали махали рукой часовому, что, мол, не надо вызванивать, но были и любители, особенно офицеры, только что произведенные в генералы, которые тешили свое сердце и нарочно лишний раз проходили мимо гауптвахты, чтобы важно откозырять выстроившемуся караулу.

И так каждый день от «зари» до «зари».

А «заря» — это особый военный артикул, исполнявшийся караулом на гауптвахте утром и вечером.

За четверть часа до назначенного времени выходит горнист и играет на трубе «повестку к заре». Через четверть часа выстраивается весь караул у будки и под барабанный бой правит церемониал «зари».

После вечерней «зари» и до утренней генералов лишают церемониала отдания чести. Солдаты дремлют в караульном доме, только сменяясь по часам, чтобы стеречь арестантов, на двух постах: один под окнами

«клоповника», а другой под окнами гауптвахты, выходящими тоже во двор, где содержались в отдельных камерах арестованные офицеры.

Кроме «клоповника», во дворе, рядом с приемным покоем, помещалась «пьяная» камера, куда привозили пьяных и буянов.

Огромный пожарный двор был завален кучами навоза, выбрасываемого ежедневно из конюшен. Из-под навоза, особенно после дождей, текла ручьями бурая, зловонная жидкость прямо через весь двор под закрытые ворота, выходящие в переулок, и сбегала по мостовой к Петровке. Рядом с воротами стояло низенькое каменное здание без окон, с одной дверью на двор. Это — морг. Его звали «часовня». Он редко пустовал. То и дело сюда привозили трупы, поднятые на улице, или жертвы преступлений. Их отправляли для судебно-медицинского вскрытия в анатомический театр или, по заключению судебных властей, отдавали родственникам для похорон. Бесприютных и беспаспортных отправляли тут же и везли на дрогах, в дощатых гробах на кладбище.

Дежурная комната находилась в правой стороне нижнего этажа, стена в стену в гауптвахтой, а с другой ее стороны была квартира полицейского врача. Над участком — квартира пристава, а над караульным домом, гауптвахтой и квартирой врача — казарма пожарной команды, грязная и промозглая.

Пожарные в двух этажах, низеньких и душных, были набиты, как сельди в бочке, и спали вповалку на нарах, а кругом на веревках сушилось промокшее на пожарах платье и белье. Половина команды — дежурная — никогда не раздевалась и спала тут же в одежде и сапогах.

И когда с каланчи, чуть заметя пожар, дежурный звонил за веревку в сигнальный колокол, пожарные выбегали иногда еще в непросохшем платье.

Мимо генерал-губернаторского дома громыкает пожарный обоз: на четверках — багры, на тройке — пожарная машина, а на парах — вереница бочек с водой.

А впереди, зверски дудя в медную трубу, мчится верховой с горящим факелом.

День и ночь шумела и гудела площадь. Безмолвствовала только одна тюрьма.

В ее секретных камерах содержались в разное время интересные люди.

В 1877 году здесь сидел «шлиссельбуржец» Николай Александрович Морозов. Спичкой на закоптелой стене камеры им было написано здесь первое стихотворение, положившее начало его литературному творчеству:

Кругом непроглядную серую мглой
Степная равнина одета,
И мрачно и душно в пустыне глухой,
И нет в ней ни жизни, ни света.

Потом к этому куплету стали присоединяться и другие. В первоначальном виде эта поэма была напечатана в 1878 году в журнале «Вперед» и вошла в первое издание его книги «Звездные песни», за которую в 1912 году Н. А. Морозова посадили в Двинскую крепость. В переделанном виде эта поэма была потом напечатана под названием «Шлиссельбургский узник».

В 1862 году в этой же самой угловой камере содержался Петр Григорьевич Зайчневский, известный по делу «Молодой России», прокламация которой привела в ужас тогдашнее правительство.

А еще раньше, в 1854 году, но уже не в «клоповнике», а в офицерских камерах гауптвахты содержался по обвинению в убийстве француженки Деманш А. В. Сухово-Кобылин, который здесь написал свою пьесу «Свадьба Кречинского», до сих пор не сходящую со сцены.

Революция смела тюрьму, гауптвахту, морг, участок и перевела в другое место Тверскую пожарную команду, успевшую отпраздновать в 1923 году столетие своего существования под этой каланчой.

Сто лет самоотверженной, полной риска работы нескольких поколений на виду у всей Москвы. Еще и сейчас немало москвичей помнят подвиги этих удалцов на пожарах, на ходынской катастрофе во время царского коронования в 1896 году, во время наводне-

ний и, наконец, при пожаре артиллерийских складов на Ходынке в 1920 году.

Московскую пожарную команду создал еще граф Ф. В. Ростопчин. Прежде это было случайное собрание пожарных инструментов, разбросанных по городу, и отдельных дежурных обывателей, которые должны были по церковному набату сбегаться на пожар, кто с багром, кто с ведром, куда являлся и брандмайор.

С 1823 года пожарная команда стала городским учреждением. Создавались пожарные части по числу частей города, постепенно появились инструменты, обоз, лошади.

И только в 1908 году появился в пожарном депо на Пречистенке первый пожарный автомобиль. Это была небольшая машина с прикрепленной наверху раздвижной лестницей для спасения погибавших из верхних этажей, впрочем не выше третьего. На этом автомобиле первым мчался на пожар брандмайор с брандмейстером, фельдшером и несколькими смельчаками — пожарными-топорниками.

Автомобиль бешено удирал от пожарного обоза, запряженного отличными лошадьми. Пока не было телефонов, пожары усматривали с каланчи пожарные. Тогда не было еще небоскребов, и вся Москва была видна с каланчи как на ладони. На каланче, под шарами, ходил день и ночь часовой. Трудно приходилось этому «высокопоставленному» лицу в бурю-непогоду, особенно в мороз зимой, а летом еще труднее: солнце печет, да и пожары летом чаще, чем зимой, — только гляди, не зевай! И ходит он кругом и «озирает окрестности».

Отважен, силен, сердцем прост,
Его не тронула борьбы житейской буря,
И занял он за это самый высший пост,
На каланче дежуря.

Вдруг облачко дыма... сверкнул огонек... И зверски рвет часовой пожарную веревку, и звонит сигнальный колокол на столбе посреди двора... Тогда еще электрических звонков не было.

Выбегают пожарные, на ходу одеваясь в не успе-

ише просохнуть платье, выезжает на великолепном коне вестовой в медной каске и с медной трубой. Выскакивает брандмейстер и, задрав голову, орет:

→ Где? Какой?

— В Охотном! Третий! — отвечает часовой сверху.

А сам уже поднимает два шара на коромысле каланчи, знак Тверской части. Городская — один шар, Пятницкая — четыре, Мясницкая — три шара, а остальные — где шар и крест, где два шара и крест — знаки, по которым обыватель узнавал, в какой части города пожар.

А то вдруг истошным голосом орет часовой сверху:

— Пятый, на Ильинке! Пятый!

И к одинокому шару, означающему Городскую часть, привешивает с другой стороны коромысла красный флаг: сбор всех частей, пожар угрожающий.

И громяхают по булыжным мостовым на железных шинах пожарные обозы так, что стекла дрожат, шкафы с посудой ходуном ходят, и обыватели бросаются к окнам или на улицу поглядеть на каланчу.

Ночью вывешивались вместо шаров фонари: шар — белый фонарь, крест — красный. А если красный фонарь сбоку, на том месте, где днем красный флаг, — это сбор всех частей. По третьему номеру выезжали пожарные команды трех частей, по пятому — всех частей.

А если сверху крикнут: «Первый!» — это значит закрытый пожар: дым виден, а огня нет. Тогда конный на своем коне-звере мчится в указанное часовым место для проверки, где именно пожар, — летит и трубит. Народ шарахается во все стороны, а тот, прельшая сердца обывательниц, летит и трубит!

И горничная с завистью говорит кухарке, указывая в окно:

— Гляди, твой-то...

В те давние времена пожарные, николаевские солдаты, еще служили по двадцать пять лет обязательной службы и были почти все холостые, имели «твердых» возлюбленных-кухарок.

В свободное от пожаров время они ходили к ним в

гости, угощались на кухне, и хозяйки на них смотрели как на своих людей, зная, что не прощальга какой-нибудь, а казенный человек, на которого положиться можно.

Так кухарки при найме и в условие хозяйкам ставили, что в гости «кум» ходить будет, и хозяйки соглашались, а в купеческих домах даже поощряли.

Да и как не поощрять, когда пословица в те давние времена ходила: «Каждая купчиха имеет мужа — по закону, офицера — для чувств, а кучера — для удовольствия». Как же кухарке было не иметь кума-пожарного!

Каждый пожарный — герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой. А тогда в особенности: полазь-ка по крышам зимой, в гололедицу, когда из разорванных рукавов струями бьет вода, когда толстое сукно куртки и штанов (и сухое-то не согнешь) сделается, как лубок, а неуклюжие огромные сапожищи, на железных гвоздях для прочности, сделаются, как чугунные. И карабкается такой замороженный дядя в обледенелых сапогах по обледенелым ступеням лестницы на пылающую крышу и продельывает там самые головокружительные акробатические упражнения; иногда ежась на стремнине карниза от наступающего огня и в ожидании спасательной лестницы половиной тела жмется к стене, а другая висит над бездной... Топорники, каски которых сверкают сквозь клубы черного дыма, раскрывая железо крыши, постоянно рискуют провалиться в огненные тартарары.

А ствольщик вслед за брандмейстером лезет в неизвестное помещение, полное дыма, и, рискуя задохнуться или быть взорванным каким-нибудь запасом керосина, ищет, где огонь, и заливает его... Трудно зимой, но невыносимо летом, когда пожары часты.

Я помню одно необычайно сухое лето в половине восьмидесятых годов, когда в один день было четырнадцать пожаров, из которых два — сбор всех частей. Горели Зарядье и Рогожская почти в одно и то же время... А кругом мелкие пожары...

В прошлом столетии в одной из московских газет напечатано было стихотворение под названием «По-



Уличные сапожники.



Московские пожарные 80-х годов.

жарный». Оно пользовалось тогда популярностью, и каждый пожарный чувствовал, что написано оно про него, именно про него, и гордился этим: сила и отвага!

ПОЖАРНЫЙ

Мчатся искры, вьется пламя,
Грозен огненный язык.
Высоко держу я знамя,
Я к опасности привык!

Нет неделями покоя, —
Стой на страже ночь и день:
С треском гнется подо мною
Зыбкой лестницы ступень.

В вихре искр, в порыве дыма,
Под карнизом, на весу,
День и ночь неутомимо
Службу трудную несу.

Ловкость, удаль и отвага
Нам заветом быть должны —
Мерзнет мокрая сермяга,
Волоса опалены...

Правь струю рукой умелой,
Ломом крышу раскрывай
И рукав обледенелый
Через пламя подавай.

На высоких крышах башен
Я, как дома, весь в огне.
Пыл пожара мне не страшен,
Целый век я на войне!

В наши дни пожарных лошадей уже нет, их заменили автомобили. А в старое время ими гордились пожарные. В шестидесятых годах полицмейстер, старый кавалерист Огарев, балетоман, страстный любитель пожарного дела и лошади, организовал специальное снабжение лошадьми пожарных команд, и пожарные лошади были лучшими в Москве. Имн пельзя было не любоваться. Огарев сам ездил два раза в год по воронежским и тамбовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву и распределял по семнадцати пожарным частям, само-

лично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, вынимал из кармана платок — и давай пробовать, как вычищены лошади. Ему Москва была обязана подбором лошадей по мастям: каждая часть имела свою «рубашку», и москвичи издали узнавали, какая команда мчится на пожар. Тверская — все желто-пегие битюги, Рогожская — вороно-пегие, Хамовническая — соловые с черными хвостами и огромными косматыми черными гривами, Сретенская — соловые с белыми хвостами и гривами, Пятницкая — вороные в белых чулках и с лысиной во весь лоб, Городская — белые без отметин, Якиманская — серые в яблоках, Таганская — чалые, Арбатская — гнедые, Сушевская — лимонно-золотистые, Мясницкая — рыжие и Лефортовская — караковые. Битюги — красота, силища!

А как любили пожарные своих лошадей! Как гордились ими! Брандмейстер Беспалов, бывший вахмистр 1-го Донского полка, всю жизнь проводил в конюшне, дневал и ночевал в ней.

После его смерти должность тверского брандмейстера унаследовал его сын, еще юноша, такой же удалец, родившийся и выросший в конюшне. Он погиб на своем посту: провалившись во время пожара сквозь три этажа, сошел с ума и умер.

А Королев, Юшин, Симонов, Алексеев, Корыто, Вишневский десятки лет служили брандмейстерами, всегда в огне, всегда, как и все пожарные, на волосок от смерти!

В старину пожарных, кроме борьбы с огнем, совали всюду, начиная от вытаскивания задохшихся рабочих из глубоких колодцев или отравленных газом подвалов до исправления обязанностей санитаров. И все это без всяких предохранительных средств!

Когда случилась злополучная ходынская катастрофа, на рассвете, пока еще раздавались крики раздавленных, пожарные всех частей примчались на фурах и, спасая уцелевших, развозили их по больницам. Затем убирали изуродованные трупы, и бешено мчались фуры с покойниками на кладбище, чтобы скорее вернуться и вновь везти еще и еще...

Было и еще одно занятие у пожарных. Впрочем, не у всех, а только у Сушевской части: они жгли запрещенные цензурой книги.

— Что это дым над Сушевской частью? Уж не пожар ли?

— Не беспокойтесь, ничего, это «Русскую мысль»¹ жгут.

Там, в заднем сарае, стояла огромная железная решетчатая печь, похожая на клетку, в которой Пугачева на казнь везли (теперь находится в Музее Революции).

Когда было нужно, ее вытаскивали из сарая во двор, обливали книги и бумаги керосином и жгли в присутствии начальства.

Чего-чего не заставляло делать пожарных тогдашнее начальство, распоряжавшееся пожарными, как крепостными! Употребляли их при своих квартирах для работ и даже внаем сдавали. Так, в семидесятых годах обер-полицмейстер Арапов разрешил своим друзьям — антрепренерам клубных театров брать пожарных на роли статистов...

В Петровском парке в это время было два театра: огромный деревянный Петровский, бывший казенный, где по временам, с разрешения Арапова, по праздникам играла труппа А. А. Рассказова, и летний театр Немецкого клуба на другом конце парка, на дачах Киргофа.

В одно из воскресений у Рассказова идет «Хижина дяди Тома», а в саду Немецкого клуба — какая-то мелодрама с чертями.

У Петровского театра стояли пожарные дроги с баграми, запряженные светло-золотистыми конями Сушевской части. А у Немецкого клуба — четверки пегих битюгов Тверской части.

Восемь часов. Собирается публика. Артисты одеты. Пожарные в Петровском театре сидят на заднем дворе в тиковых полосатых куртках, загримированные неграми: лица, шеи и руки вычернены, как сапоги,

¹ «Русская мысль» — журнал, издаваемый В. М. Лавровым с 1880 года.

Оркестр уже заиграл увертюру, как вдруг из Немецкого клуба примчался верховой — и прямо к брандмейстеру Сушевской части Корыто, который, как начальство, в мундире и каске, сидел у входа в театр. Верховой сунул ему повестку, такую же, какую минуту назад передал брандмейстеру Тверской части.

Выскочил Корыто — и к пожарным:

— Ребята! Сбор частей! Пожар на Никольской! Вали, кто в чем есть, живо!

И Тверская часть уже несется по аллеям парка и далее по Петровскому шоссе среди клубов пыли.

Впереди мчится, весь красный, с красным хвостом и красными руками, в блестящем шлеме верховой на бешеном огромном пегом коне... А сзади — дроги с баграми, на дрогах — красные черти...

Публика, метнувшаяся с дорожек парка, еще не успела прийти в себя, как видит: на золотом коне несется черный дьявол с пылающим факелом и за ним — длинные дроги с черными дьяволами в медных шлемах... Черные дьяволы еще больше напугали народ... Грохот, пламя, дым...

Бешено грохочут по Тверской один за другим дьявольские поезда мимо генерал-губернаторского дома, мимо Тверской части, на которой развевается красный флаг — сбор всех частей. Сзади пожарных, стоя в пролетке и одной рукой держась за плечо кучера, лихо несется по Тверской полковник Арапов на своей паре и не может догнать пожарных...

А на Ильинке красные и черные черти уже лазят по крыше, среди багрового дыма и языков пламени.

На другой день вся Москва только и говорила об этом дьявольском поезде. А через несколько дней брандмайор полковник Потехин получил предписание, заканчивавшееся словами: «...строжайше воспрещаю употреблять пожарных в театрах и других неподходящих местах. Полковник Арапов».

Теперь пожарное дело в Москве доведено до совершенства, люди воспитанны, выдержанны, снабжены всем необходимым. Дисциплина образцовая — и та же

былая удаль и смелость, но сознательная, вооруженная технической подготовкой, гимнастикой, наукой... Быстрота выездов на пожар теперь измеряется секундами. В чистой казарме, во втором этаже, дежурная часть — одетая и вполне готовая. В полу казармы широкое отверстие, откуда видны толстые, гладко отполированные столбы.

Тревожный звонок — и все бросаются к столбам, охватывают их в обнимку, ныряют по ним в нижний сарай, и в несколько секунд — каждый на своем определенном месте автомобиля: каску на голову, прозодежду надевают на полном ходу летящего по улице автомобиля.

И вдруг:

— Пожарники едут! Пожарники едут! — кричит кучка ребятишек.

В первый раз в жизни я услышал это слово в конце первого года империалистической войны, когда население нашего дома, особенно надворных флигелей, увеличилось беженцами из Польши.

Меня, старого москвича и, главное, старого пожарного, резануло это слово. Москва, любовавшаяся своим знаменитым пожарным обозом — сперва на красавцах-лошадях, подобранных по мастям, а потом бесшумными автомобилями, сверкающими медными шлемами, — с гордостью говорила:

— Пожарные!

И вдруг:

— Пожарники!

Что-то мелкое, убогое, обидное.

Передо мной встает какой-нибудь уездный городишко, где на весь город три дырявые пожарные бочки, полтора багра, ржавая машина с фонтанирующим рукавом на колесах, вязнуших по ступицу в невылазной грязи немощеных переулков, а сзади тащится за ним с десятков убогих инвалидов-пожарников.

В Москве с давних пор это слово было ходовым, но имело совсем другое значение: так назывались особого рода нищие, являвшиеся в Москву на зимний сезон вместе со своими господами, владельцами богатых поместий. Помещики приезжали в столицу про-

живать свои доходы с имений, а их крепостные — добывать деньги, часть которых шла на оброк, в господские карманы.

Делалось это под видом сбора на «погорелые» места. Погорельцы, настоящие и фальшивые, приходили и приезжали в Москву семьями. Бабы с ребятишками ездили в санях собирать подаяние деньгами и барахлом, предъявляя удостоверения с гербовой печатью о том, что предъявители сего едут по сбору пожертвований в пользу сгоревшей деревни или села. Некоторые из них покупали особые сани, с обожженными концами оглоблей, уверяя, что они только сани и успели вырвать из огня.

«Горелые оглобли», — острили москвичи, но все-таки подавали. Когда у ворот какого-нибудь дома в глухом переулке останавливались сани, ребятишки вбегали в дом и докладывали:

— Мама, пожарники приехали!

Две местности поставляли «пожарников» на всю Москву. Это Богородский и Верейский уезды. Первые назывались «гусляки», вторые — «шувалики». Особенно славились богородские гусляки.

— Едешь по деревне, видишь, окна в домах заколочены, — это значит, что пожарники на промысл пошли целой семьей, а в деревне и следов пожара нет!

Граф Шувалов, у которого в крепостные времена были огромные имения в Верейском уезде, первый стал отпускать крестьян в Москву по сбору на «погорелые» места, потому что они платили повышенный оброк. Это было очень выгодно помещику.

Когда таких «пожарников» задерживали и спрашивали:

— Откуда?

— Мы шувалики! — отвечали задержанные.

Бывали, конечно, и настоящие пострадавшие от пожара люди, с подлинными свидетельствами от волости, а иногда и от уездной полиции, но таких в полицейских протоколах называли «погорельщиками», а фальшивых — «пожарниками».

Вот откуда взялось это, обидное для старых пожарных, слово: «пожарники»!

БУЛОЧНИКИ И ПАРИКМАХЕРЫ

На Тверской, против Леонтьевского переулка, высятся здание бывшее булочника Филиппова, который его перестроил в конце столетия из длинного двухэтажного дома, принадлежавшего его отцу, популярному в Москве благодаря своим калачам и сайкам.

Филиппов был настолько популярен, что известный московский поэт Шумахер отметил его смерть четверостишием, которое знала вся Москва:

Вчера угас еще один из типов,
Москве весьма известных и знакомых,
Тьмутараканский князь Иван Филиппов
И в трауре оставил насекомых.

Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу вокруг горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика — от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле, со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их завел еще Иван Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московскими калачами и сайками, а главное, черным хлебом прекрасного качества.

Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшей отдельный ход, всегда были окружены толпами, покупавшими фунтиками черный хлеб и ситный.

— Хлебушко черненький труженику первое питание, — говорил Иван Филиппов.

— Почему он только у вас хорош? — спрашивали.

— Потому что хлебушко заботу любит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила в муке. У меня покупной муки нет, вся своя, рожь отборную покупаю на местах, на мельницах свои люди поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни пылинки... А все-таки рожь бывает разная, выбирать надо. У меня все больше тамбовская, из-под Козлова, с Роминской мельницы идет мука самая лучшая. И очень просто! — заканчивал всегда он речь своей любимой поговоркой.

Черный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору. Пробовали печь на месте, да не выходило, и старик Филиппов доказывал, что в Петербурге такие калачи и сайки не выйдут.

— Почему же?

— И очень просто! Вода невская не годится!

Кроме того, — железных дорог тогда еще не было, — по зимам шли обозы с его сухарями, калачами и сайками, на соломе испеченными, даже в Сибирь. Их как-то особым способом, горячими, прямо из печки, замораживали, везли за тысячу верст, а уже перед самой едой оттаивали — тоже особым способом, в сырых полотенцах, — и ароматные, горячие калачи где-нибудь в Барнауле или Иркутске подавались на стол с пылу, с жару.

Калачи на отрубях, сайки на соломе... И вдруг появилась новинка, на которую покупатель набросился стаей, — это сайки с изюмом...

— Как вы додумались?

— И очень просто! — отвечал старик.

Вышло это, действительно, даже очень просто.

В те времена всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю.

— Э-тто что за мерзость! Подать сюда булочника Фи-

липпова! — заорал как-то властитель за утренним чаем.

Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова.

— Э-тто что? Таракан?! — и сует сайку с запеченым тараканом. — Э-тто что?! А?

— И очень даже просто, ваше превосходительство, — поворачивает перед собой сайку старик.

— Чт-о?.. Что-о?.. Просто?!

— Это изюминка-с!

И съел кусок с тараканом.

— Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бьвают? Пошел вон!

Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма да в саечное тесто, к великому ужасу пекарей, и ввалил.

Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбою не было.

— И очень просто! Все само выходит, поймать сумей, — говорил Филиппов при упоминании о сайках с изюмом.

— Вот хоть взять конфеты, которые «ландрин» зовут... Кто Ландрин? Что монпансье? Прежде это монпансье наши у французов выучились делать, только продавали их в бумажках завернутые во всех кондитерских... А тут вон Ландрин... Тоже слово будто заморское, что и надо для торговли, а вышло дело очень просто.

На кондитерскую Григория Ефимовича Елисеева это монпансье работал кустарь Федя. Каждое утро, бывало, несет ему лоток монпансье, — он по-особому его делал, — половинка беленькая и красненькая, пестренькая, кроме него никто так делать не умел, и в бумажках. После именин, что ли, с похмелья, вскочил он товар Елисееву нести.

Видит, лоток накрытый приготовлен стоит. Схватил и бежит, чтобы не опоздать. Приносит. Елисеев развязал лоток и закричал на него:

— Что ты принес? Что?..

Увидал Федя, что забыл завернуть конфеты в бумажки, схватил лоток, побежал. Устал, присел на

тумбу около гимназии женской... Бегут гимназистки, одна, другая...

— Почем конфеты?

Он не понимает...

— По две копейки возьмешь? Дай пяток.

Сует одна гривенник... За ней другая... Тот берет деньги и сообразил, что выгодно. Потом их выбежало много, раскупили лоток и говорят:

— Ты завтра приходи во двор, к 12 часам, к перемене... Как тебя зовут?

— Федором, по фамилии Ландрин...

Подсчитал барыши — выгоднее, чем Елисееву продавать, да и бумажки золотые в барышах. На другой день опять принес в гимназию.

— Ландрин пришел!

Начал торговать сперва вразнос, потом по местам, а там и фабрику открыл. Стали эти конфеты называться «ландрин» — слово показалось французским... ландрин да ландрин! А он сам новгородский мужик и фамилию получил от речки Ландры, на которой его деревня стоит.

— И очень даже просто! Только случая не упустил. А вы говорите: «Та-ра-кан»!

А все-таки Филиппов был разборчив и не всяким случаем пользовался, где можно деньги нажить. У него была своеобразная честность. Там, где другие булочники и за грех не считали мошенничеством деньги наживать, Филиппов поступал иначе.

Огромные куши наживали булочники перед праздниками, продавая лежалый товар за полную стоимость по благотворительным заказам на подаяние заключенным.

Испокон веков был обычай на большие праздники — рождество, крещение, пасху, масленицу, а также в «дни поминовения усопших», в «родительские субботы» посылать в тюрьмы подаяние арестованным, или, как говорили тогда, «несчастненьким».

Особенно широко в этом случае размахивалась Москва.

Булочные получали заказы от жертвователя на ты-

сячу, две, а то и больше калачей и саяк, которые развозились в кануны праздников и делились между арестантами. При этом никогда не забывались и караульные солдаты из квартировавших в Москве полков.

Ходить в караул считалось вообще трудной и рискованной обязанностью, но перед большими праздниками солдаты просились, чтобы их назначали в караул. Для них, никогда не видевших куска белого хлеба, эти дни были праздниками. Когда подавание большое, они приносили хлеба даже в казармы и делились с товарищами.

Главным жертвователем было купечество, считавшее необходимостью для спасения душ своих жертвовать «несчастненьким» пропитанием, чтобы они в своих молитвах поминали жертвователя, свято веруя, что молитвы заключенных скорее достигают своей цели.

Еще ярче это выражалось у старообрядцев, которые по своему закону обязаны оказывать помощь всем пострадавшим от антихриста, а такими пострадавшими они считали «в темницу вверженных».

Главным центром, куда направлялись подаяния, была центральная тюрьма — «Бутырский тюремный замок». Туда со всей России поступали арестанты, ссылаемые в Сибирь, отсюда они, до постройки Московско-Нижегородской железной дороги, отправлялись пешком по Владимирке.

Страшен был в те времена, до 1870 года, вид Владимирки!

...Вот клубится
Пыль. Все ближе... Стук шагов,
Мерный звон цепей железных,
Скрип телег и лязг штыков.
Ближе. Громче. Вот на солнце
Блещут ружья. То конвой;
Дальше длинные шеренги
Серых суков. Недруг злой,
Враг и свой, чужой и близкий.
Все понуро в ряд бредут,
Всех свела одна недоля,
Всех сковал железный прут...

А Владимирка начинается за Рогожской, и поколения видели рогожские обитатели по несколько раз в

год эти ужасные шеренги, мимо их домов проходившие. Видели детьми впервые, а потом седыми стариками и старухами все ту же картину, слышали:

...И стон
И цепей железных звон...

Ну, конечно, жертвовали, кто чем мог, стараясь лично передать подавание. Для этого сами жертвователи отвозили иногда воза по тюрьмам, а одиночная беднота с парой калачей или испеченной дома булкой поджидала на Садовой, по пути следования партии, и, прорвавшись сквозь цепь, совала в руки арестантам свой трудовой кусок, получая иногда затрещины от солдат.

Страшно было движение этих партий.

По всей Садовой и на всех попутных улицах выставлялась вдоль тротуаров цепью охрана с ружьями...

И движется, ползет, гроыхая и звеня железом, партия иногда в тысячу человек от пересыльной тюрьмы по Садовой, Таганке, Рогожской... В голове партии погромливают ручными и ножными кандалами, обнажая то и дело наполовину обритые головы, каторжане. Им приходится на ходу отвоевывать у конвойных подавание, бросаемое народом.

И гремят ручными и ножными кандалами нескончаемые ряды в серых бушлатах с желтым бубновым тузом на спине и желтого же сукна буквами над тузом: «С. К.».

«С. К.» — значит ссыльно-каторжный. Народ переводит по-своему: «Сильно каторжный».

Движется «кобылка» сквозь шпалеры народа, усыпавшего даже крыши домов и заборы... За ссыльно-каторжными, в одних кандалах, шли скованные по нескольку железным прутом ссыльные в Сибирь, за ними беспаспортные бродяги, этапные, арестованные за «бесписьменность», отсылаемые на родину. За ними вереница заваленных узлами и мешками колымаг, на которых расположились больные и женщины с детьми, возбуждавшими особое сочувствие.

Во время движения партии езда по этим улицам прекращалась... Миновали Таганку. Перевалили заставу... А там, за заставой, на Владимирке, тысячи народа

съехались с возами, ждут, — это и москвичи, и крестьяне ближайших деревень, и скупщики с пустыми мешками с окраин Москвы и с базаров.

До прибытия партии приходит большой отряд солдат, очищает от народа Владимирку и большое поле, которое и окружает.

Это первый этап. Здесь производилась последняя перекличка и проверка партии, здесь принималось и делилось подаяние между арестантами и тут же ими продавалось барышникам, которые наполняли свои мешки калачами и булками, уплачивая за них деньги, а деньги только и ценились арестантами. Еще дороже котировалась водка, и ею барышники тоже ухитрялись ссужать партию.

Затем происходила умопомрачительная сцена прощания, слезы, скандалы. Уже многие из арестантов успели подвыпить, то и дело буйство, пьяные драки... Наконец конвою удастся уговорить партию, выстроить ее и двинуть по Владимирке в дальний путь.

Для этого приходилось иногда вызывать усиленный наряд войск и кузнецов с кандалами, чтобы дополнительно заковывать буянов.

Главным образом перепивались и буянили, конечно, не каторжные, бывалые арестанты, а «шпана», этапные.

Когда Нижегородская железная дорога была выстроена, Владимирка перестала быть сухопутным Стиксом, и по ней Хароны со штыками уже не переправляли в ад души грешников. Вместо проторенного под звуки цепей пути —

Меж чернеющих под паром
Плугом поднятых полей
Лентой тянется дорога
Изумруда зеленей...
Все на ней теперь иное,
Только строй двойной берез,
Что слышали столько воплей,
Что видели столько слез,
Тот же самый...
...Но как чудно
В пышном убранстве весны
Все вокруг них! Не дождями
Эти травы вспоены,

На слезах людских, на поте,
Что лились рекой в те дни, —
Без призора, на свободе
Расцвели теперь они.

Всё цветы, где прежде слезы
Прибивали пыль порой,
Где гремели колымаги
По дороге столбовой.

Закрылась Владимирка, уничтожен за заставой и первый этап, где раздавалось последнее подаяние. Около вокзала запрещено было принимать подаяние — разрешалось только привозить его перед отходом партии в пересыльную тюрьму и передавать не лично арестантам, а через начальство. Особенно на это обиделись рогожские старообрядцы:

— А по чем несчастненькие узнают, кто им подал? За кого молиться будут?

Рогожские наотрез отказались возить подаяние в пересыльный замок и облюбовали для раздачи его две ближайшие тюрьмы: при Рогожском полицейском доме и при Лефортовском.

И заваливали в установленные дни подаянием эти две части, хотя остальная Москва продолжала посылать по-прежнему во все тюрьмы. Это пронюхали хитровцы и воспользовались.

Перед большими праздниками, к великому удивлению начальства, Лефортовская и Рогожская части переполнялись арестантами, и по всей Москве шли драки и скандалы, причем за «бесписьменность» задерживалось неимоверное количество бродяг, которые указывали свое местожительство главным образом в Лефортове и Рогожской, куда их и пересыляли с конвоем для удостоверения личности.

А вместе с ними возами возили подаяние, которое тут же раздавалось арестантам, менялось ими на водку и поедалось.

После праздника все эти преступники оказывались или мелкими воришками, или просто бродяжками из московских мещан и ремесленников, которых по удостоверении личности отпускали по домам, и они расходились, справив сытно праздник за счет «благодете-

лей», ожидавших горячих молитв за свои души от этих «несчастненьких, ввергнутых в узилища слугами антихриста».

Наживались на этих подаяниях главным образом булочники и хлебопекари. Только один старик Филиппов, спасший свое громадное дело тем, что съел таракана за изюминку, был в этом случае честным человеком.

Во-первых, он при заказе никогда не посылал завали арестантам, а всегда свежие калачи и сайки; во-вторых, у него велся особый счет, по которому видно было, сколько барыша давали эти заказы на подаяние, и этот барыш он целиком отвозил сам в тюрьму и жертвовал на улучшение пищи больным арестантам. И делал все это он «очень просто», не ради выгод или медальных и мундирных отличий благотворительных учреждений.

Уже много лет спустя его сын, продолжавший отцовское дело, воздвиг на месте двухэтажного дома тот большой, что стоит теперь, и отделал его на заграничный манер, устроив в нем знаменитую некогда «филипповскую кофейную» с зеркальными окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах...

Тем не менее, это парижского вида учреждение известно было под названием «вшивая биржа». Та же, что и в старые времена, постоянная толпа около ящиков с горячими пирожками...

Но совершенно другая публика в кофейной: публика «вшивой биржи».

Завсегдатаи «вшивой биржи». Их мало кто знал, зато они знали всех, но у них не было обычая подавать вида, что они знакомы между собой. Сидя рядом, перекидывались словами, иной подходил к занятому уже столу и просил, будто у незнакомых, разрешения сесть. Любимое место подальше от окон, поближе к темному углу.

Эта публика — аферисты, комиссионеры, подводчики краж, устроители темных дел, агенты игорных домов, увлекающие в свои притоны неопытных любителей азарта, клубные арапы и шулера. Последние после бессонных ночей, проведенных в притонах и клубах,

проснувшись в полдень, собирались к Филиппову пить чай и выработать план следующей ночи.

У сыщиков, то и дело забегавших в кофейную, эта публика была известна под рубрикой: «играющие».

В дни бегов и скачек, часа за два до начала, кофейная переполняется разнокалиберной публикой с беговыми и скаковыми афишами в руках. Тут и купцы, и чиновники, и богатая молодежь — все заядлые игроки в тотализатор.

Они являются сюда для свидания с «играющими» и «жучками» — завсегдатаями ипподромов, чтобы получить от них отметки, на какую лошадь можно выиграть. «Жучки» их сводят с шулерами, и начинается вербовка в игорные дома.

За час до начала скачек кофейная пустеет — все на ипподроме, кроме случайной, пришедшей публики. «Играющие» уже больше не появляются: с ипподрома — в клубы, в игорные дома их путь.

«Играющие» тогда уже стало обычным словом, чуть ли не характеризующим сословие, цех, дающий, так сказать, право жительства в Москве. То и дело полиции при арестах приходилось довольствоваться ответами на вопрос о роде занятий одним словом: «играющий».

Вот дословный разговор в участке при допросе весьма солидного франта:

— Ваше занятие?

— Играющий.

— Не понимаю! Я спрашиваю вас, чем вы добываете средства для жизни?

— Играющий я! Добываю средства игрой в тотализаторе, в императорских скаковом и беговом обществах, картами, как сами знаете, выпускаемыми императорским воспитательным домом... Играю в игры, разрешенные правительством...

И, отпущенный, прямо шел к Филиппову пить свой утренний кофе.

Но доступ в кофейную имели не все. На стенах пестрели вывески: «Собак не водить» и «Нижним чинам вход воспрещается».

Вспоминается один случай. Как-то незадолго до японской войны у окна сидел с барышней ученик воен-

по-фельдшерской школы, погоны которого можно было принять за офицерские. Дальше, у другого окна сидел, углубясь в чтение журнала, старик. Он был в прорезиненной, застегнутой у ворота накидке. Входит, гремя саблей, юный гусарский офицер с дамой под ручку. На даме шляпа величиной чуть не с аэроплан. Сбросив швейцару пальто, офицер идет и не находит места: все столы заняты... Вдруг взгляд его падает на юношу-военного. Офицер быстро подходит и становится перед ним. Последний встает перед начальством, а дама офицера, чувствуя себя в полном праве, садится на его место.

— Потрудитесь оставить кофейную, видите, что написано? — указывает офицер на вывеску.

Но не успел офицер опустить свой перст, указывающий на вывеску, как вдруг раздается голос:

— Корнет, пожалуйста сюда!

Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столиком сидел величественный генерал Драгомиров, профессор Военной академии.

Корнет бросил свою даму и вытянулся перед генералом.

— Потрудитесь оставить кофейную, вы должны были занять место только с моего разрешения. А нижнему чину разрешил я. Идите!

Сконфуженный корнет, подобрав саблю, заторопился к выходу. А юноша-военный занял свое место у огромного окна с зеркальным стеклом.

Года через два, а именно 25 сентября 1905 года, это зеркальное стекло разлетелось вдребезги. То, что случилось здесь в этот день, поразило Москву.

Это было первое революционное выступление рабочих и первая ружейная перестрелка в центре столицы, да еще рядом с генерал-губернаторским домом!

С половины сентября пятого года Москва уже была очень беспокойна, шли забастовки. Требования рабочих становились все решительнее.

В субботу 24 сентября к Д. И. Филиппову явилась

депутация от рабочих и заявила, что с воскресенья они порешили забастовать.

Часов около девяти утра, как всегда в праздник, рабочие стояли кучками около ворот. Все было тихо. Вдруг около одиннадцати часов совершенно неожиданно вошел через парадную лестницу с Глинищевского переулка взвод городских с обнаженными шашками. Они быстро пробежали через бухгалтерию на черный ход и появились на дворе. Рабочие закричали:

— Вон полицию!

Произошла свалка. Из фабричного корпуса бросали бутылками и кирпичами. Полицейских прогнали.

Всё успокоилось. Вдруг у дома появился полицмейстер в сопровождении жандармов и казаков, которые спешили в Глинищевском переулке и совершенно неожиданно дали два залпа в верхние этажи пятиэтажного дома, выходящего в переулок и заселенного частными квартирами. Фабричный же корпус, из окон которого кидали кирпичами, а по сообщению городских, даже стреляли (что и заставило их перед этим бежать), находился внутри двора.

Летели стекла... Сыпалась штукатурка... Мирные обыватели — квартиранты металась в ужасе. Полицейстер ввел роту солдат в кофейную, потребовал топоры и ломы — разбивать баррикады, которых не было, затем повел солдат во двор и приказал созвать к нему всех рабочих, предупредив, что, если они не явятся, он будет стрелять. По мастерским были посланы полиция и солдаты, из столовой забрали обедавших, из спален — отдыхавших. На двор согнали рабочих, мальчиков, дворников и метельщиков, но полиция не верила удостоверениям старших служащих, что все вышли, и приказала стрелять в окна седьмого этажа фабричного корпуса...

Около двухсот рабочих вывели окруженными конвоем и повели в Гнездиновский переулок, где находилось охранное отделение и ворота в огромный двор дома градоначальника.

Около четырех часов дня в сопровождении полицейского в контору Филиппова явились три подростка-рабочие, израненные, с забинтованными головами, а

за ними стали приходить еще и еще рабочие и рассказывали, что во время пути под конвоем и во дворе дома градоначальника их били. Некоторых избитых даже увезли в каретах скорой помощи в больницы.

Испуганные небывалым происшествием, москвичи толпились на углу Леонтьевского переулка, отгороженные от Тверской цепью полицейских. На углу против булочной Филиппова, на ступеньках крыльца у запертой двери бывшей парикмахерской Леона Эмбо, стояла кучка любопытных, которым податься было некуда: в переулке давка, а на Тверской — полиция и войска. На верхней ступеньке, у самой двери невольно обращал на себя внимание полным спокойствием красивый брюнет с большими седеющими усами.

Это был Жюль. При взгляде на него приходили на память строчки Некрасова из поэмы «Русские женщины»:

Народ галдел, народ зевал,
Едва ли сотый понимал,
Что делается тут...
Зато посмеивался в ус,
Лукаво шуря взор,
Знакомый с бурями француз,
Столичный куафер.

Жюль — парижанин, помнивший бои Парижской коммуны, служил главным мастером у Леона Эмбо, который был «придворным» парикмахером князя В. А. Долгорукова.

Леон Эмбо, французик небольшого роста с пушистыми, холеными усами, всегда щегольски одетый по последней парижской моде. Он ежедневно подтягивал князю морщины, прилаживал паричок на совершенно лысую голову и подклеивал волосок к волоску, завивая колечком усики молодившегося старика.

Во время сеанса он тешил князя, болтая без умолку обо всем, передавая все столичные сплетни, и в то же время успевал проводить разные крупные дела, почему и слыл влиятельным человеком в Москве. Через него многого можно было добиться у всемогущего хозяина столицы, любившего своего парикмахера.

Во время поездок Эмбо за границу его заменяли или Орлов, или Розанов. Они тоже пользовались благоволением старого князя и тоже не упускали своего. Их парикмахерская была напротив дома генерал-губернатора, под гостиницей «Дрезден», и в числе мастеров тоже были французы, тогда модные в Москве.

Половина лучших столичных парикмахерских принадлежала французам, и эти парикмахерские были учебными заведениями для купеческих саврасов.

Западная культура у нас с давних времен прививалась только наружно, через парикмахеров и модных портных. И старается «французик из Бордо» около какого-нибудь Лёньки или Серёньки с Таганки, и так-то вокруг него извивается, и так-то наклоняется, мелким барашком завивает и орет:

— Мал-шик!.. Шипси!..

Пока вихрастый мальчик подает горячие шипцы, Лёнька и Серёнька, облитые одеколоном и вежеталем, ковыряют в носу, и оба в один голос просят:

— Ты меня уж так причеши тапереча, чтобы без тятеньки выходило а-ля-капуль, а при тятеньке по-русски.

Здесь они перенимали у мастеров манеры, прически и учились хорошему тону, чтобы прельщать затем замоскворецких невест и шеголять перед яровскими певицами...

Обставлены первосортные парикмахерские были по образцу лучших парижских. Все сделано по-заграничному, из лучшего материала. Парфюмерия из Лондона и Парижа... Модные журналы экстренно из Парижа... В дамских залах — великие художники по прическам, люди творческой куаферской фантазии, знатоки стилей, психологии и разговорщики.

В будуарах модных дам, молодящихся купчих и невест-миллионерш они нередко поверенные всех их тайн, которые умеют хранить...

Они друзья с домовою прислугой — она выкладывает им все сплетни про своих хозяев... Они знают все новости и всю подноготную своих клиентов и умеют учесть, что кому рассказать можно, с кем и как себя вести... Весьма наблюдательны и даже остроумны...

Один из них, как и все, начавший карьеру с подавания щипцов, доставил в одну из редакций свой дневник, и в нем были такие своеобразные перлы: будуар, например, он называл «блудуар».

А в слове «невеста» он «не» всегда писал отдельно. Когда ему указали на эти грамматические ошибки, он сказал:

— Так вернее будет.

В этом дневнике, кстати сказать, попавшем в редакционную корзину, был описан первый «электрический» бал в Москве. Это было в половине восьмидесятых годов. Первое электрическое освещение провели в купеческий дом к молодой вдове-миллионерше, и первый бал с электрическим освещением был назначен у нее.

Роскошный дворец со множеством комнат и всевозможных уютных уголков сверкал разноцветными лампами. Только танцевальный зал был освещен ярким белым светом. Собралась вся прожигающая жизнь Москва, от дворянства до купечества.

Автор дневника присутствовал на балу, конечно, у своих друзей, прислуги, загримировав перед балом в «блудуаре» хозяйку дома применительно к новому освещению.

Она была великолепна, но зато все московские щеголихи в бриллиантах при новом, электрическом свете танцевального зала показались скверно раскрашенными куклами: они привыкли к газовым рожкам и лампам. Красавица хозяйка дома была только одна с живым цветом лица.

Танцевали вплоть до ужина, который готовил сам знаменитый Мариус из «Эрмитажа».

При лиловом свете столовой мореного дуба все лица стали мертвыми, и гости старались искусственно вызвать румянец обильным возлиянием дорогих вин.

Как бы то ни было, а ужин был весел, шумен, пьян — и... вдруг потухло электричество!

Минут через десять снова загорелось... Скандал! Кто под стол лезет... Кто из-под стола вылезает... Во всех позах осветило... А дамы!

— До сих пор одна из них, — рассказывал мне автор

дневника и очевидец,—она уж и тогда-то не молода была, теперь совсем старуха, я ей накладку каждое воскресенье делаю,—каждый раз в своем блудуаре со смехом про этот вечер говорит... «Да уж забыть пора»,—как-то заметил я ей. «И што ты... Про хорошее лишний раз вспомнить приятно!»

Модные парикмахерские засверкали парижским ши-ком в шестидесятых годах, когда после падения крепостного права помещики прожигали на все манеры полученные за землю и живых людей выкупные. Москва шиковала вовсю, и налезли парикмахеры-французы из Парижа, а за ними офранцузились и русские, и какой-нибудь цирюльник Елизар Баранов на Ямской не успел еще переменить вывески: «Цырюльня. Здесь ставят пиявки, отворяют кровь, стригут и бреют Баранов», а уж тоже козлиную бородку отпустил и тоже кричит, завивая приказчика из Ножевой линии:

— Мальшик, шипси! Шевелись, дьявол!

И все довольны.

Еще задолго до этого времени первым блеснул парижский парикмахер Гивартовский на Моховой. За ним Глазов на Пречистенке, скоро разбогатевший от клентов своего дворянского района Москвы. Он нажил десяток домов, почему и переулоч назвали Глазовским.

Лучше же всех считался Агапов в Газетном переулке, рядом с церковью Успения. Ни раньше, ни после такого не было. Около дома его в дни больших балов не проехать по переулку: кареты в два ряда, два конных жандарма порядок блюдут и кучеров вызывают.

Агапов всем французам поперек горла встал: девять дамских самых первоклассных мастеров каждый день объезжали по пятнадцати — двадцати домов. Клиенты Агапова были только родовитые дворяне, князья, графы.

В шестидесятых годах носили шиньоны, накладные косы и локоны, «презенты» из выющихся волос.

Расцвет парикмахерского дела начался с восьмиде-

сятых годов, когда пошли прически с фальшивыми волосами, передними накладками, затем «трансформации» из вьющихся волос кругом головы, — все это из лучших, настоящих волос.

Тогда волосы шли русские, лучше принимавшие окраску, и самые дорогие — французские. Денег не жалели. Добывать волосы ездили по деревням «резчики», которые скупали косы у крестьянок за ленты, платки, бусы, кольца, серьги и прочую копеечную дрянь.

Прически были разных стилей, самая модная: «Екатерина II» и «Людовики» XV и XVI.

После убийства Александра II, с марта 1881 года, все московское дворянство носило год траур, и парикмахеры на них не работали. Барские прически стали носить только купчихи, для которых траура не было. Барских парикмахеров за это время съел траур. А с 1885 года французы окончательно стали добывать русских мастеров, особенно Теодор, вошедший в моду и широко развивший дело...

Но все-таки, как ни блестящи были французы, русские парикмахеры Агапов и Андреев (последний с 1880 года) занимали, как художники своего искусства, первые места. Андреев даже получил в Париже звание профессора куафюры, ряд наград и почетных дипломов.

Славился еще в Газетном переулке парикмахер Базиль. Так и думали все, что он был француз, на самом же деле это был почтенный москвич Василий Иванович Яковлев.

Модные парикмахеры тогда очень хорошо зарабатывали: таксы никакой не было.

— Стригут и бреют и карманы греют! — острили тогда про французских парикмахеров.

Конец этому положил Артемьев, открывший обширный мужской зал на Страстном бульваре и опубликовавший: «Бритье 10 копеек с одеколоном и вежеталем. На чай мастера не берут». И средняя публика переполняла его парикмахерскую, при которой он также открыл «депо пивавок».

До того времени было в Москве единственное «депо пиявок», более полвека помещавшееся в маленьком сереньком домике, приютившемся к стене Страстного монастыря. На окнах стояли на утеху гуляющих детей огромные аквариумы с пиявками разных размеров. Пиявки получались откуда-то с юга и в «депо» приобретались для больниц, фельдшеров и захолустных окраинных цирюлен, где еще парикмахеры ставили пиявки. «Депо» принадлежало Молодцовым, из семьи которых вышел известный тенор шестидесятых и семидесятых годов П. А. Молодцов, лучший Торопка того времени. В этой роли он удачно дебютировал в Большом театре, но ушел оттуда, поссорившись с чиновниками, и перешел в провинцию, где пользовался огромным успехом.

— Отчего же ты, Петрушка, ушел из императорских театров да Москву на Тамбов сменял? — спрашивали его друзья.

— От пиявок! — отвечал он.

Были великие искусники создавать дамские прически, но не менее великие искусники были и мужские парикмахеры. Особенным умением подстригать усы славился Липунцов на Большой Никитской, после него Лягин и тогда еще совсем молодой, его мастер, Николай Андреевич.

Лягина всегда посещали старые актеры, а Далматов называл его «мой друг».

В 1879 году мальчиком в Пензе при театральном парикмахере Шишкове был ученик, маленький Митя. Это был любимец пензенского антрепренера В. П. Далматова, который единственно ему позволял прикасаться к своим волосам и учил его гриму. Раз В. П. Далматов в свой бенефис поставил «Записки сумасшедшего» и приказал Мите приготовить лысый парик. Тот принес на спектакль мокрый бычий пузырь и начал напяливать на выхоленную прическу Далматова... На крик актера в уборную сбежались артисты.

— Вы великий артист, Василий Пантелеймонович, но позвольте и мне быть артистом своего дела! — задрал голову на высокого В. П. Далматова, оправдывался мальчуган. — Только примерьте!

В. П. Далматов наконец согласился — и через несколько минут пузырь был напылен, кое-где подмазан, и глаза В. П. Далматова сияли от удовольствия: совершенно голый череп при его черных глазах и выразительном гриме производил сильное впечатление.

И сейчас еще работает в Москве восьмидесятилетний старик, чисто выбритый и бодрый.

— Я все видел — и горе и славу, но я всегда работал, работаю и теперь, насколько хватает сил, — говорит он своим клиентам.

Я крепостной, Калужской губернии. Когда в 1861 году нам дали волю, я ушел в Москву — дома есть было нечего; попал к земляку дворнику, который определил меня к цирюльнику Артемову, на Сретенке в доме Малюшина. Спал я на полу, одевался рваной шубенкой, полено в головах. Зимой в цирюльне было холодно. Стричься к нам ходил народ с Сухаревки. В пять часов утра хозяйка будила идти за водой на бассейн или на Сухаревку, или на Трубу. Зимой с уша-том на санках, а летом с ведрами на коромысле... Обувь — старые хозяйские сапожишки. Поставишь самовар... Сапоги хозяину вычистишь. Из колодца воды мыть посуду принесешь с соседнего двора.

Хозяева вставали в семь часов пить чай. Оба злые. Хозяин чахоточный. Били чем попало и за все, — все не так. Пороли розгами, привязавши к скамье. Раз после розог два месяца в больнице лежал — загнойлась спина... Раз выкинули зимой на улицу и дверь заперли. Три месяца в больнице в горячке лежал...

С десяти утра садился за работу — делать парики, шивя́я по одному волосу: в день был урок сделать в три пробора 30 полос. Один раз заснул за работой, прорвал пробор и жестоко был выдран. Был у нас мастер, пьяный тоже меня бил. Раз я его с хозяйской запиской водил в квартал, где его по этой записке выпороли. Тогда такие законы были — пороть в полиции по записке хозяина. Девять лет я отбыл у него, получил звание подмастерья и поступил по контракту к Агапову на шесть лет мастером, а там открыл свою парик-

махерскую, а потом в Париже получил звание профессора.

Это и был Иван Андреевич Андреев.

В 1888 и в 1900 годах он участвовал в Париже на конкурсе французских парикмахеров и получил за прически ряд наград и почетный диплом на звание действительного заслуженного профессора парикмахерского искусства.

В 1910 году он издал книгу с сотней иллюстраций, которые увековечили прически за последние полвека.

ДВА КРУЖКА

Московский артистический кружок был основан в шестидесятых годах и окончил свое существование в начале восьмидесятых годов. Кружок занимал весь огромный бельэтаж бывшего голицынского дворца, купленного в сороковых годах купцом Бронниковым. Кружку принадлежал ряд зал и гостиных, которые образовывали круг с огромными окнами на Большую Дмитровку с одной стороны, на Театральную площадь — с другой, а окна белого голицынского зала выходили на Охотный ряд.

Противоположную часть дома тогда занимали сцена и зрительный зал, значительно перестроенные после пожара в начале этого столетия.

Круг роскошных, соединенных между собой зал и гостиных замыкал несколько мелких служебных комнат без окон, представлявших собой островок, замаскированный наглухо стенами, вокруг которого располагалось круглое фойе. Любимым местом гуляющей по фойе публики всегда был белый зал с мягкой мебелью и уютными уголками.

Великим постом это фойе переполнялось совершенно особой публикой — провинциальными актерами, съезжавшимися для заключения условий с антрепренерами на предстоящий сезон.

По блестящему паркету разгуливали в вычурных костюмах и первые «персонажи», и очень бедно одетые

маленькие актеры, хористы и хористки. Они мешались в толпе с корифеями столичных и провинциальных сцен и важными, с золотыми цепями, в перстнях антрепренерами, приехавшими составлять труппы для городов и городишек.

Тут были косматые трагики с громоподобным голосом и беззаботные будто бы, а на самом деле себе на уме комики — «Аркашки» в тетушкиных кацавейках и в сапогах без подошв, утраченных в хождениях «из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду». И все это шумело, гудело, целовалось, обнималось, спорило и голосило.

Великие не очень важничали, маленькие не раболепствовали. Здесь все чувствовали себя запросто: Гамлет и могильщик, Пиккилы и Ахиллы, Мария Стюарт и слесарша Пошлепкина. Вспоминали былые сезоны в Пинске, Минске, Хвалынске и Иркутске.

Все актеры и актрисы имели бесплатный вход в Кружок, который был для них необходимостью: это было единственное место для встреч их с антрепренерами.

Из года в год актерство помещалось в излюбленных своих гостиницах и мебелирашках, где им очишали места содержатели, предупрежденные письмами, хотя в те времена и это было лишнее: свободных номеров везде было достаточно, а особенно в таких больших гостиницах, как «Челыши».

Теперь на месте «Челышей» высится огромное здание гостиницы «Метрополь», с ее разноцветными фресками и «Принцессой Грезой» Врубеля, помогавшего вместе с архитектором Шехтелем строителю «Метрополя» С. И. Мамонтову.

А в конце прошлого столетия здесь стоял старинный домик Челышева с множеством номеров на всякие цены, переполненных великим постом съезжавшимися в Москву актерами. В «Челышах» останавливались и знаменитости, занимавшие номера бельэтажа с огромными окнами, коврами и тяжелыми гардинами, и средняя актерская братия — в верхних этажах с отдельным входом с площади, с узкими, кривыми, темными коридорами, насквозь пропахшими керосином и кухней.

Во второй половине поста многие переезжали из бельэтажа на верх... подешевле.

Вторым актерским пристанищем были номера Голяшкина, потом — Фальцвейна, на углу Тверской и Газетного переулка. Недалеко от них, по Газетному и Долгоруковскому переулкам, помещались номера «Принц», «Кавказ» и другие. Теперь уже и домов этих нет, на их месте стоит здание телеграфа.

Не менее излюбленным местом были «Черныши», в доме Олсуфьева, против Брюсовского переулка.

Были еще актерские номера на Большой Дмитровке, на Петровке, были номера при Китайских банях, на Неглинном, довольно грязные, а самыми дешевыми были мебелирашки «Семеновка» на Сretenском бульваре, где в 1896 году выстроен огромный дом страхового общества «Россия».

В «Семеновку» пускали жильцов с собаками. Сюда главным образом приезжали из провинции комические старухи на великий пост.

Начиная от «Челышей» и кончая «Семеновкой», с первой недели поста актеры жили весело. У них водились водочка, пиво, самовары, были шумные беседы... Начиная с четвертой — начинало стихать. Номера постепенно освобождались: кто уезжал в провинцию, получив место, кто соединялся с товарищем в один номер. Начинали коптить керосинки: кто прежде обедал в ресторане, стал варить кушанье дома, особенно семейные.

Керосинка не раз решала судьбу людей. Скажем, у актрисы А. есть керосинка. Актер Б., из соседнего номера, прожился, обедая в ресторане. Случайный разговор в коридоре, разрешение изжарить кусок мяса на керосинке... Раз, другой...

— А я тоже собираюсь купить керосинку! Уж очень удобно! — говорит актер Б.

— Да зачем же, когда у меня есть! — отвечает актриса А.

Проходит несколько дней.

— Ну, что зря за номер платит! Перенеси свою керосинку ко мне... У меня комната побольше!

И счастливый брак на «экономической» почве состоялся.

Актеры могли еще видаться с антрепренерами в театральных ресторанах: «Щербаки» на углу Кузнецкого переулка и Петровки, «Ливорно» в Кузнецком переулке и «Вельде» за Большим театром; только для актрис, кроме Кружка, другого места не было. Здесь они встречались с антрепренерами, с товарищами по сцене, могли получить контрамарку в театр и повидать воочию своих драматургов: Островского, Чаева, Потехина, Юрьева, а также многих других писателей, которых знали только по произведениям, и встретить знаменитых столичных актеров: Самарина, Шумского, Садовского, Ленского, Музиля, Горбунова, Киреева. Провинциальные актеры имели возможность и дебютировать в пьесах, ставившихся на сцене Кружка — единственном месте, где разрешалось играть великим постом. Кружок умело обошел закон, запрещающий спектакли во время великого поста, в кануны праздников и по субботам. Кружок ставил — с разрешения генерал-губернатора князя Долгорукова, воображавшего себя удельным князем и не подчинявшегося Петербургу, — спектакли и постом, и по субботам, но с тем только, чтобы на афишах стояло: «сцены из трагедии «Макбет», «сцены из комедии «Ревизор», или «сцены из оперетты «Елена Прекрасная», хотя пьесы шли целиком.



Литературно-художественный кружок основался совершенно случайно в немецком ресторане «Альпийская роза» на Софийке.

Вход в ресторан был строгий: лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары, и ходили сюда завтракать из своих контор главным образом московские немцы. После спектаклей здесь собирались артисты Большого и Малого театров и усаживались в двух небольших кабинетах. В одном из них председательствовал певец А. И. Барцал, а в другом — литератор, историк театра В. А. Михайловский — оба бывшие посетители закрывшегося Артистического кружка.

Как-то в память этого объединявшего артистиче-

ский мир учреждения В. А. Михайловский предложил устраивать время от времени артистические ужины, а для начала в ближайшую субботу собраться в Большой Московской гостинице. Мысль эта была подхвачена единодушно, и собралось десятка два артистов с семьями. Всело провели время, пели, танцевали под рояль. Записались тут же на следующий вечер, и набралось желающих так много, что пришлось в этой же гостинице занять большой зал... На этом вечере был весь цвет Малого и Большого театров, литераторы и музыканты. Читала М. Н. Ермолова, пел Хохлов, играл виолончелист Брандуков. Программа вышла богатая. И весной 1898 года состоялось в ресторане «Эрмитаж» учредительное собрание, выработан был устав, а в октябре 1899 года, в год столетия рождения Пушкина, открылся Литературно-художественный кружок в доме графини Игнатъевой, на Воздвиженке.

Роскошные гостиные, мягкая мебель, отдельные столики, уголки с трельяжами, камин, ковры, концертный рояль... Уютно, интимно... Эта интимность Кружка и была привлекательна. Приходили сюда отдыхать, набираться сил и вдохновения, обменяться впечатлениями и переживать счастливые минуты, слушая и созерцая таланты в этой непохожей на клубную обстановке. Здесь каждый участвующий не знал за минуту, что он будет выступать. Под впечатлением общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполнителем, поднимался кто-нибудь из присутствовавших и читал или монолог или стихи из-за своего столика, а если певец или музыкант — подходил к роялю. Молодой еще, застенчивый и скромный, пробирался аккуратненько между столиками Шаляпин, и его бархатный молодой бас гремел:

Люди гибнут за металл...

Потом чаровал нежный тенор Собинова. А за ними вставали другие, великие тех дней.

Звучала музыка известных тогда музыкантов... Скрябин, Игумнов, Корещенко...¹

От музыки Корещенки
Подошли на дворе щенки, —

¹ А. Н. Корещенко — композитор.

сострил раз кто-то, но это не мешало всем восторгаться талантом юного композитора-пианиста.

Все больше и больше собиралось посетителей, больше становилось членов клуба. Это был единственный тогда клуб, где членами были и дамы. От наплыва гостей и новых членов тесно стало в игнатьевских залах.

Отыскиали новое помещение, на Мясницкой. Это красивый дом на углу Фуркасовского переулка. Еще при Петре I принадлежал он Касимовскому царевичу, потом Долгорукову, умершему в 1734 году в Березове в ссылке, затем Черткову, пожертвовавшему свою знаменитую библиотеку городу, и в конце концов купчиха Обидина купила его у князя Гагарина, наследника Чертковых, и сдала его под Кружок.

Помещение дорогое, расходы огромные, но число членов росло не по дням, а по часам. Для поступления в действительные члены явился новый термин: «общественный деятель». Это было очень почтенно и модно и даже иногда заменяло все. В баллотировочной таблице стояло: «...такой-то, общественный деятель», — и выборы обеспечены. В члены-соревнователи выбирали совсем просто, без всякого стажа.

Но членских взносов оказалось мало. Пришлось организовать карточную игру с запрещенной «железкой». Члены Охотничьего клуба, избранные и сюда, сумели организовать крупную игру, и штрафы с засидевшихся за «железкой» игроков пополняли кассу. Штрафы были такие: в 2 часа ночи — 30 копеек, в 2 часа 30 минут — 90 копеек, то есть удвоенная сумма плюс основная, в 3 часа — 2 рубля 10 копеек, в 3 часа 30 минут — 4 рубля 50 копеек, в 4 часа — 9 рублей 30 копеек, в 5 часов — 18 рублей 60 копеек, а затем Кружок в 6 часов утра закрывался, и игроки должны были оставлять помещение, но нередко игра продолжалась и днем, и снова до вечера...

Игра была запрещенная, полиция следила за клубом, и были случаи, что составлялся протокол, и «железка» закрывалась.

Тут поднимались хлопоты о разрешении, даже печатались статьи в защиту клубной игры, подавались



На Хитровке в ожидании награды.



Охотничий клуб в Москве.

слезницы генерал-губернатору, где доказывалось, что игра не вред, а чуть ли не благодеяние, и опять играли до нового протокола.

Тесно стало помещение, да и карточные комнаты были слишком на виду.

В это время Елисеев в своем «дворце Бахуса» отделал роскошное помещение с лепными потолками и сдал его Кружку. Тут были и удобные, сокровенные комнаты для «железки», и залы для исполнительных собраний, концертов, вечеров.

Кружок сделался самым модным буржуазным клубом, и помещение у Елисеева опять стало тесно. Выработан был план, по которому отделали на Большой Дмитровке старинный барский особняк. В бельэтаже — огромный двухсветный зал для заседаний, юбилеев, спектаклей, торжественных обедов, ужинов и вторничных «собеседований». Когда зал этот освобождался к двум часам ночи, стулья перед сценой убирались, вкапывался десяток круглых столов для «железки», и шел открытый азарт вовсю, переносившийся из разных столовых, гостиных и специальных карточных комнат. Когда зал был занят, игра происходила в разных помещениях. Каких только комнат не было здесь во всех трех этажах! Запасная столовая, мраморная столовая, зеркальная столовая, верхний большой зал, верхняя гостиная, нижняя гостиная, читальня, библиотека (надо заметить, прекрасная) и портретная, она же директорская. Внизу бильярдная, а затем, когда и это помещение стало тесно, был отделан в левом крыле дома специально картежный зал — «азартный». Летняя столовая была в небольшом тенистом садике, с огромным каштаном и цветочными клумбами, среди которых сверкали электричеством вычурные павильончики-беседки для ужинающих веселыми компаниями, а во всю длину сада тянулась широкая терраса, пристроенная к зданию клуба в виде огромного балкона. Здесь у каждой компании был свой излюбленный стол.

Едва ли где-нибудь в столице был еще такой тихий и уютный уголок на чистом воздухе, среди зелени и благоухающих цветов, хотя тишина и благоухание иногда нарушались беспокойным соседом — двором и зда-

ниями Тверской полицейской части, отделенной от сада низенькой стеной.

Выше векового каштана стояла каланча, с которой часовой иногда давал тревожные звонки о пожаре, после чего следовали шум и грохот выезжающей пожарной команды, чаще слышалась нецензурная ругань пьяных, приводимых в «кутузку», а иногда вопли и дикие крики упорных буянов, отбивающих покушение полицейских на их свободу...

Иногда благоухание цветов прорывала струйка из навозных куч около конюшен, от развешанного мокрого платья пожарных, а также из всегда открытых окон морга, никогда почти не пустовавшего от «неизвестно кому принадлежащих трупов», поднятых на улицах жертв преступлений, ожидающих судебно-медицинского вскрытия. Морг возвышался рядом со стенкой сада... Но к этому все так привыкли, что и внимания не обращали.

Только раз как-то за столом «общественных деятелей» один из них, выбирая по карточке вина, остановился на печатанном на ней портрете Пушкина и с возмущением заметил:

— При чем здесь Пушкин? Это профанация!

— Пушкин всегда и при всем. Это великий пророк... Помните его слова, относящиеся и ко мне, и к вам, и ко многим здесь сидящим... Разве не о нас он сказал:

И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Говорившего дополнил сосед-весельчак:

— Уж там запишут или не запишут ваши имена, а вот что Пушкин верно сказал, так это:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть.

И указал одной рукой на морг, а другой — на соседний стол, занятый картежниками, шумно спорившими.

Этот разговор происходил в августе 1917 года, когда такие клубы, действительно, были уже «у гробового входа».

Через месяц Кружок закрылся навсегда.

Когда новое помещение для азартной игры освободило большой двухсветный зал, в него были перенесены из верхних столовых ужины в свободные от собраний вечера. Здесь ужинали группами, и каждая имела свой стол. Особым почетом пользовался длинный стол, накрытый на двадцать приборов. Стол этот назывался «пивным», так как пиво было любимым напитком членов стола и на нем ставился бочонок с пивом. Кроме этого, стол имел еще два названия: «профессорский» и «директорский».

Завсегдатаи стола являлись после десяти часов и садились закусывать.

Одни ужинали, другие играли в скромные винт и преферанс, третьи проигрывались в «железку» и штрафами покрывали огромные расходы Кружка.

Когда предреволюционная температура 1905 года стала быстро подниматься, это отразилось и в Кружке ярче, чем где-нибудь.

С эстрады стало говориться то, о чем еще накануне молчали. Допущена была какая-то свобода действия и речей.

Все было разрешено, или, лучше сказать, ничего не запрещалось.

С наступлением реакции эстрада смолкла, а разврат усилился. Правительство боялось только революционеров, а все остальное поощряло: разрешало шулерские притоны, частные клубы, разгул, маскарады, развращающую литературу, — только бы политикой не пахло.

Допустили широчайший азарт и во всех старых клубах.

Отдельно стоял только неизменный Английский клуб, да и там азартные игры процветали, как прежде. Туда власти не смели сунуть носа, равно как и дамы.

В Купеческом клубе жрали аршинных стерлядей на обедах. В Охотничьем — разодетые дамы «кушали деликатесы», интриговали на маскарадах, в карточные их не пускали. В Немецком — на маскарадах, в «убогой роскоши наряда», в трепаных домино, «замарьяживали» с бульвара пьяных гостей, а шулера обыгрывали их в карточных залах.

Огромный двухсветный зал. Десяток круглых столов, по десяти и двенадцати игроков сидят за каждым, окруженные кольцом стоящих, которые ставят против банка со стороны. Публика самая разнообразная. За «рублевыми» столами — шумливая публика, споры.

— Вы у меня рубль отсюда стащили!

— Нет, вы у меня сперли!

— Дежурный!

— Кто украл? У вас украли или вы украли?

За «золотыми» столами, где ставка не меньше пяти рублей, публика более «серьезная», а за «бумажным», с «пулькой» в двадцать пять рублей, уж совсем «солидная».

На дамах бриллианты, из золотых сумочек они выбрасывают пачки кредиток... Тут же сидят их кавалеры, принимающие со стороны участие в их игре или с нетерпением ожидающие, когда дама проиграется, чтобы увести ее из клуба...

Много таких дам в бриллиантах появилось в Кружке после японской войны. Их звали «интендантскими дамами». Они швырялись тысячами рублей, особенно «туровала» одна блондинка, которую все называли «графиней». Она была залита бриллиантами. Как-то скоро она сошла на нет — сперва слиняли бриллианты, а там и сама исчезла. Ее потом встречали на тротуаре около Сандуновских бань...

Самая крупная игра — «сотенный» стол, где меньшая ставка сто рублей, — велась в одной из комнат вверх или вниз.

Иногда, кроме сотенной «железки», в этой комнате играли в баккара.

Раз игра в баккара дошла до невиданных размеров. Были ставки по пяти и десяти тысяч. Развели эту игру два восточных красавца с довольно зверскими лицами, в черкесках дорогого сукна, в золотых поясах, с кинжалами, сверкавшими крупными драгоценными камнями. Кем записаны они были в первый раз — неизвестно, но в первый же день они поразили таким размахом игры, что в следующие дни этих двух братьев — князей Шаховых — все записывали охотно. Они держали ответственный банк в баккара без отказа, вы-

ложив в обеспечение ставок пачки новеньких крупных кредиток на десятки тысяч. За ними увивались «арапы».

Ежедневно все игроки с нетерпением ждали прихода князей: без них игра не клеилась. Когда они появлялись, стол оживал. С неделю они ходили ежедневно, проиграли больше ста тысяч, как говорится, не моргнув глазом — и вдруг в один вечер не явились совсем (их уже было решено провести в члены-соревнователи Кружка).

— Где же азиаты? — волновались игроки.

— Напрасно ждете. Их вы не увидите, — заявил вошедший в комнату репортер одной газеты.

— ? ? ?

Молчаливое удивление.

— Сегодня сообщили в редакцию, что они арестованы. Я ездил проверить известие: оба эти князя никакие не князья, они оказались атаманами шайки бандитов, и деньги, которые проигрывали, они привезли с последнего разбоя в Туркестане. Они напали на почту, шайка их перебила конвой, а они собственноручно зарезали почтовых чиновников, взяли ценности и триста тысяч новенькими бумажками, пересылавшимися в казначейство. Оба они отправлены в Ташкент, где их ждет виселица.

Скажут:

— Почему автор этой книги открывает только дурные стороны клубов, а не описывает подробно их полезную общественную и просветительную деятельность?

И автор на это смело ответит:

— Потому что для нашего читателя интереснее та сторона жизни, которая даже во времена существования клубов была покрыта тайной, скрывавшей те истинные источники средств, на которые строилась «общественная деятельность» этих клубов.

О последней так много писалось тогда и, вероятно, еще будет писаться в мемуарах современников, которые знали только одну казовую сторону: исполнительные собрания с участием знаменитостей, симфонические вечера, литературные собеседования, юбилеи писателей

и артистов с крупными именами, о которых будут со временем писать... В связи с ними будут, конечно, упоминать и Литературно-художественный кружок, насчитывавший более 700 членов и 54 875 посещений в год.

Еще найдутся кое у кого номера журнала «Известия Кружка» и толстые, отпечатанные на веленовой бумаге с портретом Пушкина отчеты.

В них, к сожалению, ни слова о быте, о типах игроков, за счет азарта которых жил и пировал клуб.

ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Дом Малкиеля, где был театр Бренко, перешел к миллионеру Спиридонову, который сдал его под Охотничий клуб.

Этот клуб зародился в трактирчике-низке на Неглинном проезде, рядом с Трубной площадью, где по воскресеньям бывал собачий рынок и птичий базар. Трактир так и звали: «Собачий рынок».

Охотники и любители птиц наполняли площадь, где стояли корзины с курами, голубями, индюками, гусями. На подставках висели клетки со всевозможными певчими птицами. Тут же продавались корм для птиц, рыболовные принадлежности, удочки, аквариумы с дешевыми золотыми рыбками и всех пород голуби.

Большой угол занимал собачий рынок. Каких-каких собак здесь не было! И борзые, и хортые, и псовые, и гончары всех сортов, и доги, и бульдоги, и всякая мохнатая и голая мелкота за пазухами у продавцов. Здесь работали собачьи воры.

И около каждой собачьей породы была своя публика. Вокруг мохнатых болонок и голых левреток, вечно дрожавших, как осиновый лист, суетятся франты, дамские угодники, высматривающие подарок для дамы сердца. Около сеттеров, лягашей и пегих гончих — солидные члены богатых обществ, ружейные охотники. Возле дворняг и всяких ублюдков на веревках, без ошейников — огородники и домовладельцы с окраины, вы-

смастривающие цепного сторожа. Оборванцы, только что поймавшие собаку, тащили ее на рынок. Между ними бывали тоже особенные специалисты.

Так года два подряд каждое воскресенье мальчуган приводил на веревке красивую и ласковую рыжую собаку по кличке Цезарь, дворняжку, которая жила на извозничьем дворе-трактире в Столешниковом переулке, и продавал ее. На другой день собака с перегрызанной веревкой уже была дома и ждала следующего воскресенья. Бывало, что собаку признавали купцы, но доказать было нельзя, и Цезарь снова продавался.

Яркой группой были борзятники, окружавшие своры борзых собак, псовых, хортых и паратых гончих; доезжание в чекменях и поддевах с чеканными поясами, с охотничьим рогом через плечо, с арапником и лихо заломленными шапками.

По одному виду можно было понять, что каждому из них ничего не стоит остановить коня на полном карьере, прямо с седла ринуться на матерого волка, задержанного на лету доспевшей собакой, налечь на него всем телом и железными руками схватить за уши, придавить к земле и держать, пока не сострунят.

Они осматривают собак, спорят. Разговор их не всякий поймет со стороны. Так и сыплются слова:

— Пазонки, черные мяса, выжлец, переярок, щипцы, прибылой, отрыж.

Вот, кажется, знакомое слово «щипцы», а это оказывается морда у борзой так называется.

Были тут и старики с седыми усами в дорогих растегнутых пальто, из-под которых виднелся серебряный пояс на чекмене. Это — борзятники, москвичи, по зимам живущие в столице, а летом в своих имениях; их с каждым годом делалось меньше. Псовая охота, процветавшая при крепостном праве, замирала. Кое-где еще держали псарни, но в маленьком масштабе.

По зимам охотники съезжались в Москву на собачью выставку отовсюду и уже обязательно бывали на Трубе. Это место встреч провинциалов с москвичами. С рынка они шли в «Эрмитаж» обедать и заканчивать день или, вернее сказать, ночь у «Яра» с цыганскими хорами, «по примеру своих отцов».

Ружейные охотники — москвичи сплоченной командой отправлялись в трактир «Собачий рынок», известный всем охотникам под этим названием, хотя официально он назывался по фамилии владельца.

Трактир «Собачий рынок» был не на самой площади, а вблизи нее, на Неглинном проезде, но считался на Трубе. Это был грязноватый трактирчик-низок. В нем имелся так называемый чистый зал, по воскресеньям занятый охотниками. Каждая их группа на этот день имела свой ожидавшийся стол.

Псовые и ружейные охотники, осмотрев до мелочей и разобрав по косточкам всякую достойную внимания собаку, отправлялись в свой низок, и за рюмкой водки начинался разговор «по охоте».

В трактир то и дело входили собачники со щенками за пазухой и в корзинках (с большими собаками барышников в трактир не впускали), и начинался осмотр, а иногда и покупка собак.

Кривой собачник Александр Игнатьев, знаменитый собачий вор, предлагает желто-пегого пойнтера и убедительно говорит:

— От самого Ланского с Тверского бульвара. Вчера достукались. — Поднимает за шиворот щенка. — Его мать в прошлом году золотую медаль на выставке в манеже получила. Дианка. Помните?

Александр Михайлович Ломовский, генерал, самое уважаемое лицо между охотниками Москвы, тычет пальцем в хвост щенка и делает какой-то крюк рукой.

— Это ничего-с, Александр Михайлыч. Уж такой прутик, какого поискать.

Ломовский опять молча делает крюк рукой.

— Помилуйте, Александр Михайлыч, не может же этого быть. Мать-то его, Дианка, ведь родная сестра...

— Словом, «родная сестра тому кобелю, которого вы, наверное, знаете», — замечает редактор журнала «Природа и охота» Л. П. Сабанеев и обращается к продавцу: — Уходи, Сашка, не проедайся. Нашел кого обмануть! Уж если Александру Михайлычу несешь собаку, так помни про хвост. Понимаешь, прохвост, помни!

Продавец конфузливо уходит, рассуждая:

— Ну, хоть убей, сам никакого порока не видел! Не укажи Александр Михайлыч чутошную поволоку в прутике... Ну и как это так? Ведь же от Дианки... Родной брат тому кобелю...

Третий собеседник, Николай Михайлович Левачев, городской инженер, известный перестройкой подземной Неглинки, в это время, не обращая ни на что никакого внимания, составлял на закуску к водке свой «Левачевский» салат, от которого глаза на лоб лезли.

Подходили к этому столу самые солидные московские охотники, садились, и разговоры иногда продолжались до поздней ночи.

В одно из таких воскресений договорились до необходимости устроить Охотничий клуб. На другой день был написан Сабанеевым устав, под которым подписались во главе с Ломовским влиятельные люди, и через месяц устав был утвержден министром.

Почти все московские охотники, люди со средствами, стали членами клуба, и он быстро вошел в моду.

Началось с охотничьих собеседований, устройства выставок, семейных вечеров, охотничьих обедов и ужинов по субботам с дамами и хорами певиц, цыганским и русским.

Но сразу прохарчились. Расход превысил доход. Одной бильярдной и скромной коммерческой игры в карты почтенных старичков-охотников оказалось мало. Штрафов — ни копейки, а это главный доход клубов вообще. Для них нужны азартные игры. На помощь явился М. Л. Лазарев, бывший секретарь Скакового общества, страстный игрок.

Горячо взялся Лазарев за дело, и в первый же месяц касса клуба начала пухнуть от денег. Но главным образом богатеть начал клуб на Тверской, в доме, где был когда-то «Пушкинский театр» Бренко.

И началась азартная игра.

В третьем этаже этого дома, над бальной залой и столовой, имелась потайная комната, до которой добраться по лестничкам и запутанным коридорчикам мог только свой человек. Допускались туда только члены клуба, крупные игроки. Игра начиналась после полуночи, и штраф к пяти часам утра доходил до тридцати

восьми рублей. Так поздно начинали играть для того, чтобы было ближе к штрафу, и для того, чтобы было меньше разговоров и наплыва любопытствующих и мелких игроков. А крупным игрокам, ведущим тысячную игру, штраф нипочем.

В одной из этих комнат стояло четыре круглых стола, где за каждый садилось по двенадцати человек. Тут были столы «рублевые» и «золотые», а рядом, в такой же комнате, стоял длинный покрытый зеленым сукном стол для баккара и два круглых «сторублевых» стола для «железки», где меньше ста рублей ставка не принималась. Здесь игра начиналась не раньше двух часов ночи, и бывали случаи, что игроки засиживались в этой комнате вплоть до открытия клуба на другой день, в семь часов вечера, и, отдохнув тут же на мягких диванах, снова продолжали игру.

Полного расцвета клуб достиг в доме графа Шереметева на Воздвиженке, где долго помещалась городская управа.

С переездом управы в новое здание на Воскресенскую площадь дом занял Русский охотничий клуб, роскошно отделав загаженные канцеляриями барские палаты.

Пошли маскарады с призами, обеды, выставки и субботние ужины, на которые съезжались буржуазные прожигатели жизни обоего пола. С Русским охотничьим клубом в его новом помещении не мог спорить ни один другой клуб; по азарту игры достойным соперником ему явился впоследствии Кружок.

Поздний час. За длинным столом сидело и стояло человек пятнадцать. Шла баккара. Посредине стола держал банк изящный брюнет, методически продвигая по зеленому сукну холеной, слегка вздрагивающей рукой без всяких украшений атласную карту. Он то и дело брал папиросу, закуривал не торопясь, стараясь казаться хладнокровным. По временам он как-то странно моргал глазами, но его красивое лицо было неподвижно, как маска. Перед ним лежали пачки сотенных,

тысяч на пять, а напротив, у его помощника, груды более мелких кредиток и тоже груда сотенных.

Его помощник, облысевший преждевременно, бесцветный молодой человек в смокинге — неудачный отпрыск когда-то богатого купеческого рода. Он исправлял должность крупье, платил, когда банк проигрывал, и получал выигрыши. После каждой полочки аккуратно раскладывал кредитки, сортируя их. Кругом сидели обычные понтеры, любители баккара. Темный шатен с самой красивой бородой в Москве, на которую заглядывались дамы и которая дорого обошлась московским купчихам... Перед ним горка разбросанных сотенных, прикрытых большой золотой табакеркой, со сверкающей большой французской буквой N во всю ее крышку.

За эту табакерку он заплатил бешеные деньги в Париже, потому что это была табакерка Наполеона I. Из-за нее, как рассказывал владелец, Наполеон проиграл Ватерлоо, так как, нюхая табак, недослышал доклада адъютанта, перепутал направления и двинул кавалерию по пересеченной местности, а пехоту — по равнине.

— Понюшка табаку перевернула мир! — так заключал он свой рассказ и показывал друзьям, вынимая из бумажника официальное удостоверение, что эта табакерка действительно принадлежала Наполеону.

Он, не считая, пачками бросал деньги, спокойной рукой получал выигрыши, не обращая внимания на проигрыш. Видно, что это все ему или скучно, или мысль его была далеко. Может быть, ему вспоминался безбородый юноша-маркер, а может быть, он предчувствовал грядущие голодные дни на Ривьере и в Монако.

Рядом с ним так же спокойно проигрывал и выигрывал огромные куши, улыбаясь во всю ширь круглого, румяного лица, покручивая молодые усики, стройный юноша, богач с Волги.

Он играл, как ребенок, увлекшийся занявшей его в тот момент игрушкой, радовался и ни о чем не думал.

Около него — высокий молодой человек с продолговатым лицом, с манерами англичанина. Он похож на

статую. Ни один мускул его лица не дрогнет. На лице написана холодная сосредоточенность человека, делающего серьезное дело. Только руки его выдают... Для опытного глаза видно, что он переживает трагедию: ему страшен проигрыш... Он справляется с лицом, но руки его тревожно живут, он не может с ними справиться...

На другом конце стола прилизанный, с английским пробором на лысеющей голове скаковой «джентльмен», поклонник «карт, женщин и лошадей», весь занят игрой. Он соображает, следит за каждой картой, рассматривает каждую полоску ее крапа, когда она еще лежит в ящике под рукой банкомета, и ставит то мелко, то вдруг большой куш и почти всегда выигрывает.

Банкомет моргает и нервно тасует колоду, заглядывая вниз. Он ждет, пока дотасует до бубнового туза. Раньше метать не будет. Этот миллионер — честнейший из игроков, но он нервен и суеверен. И нервность его выражается в моргании, а иногда он двигает шеей, — это уж крайняя степень нервности.

В дом Шереметева клуб переехал после пожара, который случился в доме Спиридонова поздней ночью, когда уж публика из нижних зал разошлась и только вверх, в тайной комнате, играли в «железку» человек десять крупных игроков. Сюда не доносился шум из нижнего этажа, не слышно было пожарного рожка сквозь глухие ставни. Прислуга клуба с первым появлением дыма ушла из дому. К верхним игрокам вбежал мальчуган-карточник и за ним лакей, оба с испуганными лицами, приотворили дверь, крикнули: «Пожар!» — и скрылись.

Но никто на них не обратил внимания. Поздние игроки, как всегда, очень зарвались. Игра шла очень крупная. Метал Александр Степанович Саркизов («Саркуша»), богатый человек и умелый игрок, хладнокровный и обстоятельный. Он бил карту за картой и загребал золото и кредитки.

— Пахнет дымом, слышите? — Вдруг поднял голову, понюхал воздух и заволновался, моргая по привычке глазами, табачный фабрикант.

— Это от твоих папирос пахнет! — острит Саркуша и открывает девятку.

Вдруг грохот шагов по коридору. В дверь вместе с дымом врываются швейцар и пожарный.

— Кыш, вы, дьяволы! Сгорите!

— Перегородка в коридоре занялась! — кричит швейцар.

Некоторые в испуге вскочили, ничего не понимая, другие продолжали игру, а Саркуша опять открыл девятку и, загребая деньги, закричал пожарному:

— Тэбэ что за дэло? Дай банк домэтаты!

— Да ведь ваши шубы сгорят! — оправдывается швейцар.

Саркуша рассовывает по карманам деньги, схватывает со стола лоток карт и с хохотом швыряет в угол.

Игроки сквозь густой дым едва добрались до парадной лестницы, которая еще не горела, и спустились вниз, в гардеробную, где в ожидании их волновались швейцары.

Эти подробности пожара очень любили рассказывать участники этого злополучного вечера, а Саркуша обижался:

— Какая талия была! Помэшали домэтаты!

В большой зале бывшего Шереметевского дворца на Воздвиженке, где клуб давал маскарады, большие обеды, семейные и субботние ужины с хорами певиц, была устроена сцена. На ней играли любители, составившие потом труппу Московского Художественного театра.

Давали спектакли, из которых публике, чисто клубной, предпочитавшей маскарады и веселые ужины, больше всего нравился «Потонувший колокол», а в нем особенно мохнатый леший, прыгавший через камни и рывины, и страшный водяной, в виде огромной лягушки, полоскавшейся в ручье и кричавшей: «Бре-ке-кекс!»

Труппа была сыгравшаяся, прекрасная. Репертуар поддерживался избранный. Обо всем этом писалось много, — равно как писалось о маскарадах в газетах и

даже публиковались в объявлениях названия ценных призов за лучшие костюмы.

Один из лучших призов получил какой-то московский красавец, явившийся в черном фраке, в цилиндре, с ярко-синей бородой, расчесанной а ла Скобелев на две стороны.

Этот костюм выделился между другими, украшенными драгоценными камнями купеческими костюмами,— и «Принц Рауль Синяя борода» получил золотой портсигар в пятьсот рублей.

ЛЬВЫ НА ВОРОТАХ

Старейший в Москве Английский клуб помнил еще времена, когда «шумел, гудел пожар московский», когда на пылавшей Тверской, сквозь которую пробивались к заставе остатки наполеоновской армии, уцелел один великолепный дворец.

Дворец стоял в вековом парке в несколько десятин, между Тверской и Козьим болотом. Парк заканчивался тремя глубокими прудами, память о которых уцелела только в названии «Трехпрудный переулок».

Дворец этот был выстроен в половине восемнадцатого века поэтом М. М. Херасковым, и в екатерининские времена здесь происходили тайные заседания первого московского кружка масонов: Херасков, Черкасский, Тургенев, Н. В. Карамзин, Енгальчев, Кутузов и «брат Киновион» — розенкрейцеровское имя Н. И. Новикова.

В 1792 году арестовали Н. И. Новикова, его кружок, многих масонов.

После 1812 года дворец Хераскова перешел во владение графа Разумовского, который и пристроил два боковых крыла, сделавших еще более грандиозным это красивое здание на Тверской. Самый же дворец с его роскошными залами, где среди мраморных колонн собирался цвет просвещеннейших людей тогдашней России, остался в полной неприкосновенности, и в 1831 году в нем поселился Английский клуб.

Лев Толстой в «Войне и мире» так описывает обед,

которым в 1806 году Английский клуб чествовал прибывшего в Москву князя Багратиона: «...Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими, самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами».

Вот они-то и переехали на Тверскую, где на воротах до сего времени дремлют их современники — каменные львы с огромными, отвисшими челюстями, будто окаменевшие вельможи, переваривающие лукулловский обед. Они смотрят безучастно на шумные, веселые толпы экскурсантов, стремящиеся в Музей Революции, и на пролетающие по Тверской автомобили... Так же безучастно смотрят, как сто лет назад смотрели на золотой герб Разумовских, на раззолоченные мундиры членов клуба в парадные дни, на мчавшиеся по ночам к цыганам пьяные тройки гуляк... Так же безучастно смотрели они в зимние ночи на кучеров на широком клубном дворе, гревшихся вокруг костров.

Одетые в бархатные, обшитые галуном шапки и в воланы дорогого сукна, кучера не знали, куда они попадут завтра: домой или к новому барину?

Отправит ли их новый барин куда-нибудь к себе в «деревню, в глушь, в Саратов», а семью разбросает по другим вотчиннам...

Судьба крепостных решалась каждую ночь в «адской комнате» клуба, где шла азартная игра, где жизнь имений и людей зависела от одной карты, от одного очка... а иногда даже — от ловкости банкмета, умеющего быстротой рук «исправлять ошибки фортуны», как выражался Федор Толстой, «Американец», завсегда тай «адской комнаты»... Тот самый, о котором Грибоедов сказал:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист...

И, по-видимому, «Американец» даже гордился этим и сам Константину Аксакову за клубным обедом сказал, что эти строки написаны про него... Загорецкий тоже очень им отдает. Пушкин увековечил «Американца» в Зарецком словами: «Картежной шайки атаман».

Это был клуб Фамусовых, Скалозубов, Загорецких, Репетиловых, Тугоуховских и Чацких.

Конечно, ни Пушкин, ни Грибоедов не писали точных портретов; создавая бытовой художественный образ, они брали их как сырой материал из повседневной жизни.

Грибоедов в «Горе от ума» в нескольких типах отразил тогдашнюю Москву, в том числе и быт Английского клуба.

Герцен в «Былом и думах» писал, что Английский клуб менее всего английский. В нем Собакевичи кричат против освобождения и Ноздревы шумят за естественные и неотъемлемые права дворян...

Это самое красивое здание на Тверской скрывал ряд пристроек-магазинов.

Октябрь смел пристройки, выросшие в первом десятилетии двадцатого века, и перед глазами — розовый дворец с белыми стройными колоннами, с лепными работами. На фронте белый герб республики сменил золоченый графский герб Разумовских. В этом дворце — Музее Революции — всякий может теперь проследить победное шествие русской революции, от декабристов до Ленина.

И, как введение в историю Великой революции, как кровавый отблеск зарницы, сверкнувшей из глубины грозных веков, встречают входящих в Музей на площадке вестибюля фигуры Степана Разина и его ватаги, работы скульптора Коненкова. А как раз над ними — полотно художника Горелова:

Это с Дона челны налетели,
Взволновали простор голубой,—
То Степан удалую ватагу
На добычу ведет за собой...

Это первый выплыв Степана «по матушке по Волге». А вот и конец его: огромная картина Пчелина «Казнь Стеньки Разина». Москва, площадь, полная народа, бояре, стрельцы... палач... И он сам на помосте, с грозно поднятой рукой, прощается с бунтарской жизнью и вещает грядущее:

С паденьем головы удалой
Всему, ты думаешь, конец —
Из каждой капли крови алой
Отважный вырастет боец.

Поднимаешься на пролет лестницы — и дверь в Музей, в первую комнату, бывшую приемную. Теперь ее название: «Пугачевщина». Слово, впервые упомянутое в печати Пушкиным. А дальше за этой комнатой уже самый Музей с большим бюстом первого русского революционера — Радищева.

В приемной Английского клуба теперь стоит узкая железная клетка. В ней везли Емельяна с Урала до Москвы и выставляли на площадях и базарах попутных городов «на позорище и устрашение» перед толпами народа, еще так недавно шедшего за ним. В этой клетке привезли его и на Болотную площадь и 16 января 1775 года казнили.

На том самом месте, где стоит теперь клетка, столет тому назад стоял сконфуженный автор «Истории Пугачевского бунта» — великий Пушкин.

А на том месте, где сейчас висят цепи Пугачева, которыми он был прикован к стене тюрьмы, тогда висела «черная доска», на которую записывали исключенных за неуплаченные долги членов клуба, которым вход воспрещался впредь до уплаты долгов. Комната эта звалась «лифостротон»¹.

И рисует воображение дальнейшую картину: вышел печальный и мрачный поэт из клуба, пошел домой, к Никитским воротам, в дом Гончаровых, пошел по Тверской, к Страстной площади. Остановился на Тверском бульваре, на том месте, где стоит ему памятник, остановился в той же самой позе, снял шляпу с разгоряченной головы... Лето... Пусто в Москве... Все разъехались по усадьбам... Пусто в квартире... Некуда идти... И видит он клуб, «львов на воротах», а за ними ярко освещенные залы, мягкие ковры, вино, карты... и его любимая «говорильня». Там его друзья — Чаадаев, Нащокин, Раевский...

И пошел одиноко поэт по бульвару... А вернувшись

¹ Минувшая.

в свою пустую комнату, пишет 27 августа 1833 года жене: «Скажи Вяземскому, что умер тезка его, князь Петр Долгоруков, получив какое-то наследство и не успев промотать его в Английском клубе, о чем здешнее общество весьма жалеет. В клубе не был, чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет, надобно будет заплатить штраф триста рублей, а я бы весь Английский клуб готов продать за двести рублей».

Уже впоследствии Пугачев помог ему расплатиться с клубом, и он снова стал посещать его.

В письме к П. В. Нащокину А. С. Пушкин 20 января 1835 года пишет: «Пугачев сделался добрым, исправным плательщиком оброка... Емелька Пугачев оброчный мой мужик... Денег он мне принес довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за пазухой и все идет на расплату».

И Пушкин и Грибоедов хорошо знали клуб. «Горе от ума» — грибоедовская Москва, и многие типы его — члены Английского клуба. Как-то я нашел в извлечениях из «Журнала старшин» клуба, где записывались только обстоятельства почему-либо «достопамятные», следующее: «1815 г. Предложенный от члена Сибилева из кандидатов в члены г-н Чатский по баллотированию не избран, вновь перебаллотирован и тоже не избран». Забаллотировали в Английский клуб — это событие! О нем говорила вся барская Москва. Кто такой Чатский и почему он не избран? Но хочется предположить, что есть что-то общее с «Горе от ума». По крайней мере, фамилия Чатский — это Чацкий. И является вопрос: за что могли не избрать в члены клуба кандидата, то есть лицо, уже бывавшее в клубе около года до баллотировки? Вернее всего, что за неподходящие к тому времени взгляды, которые высказывались Чатским в «говорильне».

Те речи и монологи, которые мы читаем в «Горе от ума», конечно, при свободе слова в «говорильне» могли им произноситься как кандидатом в члены, но при баллотировке в члены его выбрать уже никак не могли и, вероятно, рады были избавиться от такого «якобинца». Фамусовы, конечно, Чацкого не выберут. Это, ко-

нечно, мои предположения, но я уверен, что Чатский, забаллотированный в 1815 году, и Чацкий Грибоедова, окончившего пьесу в 1822 году, несомненно, имеют общее. Во всяком случае, писатель помнил почему-то такую редкую фамилию.

«Народных заседаний проба в палатах Аглицкого клоба». Может быть, Пушкин намекает здесь на политические прения в Английском клубе. Слишком близок ему был П. Я. Чаадаев, проводивший ежедневно вечера в Английском клубе, холостяк, не игравший в карты, а собиравший около себя в «говорильне» кружок людей, смело обсуждавших тогда политику и внутренние дела. Некоторые черты Чаадаева Пушкин придал своему Онегину в описании его холостой жизни и обстановки...

Сейчас, перечитывая бессмертную комедию, я еще раз утверждаюсь, что забаллотированный Чатский и есть Чацкий. Разве Фамусов, «Аглицкого клоба верный сын до гроба», — а там почти все были Фамусовы, — потерпел бы Чацкого в своей среде? А как забаллотировать? Да пустить слух, что он... сумасшедший!..

А весь монолог Репетилова — разве это не портреты членов Английского клуба?

Чацкий. Чай в клубе?

Репетилов. ...В Английском!..

У нас есть общество, и тайные собрания

По четвергам. Секретнейший Союз.

Чацкий. ...В клубе?

Репетилов. Именно... Шумим, братец, шумим!

Конечно, и Чаадаев, о котором в связи с Английским клубом вспоминает Герцен в «Былом и думах», был бельмом на глазу, но исключить его было не за что, хотя он тоже за свои сочинения был объявлен сумасшедшим, — но это окончилось благополучно, и Чаадаев неизменно, от юности до своей смерти 14 апреля 1856 года, был членом клуба и, по преданиям, читал в «говорильне» лермонтовское стихотворение на смерть Пушкина. Читал — а его слушали «ничтожные потомки известной подлостью прославленных отцов...»

В своих письмах Чаадаев два раза упоминает Английский клуб.

В письме к А. С. Пушкину в 1831 году: «...я бываю

иногда — угадайте где? В Английском клубе! Вы мне говорили, что Вам пришлось бывать там; а я бы Вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колонн, в тени прекрасных деревьев...»

Потом, уже перед концом своей жизни, Чаадаев, видимо, нуждаясь в деньгах, пишет своей кузине Щербатовой:

«...К довершению всего теперь кредит в клубе ограничен пятьюдесятью рублями, каковая сумма Вашим кузеном уже давно исчерпана...»

За два дня до своей смерти Чаадаев был еще в Английском клубе и радовался окончанию войны. В это время в «говорильне» смело обсуждались политические вопросы, говорили о войне и о крепостничестве.

И даже сам Николай I чутко прислушивался к этим митингам в «говорильне» и не без тревоги спрашивал приближенных:

— А что об этом говорят в Москве в Английском клубе?

Здесь в самые страшные николаевские времена говорили беспрепятственно даже о декабристах. В том же «Журнале старшин» 24 сентября записано: «Офисиянт клуба Алексей Герасимов Соколов пришел поутру убирать комнату, нашел на столе запечатанное письмо с надписью «Ивану Петровичу Бибикову, полковнику жандармов, прошу старшин вручить ему». Старшины по представлению им письма положили, пригласив г-на Бибикова, в присутствии его то письмо сжечь, а буде Бибиков изъявит желание получить его, как по подписи ему принадлежащее, в таковом случае предоставить ему оное взять, которое однакож Бибиков не принял, а письмо в общем присутствии старшин было сожжено...»

В книге Семенюкова (Госиздат, 1921 г.) «Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова» среди перечисленных изданий упоминается книга, автором которой значится В. В. Чичагов. Это имя напомнило мне многое.

В прошлом столетии, в восьмидесятых годах я встречался с людьми, помнившими рассказы этого старика-масона, в былые времена тоже члена Английского клуба, который много рассказывал о доме поэта М. М. Хераскова.

Дом был выстроен во второй половине XVIII века поэтом совместно с братом генерал-поручиком А. М. Херасковым. Поэт Херасков жил здесь с семьей до самой своей смерти.

При М. М. Хераскове была только одна часть, средняя, дворца, где колонны и боковые крылья, а может быть фронтоны с колоннами и ворота со львами были сооружены после 1812 года Разумовским, которому Херасковы продали имение после смерти поэта в 1807 году. Во время пожара 1812 года он уцелел, вероятно, только благодаря густому парку. Если сейчас войти на чердак пристроек, то на стенах главного корпуса видны уцелевшие лепные украшения бывших наружных боковых стен.

В первой половине прошлого столетия в палатах дворца Разумовского существовала протестующая «говорильня», к которой прислушивался царь.

За сто лет в этом доме поэта Хераскова звучали речи масонов, закончившиеся их арестом.

Со смертью Чаадаева в 1856 году «говорильня» стала «кофейной комнатой», где смелые речи сменились пересказом статей из «Московских ведомостей» и возлещанием в креслах пресытившихся гурманов и проигравшихся картежников.

Л. Н. Толстой, посещавший клуб в период шестидесятых годов, назвал его в «Анне Карениной» — «храм праздности». Он тоже вспоминает «говорильню», но уже не ту, что была в пушкинские времена.

Князь Гагин, введя в эту комнату Левина, назвал ее «умною». В этой комнате трое господ говорили о последней новости в политике.

Он описывает в другом месте клубные впечатления декабриста Волконского, в шестидесятых годах вернувшегося из сибирской каторги:

«Пройдясь по залам, уставленным столами с старичками, играющими в ералаш, повернувшись в inferнальной, где уж знаменитый «Пучин» начал свою партию против «компаний», постояв несколько времени у одного из бильярдных, около которого, хватаясь за борт,

семенил важный старичок и еле-еле попадал в своего шара, и заглянув в библиотеку, где какой-то генерал степенно читал через очки, далеко держа от себя газету, и записанный юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы», он направился в комнату, где собирались умные люди разговаривать.

Одна из особенностей «умной комнаты» состояла в том, что посетители ее знали, когда хотели знать, все, что делалось на свете, как бы тайно оно ни происходило.

В «Войне и мире» описывается роскошный бал, данный Москвой Багратиону в Английском клубе.

Вот и все, что есть в литературе об этом столетнем московском дворянском гнезде.

Ничего нет удивительного. Разве обыкновенного смертного, простого журналиста, пустили бы сюда?

Нет и нет!

Если мне несколько раз и в прошлом и нынешнем столетии удалось побывать в этом клубе, то уж не как журналисту, а как члену охотничьих и спортивных обществ, где членами состояли одновременно и члены Английского клуба.

Дом принадлежал тогда уж не Разумовским, а Шаблыкину.

Роскошь поразительная. Тишина мертвая — кроме «инфернальной», где кипела азартная игра на наличные: в начале этого века среди членов клуба появились богатые купцы, а где купец, там денежки на стол.

Только сохранил свой старый стиль огромный «портретный» зал, длинный, уставленный ломберными столами, которые все были заняты только в клубные дни, то есть два раза в неделю — в среду и в субботу.

Здесь шла скромная коммерческая игра в карты по мелкой, тихая, безмолвная. Играли старички на своих, десятилетиями насиженных местах. На каждом столе стояло по углам по четыре стеариновых свечи, и было настолько тихо, что даже пламя их не колыхалось.

Время от времени играющие мановением руки подзывали лакеев, которые бесшумно, как тени, вырастали неведомо откуда перед барином, молчаливо делающим какой-то, им двоим известный жест.

Тень лакея, такого же старого, как и барин, исче-

зала, и через минуту рядом с ломберным столом появился сервированный столик.

Этот «портретный» зал назывался членами клуба в шутку «детская».

Назывался он не в насмешку над заседавшими там старичками, а потому, что там велась слишком мелкая игра, и играющие, как умные детки, молчали наравне с мундирными портретами по стенам. А чуть кто-нибудь возвышал голос в карточном споре, поднимались удивленные головы, раздавалось повелительное «тс», и все смолкало.

Вход в «портретную» был через аванзал, которым, собственно, начинался клуб.

Аванзал — большая комната с огромным столом посредине, на котором в известные дни ставились баллотировочные ящики, и каждый входящий в эти дни член клуба, раньше чем пройти в следующие комнаты, обязан был положить в ящики шары, сопровождаемый дежурным старшиной.

Это были дни баллотировки в действительные члены.

По всем стенам аванзала стояли удивительно покойные, мягкие диваны, где после обеда члены клуба и гости переваривали пищу в облаках дыма ароматных сигар, а в старину — жуковского табаку в трубках с сажеными черешневыми чубуками, которые зажигали лакеи.

Старички особенно любили сидеть на диванах и в креслах аванзала и наблюдать проходящих или сладко дремать. Еще на моей памяти были такие древние старички — ну совсем князь Тугоуховский из «Горе от ума». Вводят его в мягких замшевых или суконных сапожках, закутанного шарфом, в аванзал или в «кофейную» и усаживают в свое кресло. У каждого было излюбленное кресло, которое в его присутствии никто занять не смел:

— Кресло Геннадия Владимировича.

Садился старичок, смотрел вокруг, старался слушать вначале, а потом тихо засыпал.

Старый лакей, который служил здесь еще во времена крепостного права, знающий привычки старого барина, в известный час поставит перед ним столик с при-

бором и дымящейся серебряной миской и осторожно будит его, посматривая на часы:

— Ваше превосходительство!

Часы в этот момент начинают бить девять.

— Ваше превосходительство, кашка поставлена.

— А? Уж девять? Слышу!

Полакомится кашкой — и ведут его в карету.

Направо из аванзала вход во «фруктовую», где стояли столы с фруктами и конфетами, а за «фруктовой» — большая парадная столовая.

Левая дверь из аванзала вела в уже описанную «портретную».

В одно из моих ранних посещений клуба я проходил в читальный зал и в «говорильне» на ходу, мельком увидел старика военного и двух штатских, сидевших на диване в углу, а перед ними стоял огромный, в черном сюртуке, с львиной седеющей гривой, полный энергии человек, то и дело поправлявший свое соскакивающее пенсне, который ругательски ругал «придворную накипь», по протекции рассылаемую по стране управлять губерниями.

Это был известный винодел Лев Голицын, когда-то блестяще окончивший Московский университет, любимец профессора Никиты Крылова, известный краснобаей, горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он «не посрамлен никакими чинами и орденами».

Сидящий военный был А. А. Пушкин — сын поэта. Второй, толстый, с седеющими баками, был губернатор В. С. Перфильев, женатый на дочери Толстого «Американца».

Льва Голицына тоже недолюбливали в Английском клубе за его резкие и нецензурные по тому времени (начало восьмидесятых годов) речи. Но Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда, зиму и лето, в мужицком бобриковом широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах.

Извозчики звали его «диким барином». Татары в его кавказском имени прозвали его «Аслан Дели» — сумасшедший Лев.

Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывал, особенно учащейся молодежи, дер-

жал на Тверской, на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников «Новый Свет» и продавал в розницу чистое, натуральное вино по двадцать пять копеек за бутылку:

— Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино! — заявил он.

В конце девяностых годов была какая-то политическая демонстрация, во время которой от дома генерал-губернатора расстреливали и разгоняли шашками жандармы толпу студентов и рабочих. При появлении демонстрации все магазины, конечно, на запор.

Я видел, как упало несколько человек, видел, как толпа бросилась к Страстному и как в это время в открывшихся дверях голицынского магазина появилась в одном сюртуке, с развевающейся седой гривой огромная фигура владельца. Он кричал на полицю и требовал, чтобы раненых несли к нему на перевязку.

Через минуту его магазин был полон спасавшимися. Раненым делали перевязку в задней комнате дочь и жена Л. Голицына, а сам он откупоривал бутылку за бутылкой дорогие вина и всех угощал.

Когда полиция стала стучать в двери, он запер магазин на ключ и крикнул:

— Я именинник, это — мои гости!

Через черный ход он выпустил затем всех, кому опасно было попадаться в руки полиции, и на другой день в «говорильне» клуба возмущался действиями властей.

Конечно, такой член Английского клуба был не по нутру тайным советникам, но в «говорильне» его слушали.

Однажды в «говорильне» Лев Голицын громовым голосом, размахивая руками и поминутно поправляя пенсне, так же горячо доказывал необходимость запрещения водки, чтобы народ пил только чистые виноградные вина.

— Мы богаты, наш юг создан для виноградарства!

Ему пробовал возражать красивый высокий блондин с закрученными усами — В. Н. Мартынов, видный

чиновник удельного ведомства, Мартынов — сын... убийцы Лермонтова.

Перед ними стоял старик с белой шевелюрой и бородой. Он делился воспоминаниями с соседями. Слышались имена: Лермонтов, Пушкин, Гоголь...

Это был А. А. Стахович, известный коннозаводчик и автор интересных мемуаров, поклонник Пушкина и друг Гоголя. В своем имении «Пальне» под Ельцом он поставил в парке памятник Пушкину: бюст на гранитном пьедестале.

Бывали здесь и другие типы. В начале восьмидесятых годов сверкала совершенно лысая голова московского вице-губернатора, человека очень веселого, И. И. Красовского. Про него было пущено, кажется Шумахером, четверостишие:

Краса инспекции московской
И всей губернии краса,
Иван Иванович Красовский,
Да где же ваши волосы?

Бывал и обер-полицмейстер А. А. Козлов, не пропускавший ни одного значительного пожара. По установленному издавна порядку, о каждом пожаре посетители Английского клуба извещались: входил специальный слуга в залы, звонил звонком и тихим, бархатным голосом извещал:

— В Городской части пожар номер пять, на Ильинке.

— В Рогожской, в Дурном переулке пожар номер три.

И с первым появлением этого вестника выскакивал А. А. Козлов, будь в это время обед или ужин, и мчался на своей лихой паре, переодеваясь на ходу в непромокаемый плащ и надевая каску, которая всегда была в экипаже. С пожара он возвращался в клуб доедать свой обед или ужин.

Собирались иногда в «кофейной» П. И. Бартенев — издатель «Русского архива» и К. К. Тарновский — драматург.

За «говорильней» следовала большая гостиная; в ней, как и в «портретной», ломберные столы были заняты крупными игроками в коммерческие игры.

Десятками тысяч рублей здесь кончались пульки и роббера.

За большой гостиной следовала «галерея» — длинная комната, проходная в бильярдную и в читальню, имевшая также выход в сад.

Бильярдная хранила старый характер, описанный Л. Н. Толстым. Даже при моем последнем посещении клуба в 1912 году я видел там китайский бильярд, памятный Л. Н. Толстому.

На этом бильярде Лев Николаевич в 1862 году проиграл проезжему офицеру тысячу рублей и пережил неприятную минуту: денег на расплату нет, а клубные правила строги — можно и на «черную доску» попасть.

Чем бы это окончилось — неизвестно, но тут же в клубе находился М. Н. Катков, редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей», который, узнав, в чем дело, выручил Л. Н. Толстого, дав ему займы тысячу рублей для расплаты. А в следующей книге «Русского вестника» появилась повесть Толстого «Казаки».

В левом углу проходной «галереи» была дверка в «инфернальную» и в «старшинскую» комнату, где происходили экстренные заседания старшин в случае каких-нибудь споров и недоразумений с гостями и членами клуба. Здесь творили суд и расправу над виновными, имена которых вывешивались на «черную доску».

Рядом со «старшинской» был внутренний коридор и комната, которая у прислуги называлась «ажидация», а у членов — «лакейская». Тут ливрейные лакеи азартных игроков, засиживавшихся в «инфернальной» до утра, ожидали своих господ и дремали на барских шубах, расположившись на деревянных диванах.

Эта «ажидация» для выездных лакеев, которые присажали сюда в старые времена на запятках карет и саней, была для них клубом. Лакеи здесь судачили, сплетничали и всю подноготную про своих господ разносили повсюду.

За «галереей» и бильярдной была читальня в пристройке, уже произведенной Разумовским после 1812 года. Этот зал строил Джилярди.

Входишь — обычно публики никакой. Сядешь в мяг-

кое кресло. Ни звука. Только тикают старинные часы. Зеленые абажуры над красным столом с уложенными в удивительном порядке журналами и газетами, к которым редко прикасаются.

Безмолвно и важно стоят мраморные колонны, поддерживающие расписные своды — творчество художников времен Хераскова.

Поблескивают золотыми надписями кожаные переплеты сквозь зеркальные стекла шкафов. Окна занавешены. Только в верхнюю, полукруглую часть окна, незашторенную, глядит темное небо.

Великолепные колонны с лепными карнизами переходят в покойные своды, помнящие тайные сборища масонов, — по преданиям, здесь был кабинет Хераскова. Сквозь полумрак рельефно выступает орнамент — головы каких-то рыцарей.

Верхний полукруг окна осветился выглянувшей из-за облака луной, снова померк... Часы бьют полночь. С двенадцатым ударом этих часов в ближайшей зале забили другие — и с новым двенадцатым ударом в более отдаленной зале густым, бархатным басом бьют старинные английские часы, помнящие севастопольские разговоры и, может быть, эпиграммы на царей Пушкина и страстные строфы Лермонтова на смерть поэта...

В ярком блеске «храм праздности» представлялся в дни торжественных обедов.

К шести часам в такие праздники обжорства Английский клуб был полон. Старики, молодежь, мундиры, фраки... Стоят кучками, ходят, разговаривают, битком набита ближайшая к большой гостиной «говорильня». А двери в большую гостиную затворены: там готовится огромный стол с выпивкой и закуской...

— Сезон блюсти надо, — говаривал старшина по хозяйственной части П. И. Шаблыкин, великий гурман, проевший все свои дома. — Сезон блюсти надо, чтобы все было в свое время. Когда устрицы флексбургские, когда остендские, а когда крымские. Когда лососина, когда семга... Мартовский белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь!

Все это у П. И. Шаблыкина было к сезону — ничего не пропустит. А когда, бывало, к новому году с Урала

везут багряную икру зернистую и рыбу — первым делом ее пробуют в Английском клубе.

Настойки тоже по сезону: на почках березовых, на почках черносмородинных, на травах, на листьях, — и воды разные шипучие — секрет клуба...

Но вот часы в залах, одни за другими, бьют шесть. Двери в большую гостиную отворяются, голоса смолкают, и начинается шарканье, звон шпор... Толпы окружают закусочный стол. Пьют «под селедочку», «под парную белужью икорку», «под греночки с мозгами» и т. д. Ровно час пьют и закусывают. Потом из залычитальни доносится первый удар часов — семь, — и дежурный звучным баритоном покрывает чоканье рюмок и стук ножей.

— Кушанье поставлено!

Блестящая толпа человек в двести движется через «говорильню», «детскую» и «фруктовую» в большую столовую, отделенную от клуба аванзалом.

Занимают места, кто какое облюбует.

На хорах — оркестр музыки. Под ним, на эстраде хоры — или цыганский, или венгерский, или русский от «Яра».

Эстрада в столовой — это единственное место, куда пропускаются женщины, и то только в хоре. В самый же клуб, согласно с основания клуба установленным правилам, ни одна женщина не допускалась никогда. Даже полы мыли мужчины.

Уселись. Старейший цыган Федор Соколов повел седым усом, сверкнул глазами, притопнул ногой, звякнул струной гитары — и грянул цыганский хор.

А налево, около столов, уставленных дымящимися кастрюлями, замерли как статуи, в белых одеждах и накрахмаленных белых колпаках, с серебряными черпаками в руках, служители «храма праздности».

Теперь здесь зал заседаний Музея Революции.

Сошел на нет и этот клуб. У большинства дворян не осталось роскошных выездов. Дела клуба стали слабнуть, вместо шестисот членов осталось двести. По-немногу стало допускаться в члены и именитое купечество.

Люднее стало в клубе, особенно в картежных ком-

натах, так как единственно Английский клуб пользовался правом допускать у себя азартные игры, тогда строго запрещенные в других московских клубах, где игра шла тайно. В Английский клуб, где почетным старшиной был генерал-губернатор, а обер-полицмейстер — постоянным членом, полиция не смела и нос показывать.

После революции 1905 года, когда во всех клубах стали свободно играть во все азартные игры, опять дела клуба ослабли; пришлось изобретать способы добычи средств. Избрали для этой цели особую комиссию. Избранники додумались использовать пустой двор возведением на нем по линии Тверской, вместо стильной решетки и ворот с историческими львами, ряда торговых помещений.

Несколько членов этой комиссии возмутились нарушением красоты дворца и падением традиций. Подали особое мнение, в котором, между прочим, было сказано, что «клубу не подобает пускаться в рискованные предприятия, совсем не подходящие к его традициям...», и закончили предложением «не застраивать фасада дома, дабы не очутиться на задворках торговых помещений».

Пересилило большинство новых членов, и прекрасный фасад Английского клуба, исторический дом поэта Хераскова, дворец Разумовских, очутился на задворках торговых помещений, а львы были брошены в подвал.

•

Дела клуба становились все хуже и хуже... и публика другая, и субботние обеды — парадных уже не стало — скучнее и малолюднее... Обеды накрывались на десять — пятнадцать человек. Последний парадный обед, которым блеснул клуб, был в 1913 году в 300-летие дома Романовых.

А там грянула империалистическая война. Половина клуба была отдана под госпиталь. Собственно говоря, для клуба остались прихожая, аванзал, «портретная», «кофейная», большая гостиная, читальня и столовая. А все комнаты, выходящие на Тверскую, пошли под госпиталь. Были произведены перестройки. Для игры «инфернальная» была заменена большой гостиной, где метали баккара, на поставленных посредине столах



Берсенеvская набережная начала XX века.



Хитрованцы.

играли в «железку», а в «детской», по-старому, шли игры по маленькой.

В таком виде клуб влачил свое существование до начала 1918 года, когда самый клуб захватило и использовало для своих нужд какое-то учреждение.

Одним из первых распоряжений организованной при Наркомпросе Комиссии по охране памятников искусства и старины было уничтожение торговых помещений перед фасадом дворца.

Революция открыла великолепный фасад за железной решеткой с львами, которых снова посадила на воротах, а в залах бывшего Английского клуба был организован Музей старой Москвы.

Наконец, 12 ноября 1922 года в обновленных залах бывшего Английского клуба открывается торжественно выставка «Красная Москва», начало Музея Революции. Это — первая выставка, начало революционного Музея в бывшем «храме праздности».

Выставка открылась в 6 часов вечера 12 ноября. Ярко горит электричество в холодных, несколько лет не топленных роскошных залах Английского клуба. Красные флаги расцвелили холодный мрамор старинных стен. Из «портретной» доносятся говор, шарканье ног, прорезаемые иногда звоном шпор...

Тот же «портретный» зал. Только портреты другие. На стенах портреты и фотографии бойцов Октябрьской революции в Москве.

Зал переполнен. Наркомы, представители учреждений, рабочих организаций... Пальто, пиджаки, кожаные куртки, военные шинели... В первый раз за сто лет своего существования зал видит в числе почетных гостей женщин. Гости собираются группами около уголков и витрин — каждый находит свое, близкое ему по переживаниям.

Стены, увешанные оружием, обрамляющим фотографии последних московских боев, собрали современников во главе с наркомками... На фотографиях эпизодов узнают друг друга... Говорят...

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

СТУДЕНТЫ

До реакции восьмидесятых годов Москва жила своею жизнью, а университет — своею.

Студенты в основной своей части еще с шестидесятых годов состояли из провинциальной бедноты, из разночинцев, не имевших ничего общего с обывателями, и ютились в «Латинском квартале», между двумя Бронными и Палашевским переулком, где немощные улицы были заполнены деревянной стройкой с мелкими квартирами.

Кроме того, два больших заброшенных барских дома дворян Чебышевых, с флигелями, на Козихе и на Большой Бронной почти сплошь были заняты студентами.

Первый дом назывался между своими людьми «Чебышевская крепость», или «Чебыши», а второй величали «Адом».

Это — наследие нечаевских времен. Здесь в конце шестидесятых годов была штаб-квартира, где жили студенты-нечаевцы и еще раньше собирались каракозовцы, члены кружка «Ад».

В каждой комнатухе студенческих квартир «Латинского квартала» жило обыкновенно четверо. Четыре убогие кровати, они же стулья, столик да полка книг.

Одевалось студенчество кто во что, и нередко на четырех квартирантов было две пары сапог и две пары платья, что устанавливало очередь: сегодня двое идут

на лекции, а двое других дома сидят; завтра они пойдут в университет.

Обедали в столовых или питались всухомятку. Вместо чая заваривали цикорий, круглая палочка которого, четверть фунта, стоила три копейки, и ее хватало на четверых дней на десять.

К началу учебного года на воротах каждого дома висели билетики — объявления о сдаче комнат внаймы. В половине августа эти билетики мало-помалу начинали исчезать.

В семидесятых годах формы у студентов еще не было, но все-таки они соблюдали моду, и студента всегда можно было узнать и по манерам, и по костюму. Большинство, из самых радикальных, были одеты по моде шестидесятых годов: обязательно длинные волосы, нахлобученная таинственно на глаза шляпа с широкими полями и иногда — верх щегольства — плед и очки, что придавало юношам ученый вид и серьезность. Так одевалось студенчество до начала восьмидесятых годов, времени реакции.

Вступив на престол, Александр III стал заводить строгие порядки. Они коснулись и университета. Новый устав 1884 года уничтожил профессорскую автономию и удвоил плату за слушание лекций, чтобы лишить бедноту высшего образования, и, кроме того, прибавился новый расход — студентам предписано было носить новую форму: мундиры, сюртуки и пальто с гербовыми пуговицами и фуражками с синими околышами.

Устав окончательно скрутил студенчество. Пошли петиции, были сходки, но все это не выходило из университетских стен. «Московские ведомости», правительственная газета, поддерживавшая реакцию, обрушились на студентов рядом статей в защиту нового устава, и первый выход студентов на улицу был вызван этой газетой.

Большая Дмитровка, начинаясь у Охотного ряда, оканчивается на той части Страстного бульвара, которая называется Нарышкинским сквером.

Третий дом на этой улице, не попавший в руки купечества, заканчивает правую сторону Большой Дмитровки, выходя и на бульвар. В конце XVIII века дом

этот выстроил ротмистр Талызин, а в 1818 году его вдова продала дом Московскому университету. Ровно сто лет, с 1818 по 1918 год, в нем помещалась университетская типография, где сто лет печатались «Московские ведомости».

Дом, занятый типографией, надо полагать, никогда не ремонтировался и даже снаружи не красился. На вид это был неизменно самый грязный дом в столице, с облупленной штукатуркой, облезлый, с никогда не мывшимися окнами, закоптелыми изнутри. Огромная типография освещалась керосиновыми коптилками, отчего потолки и стены были черны, а приходившие на ночную смену наборщики, даже если были блондины, ходили брүнетами от летевшей из коптилок сажи. Типография выходила окнами на Дмнтровку, а особняк, где были редакция и квартира редактора, — на сквер.

Постановив на сходке наказать «Московские ведомости» «кошачьим концертом», толпы студентов неожиданно для полиции выросли на Нарышкинском сквере, перед окнами газеты, и начался вой, писк, крики, ругань, и полетели в окна редактора разные пахучие предметы, вроде гнилых огурцов и тухлых яиц.

Явилась полиция, прискакал из соседних казарм жандармский дивизион, и начался разгон демонстрантов. Тут уже в окна газеты полетели и камни, зазвенели стекла...

Посредине бульвара конные жандармы носились за студентами. Работали с одной стороны нагайками, а с другой — палками и камнями. По бульвару метались лошади без всадников, а соседние улицы переполнились любопытными. Свалка шла вовсю: на помощь полиции были вызваны казаки, они окружили толпу и под усиленным конвоем повели в Бутырскую тюрьму. «Ляпинка» — описанное выше общежитие студентов Училища живописи — вся сплошь высыпала на бульвар.

Когда окруженную на бульваре толпу студентов, в числе которой была случайно попавшая публика, вели от Страстного к Бутырской тюрьме, во главе процессии обращал на себя внимание великан-купчина в лисьей шубе нараспашку и без шапки. Это был подрядчик-строитель Громов. Его знала вся Москва за богатыр-

скую фигуру. Во всякой толпе его плечи были выше голов окружающих. Он попал совершенно случайно в свалку прямо из трактира. Конный жандарм ударил его нагайкой по лицу. В ответ на это гигант сорвал жандарма с лошади и бросил его в снег. И в результате его степенство шагал в тюрьму.

На улице его приказчик, стоявший в числе любопытных на тротуаре, узнал Громова.

— Сидор Мартыныч, что с вами? — крикнул он.

— Агапыч, беги домой, скажи там, что я со скубентами в ривальюцию влопался! — изо всех сил рявкнул Громов.

— Революция... Революция... — отозвалось в толпе и покатилося по всей Москве.

Но до революции было еще далеко!

Как это выступление, так и ряд последующих протестов, выражавшихся в неорганизованных вспышках, оставались в стенах университета. Их подавляли арестами и высылками, о которых большинство москвичей и не знало, так как в газетах было строго запрещено писать об этом.

В 1887 году, когда к студенческому уставу были прибавлены циркуляры, ограничивавшие поступление в университет, когда инспекция и педеля, эти университетские сыщики, вывели из терпения студентов, опять произошли крупные уличные демонстрации, во время которых было пущено в ход огнестрельное оружие, но и это для большой публики прошло незаметно.

С каждым годом все чаще и чаще стали студенты выходить на улицу. И полиция была уже начеку. Чуть начнут собираться сходки около университета, тотчас же останавливают движение, окружают цепью городских и жандармов все переулки, ведущие на Большую Никитскую, и огораживают Моховую около Охотного ряда и Воздвиженки. Тогда открываются двери манежа, туда начинают с улицы тащить студентов, а с ними и публику, которая попадет на этих улицах.

Самым ярким в прошлом столетии было студенческое выступление, после которого более ста пятидесяти студентов было отдано в солдаты, и последующие за ним, где требовали отмены «временных правил», на

основании которых правительство и отдало студентов в солдаты.

Эта мера, в связи с волнениями студентов, вызвала протест всей интеллигенции и полное сочувствие к студенчеству в широких слоях населения. Но в печати никаких подробностей и никаких рассуждений не допускалось: говорили об этом втихомолку.

Тогда ходило по рукам много нелегальных стихотворений. Вот одно из них:

СЕЙТЕ!

«Сейте разумное, доброе, вечное»¹,
Сейте студентов по стогам земли,
Чтобы поведать все горе сердечное
Всюду бедняги могли.

Сейте, пусть чувство растет благородное,
Очи омочит слеза, —
Сквозь эти слезы пусть слово свободное
Русь откроет глаза.

Пусть все узнают, что нравами грубыми
Стали опять щеголять.
Снова наполнится край Скалозубами,
Чтоб просвещение гнать.

Пусть все узнают: застенки по-старому
И палачи введены,
Отданы гневу их дикому, ярому
Лучшие силы страны.

Вольные степи ветрами обвеяны,
Русь широка и грозна —
Вырастет новое — всюду посеяны
Светлых идей семена.

Те, что упорно и долго не верили
Правде свободных идей,
Ныне поймут — обсчитали, обмерили,
Выгнали их сыновей.

Всех разогнали, а всех ли вы выбили,
Сделавши подлость и срам?
Это свершили вы к вашей погнбели.
Память позорная вам!

¹ Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям».

И действительно, разбросанные в войска по разным городам России студенты были приняты везде радушно и везде заговорили о том, о чем прежде молчали. Это революционизировало и глухую провинцию.

Другое стихотворение, «Судак и обер-полицмейстер», описывающее усмирение студенческих беспорядков в Москве, тоже не проскочило в печать, но распространялось в литографских оттисках:

Я видел грозные моменты,
Досель кружится голова...
Шумели буйные студенты,
Гудела старая Москва,

Толпы стремились за толпами...
Свистки... Ура... Нагайки... Вой...
Кругом войска... за казаками
Трухтит жандармов синий строй,

Что улица — картины те же,
Везде народ... Везде войска...
Студенты спрятаны в манеже,
Шумят, как бурная река.

И за студентами загнали
В манеж испуганный народ,
Всех, что кричали, не кричали,
Всех, кто по улице пройдет, —
Вали в манеж!

А дело жарко,
Войскам победа не легка...
Ловн! Давн!
Идет кухарка,
Под мышкой тащит судака...

Вскипели храбрые войска!
Маневр... Другой... И победили!
Летят кто с шашкой, кто с штыком,
В манеже лихо водворили
Кухарку с мерзлым судаком...

Когда кухарку с судаком, действительно, загнали в манеж, а новая толпа студентов высыпала из университета на Моховую, вдруг видят: мчит на своей паре с отлетом, запряженной в казенные, с высокой спинкой, сани, сам обер-полицмейстер. В толпе студентов, стояв-

ших посредине улицы, ему пришлось задержаться и ехать тихо.

— Я вас прошу разойтись! — закричал, приподнявшись в санях, генерал.

В ответ — шум, а потом сзади саней взрыв хохота и крики:

— Долой самодержавие!

И опять хохот — и крики:

— Долой самодержавие!.. Долой!..

Взбешенный полицмейстер вскакивает в ворота манежа и натывается на кухарку с судаком, которая хватает его за рукав и вопит:

— Ваше благородие, выпустите! Рыбина-то протухнет...

И тычет в него оттаявшим судаком.

А у подъезда, под хохот толпы, городовые сдирают с задка полицмейстерских саней широкую полосу бумаги с яркой надписью: «Долой самодержавие!»...

Во время остановки студенты успели наклеить на сани одну из афиш, сработанных художниками в «Ляпинке» для расклейки по городу:

«Долой самодержавие!»

Этот лозунг, ставший впоследствии грозным, тогда еще был новинкой.

Московский университет. «Татьянин день», 12 января старого стиля, был студенческий праздник в Московском университете.

Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером на одном извозчике и горланили. Недаром во всех песенках рифмуется: «спьяна» и «Татьяна»! Это был беззаботно-шумный, гулящий день. И полиция, — такие она имела расчеты и указания свыше, — в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам.

Тогда любимой песней была «Дубинушка».

12 января утром — торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы. Три четверти зала наполняет студенческая беднота, промыш-

ляющая уроками: потертые тужурки, блины-фуражки с выцветшими добела, когда-то синими околышами... Но между ними сверкают шитыми воротниками роскошных мундиров дорогого сукна на белой шелковой подкладке и золочеными рукоятками шпаг по моде причесанные франтики: это дети богачей.

По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами, распевая «Gaudeamus igitur»¹, движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару, в излюбленные свои пивные. Но идет исключительно беднота; белоподкладочники, надев «николаевские» шинели с бобровыми воротниками, уехали на рысках в родительские палаты.

Зарядившись в пивных, студенчество толпами спускается по бульварам вниз на Трубную площадь, с песнями, но уже «Gaudeamus» заменен «Дубинушкой». К ним присоединилось уже несколько белоподкладочников, которые, не желая отставать от товарищей, сбросили свой щегольской наряд дома и в стареньких пальтишках вышагивают по бульварам. Перед «Московскими ведомостями» все останавливаются и орут:

И вырежем мы в заповедных лесах
На барскую спину дубину...

И с песнями вкатываются толпы в роскошный вестибюль «Эрмитажа», с зеркалами и статуями, шлепая сапогами по белокаменной лестнице, с которой предупредительно сняты, ради этого дня, обычные мягкие дорожные ковры.

Еще с семидесятых годов хозяин «Эрмитажа», француз Оливье, отдавал студентам на этот день свой ресторан для гулянки.

Традиционно в ночь на 12 января огромный зал «Эрмитажа» преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья... В буфете и кухне оставались только холодные ку-

¹ «Итак, радуйтесь, друзья...» (название старинной студенческой песни на латинском языке).

шанья, водка, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства.

В этот день даже во времена самой злейшей реакции это был единственный зал в России, где легально произносились смелые речи. «Эрмитаж» был во власти студентов и их гостей — любимых профессоров, писателей, земцев, адвокатов.

Пели, говорили, кричали, заливали пивом и водкой пол — в зале дым коромыслом! Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменялись один за другим. Еще есть и теперь в живых люди, помнящие «Татьянин день» в «Эрмитаже», когда В. А. Гольцева, после его речи, так усиленно «качали», что сюртук его оказался разорванным пополам; когда после Гольцева так же энергично чествовали А. И. Чупрова и даже разбили ему очки, подбрасывая его к потолку, и как, тотчас после Чупрова, на стол вскочил косматый студент в красной рубаше и порыжелой тужурке, покрыл шум голосов неимоверным басом, сильно ударяя на «о», по-семинарски:

— То-оварищи!.. То-оварищи!..

— Долой! Долой! — закричали студенты, увлеченные речами своих любимых профессоров.

— То-оварищи! — упорно гремел бас.

— До-о-олой! — вопил зал, и ближайшие пытались сорвать оратора со стола.

Но бас новым усилием покрыл шум:

— Да, долой!.. — грянул он, грозно подняв руки, и ближайшие смолкли.

— Долой само-державие! — загремел он еще раз и спрыгнул в толпу.

Произошло нечто небывалое... Через минуту студента качали, и зал гремел от криков.

А потом всю ночь на улицах студенты прерывали свои песни криками:

— Долой самодержавие!..

И этот лозунг стал боевым кличем во всех студенческих выступлениях. Особенно грозно прозвучал он в Московском университете в 1905 году, когда студенчество слилось с рабочими в университетских аудиториях, открывшихся тогда впервые для народных сходок.

Здесь этот лозунг сверкал и в речах, и на знаменах, и исчез только тогда, когда исчезло самодержавие.

В стенах Московского университета грозно прозвучал не только этот боевой лозунг пятого года, но и первые баррикады в центре столицы появились совершенно стихийно пятнадцатого октября этого года тоже в стенах и дворах этого старейшего высшего учебного заведения.

НАРЫШКИНСКИЙ СКВЕР

Нарышкинский сквер, этот лучший из бульваров Москвы, образовался в половине прошлого столетия. Теперь он заключен между двумя проездами Страстного бульвара, внутренним и внешним. Раньше проезд был только один, внутренний, а там, где сквер, был большой сад во владении князя Гагарина, и внутри этого сада был тот дворец, где с 1838 года помещается бывшая Екатерининская больница.

Еще в 1926 году, когда перемещивали проезд против здания больницы, из земли торчали уцелевшие столетние пни, остатки этого сада. Их снова засыпали землей и замостили.

Продолжением этого сада до Путинковского проезда была в те времена грязная Сенная площадь, на которую выходил ряд домов от Екатерининской больницы до Малой Дмитровки, а на другом ее конце, рядом со Страстным монастырем, был большой дом С. П. Нарышкиной. В шестидесятых годах Нарышкина купила Сенную площадь, рассадил на ней сад и подарила его городу, который и назвал это место Нарышкинским сквером.

Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, к которому перешел еще в пятидесятых годах от князя Мещерского.

Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову, у которого в 1849 году его купил титулярный советник А. В. Сухово-Кобылин.

Этот титулярный советник был не кто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречинского», Александр Васильевич Сухово-Кобылин, который и жил здесь до 1859 года...

В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер.

После смерти Шувалова, в конце девяностых годов, Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска: «Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды».

Так до 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки, от кондитера к кондитеру: от Завьялова к Бурдину, Феокистову и другим.

То всю ночь сверкали окна огнями и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам, то из него доносились басы протодьяконов, возглашавших «вечную память».

Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чуждые запряжки; бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, на клячах которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении... Впрочем, это было безопасно, потому что заморенные лошади еле двигались... Такой случай в восьмидесятых годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом.

Впереди всех стояла в дни свадебных балов белая, золоченая, вся в стеклах свадебная карета, в которой привозили жениха и невесту из церкви на свадебный пир: на паре крупных лошадей в белоснежной сбруе, под голубой, если невеста блондинка, и под розовой, если невеста брюнетка, шелковой сеткой. Жених во фра-

ке и белом галстукe и невеста, вся в белом, с венком флердоранжа и с вуалью на голове, были на виду прохожих.

Устраивали такие пиры кондитеры на всякую цену — с холодными и с горячими блюдами, с генералом штатским и генералом военным, с «кавалерией» и «без кавалерии». Военные с обширной «кавалерией» на груди, иногда вплоть до ленты через плечо, ценились очень дорого и являлись к богатому купечеству, конечно, не «именитому», имевшему для пиров свои дворцы и «своих» же генералов.

Лакеи ценились по важности вида. Были такие, с расчесанными седыми баками, что за министра можно принять... только фрак засаленный и всегда с чужого плеча. Лакеи приглашались по публике глядя. И вина подавались тоже «по публике».

— Чтоб вина были от Депре: коньяк № 184, портвейн № 211 и № 113... С розовым ярлыком... Знаешь? — заказывает бывалый купец, изучивший в трактирах марки модных тогда вин.

— Слушаю... Только за эту цену пополам придется.

— Ну ладно, пополам так пополам, на главный стол орла, а на задние ворону...

Дошлые были купцы, а кондитеры еще чище...

«Орел» и «ворона» — и оба Депре!

Были у водочника Петра Смирнова два приказчика — Карзин и Богатырев. Отошли от него и открыли свой винный погреб в Златоустинском переулке, стали разливать свои вина, — конечно, мерзость. Вина эти не шли. Фирма собиралась уже прогореть, но, на счастье, пришел к ним однажды оборванец и предложил некоторый проект, а когда еще показал им свой паспорт, то оба в восторг пришли: в паспорте значилось — мешанин Цезарь Депре...

Портвейн 211-й и 113-й... Коньяк 184... Коньяк «финьшампань» 195... Ярлык и розовый, и черный, и белый... Точно скопировано у Депре... Ну, кто будет

вглядываться, что Ц. Депре, а не К. Депре, кто разберет, что у К. Депре орел на ярлыке, а у Ц. Депре ворона без короны, сразу и не разглядишь...

И вот на балах и свадьбах и на поминовенных обедах, где народ был «серый», шли вина с вороной...

Долго это продолжалось, но кончилось судом. Оказалось, что Ц. Депре, компаньон фирмы под этим именем, лицо действительное и паспорт у него самый настоящий.

На свадьбу из церкви первыми приезжают гости. Они входят парами: толстые купчихи в шелках рядом с мужьями в долгополых сюртуках. На некоторых красуются медали «За усердие». Молодежь и дамы — под руку. Все выстраиваются шеренгами возле стен. Когда все установятся, показывается в ливрее, с жезлом вроде скипетра, церемониймейстер, а вслед за ним, под руку с женихом, невеста с букетом. Они становятся впереди гостей, а вслед за ними идут пары: сначала — родители жениха и становятся по правую руку от жениха, потом — родители невесты подходят к ним и становятся рядом с невестой, предварительно расцеловавшись с детьми и между собой. Лакеи вносят в тонких длинных бокалах шампанское: «Редерер» или «Клико» — для почетных и ланинское — для гостей попроще.

Поздравления и тосты. Иногда зазвенит о пол разбитый бокал, что считается счастливым предзнаменованием. Оркестр играет туш. После поздравления все усаживаются вокруг стола. Начинается чаепитие. Потом часть гостей идет в соседние комнаты играть в карты. Тогда играли в стуколку по крупной и по мелкой. Другие окружают буфет. Затем начинаются танцы и свадебное веселье. Когда дотанцуются до усталости, идут к свадебному обеду, который сразу делается шумным, потому что буфет уже сделал свое дело. Свадебный генерал говорит поздравительную речь, потом идут тосты и речи, кто во что горазд. Молодежь — барышни и кавалеры — перекидываются через стол шариками хлеба, а потом и все принимают участие в этой игре, и летят через столы головы селедок, корки

хлеба, а иногда сверкнет и красный рак, украшавший разварного осетра...

После отъезда «молодых» гости еще допивают остатки, а картежники, пришедшие в азарт, иногда играют до следующего дня.

На окраинах существовал особый промысел. В дождливую погоду, особенно осенью, немощеный переулочек представлял собой вязкое болото, покрытое лужами, и надо меж них уметь лавировать, зная фарватер улицы. Мальчишки всегда дежурили на улице. Это лоцманы. Когда едет богатый экипаж — тут ему и беда.

Был случай, когда свадебная карета — этот стеклянный фонарь, где сидели разодетые в пух и прах невеста с женихом, — проезжала в одном из переулков в Хапиловке.

Эта местность особенно славилась своими пиратами. «Молодые» ехали с визитом к жившему в этом переулке богатому и скупому родственнику и поразили местное население невиданным экипажем на дорогой паре лошадей под голубой шелковой сеткой. Глаза у пиратов сразу разгорелись на добычу.

— Коим тут местом проехать, ребята?

— А вот сюды, полевей. Еще полевей!

Навели на скрытую водой глубокую рытвину: лошади сразу по брюхо, а карета набок. Народ сбежался — началась торговля, и «молодые» заплатили полсотни рублей за выгрузку кареты и по десять рублей за то, что перенесли «молодых» на руках в дом дяди.

Теперь там асфальтовые мостовые, а о свадебных каретах, вероятно, и памяти уж не осталось.

На поминовенных обедах в холодную зиму кондитер не топил помещение.

— Народом нагреется, ко второму блюду всем жарко будет! — утешал он гостей.

— Да ведь ноги замерзли!

— А вы калошек не снимайте... Эй, свицар, принеси их степенству калошки...

Так предложил и мне толстый кондитер Феокистов, когда я раздевался в промерзлой передней.

Еще за кутьей, этим поминальным кушаньем, состоявшим из холодного риса с изюмом, и за блинами со свежей икрой, которую лакеи накладывали полными ложками на тарелки, слышался непрерывный топот, вместе с постукиванием ножей. Если закрыть глаза, представлялось, что сидишь в конюшне с деревянным полом. Это гости согревали ноги.

Единственный наследник, которому поминаемый оставил большое наследство, сидел на почетном месте, против духовенства, и усердно подливал «святым отцам» и водку и вино, и сам тоже притопывал, согревая ноги.

— Во благовремени и при такой низкой температуре вино на пользу организму послужить должно, — гулко басил огромный протодьякон перед каждым лизитным стаканом водки, который он плескал в свой огромный рот.

— А вот покойничек рябиновочку обожал... Поминаем душу усопшего рябиновочкой... Отец Никодим, пожалуйста по единой, — подтягивал церковный староста, друг покойного.

— Нет, уж я лучше кагорцу. Я не любитель рябиновки. Кагорец, оно лучше... крепит, а та послабляет... Я — кагорцу.

— А я вот рябиновочки...

Когда уже пар стоял над обедающими и топот прекратился, обносили миндальным киселем с миндальным молоком.

Чоканье стаканов прорезало глухой шум трехсот голосов, иногда покрываемых раскатистым хохотом.

И вдруг какой-то звериный рык. Это протодьякон встал, крикнул и откашлялся... Задвигались стулья, воцарилось молчание, а протодьякон рявкнул:

— Вечная память... ве-ечная па-амять!..

И огромные стекла гудели в окнах, и звенели стеклянные висюльки на старинной княжеской люстре.

Поминальный обед кончился.

ИСТОРИЯ ДВУХ ДОМОВ

При Купеческом клубе был тенистый сад, где члены клуба летом обедали, ужинали и на широкой террасе встречали солнечный восход, играя в карты или чокаясь шампанским. Сад выходил в Козицкий переулок, который прежде назывался Успенским, но с тех пор, как статс-секретарь Екатерины II Козицкий выстроил на Тверской дворец для своей красавицы жены, сибирячки-золотопромышленницы Е. И. Козицкой, переулок стал носить ее имя и до сих пор так называется.

Дом этот в те времена был одним из самых больших и лучших в Москве, фасадом он выходил на Тверскую, выстроен был в классическом стиле, с гербом на фронтоне и двумя стильными балконами.

После смерти Е. И. Козицкой дом перешел к ее дочери, княгине А. Г. Белосельской-Белозерской. В этом-то самом доме находился исторический московский салон дочери Белосельского-Белозерского — Зинаиды Волконской. Здесь в двадцатых годах прошлого столетия собирались тогдашние представители искусства и литературы. Пушкин во время своих приездов в Москву бывал у Зинаиды Волконской, которой посвятил известное стихотворение:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы

Ты любишь игры Аполлона.
Царнца муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется, и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталаин
Цыганке внемлет кочевой.

Один из гостей Волконской, поэт А. Н. Муравьев, случайно повредил стоявшую в салоне статую Аполлона. Сконфузившись и желая выйти из неловкого положения, Муравьев на piedestале статуи написал какое-то четверостишие, вызвавшее следующий экспромт Пушкина:

Лук звенит, стрела трепещет.
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.

В салоне Зинаиды Волконской веял дух декабристов. По ступеням беломраморной лестницы Москва провожала до зимнего возка княгиню Марию Волконскую, жену сосланного на каторгу декабриста, когда она ехала туда, где

Работа кипела под звуки оков,
Под песни — работа над бездной!
Стучались в упругую грудь рудников
И заступ и молот железный.

Родные, близкие, друзья собрались проводить остановившуюся здесь на сутки проездом в Сибирь Марию Волконскую.

В поэме Некрасова «Русские женщины» Мария Волконская уже далеко, в снежной тундре, так вспоминает этот незабвенный вечер:

Певцов-итальянцев тут слышала я,
Что были тогда знамениты,
Отца моего сослуживцы, друзья
Тут были, печалью убиты.
Тут были родные ушедших туда,
Куда я сама торопилась.
Писателей группа, любимых тогда,
Со мной дружелюбно простилась:
Тут были Одоевский, Вяземский; был
Поэт вдохновленный и милый,
Поклонник кузины, что рано почил,
Безвременно взятый могилой¹,
И Пушкин тут был...

Зинаида Волконская навсегда поселилась в Италии, где салон «Северной Коринны», как ее там прозвали, привлекал лучшее общество Рима. Но в конце концов ее обобрало католическое духовенство, и она умерла в бедности. Московский салон прекратился с ее отъездом в 1829 году, а дом во владении Белосельских-Белозерских, служивших при царском дворе, находился до конца семидесятых годов, когда его у князей купил подрядчик Малкиель. До этого известно только, что в конце шестидесятых годов дом был занят пансионом Репмана, где учились дети богатых людей, а весь период от отъезда Волконской до Репмана остается неизвестным. Из этого периода дошла до нас только одна легенда, сохранившаяся у стариков-соседей да у отставных полицейских Тверской части, которые еще были живы в восьмидесятых годах и рассказывали подробности.

В середине прошлого века поселилась во дворце Белосельских-Белозерских старая княгиня, родственница владельца, и заняла со своими многочисленными слугами и приживалками половину здания, заперев парадные покои. Дворец погрузился в тихий мрак. Только раз в неделю, в воскресенье, слуги сводили старуху по беломраморной лестнице и усаживали в запряженную шестеркой старых рысаков карету, которой правил старик кучер, а на запятках стояли два ветхих лакея в шитых ливреях, и на левой лошади

¹ Вениевитинов.

передней пары мотался верхом фореитор, из конюшенных «мальчиков», тоже лет шестидесяти.

После возвращения от обедни опять на целую неделю запирались на замок ворота, что не мешало, впрочем, дворне лазить через забор и пропадать целые ночи, за что им жестоко доставалось от немца-управляющего. Он порол их немилосердно. Тогда, по московскому обычаю, порку производила по субботам полиция. Управляющий отбирал виновных, отправлял их в часть с поименной запиской и с пометкой, сколько кому ударов дать; причем письмо на имя квартального всегда заканчивалось припиской: «при сем прилагается три рубля на розги». Но порка не помогала, путешествия через забор не прекращались,—уж очень соблазнительно было.

По другую сторону Тверской стоял за решеткой пустовавший огромный дом, выстроенный еще при Екатерине II вельможей Прозоровским и в сороковых годах очутившийся в руках богатого помещика Гурьева, который его окончательно забросил. Дом стоял с выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впоследствии, в восьмидесятых годах, в этом доме был «Пушкинский театр» Бренко.

А тогда в нем жили... черти.

Такие слухи упорно носились по Москве. Прохожие по ночам слышали раздававшиеся в доме вой, грохот ржавого железа, а иногда на улицу вылетали из дома кирпичи, а сквозь разбитые окна многие видели белое привидение.

Черти проказили, старая княгиня ездила к обедне, а заведовавший в части поркой квартальный, из арачьевских солдат, получал свои трешницы, и никто не обращал внимания на дом, где водятся черти.

Но вот и в доме Белосельских появилась нечистая сила! Слух о привидении пошел со двора; из людской перекинулся к барыниным приживалкам. Этому слуху предшествовал переполох в доме Гурьева. Нижний этаж там снял содержатель зверинца, известный укротитель Крейцберг, увековеченный стихами П. Вейнберга, а верхний продолжал стоять с разбитыми рамами и прогнившей крышей.

Стали привозить зверей, расставлять клетки. Вот тут и начался переполох среди приживалок старой барыни: «Нечистую силу спугнули звери, она сюда и переселилась!» Наконец увидали и белое привидение, ходившее по лестнице. Доложили барыне, и на другой день «по старой Калужской дороге», вслед за каретой шестеркой и тройкой немца-управляющего, потянулись телеги с имуществом и семьями крепостных. Мужчины шли пешком, босые и полураздетые, и больше половины их разбежалось дорогой. Дворец Белосельских опустел окончательно.

Между тем Крейцберг поселился в доме Гурьева, в комнате при зверинце, вместе с ручной пантерой. В первую же ночь пантера забеспокоилась. Проснулся укротитель и услышал страшный вой зверей, обычно мирно спавших по ночам.

Укротитель зажег свечку, взял заряженный пистолет и вышел в зверинец.

Перед ним двигалось привидение в белом и исчезло в вестибюле, где стало подниматься по лестнице во второй этаж. Крейцберг пустил вслед ему пулю, выстрел погасил свечку, — пришлось вернуться. На другой день наверху, в ободранных залах, он обнаружил кучи соломы и рогож — место ночлега десятков людей.

Полиция сделала засаду. Во дворе были задержаны два оборванца, и в одном из них квартальный узнал своего «крестника», которого он не раз порол по заказу княгинино управляющего.

В следующую ночь дом Белосельских был тоже окружен мушкетерами и пожарными, и в надворных строениях была задержана разбойничья шайка, переселившаяся из дома Гурьева. Была найдена и простыня, в которой фореитор изображал «белую даму». В числе арестованных оказалось с десятка поротых клиентов квартального.

Они сознались, что белое привидение было ими выдумано, чтобы выселить барыню, а главное — зверя-управляющего, и чтобы всей шайкой поселиться в пустом дворце Белосельских, так как при зверинце в старом убежище оставаться было уже нельзя. «При-

зраки» были жестоко выпороты в Тверской части. Особенно фореитор, изображавший «белую даму».

Такова легенда, ходившая об этих домах. Вслед за зверинцем, еще в не отделанных залах дома Гурьева, в бельэтаже, открылся танцкласс. И сейчас еще живы москвичи, отплясывавшие там в ободранных залах в то время, когда над танцующими носились голуби и воробьи, а в капителях колонн из птичьих гнезд торчали солома и тряпки.

Долго еще боялись этих домов москвичи и, чуть стемнеет, перебегали на всякий случай на противоположный тротуар, сначала на одну сторону, а потом на другую. Подальше от нечистой силы.

Прошло много лет. В 1878 году, после русско-турецкой войны, появился в Москве миллионер Малкиель — поставщик обуви на войска. Он купил и перестроил оба эти дома: гурьевский — на свое имя, и отделал его под «Пушкинский театр» Бренко, а другой — на имя жены.

Во флигеле дома, где был театр Бренко, помещалась редакция журнала «Будильник». Прогорел театр Бренко, прогорел Малкиель, дома его перешли к кредиторам. «Будильник» продолжал там существовать, и помещение редакции с портретами главных сотрудников, в числе которых был еще совсем юный Антон Чехов, изображено Константином Чичаговым и напечатано в красках во всю страницу журнала в 1886 году.

После перестройки Малкиеля дом Белосельских прошел через много купеческих рук. Еще Малкиель совершенно изменил фасад, и дом потерял вид старинного дворца. Со времени Малкиеля весь нижний этаж с зеркальными окнами занимал огромный магазин портного Корпуса, а бельэтаж — богатые квартиры. Внутренность роскошных зал была сохранена. Осталась и беломраморная лестница и выходивший на парадный двор подъезд, еще помнивший возок Марии Волконской.

Домом по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы, и в конце девяностых годов его приобрел петербургский миллионер Елисеев, колониальщик и виноторговец, и приступил к перестройке. Архитектор,

привезенный Елисеевым, зашил весь дом тесом, что было для Москвы новинкой, и получился гигантский деревянный ящик, настолько плотный, что и щелочки не осталось.

Идет год, второй, но плотные леса все еще окружают стройку. Москвичи-старожилы, помнившие, что здесь когда-то жили черти и водились привидения, осторожно переходили на другую сторону, тем более, что о таинственной стройке шла легенда за легендой.

Нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю огромных степных овчарок во дворе, все-таки ухитрились проникнуть внутрь, чтобы потом рассказывать чудеса.

— Индийская пагода воздвигается.

— Мавританский замок.

— Языческий храм Бахуса.

Последнее оказалось ближе всего к истине.

Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и за сверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стекла.

Храм Бахуса.

Впрочем, это название не было официальным; в день снятия лесов назначено было торжественное, с молебствием освящение «Магазина Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

С утра толпы народа запрудили улицу, любуясь на шегольской фасад «нового стиля» с фронтоном, на котором вместо княжеского герба белелось что-то из мифологии, какие-то классические фигуры.

На тротуаре была толчея людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров.

Горами поднимаются заморские фрукты; как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый; необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы; перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства — жители неведомых океанских глубин, а над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок, сверкают и переливаются в глубоких зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте.

Так был описан в одной из ненапечатанной «Поэме о Москве» этот храм обжорства:

А на Тверской в дворце роскошном Елисеев
Привлек толпы несметные народа
Блестящей выставкой колбас, печений, лакомств...
Ряды окороков, копченых и вареных,
Индеек, фаршированные гуси,
Колбасы с чесноком, с фисташками и перцем,
Сыры всех возрастов — и чеддер, и швейцарский,
И жидкий бри, и пармезан гранитный...
Приказчик Алексей Ильич старается у фруктов,
Уложенных душистой пирамидой,
Наполнивших корзины в пестрых лентах...
Здесь все — от кальвиля французского с гербами
До ананасов и невиданных японских вишен.

Двери магазина были еще заперты, хотя внутри стали заранее собираться приглашенные, проходя со двора.

Привезенные для молебна иконы стояли посреди магазина, среди экзотических растений.

Наконец, к полудню зашевелилась полиция, отесняя народ на противоположную сторону улицы. Прискакал взвод жандармов и своими конями разделил улицу для проезда важных гостей.

Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери магазина отворились, и у входа появился громадный швейцар. Начали съезжаться гости, сверкая орденами и лентами, военное начальство, штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, духовенство в дорогих лиловых рясах. Все явились сюда с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Некоторые, впрочем, заезжали домой и успели переодеться. Елисеев ловко воспользовался торжественным днем.

В зале встречал гостей стройный блондин — Григорий Григорьевич Елисеев в безукоризненном фраке, с «Владимиром» на шее и французским орденом «Почетного легиона» в петлице. Он получил этот важный орден за какое-то очень крупное пожертвование на благотворительность, а «Почетный легион» — за выставку в Париже выдержанных им французских вин.

Архиерея Парфения встретил синодальный хор в

своих красных, с откидными рукавами камзолах, выстроившийся около икон и церковнослужителей с ризами для духовенства.

Нечто фантастическое представляла собой внутренность двусветного магазина. Для него Елисейев слил нижний этаж с бельэтажем, совершенно уничтожив зал и гостиные бывшего салона Волконской, и сломал историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место елисейевским винам. Золото и лепные украшения стен и потолка производили впечатление чего-то странного. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи, а рядом с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый маятник которых казался неподвижным, часы шли бесшумно.

Зал гудел, как муравейник. Готовились к молебну. Духовенство надевало златотканые ризы. Тишина. Тихо входят мундирные и фрачные гости. За ними — долгополые сюртуки именитых таганских купцов, опоздавших к началу.

В половине молебна в дверях появилась громадная, могучая фигура, с первого взгляда напоминающая Тургенева, только еще выше и с огромной седеющей львиной гривой — прямо-таки былинный богатырь.

Станным показался серый пиджак среди мундиров, но большинство знатных гостей обернулось к нему и приветливо кланялось.

А тот по своей близорукости, которой не помогало даже пенсне, ничего и никого не видел. Около него суетились Елисейев и благообразный, в черном сюртуке, управляющий новым магазином.

Это был самый дорогой гость, первый знаток вин, создавший огромное виноделие Удельного ведомства и свои образцовые виноградники «Новый Свет» в Крыму и на Кавказе, — Лев Голицын.

Во второй половине зала был сервирован завтрак.

Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, повторяя в своих гранях мириады электрических отблесков, как застывшие капли водопада, переливались всеми цветами радуги. А посредине между хрустальными графинами, наполненными винами разных цветов,

вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм — от простых светлых золотистого шато-икема с выпуклыми стеклянными клеймами до шампанок с бургонским, кубышек мадеры и неуклюжих, примитивных бутылок венгерского. На бутылках старого токая перламутр времени сливался с туманным фоном стекла, цвета болотной тины.

На столах все было выставлено сразу, вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные, желе и галантины вздрагивали, огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, как в облаках, и багрянили при ярком освещении, а доминировали надо всем своей громадой окорока.

Окорока вареные, с откинутой плащом кожей, румянели розоватым салом. Окорока вестфальские провесные, тоже с откинутым плащом, спорили нежной белизной со скатертью. Они с математической точностью нарезаны были тонкими, как лист, пластинами во весь поперечник окорока, и опять пласты были сложены на свои места так, что окорок казался целым.

Жирные остендские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, покрывавшего блюда, казалось дышали.

Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья. Ароматная паюсная, мартовская, с Сальянских промыслов, пухла на серебряных блюдах; далее сухая мешочная — тонким ножом пополам каждая икринка режется — высилась, сохраняя форму мешков, а лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачувевская — кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах...

Ряды столов представляли собой геометрическую фигуру.

Кончился молебен. Начался завтрак. Архиерей в черной рясе и клобуке занял самое почетное место, лицом к часам и завешенной ложе.

Все остальные гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей, на эстраде, расположился оркестр музыки.

Из духовенства завтракать остались только архиереи, местный старик-священник и протодьякон — бас необычайный. Ему предстояло закончить завтрак провозглашением многолетия. Остальное духовенство, получив «сухими» и корзины лакомств для семей, разъехалось, довольное подарками.

Архиерея угощали самыми дорогими винами, но он только их «пригубливал», давая, впрочем, отзывы, сделавшие бы честь и самому лучшему гурману.

Усердно угощавшему Елисееву архиерей отвечал:

— И не просите, не буду. Когда-нибудь, там, после... А теперь, сами видите, владыке не подобает.

Зато протодьякон старался вовсю, вливая в необъятную утробу стакан за стаканом из стоявших перед ним бутылок. Только покрывал и хвалил.

Становилось шумнее. Запивая редкостные яства дорогими винами, гости пораспустились. После тостов, сопровождавшихся тушами оркестра, вдруг какой-то подгулявший гость встал и потребовал слова. Елисеев взглянул, сделал нервное движение, нагнулся к архиерею и шепнул что-то на ухо. Архиерей мигнул сидевшему на конце стола протодьякону, не спускавшему глаз со своего владыки.

Не замолк еще стук ножа о тарелку, которым оратор требовал внимания, как по зале раздалось рыканье льва: это откашлялся протодьякон, пробуя голос.

Как гора поднялся он, и загудела по зале его октава, от которой закачались хрустальные висюльки на канделябрах.

— Многолетие дому сему! Здравие и благоденствие!

А когда дошел до «многая лета», даже страшно стало.

Официальная часть торжества кончилась.

Архиерей встал, поклонился и жестом попросил всех остаться на своих местах. Хозяин проводил его к выходу.

Громовые октавы еще переливались бархатным гулом под потолком, как вдруг занавес ложи открылся и из нее, до солнечного блеска освещенной внутри, грянула разудалая песня:

Гайда, тройка, снег пушистый,
Ночь морозная кругом...

Публика сразу пришла в себя, увидав в ложе хор яровских певиц в белых платьях.

Бешено заплодировали Анне Захаровне, а она, коротенькая и толстая, в лиловом платье, сверкая бриллиантами, кланялась из своей ложи и разводила руками, посылая воздушные поцелуи.

На другой день и далее, многие годы, до самой революции, магазин был полон покупателей, а тротуары — безденежных, а то и совсем голодных любопытных, заглядывавших в окна.

— И едят же люди. Ну, ну!

В этот магазин не приходили: в него приезжали.

С обеих сторон дома на обеих сторонах улицы и глубоко по Гнездиновскому переулку стояли собственные запряжки: пары, одиночки, кареты, коляски, одна другой лучше. Каретники старались превзойти один другого. Здоровенный, с лицом в полнолуние, швейцар в ливрее со светлыми пуговицами, но без гербов, в сопровождении своих помощников выносил корзины и пакеты за дамами в шиншиллях и соболях с кавалерами в бобрах или в шикарных военных «николаевских» шинелях с капюшонами.

Он громовым голосом вызывал кучеров, ставил в экипаж покупки, правой рукой на отлет снимал картуз с позументом, а в левой зажимал полученный «на чай».

Все эти важные покупатели знали продавцов магазина и особенно почтенных звали по имени и отчеству.

— Иван Федорыч, чем полакомите?

Иван Федорович знал вкусы своих покупателей по своему колбасному или рыбному отделению.

Знал, что кому предложить: кому нежной, как сливочное масло, лососины, кому свежего лангуста или омара, чудищем красневшего на окне, кому икру, памятуя, что один любит белужью, другой стерляжью, третий кучугур, а тот сальян. И всех помнил Иван Федорович и разговаривал с каждым таким покупателем, как равный с равным, соображаясь со вкусом каждого.

— Вот, Николай Семеныч, получена из Сибири копче-

ная нельмушка и маринованные налимьи печенки. Очень хороши. Сам я пробовал. Вчера граф Рибопьер с Карлом Александрычем приезжали. Сегодня за второй порцией прислали... Так прикажете завернуть?

Распорядился и быстро пошел навстречу высокой даме, которой все кланялись.

— Что прикажете, Ольга Осиповна?

— А вот что, ты уж мне, Иван Федорыч, фунтик маслица, там какое-то финляндское есть...

— Есть, есть, Ольга Осиповна.

— Да кругленькую коробочку селедочек маринованных. Вчера муж брал.

— Знаю-с, вчера Михаил Провыч брали...

О. О. Садовская, почти ежедневно заходящая в магазин, пользовалась особым почетом, как любимая артистка.

Вообще же более скромная публика стеснялась заходить в раззолоченный магазин Елисеева.

Дамы обыкновенно толпились у выставки фруктов, где седой, высокий, важный приказчик Алексей Ильич у одного прилавка, а у другого его помощник, молодой и красивый Александр Иванович, знали своих покупателей и умели так отпустить им товар, что ни одного яблока не попадет с пятнышком, ни одной обмякшей ягодки винограда.

Всем магазином командовал управляющий Сергей Кириллович, сам же Елисеев приезжал в Москву только на один день: он был занят устройством такого же храма Бахуса в Петербурге, на Невском, где был его главный, еще отцовский магазин.

В один из таких приездов ему доложили, что уже три дня ходит какой-то чиновник с кокардой и портфелем, желающий говорить лично «только с самим» по важному делу, и сейчас он пришел и просит доложить.

Принимает Елисеев скромно одетого человека в своем роскошном кабинете, сидя в кресле у письменного стола, и даже не предлагает ему сесть.

— Что вам угодно?

— Мне угодно запечатать ваш магазин. Я мог бы это сделать и вчера, и третьего дня, но без вас не хо-

тел. Я — вновь назначенный акцизный чиновник этого участка.

Елисеев встает, подает ему руку и, указывая на средний стул, говорит:

— Садитесь, пожалуйста.

— Да позвольте уже здесь, к письменному столу... Мне удобнее писать протокол.

И сел.

— Какой протокол?

— О незаконной торговле вином, чего ни в каком случае я допустить не могу, чтобы не быть в ответе.

Елисеев сразу догадался, в чем дело, но возразил:

— Магазин с торговлей винами мне разрешен властями. Это вы, кажется, должны знать.

— Власти разрешили вам, но упустили из виду, что вход в заведение, торгующее вином, от входа в церковь не разрешается ближе сорока двух сажен. А где у вас эти сорок две сажени?

Какой был в дальнейшем разговор у Елисеева с акцизным, неизвестно, но факт тот, что всю ночь кипела работа: вывеска о продаже вина перенесена была в другой конец дома, выходящий в Козицкий переулок, и винный погреб получил отдельный ход и был отгорожен от магазина.

Вина, заказанные в магазине, приходилось брать через ход с Козицкого переулка, но, конечно, не для всех.

Вина составляли главный доход Елисеева. В его погребах хранились самые дорогие вина, привезенные отцом владельца на трех собственных парусных кораблях, крейсировавших еще в первой половине прошлого века между Финским заливом и гаванями Франции, Испании, Португалии и острова Мадейры, где у Елисеева были собственные винные склады.

В мифологии был Бахус и была слепая Фемида, богиня правосудия с весами в руках, на которых невидимо для себя и видимо для всех взвешивала деяния людские и преступления. Глаза у нее были завязаны, чтобы никакого подозрения в лицепритии быть не могло.

Прошли тысячелетия со времени исчезновения олимпийских богов, но поклонники Бахуса не переводились, и на их счет воздвигали храмы жрецы его.

Строились храмы и Фемиде, долженствовавшей взвешивать грехи поклонников Бахуса. Она изображалась в храмах всего мира с повязкой на глазах. Так было в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Калькутте, Тамбове и Можайске.

А в московском Кремле, в нише вестибюля она смотрела во все глаза! И когда она сняла повязку — неизвестно. А может, ее и совсем не было?

С самого начала судебной реформы в кремлевском храме правосудия, здании судебных установлений, со дня введения судебной реформы в 1864—1866 годы стояла она. Статуя такая, как и подобает ей быть во всем мире: весы, меч, карающий и толстые томы законов. Одного только не оказалось у богини, самого главного атрибута — повязки на глазах.

Почти полвека стояла зрячая Фемида, а может быть, и до сего времени уцелела как памятник старины в том же виде. Никто не обращал внимания на нее, а когда один газетный репортер написал об этом заметку в либеральную газету «Русские ведомости», то она напечатана не была.

— Да нельзя же, на всю Европу срам пойдет!

Когда Елисей сдал третий этаж этого дома под одной крышей с магазином коммерческому суду, то там были водружены, как и во всех судах, символы закона: зеркало с указом Петра I и золоченый столб с короной наверху, о котором давным-давно ходили две строчки:

В России нет закона,
Есть столб, и на столбе корона.

Водрузили здесь и Фемиду с повязкой на глазах.

Но здесь ей надели повязку для того, должно быть, чтобы она не видела роскоши соседнего храма Бахуса, поклонники которого оттуда время от времени поднимались волей рока в храм Фемиды.



Сухаревская площадь в начале XX века.



Театральная площадь в конце XIX века.

Не повезло здесь богине правосудия: тысячепудовый штукатурный потолок с богатой лепкой рухнул в главном зале храма Феиды, сшиб ей повязку вместе с головой, сокрушил и символ закона — зеркало.

Счастье, что Феида была коммерческая, не признававшая кровавых жертв, и потому обошлось без них: потолок рухнул ночью, в пустом помещении.

Храм Бахуса существовал до Октябрьской революции. И теперь это тот же украшенный лепными работами двусветный зал, только у подъезда не вызывает швейцар кучеров, а магазин всегда полон народа, покупающего необходимые для питания продукты.

И все так же по вечерам яркие люстры сверкают сквозь зеркальные стекла.

БАНИ

Единственное место, которого ни один москвич не миновал, — это бани. И мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань.

В восьмидесятих годах прошлого века всемогущий «хозяин столицы» — военный генерал-губернатор В. А. Долгоруков ездил в Сандуновские бани, где в шикарном номере семейного отделения ему подавались серебряные тазы и шайки. А ведь в его дворце имелись мраморные ванны, которые в то время были еще редкостью в Москве. Да и не сразу привыкли к ним москвичи, любившие по наследственности и веничком попариться, и отдохнуть в раздевальной, и в своей компании «язык почесать».

Каждое сословие имело свои излюбленные бани. Богатые и вообще люди со средствами шли в «дворянское» отделение. Рабочие и беднота — в «простонародные» за пятак.

Вода, жар и пар одинаковые, только обстановка иная. Бани как бани! Мочалка — тринадцать, мыло по одной копейке. Многие из них и теперь стоят, как были, и в тех же домах, как и в конце прошлого века, только публика в них другая, да старых хозяев, содержателей бань, нет, и память о них скоро совсем пропадет, потому что рассказывать о них некому.

В литературе о банном быте Москвы ничего нет.

Тогда все это было у всех на глазах, и никого не интересовало писать о том, что все знают: ну кто будет читать о банях? Только в словаре Даля осталась поговорка, очень характерная для многих бань: «Торговые бани других чисто моют, а сами в грязи тонут!»

И по себе сужу: проработал я полвека московским хроникером и бытописателем, а мне и на ум не приходило хоть словом обмолвиться о банях, хотя я знал немало о них, знал бытовые особенности отдельных бань; встречался там с интереснейшими москвичами всех слоев, которых не раз описывал при другой обстановке. А ведь в Москве было шестьдесят самых разнохарактерных, каждая по-своему, бань, и, кроме того, все они имели постоянное население, свое собственное, создававшее себя настоящими москвичами.

Даже в моей первой книге о «Москве и москвичах» я ни разу и нигде словом не обмолвился и никогда бы не вспомнил ни их, ни ту обстановку, в которой жили банщики, если бы один добрый человек меня носом не ткнул, как говорится, и не напомнил мне одно слово, слышанное мною где-то в глухой деревушке не то бывшего Зарайского, не то бывшего Коломенского уезда; помню одно лишь, что деревня была вблизи Оки, куда я часто в восьмидесятых годах ездил на охоту.

Там, среди стариков, местных жителей, я не раз слышал это слово, а слово это было:

— Мы москвичи!

И с какой гордостью говорили они это, сидя на завалинках у своих избенок.

— Мы москвичи!

И приходит ко мне совершенно незнакомый, могучего сложения, с седыми усами старик:

— Вас я десятки лет знаю, и последние книги ваши перечитал... Уж извините, что позволю себе вас побеспокоить.

Смотрит на меня и улыбается:

— За вами должок есть!

Я положительно удивился.

— Новых долгов у меня нет, а за старые, с ростовщиками, за меня революция рассчиталась, спасибо ей!

Так ему и сказал.

— Да вот в том-то и дело, что есть, и долг обязательный...

— Кому же это я должен?

— Вы всей Москве должны!.. В ваших книгах обо всей Москве написали и ни слова не сказали о банях. А ведь Москва без бань — не Москва! А вы Москву знаете, и грех вам не написать о нас, старых москвичах. Вот мы и просим вас не забыть бань.

Мы делились наперебой воспоминаниями, оба увлеченные одной темой разговора, знавшие ее каждый со своей стороны. Говорили беспорядочно, одно слово вызывало другое, одна подробность — другую, одного человека знал один с одной стороны, другой — с другой. Слово за слово, подробность за подробностью, рисовали яркие картины и типы.

Оба мы увлеклись одной целью — осветить знакомый нам быт со всех сторон.

— Вот я еще в силах работать, а как отдам все силы Москве — так уеду к себе на родину. Там мы ведь почти все москвичи. Вот почему нам и обидно, что вы нас забыли. Ваша аудитория гораздо шире, чем вы думали, озаглавливая книгу. Они не только те, которые родились в Москве, а и те, которых дают Москве области. Так, Ярославская давала половых, Владимирская — плотников, Калужская — булочников. Банщиков давали три губернии, но в каждой по одному-двум уездам, и не подряд, а гнездами. На Москву немного гнезд давал Коломенский уезд: коломенцы больше работают в Петербурге. Испокон века Москву насыщали банщиками уезды: Зарайский — Рязанский, Тульский — Каширский и Веневский. Так из поколения в поколение шли в Москву мужчины и женщины. Вот и я привезен был десятилетним мальчиком, как привозили и дедов, и отцов, и детей наших!..

Когда еще не было железных дорог, ребяташек привозили в Москву с попутчиками, на лошадях. Какой-нибудь родственник, живущий в Москве, также с попутчиком приезжал на побывку в деревню, одетый в чуйку, картуз с лаковым козырьком, сапоги с калошами, и на жилете — часы с шейной цепочкой.

Все его деревенские родные и знакомые восхища-

лись, завидовали, слушая его рассказы о хорошей службе, о житье в Москве. Отец, имеющий сына десяти — двенадцати лет, упрашивал довести его до Москвы к родственникам, в бани.

Снаряжают мальчонку чуть грамотного, дают ему две пары лаптей, казинетовую поддевку, две перемены домотканого белья и выхлопатывают паспорт, в котором приходилось прибавлять года, что стоило денег.

В Москве мальчика доставляли к родственникам и землякам, служившим в какой-нибудь бане. Здесь его сперва стригут, моют, придают ему городской вид.

Учение начинается с «географии». Первым делом показывают, где кабак и как в него проникать через задний ход, потом — где трактир, куда бегать за кипятком, где булочная. И вот будущий москвич вступает в свои права и обязанности.

Работа мальчиков, кроме разгона и посылок, сливалась с работой взрослых, но у них была и своя специальная. В два «небанных» дня недели — понедельник и вторник — мальчики мыли бутылки и помогали разливать квас, которым торговали в банях, а в «банные» дни готовили веники, которых выходило, особенно по субботам и накануне больших праздников, в некоторых банях по три тысячи штук. Веники эти привозили возами из глухих деревень, особенно много из-под Гжели, связанные лыком попарно. Работа мальчиков состояла в том, чтобы развязывать веники.

В банях мальчики работали при раздевальнях, помогали и цирюльникам, а также обучались стричь ногти и срезать мозоли. На их обязанности было также готовить мочалки, для чего покупали кули из-под соли, на которые шло хорошее мочало. Для любителей бралось самое лучшее мочало — «бараночное», нежное и мягкое, — его привозили специально в московские булочные и на него низали баранки и сушки; оно было втрое дороже кулевого. В два «небанных» дня работы было еще больше по разному домашнему хозяйству, и вдобавок хозяин посылал на уборку двора своего дома, вывозку мусора, чистку снега с крыши. А больше всего мальчуганам доставалось и работы и колотушек от «кусочников».

Это были полухозяева, в руках которых находились и банщики, и банщицы, и весь банный рабочий люд, а особенно эксплуатировались ими рабочие-парильщики, труд которых и условия жизни не сравнимы были ни с чем.

С пяти часов утра до двенадцати ночи голый и босой человек, только в одном коротеньком фартучке от пупа до колена, работает непрерывно всеми мускулами своего тела, при переменной температуре от четырнадцати до шестидесяти градусов по Реомюру, да еще притом все время мокрым.

За это время он успевал просыхать только на полчаса в полдень, когда накидывал на себя для обеда верхнее платье и надевал опорки на ноги. Это парильщик.

Он не получал ни хозяйских харчей и никакого жалованья. Парильщики жили подачками от мывшихся за свой каторжный труд в пару, жаре и мокроте. Таксы за мытье и паренье не полагалось.

— Сколько ваша милость будет! — было их обычным ответом на вопрос вымытого посетителя.

Давали по-разному. Парильщики знали свою публику, кто сколько дает, и по-разному старались мыть и тереть.

В Сандуновские бани приходил мыться владелец пассажа миллионер Солодовников, который никогда не спрашивал — сколько, а молча совал двугривенный, из которого банщику доставался только гривенник.

Парильщики не только не получали жалованья, а половину своих «чайных» денег должны были отдавать хозяину или его заместителю — «кусочнику», «хозяйчику».

Кроме того, на обязанности парильщика лежала еще топка и уборка горячей бани и мыльной.

«Кусочник» следит, когда парильщик получает «чайные», он знает свою публику и знает, кто что дает. Получая обычный солодовниковский двугривенный, он не спрашивает, от кого получен, а говорит:

— От храппаидола... — и выругается.

«Кусочник» платил аренду хозяину бани, сам нанимал и увольнял рабочих, не касаясь парильщиков: эти были в распоряжении самого хозяина.

«Кусочники» жили семьями при банях, имели отдельные комнаты и платили разную аренду, смотря по баням, от двадцати до ста рублей в месяц.

В свою очередь, раздевальщики, тоже не получавшие хозяйского жалованья, должны были платить «кусочникам» из своих чаевых разные оклады, в зависимости от обслуживаемых раздевальщиком диванов, углов, простенков, кабинок.

«Кусочники» должны были стирать диванные простыни, платить жалованье рабочим, кормить их и мальчиков, а также отвечать за чистоту бань и за пропажу вещей у моющихся в «дворянских» банях.

Революция 1905 года добралась до «кусочников». Рабочие тогда постановили ликвидировать «кусочников», что им и удалось. Но через два года, с усилением реакции, «кусочники» опять появились и существовали во всей силе вплоть до 1917 года.

Бичом бань, особенно «простонародных», были кражи белья, обуви, а иногда и всего узла у моющихся. Были корпорации банных воров, выработавших свою особую систему. Они крали белье и платье, которое сушилось в «горячей» бане. Делалось это следующим образом. Воры «наподдавали» на «каменку» так, чтобы баня наполнилась облаком горячего пара; многие не выдерживали жары и выходили в мыльню. Пользуясь их отсутствием, воры срывали с шестов белье и прятали его тут же, а к вечеру снова приходили в бани и забирали спрятанное. За это приходилось расплачиваться служащим в банях из своего скудного содержания.

Была еще воровская система, практиковавшаяся в «дворянских» отделениях бань, где за пропажу отвечали «кусочники».

Моющийся сдавал платье в раздевальню, получал жестяной номерок на веревочке, иногда надевал его на шею или привязывал к руке, а то просто нацеплял на ручку шайки и шел мыться и париться. Вор, выследив в раздевальне, ухитрялся подменить его номерок своим, быстро выходил, получал платье и исчезал с ним. Моющийся вместо дорогой одежды получал рвань и опорки.

Банные воры были сильны и неуловимы. Некоторые хозяева, чтобы сохранить престиж своих бань, даже вхо-

дили в сделку с ворами, платя им отступного ежемесячно, и «купленные» воры сами следили за чужими ворами, и если какой попадался — плохо ему приходилось, пощады от конкурентов не было: если не совсем убивали, то калечили на всю жизнь.

Во всех почти банях в раздевальнях были деревянные столбы, поддерживавшие потолок.

При поимке вора, положим, часов в семь утра, его, полуголого и босого, привязывали к такому столбу поближе к выходу. Между приходившими в баню бывали люди, обкраденные в банях, и они нередко вымещали свое озлобление на пойманном...

В полночь, перед запором бань, избитого вора иногда отправляли в полицию, что бывало редко, а чаще просто выталкивали, несмотря на погоду и время года.

В подобной обстановке с детских лет воспитывались будущие банщики. Побегов у них было значительно меньше, чем у деревенских мальчиков, отданных в учение по другим профессиям.

Бегали от побоев портные, сапожники, парикмахеры, столяры, маляры, особенно служившие у маленьких хозяйчиков — «грызиков», где они, кроме учения ремеслу, этими хозяйчиками, а главное — их пьяными мастерами и хозяйками употреблялись на всякие побегушки. Их, в опорках и полуголых, посылали во всякое время с ведрами на бассейн за водой, они вставляли раньше всех в квартире, приносили дрова, еще затемно ставили самовары.

Измученные непосильной работой и побоями, не видя вблизи себя товарищей по возрасту, не слыша ласкового слова, они бежали в свои деревни, где иногда оставались, а если родители возвращали их хозяину, то они зачастую бежали на Хитров, попадали в воровские шайки сверстников и через трущобы и тюрьмы нередко кончали каторгой.

С банщиками это случалось редко. Они работали и жили вместе со своими земляками и родственниками, видели, как они трудились, и сами не отставали от них, а кое-какие чаевые за мелкие услуги давали им возможность кое-как, по-своему, развлекаться.

В праздники вместе с родственниками они ходили

на народные гулянья в Сокольники, под Девичье, на Пресню, ходили в балаганы, в цирк.

А главное, они, уже напивавшиеся слухами от родных в деревне, вспоминая почти что сверстника Федьку или Степку, приехавшего жениться из Москвы в поддевке, в сапогах с калошами да еще при цепочке и при часах, настоящим москвичом, — сами мечтали стать такими же.

Родные и земляки, когда приходило время, устраивали им кредит на платье и обувь.

Белье им шили в деревне из неизносимого домотканого холста и крашенины, исключая праздничных рубашек, для которых покупались в Москве кумач и ситец.

На рынке банщики покупали только опорки, самую необходимую обувь, без которой банщику обойтись нельзя: скоро и все-таки обут.

В работе — только опорки и рванье, а праздничное платье было у всех в те времена модное. Высший шик — опойковые сапоги с высокими кожаными калошами.

Заказать такие сапоги было событием: они стоили тринадцать рублей. Носили их подолгу, а потом делали к ним головки, а опорки чинились и донашивались в бане.

Верхнее платье — суконные чуйки, длинные «сибирки», жилеты с глухим воротом, а зимой овчинный тулуп, крытый сукном и с барашковым воротником. Как и сапоги, носилось все это годами и создавалось годами, сначала одно, потом другое.

Мальчики, конечно, носили обноски, но уже загодя готовили себе, откладывая по грошам какому-нибудь родному дяде или банщице-тетке «капиталы» на задаток портному и сапожнику.

В ученье мальчики были до семнадцати-восемнадцати лет. К этому времени они постигали банный обиход, умели обращаться с посетителями, стричь им ногти и аккуратно срезывать мозоли. После приобретения этих знаний такой «образованный» отрок просил хозяина о переводе его в «молодцы» на открывшуюся вакансию, чтобы ехать в деревню жениться, а то «мальчику» жениться было неудобно: засмеют в деревне.

Готовясь жениться, произведенный в «молодцы» отправлялся на Маросейку, где над воротами красовались

ножницы, а во дворе жил банный портной Иона Павлов.

Является к Павлову «молодец» со своим дядей, давним приятелем.

— Ион Павлыч! Вот молодцу надо бы построить тулупишко, чуйку и все иное прочее.... женить его пора!

И постройт ему Иона Павлыч, что надо, на многие годы, как он строил на всех банщиков. Он только на бани и работает, и бани не знали другого портного, как своего земляка.

Вся постройка и починка делалась в кредит, на выплату. Платили по мелочам, а главный расчет производился два раза в год — на пасху и на рождество.

Так же было и с сапожником. Идет «молодец» с дядей в Каретный ряд к земляку-сапожнику:

— Петр Кирсаныч, сними-ка мерку, жениться едет!

Снимет Петр Кирсаныч мерку полоской бумаги, пишет что-то на ней и спрашивает:

— Со скрипом?

— Вали со скрипом! — отвечает за него дядя.

— Подковать бы еще, дядь, на медненькие, — просит «молодец». — Кованые моднее!..

— Ладно. А как тебя зовут?

— Петрунька.

Царапает что-то сапожник на мерке карандашом и, прощаясь, назначает:

— Через два воскресенья в третье привезу!

Уже три поколения банщиков обслуживает Кирсаныч. Особенно много у него починок. То и дело прибегают к нему заказчики: тому подметки, тому подбор, тому обсоюзить, тому головки, а банщицам — то новые полусапожки яловочные на резине для сырости, то бабке-костоправке башмаки без каблуков, и починка, починка всякая. Только успевай делать.

У каждого заказа надпись, из каких бань и чья обувь.

Летом в телегу, а зимой в сани-розвальни запрягает Петр Кирсаныч немудрого старого мерина, выносит с десяток больших мешков, садится на них, а за кучера — десятилетний внучек.

— Перво-наперво в Сандуновские, потом в Китайские, потом в Чельшевские!

— Знаю, дедушка, знаю, как всегда!

Воскресенье — бани закрыты для публики. В раздевальне собираются рабочие: Кирсаных обещал приехать.

Вот и он с большим мешком, на мешке надпись мелом: «Сандуны». Самая дружеская шумная встреча.

Кирсаных аккуратно раскладывает свою работу и начинает вызывать:

— Иван Жесткий!... Федор Горелый!.. Семен Рюмочка!.. Саша Пузырь!.. Маша Длинная!..

Тогда фамилии не употребляли между своих, а больше по прозвищам да по приметам. Клички давались по характеру, по фигуре, по привычкам.

И что ни кличка — то сразу весь человек в ней.

Иван, действительно, жесткий, Федор — всегда чуть не плачет, у Рюмочки — нос красный, Маша — длинная и тонкая, а Саша — маленький, прямо-таки пузырь.

Получают заказы. Рассчитываются. Появляется штоф, стаканчик, колбаса с огурцами — чествуют и благодарят земляка Кирсаных.

Он уезжает уже на «первом взводе» в Китайские бани... Там та же история. Те же вызовы по приметам, но никто не откликается на надпись «Петрунька Некованый».

Только когда вытряхнулись из мешка блестящие сапоги с калошами, на них так и бросился малый с сияющим лицом, и расхохотался его дядя:

— Некованый!

Опять штоф, опять веселье, проводы в Чельшевские бани... Оттуда дальше, по назначенному маршруту. А поздним вечером — домой, но уж не один Кирсаных, а с каким-нибудь Рюмочкиным, — оба на «последнем взводе». Крепко спят на пустых мешках.

Такой триумфальной гулянкой заканчивал Кирсаных свою трудовую неделю.

Сандуновские бани, как и переулоч, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. Так их зовут теперь, так их звали в пушкинские времена.

По другую сторону Неглинки, в Крапивинском пе-

реулке, на глухом пустыре между двумя прудами, были еще Ламакинские бани. Их содержала Авдотья Ламакина. Место было трущобное, бани грязные, но, за неимением лучших, они были всегда полны народа.

Во владении Сандуновой и ее мужа, тоже знаменитого актера Силы Сандунова, дом которого выходил в соседний Звонарный переулок, также был большой пруд.

Здесь Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ламакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых.

Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой помогло успеху: бани в Крапивинском переулке так и остались Ламакинскими, а новые навеки стали Сандуновскими.

В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское «дворянское» отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами: с раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое разнообразное общество,— каждый находил здесь свой кружок знакомых,— и притом буфет со всевозможными напитками, от кваса до шампанского «моэт» и «ан».

В этих банях перебивала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в Английском клубе.

Когда появилось в печати «Путешествие в Эрзерум», где Пушкин так увлекательно описал тифлисские бани, Ламакина выписала из Тифлиса на пробу банщиков-татар, но они у коренных москвичей, любивших горячий полок и душистый березовый веник, особого успеха не имели, и их больше уже не выписывали. Зато наши банщики приняли совет Пушкина и завели для любителей полотняный пузырь для мыла и шерстяную рукавицу.

Потом в банях появились семейные отделения, куда дамы высшего общества приезжали с болонками и моськами. Горничные мыли собачонок вместе с барынями...

Это началось с Сандуновских бань и потом перешло понемногу и в некоторые другие бани с дорогими «дворянскими» и «купеческими» отделениями...

В «простонародные» бани водили командами солдат из казарм; с них брали по две копейки и выдавали по одному веннику на десять человек.

Потом уже, в начале восьмидесятых годов, во всех банях постановили брать копейку за веник, из-за чего в Устьинских банях даже вышел скандал: посетители перебили окна, и во время драки публика разбежалась голая...

Начав брать по копейке за веник, хозяева нажили огромные деньги, а улучшений в «простонародных» банях не завели никаких.

Вообще хозяева пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли.

В некоторых банях даже воровали городскую воду. Так, в Челышевских банях, к великому удивлению всех, пруд во дворе, всегда полный воды, вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась — и все пошло по-старому.

Секрет исчезновения и появления воды в большую публику не вышел, и начальство о нем не узнало, а кто знал, тот с выгодой для себя молчал.

Дело оказалось простым: на Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. Вода шла из Мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирали краны. Когда же нужно было наполнять Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирали, и вода по трубам шла в банный пруд.

Почти все московские бани строились на берегах Москвы-реки, Яузы и речек вроде Чечеры, Синички, Хапиловки и около проточных прудов.

Бани строились в большинстве случаев деревянные, одноэтажные, так как в те времена, при примитивном водоснабжении, во второй этаж подавать воду было трудно.

Бани делились на три отделения: раздевальная, мыльная и горячая.

При окраинных, «простонародных» банях удобств не

было никаких. У большинства даже уборные были где-нибудь во дворе: во все времена года моющийся должен был в них проходить открытым местом и в дождь и в зимнюю вьюгу.

Правильных водостоков под полами не было: мыльная вода из-под пола поступала в специальные колодцы на дворах по особым деревянным лежакам и оттуда по таким же лежакам шла в реку, только метров на десять пониже того места реки, откуда ее накачивали для мытья...

Такие бани изображены на гравюрах в издании Ровинского. Это Серебрянические бани, на Яузе.

Отоплялись бани «каменками» в горячих отделениях и «голландками» — в раздевальнях. Самой главной красотой бани считалась «каменка». В некоторых банях она нагревала и «горячую» и «мыльную».

Топили в старые времена только дровами, которые плотами по половодью пригонялись с верховьев Москвы-реки, из-под Можайска и Рузы, и выгружались под Дорогомиловым, на Красном лугу. Прибытие плотов было весенним праздником для москвичей. Тысячи зрителей усеивали набережную и Дорогомиловский мост:

— Плоты пришли!

Самыми главными банными днями были субботы и вообще предпраздничные дни, когда в банях было тесно и у кранов стояли вереницы моющихся с легкими липовыми шайками, которые сменили затем тяжелые дубовые.

В «дворянских» отделениях был кейф, отдых, стрижка, бритье, срезание мозолей, ставка банок и даже дерганье зубов, а «простонародные» бани являлись, можно безошибочно сказать, «поликлиникой», где лечились всякие болезни. Медиками были фельдшера, цирюльники, бабки-костоправки, а «парильщики» и там и тут заменяли массажисток еще в те времена, когда и слова этого не слыхали.

В окраинных «простонародных» банях эта «поликлиника» представляла такую картину.

Суббота. С пяти-шести утра двери бань не затворяются. Публика плывет без перерыва.

В уголке раздевальной примащивался цирюльник, который, без всякой санитарии, стриг и брил посетите-

лей. Иногда, улучив свободное время, он занимался и медициной: пускал кровь и ставил банки, пиявки, выдергивал зубы...

«Мыльная» бани полна пара; на лавке лежит грузное, красное, горячее тело, а возле суетится цирюльник с ящиком сомнительной чистоты, в котором находится двенадцать банок, штуцер и пузырек с керосином. В пузырек опущена проволока, на конце которой пробка.

Приготовив все банки, цирюльник зажигал пробку и при помощи ее начинал ставить банки. Через две-три минуты банка втягивала в себя на сантиметр и более тело.

У цирюльников было правило продержаться десять минут банку, чтобы лучше натянуло, но выходило на деле по-разному. В это время цирюльник уходил курить, а жертва его искусства спокойно лежала, дожидаясь дальнейших мучений. Наконец терпения не хватало, и жертва просила окружающих позвать цирюльника.

— Вот сейчас добрею, не велик барин! — раздавалось в ответ.

Наконец цирюльник приходил, зажигал свой факел. Под банкой — шишка кровавого цвета. «Хирург» берет грязный и заржавленный штуцер, плотно прижимает к возвышению просекает кожу, вновь проделывает манипуляцию с факелом, опять ставит банку, и через три — пять минут она полна крови.

Банка снимается, кровь — прямо на пол. Затем банщик выливает на пациента шайку воды, и он, татуированный, выходит в раздевальню. После этого обычно начиналась консультация о «пользительности» банок.

Кроме банок, цирюльники «открывали кровь». Еще в восьмидесятых годах на окраинах встречались вывески с надписью: «Здесь стригут, бреют, ставят пиявки и пускают кровь».

Такая вывеска бывала обыкновенно над входом, а по его сторонам обычно красовались две большие длинные картины, показывавшие, как это производится.

На одной сидит человек с намыленным подбородком, другой держит его указательным и большим пальцами за нос, поднимая ему голову, а сам, наклонившись к нему, заносит правой рукой бритву, наполовину в мыле.

На другой стороне сидит здоровенный, краснорожий богатырь в одной рубаше с засученным до плеча рукавом, перед ним цирюльник с окровавленным ланцетом — значит, уж операция кончена; из руки богатыря высокой струей бьет, как из фонтана, кровь, а под рукой стоит крошечный мальчишка, с полотенцем через плечо, и держит таз, большой таз, наполовину полный крови.

Эту операцию делали тоже в «мыльнях», но здесь мальчика с тазом не было, и кровь спускали прямо на пол.

«Открывание крови» было любимой операцией крючников, ломовиков, мордастых лихачей, начинавших жиреть лавочников и серого купечества.

В женских банях было свое «лечение». Первым делом — для белизны лица — заваривали в шайке траву-череду, а в «дворянских» женщины мыли лицо миндальными высеками.

Потом шли разные притирания, вплоть до мытья головы керосином для рощения волос.

Здесь за моющимися ухаживали банщицы. Бабки-костоправки работали только в «простонародных» банях. Они принимали участие и в лечении мужчин.

Приходит, согнувшись, человек в баню, к приказчику и просит позвать бабку:

— Прострел замучил!

То же повторял он и пришедшей бабке. Та давала ему пузырек с какой-то жидкостью, приказывала идти мыться и после паренья натереться ее снадобьем, а после бани сказаться ей.

Вымывшись и одевшись, больной вызывал бабку. Она приказывала ему лечь на бок поперек порога отворенной двери, клала сверху на поясницу сухой веник и ударяла потихоньку топором несколько раз по венику, шепча непонятные заклинания. Операция эта называлась «присекание».

Бабки в жизни бань играли большую роль, из-за бабок многие специально приходили в баню. Ими очень дорожили хозяева бань: бабки исправляли вывихи, «заговаривали грыжу», правили животы как мужчинам, так и женщинам, накладывая горшок.

Главной же их специальностью было акушерство.

Уже за несколько недель беременная женщина начинала просить:

— Бабушка Анисья, ты уж не оставь меня!

— Ладно, а ты почаще в баньку приходи, это полезно, чтобы ребенок на правильную дорогу стал. Когда надо будет, я приду!

Еще задолго до того, как Гонецкий переделал Сандуновские бани в банный дворец, А. П. Чехов любил бывать в старых Сандуновских банях, уютных, без роскоши и ненужной блестящей мишуры.

— Антон, пойдем в баню, — зовет его, бывало, брат, художник Николай, весь измазанный краской.

— Пошел бы... да боюсь... вдруг, как последний раз, помнишь, встретим Сергиенко... Я уж оделся, выхожу, а он входит. Взял меня за пуговицу и с час что-то рассказывал. Вдруг опять встретим? А я люблю Сандуны... Только кругом воздух скверный: в сухую погоду — пыль, а когда дождь — изо всех домов выкачивают нечистоты в Неглинку.

А. П. Чехову пришлось жить в одной из квартир в новом банном дворце, воздух вокруг которого был такой же, как и при старых «Сандунах».

Тогда бани держал Бирюков, банный король, как его звали в Москве. Он в Москву пришел в лапотках, мальчиком, еще при Ламакиных, в бани, проработал десять лет, понастроил ряд бань, держал и Сандуновские...

А потом случилось: дом и бани оказались в закладе у миллионера-дровяника Фирсанова.

А что к Фирсанову попало — пиши пропало! Фирсанов давал деньги под большие, хорошие дома — и так подведет, что уж дом обязательно очутится за ним. Много барских особняков и доходных домов сделалось его добычей. В то время, когда А. П. Чехова держал за пуговицу Сергиенко, «Сандуны» были еще только в залоге у Фирсанова, а через год перешли к нему...

Это был огромный дом казарменно-аракчеевского стиля, с барской роскошной раздевальной — создание известного архитектора двадцатых годов.

После смерти Ивана Фирсанова владельницей

бань, двадцати трех домов в Москве и подмосковного имения «Средниково», где когда-то гащивали великие писатели и поэты, оказалась его дочь Вера.

Широко и весело зажила Вера Ивановна на Пречистенке, в лучшем из своих барских особняков, перешедших к ней по наследству от отца. У нее стали бывать и золотая молодежь, и модные бонвиваны — львы столицы, и дельные люди, вплоть до крупных судейских чинов и адвокатов. Большие коммерческие дела после отца Вера Ивановна вела почти что лично.

Через посещавших ее министерских чиновников она узнавала, что надо, и умело проводила время от времени свои коммерческие дела.

Кругом нее вилась и красивая молодежь, довольствовавшаяся веселыми часами, и солидные богачи, и чиновные, и титулованные особы, охотившиеся за красотой, а главным образом, за ее капиталами.

В один прекрасный день Москва ахнула:

— Вера Ивановна вышла замуж!

Ее мужем оказался гвардейский поручик, сын боевого генерала, Гонецкий.

До женитьбы он часто бывал в Москве — летом на скачках, зимой на балах и обедах, но к Вере Ивановне — «ни шагу», хотя она его, через своих друзей, старалась всячески привлечь в свиту своих ухаживателей.

В числе ее друзей, которым было поручено залучить Гонецкого, оказались и его друзья. Они уверили «Верочку», что он единственный наследник старого польского магната-миллионера, что он теперь его засыплет деньгами.

Друзья добились своего! Вера Ивановна Фирсанова стала Гонецкой. После свадьбы молодые, чтобы избежать визитов, уехали в «Средниково», где муж ее совершенно очаровал тем, что предложил заняться ее делами и работать вместе с ней.

Просмотрев доходы от фирсановских домов, Гонецкий заявил:

— А вот у Хлудовых Центральные бани выстроены! Тебе стыдно иметь сандуновские развалины: это срамит фамилию Фирсановых. Хлудовых надо перешибить!

Задев «купеческое самолюбие» жены, Гонецкий ука-

зал ей и на те огромные барыши, которые приносят Центральные бани.

— Первое — это надо Сандуновские бани сделать такими, каких Москва еще не видела и не увидит. Вместо развалюхи построим дворец для бань, сделаем все по последнему слову науки, и чем больше вложим денег, тем больше будем получать доходов, а Хлудовых сведем на нет. О наших банях заговорит печать, и ты — знаменитость!

Перестройка старых бань была решена...

— Надо объявить через архитектурное общество конкурс на проекты бань, — занкнулась Вера Ивановна.

— Что? Московским архитекторам строить бани? А почему Хлудовы этого не сделали? Почему они выписали из Вены строителя... Эйбушиц, кажется? А он вовсе не из крупных архитекторов... Там есть знаменитости покрупней. С московскими архитекторами я и работать не буду. Надо создать нечто новое, великое, слить восток и запад в этом дворце!..

После поездки по европейским баням, от Турции до Ирландии, в дворце молодых на Пречистенке состоялось предбанное заседание сведущих людей. Все дело вел сам Гонецкий, а строил приехавший из Вены архитектор Фрейденберг.

Пользуясь постройкой бань, Гонецкий в какие-нибудь несколько месяцев обменял на банковские чеки, подписанные его женой, свои прежние долговые обязательства, которые исчезли в огне малахитового камина в кабинете «отставного ротмистра гвардии», променявшего блеск гвардейских парадов на купеческие миллионы.

Как-то в жаркий осенний день, какие иногда выпадают в сентябре, по бульвару среди детей в одних рубашонках и гуляющей публики в летних костюмах от Тверской заставы быстро и сосредоточенно шагали, не обращая ни на кого внимания, три коротеньких чело- века.

Их бритые лица, потные и раскрасневшиеся, выглядывали из меховых воротников теплых пальто. В правых руках у них были скаковые хлысты, в левых — малень-

кие саквояжи, а у одного, в серой смушковой шапке, надвинутой на брови, под мышкой узелок и банный веник. Он был немного повыше и пошире в плечах своих спутников.

Все трое — знаменитые жокеи: в смушковой шапке — Воронков, а два других — англичане: Амброз и Клейдон. Через два дня разыгрывается самый крупный приз для двухлеток, — надо сбавить вес, и они возвращаются из «грузинских» бань, где «потнялись» на полках.

Теперь они быстро шагают, дойдут до Всехсвятского и разойдутся по домам: Клейдон живет на Башиловке, а другие — в скаковой слободке, при своих конюшнях.

«Грузинские» бани — любимые у жокеев и у цыган, заселяющих Живодерку. А жокеи — любимые посетители банщиков, которым платили по рублю, а главное, иногда шепнут про верненькую лошадку на ближайших скачках.

Цыгане — страшные любители скачек — тоже пользуются этими сведениями, жарясь для этого в семидесятиградусную жару, в облаке горячего пара, который нагоняют банщики для своих щедрых гостей.

Как-то один знакомый, знавший, что я изучаю москвичей, пригласил меня в гости к своему родственнику — банщику.

Банщик жил на даче в Петровском парке, а бани держал где-то на Яузе.

— У него сегодня четыре именинницы: жена Софья и три дочери «погодки» Вера, Надежда и Любовь. Человек расчетливый — так всех дочерей подогнал, чтобы в один день, с матерью заодно, именины справить. Старшие две дочери гимназию кончают.

Просторный зал был отдан в распоряжение молодежи: студенты, гимназисты, два-три родственника в голубых рубашках и поддевах, в лаковых высоких сапогах, две-три молчаливые барышни в шелковых платьях. Музыка, пение, танцы под рояль. В промежутках чтение стихов и пение студенческих песен, вплоть до «Дубинушки по-студенчески». Шум, молодое веселье.

Рядом в гостиной — разодетые купчихи и бедные родственники чинно и недвижно сидят вдоль стен или группируются вокруг толстой, увешанной драгоценностями именинницы. Их обносят подносами с десертом. Несколько долгополых и короткополых — первые в смазных сапогах, вторые в штиблетах — занимают дам.

Они уходят в соседнюю комнату, где стоит большой стол, уставленный закусками и выпивкой. Приходят, прикладываются, и опять — к дамам или в соседнюю комнату, — там на двух столах степенная игра в преферанс и на одном в «стуколку». Преферансисты — пожилые купцы, два солидных чиновника — один с «Анной в петлице» — и сам хозяин дома, в долгополом сюртуке с золотой медалью на ленте на красной шее, вырастающей из глухого синего бархатного жилета.

В «стуколку» сражаются игроки попроще и помоложе.

— А ты, Кирилл Макарыч, в чужие карты глазенапы не запускай!

Письмоводитель из полицейского участка, из кутейников, ехидно отвечает:

— А что сказано в писании?

— А что?

— А сказано так: «Человек, аще хошеши выиграть, первым делом загляни в чужие карты, ибо свои посмотреть всегда успеешь».

От «стуколки» слышится:

— Туза виной... Хлоп хрестовый... Дама бубенная, червонный король...

Публика ожидательно прислушивается: в столовой стук посуды — накрывают обед.

Розлили по тарелкам горячее... Кончилось чоканье рюмками... сразу все замолкло — лишь за столом молодежи в соседней комнате шумно кипела жизнь.

И пошло такое схлебывание с ложек, такое громкое чавканье, что даже заглушило веселье молодежи.

Кто-то поперхнулся. Сосед его молча бьет кулаком по загривку, чтобы рыби косточки проскочили... Фыркание, чавканье, красные лица, посоловелые глаза.

Два баншика в голубых рубахах откупоривают бутылки, пробки летят в потолок, рублевое ланинское шампанское холодным душем низвергается на гостей.

Братья Стрельцовы — люди почти «в миллионах», московские домовладельцы, староверы, кажется, по преображенскому толку, вся жизнь их была как на ладони: каждый шаг их был известен и виден десятки лет. Они оба — холостяки, жили в своем уютном доме вместе с племянницей, которая была все для них: и управляющей всем хозяйством, и кухаркой, и горничной.

У братьев жизнь была рассчитана по дням, часам и минутам. Они были почти однолетки, один брюнет с темной окладистой бородкой, другой посветлее и с проседью. Старший давал деньги в рост за огромные проценты. В суде было дело Никифорова и Федора Стрельцова, обвиняемого первым в лихоимстве: брал по сорок процентов!

Как-то вышло, что суд присудил Ф. Стрельцова только на несколько месяцев в тюрьму. Отвертеться не мог — пришлось отсиживать, но казался больным, был отправлен в тюремную больницу, откуда каким-то способом — говорили, в десять тысяч это обошлось — очутился дома и, сидя безвыходно, резал купоны...

Это приключение прошло незаметно, и снова потекла та же жизнь, только деньги стал отдавать не под векселя, а под дома.

Младший брат, Алексей Федорович, во время нахождения брата в тюремной больнице тоже — единственный раз — вздумал поростовщичать, дал под вексель знакомому «члену-любителю» Московского бегового общества денег, взяв в обеспечение его беговую конюшню.

А. Ф. Стрельцов из любопытства посмотреть, как бегут его лошади, попал на бега впервые и заинтересовался ими. Жизнь его, дотоле молчаливая, наполнилась спортивными разговорами. Он стал ездить каждый беговой день на своей лошадке. Для ухода за лошадкой дворник поставил своего родственника-мальчика, служившего при чьей-то беговой конюшне.

Алексей Федорович начал «пылить» на бега в шарбане со своим Ленькой, который был и конюх и кучер.

Время от времени сам стал брать вожжи в руки, научился править, плохую лошадедку сменил на бракованного рысачка, стал настоящим «пыльником», гонялся по Петербургскому шоссе от заставы до бегов, до трак-

тира «Перепутье», где собирались часа за два до бегов второсортные спортсмены, так же как и он, пылившие в таких же шарабанчиках и в трактире обсуждавшие шансы лошадей, а их кучера сидели на шарабанах и ждали своих хозяев.

Конюхи из трактира к началу бегов отвозили хозяев в полтинничные места беговой беседки, тогда еще деревянной, а сами, стоя на шарабанах, смотрели через забор на бега, знали каждую лошадь, обсуждали шансы выигрыша и даже играли в тотализатор, складываясь по двугривенному — тогда еще тотализатор был рублевый.

Иногда Алексей Федорович заезжал и на конюшню своего должника, аккуратно платившего проценты, а оттуда на круг, посмотреть на проездки.

Спорт наполнил жизнь его, хотя домашний обиход оставался тот же самый.

Старший Федор все так же ростовщикал и резал купоны, выезжая днем «в город»; по делам. Обедали оба брата дома, ели исключительно русские кушанья, без всяких деликатесов, но ни тот ни другой не пил. К восьми вечера они шли в трактир Саврасенкова на Тверской бульвар, где собиралась самая разнообразная публика и кормили дешево.

В задних двух залах стояли хорошие бильярды, где собирались лучшие московские игроки и, конечно, шулера, а наверху были «саврасенковские номера», куда приходили парочки с бульвара, а шулера устраивали там свои «мельницы», куда завлекали из бильярдной игроков и обыгрывали их наверняка.

Придя в трактир, Федор садился за буфетом вместе со своим другом Кузьмой Егорычем и его братом Михаилом — содержателями трактира. Алексей шел в бильярдную, где вел разговоры насчет бегов, а иногда и сам играл на бильярде по рублю партия, но всегда так сводил игру, что ухитрялся даже с шулеров выпрашивать чуть не в полпартии авансы, и редко проигрывал, хотя играл не кием, а мазиком.

Так каждый вечер до одиннадцати часов проводили они время у Саврасенковых.

В десять часов утра братья вместе выходили из дома — Федор по делам в город, а Алексей в свои «чер-

нышевские бани», с их деревянной внутренней отделкой, всегда чисто выструганными и вымытыми лавками.

Он приходил в раздевальню «дворянского» отделения, сидел в ней часа два, принимал от приказчика выручку и клал ее в несгораемый шкаф. Затем звал цирюльника. Он ежедневно брился — благо даром, не платить же своему деньги, а в одиннадцать часов аккуратно являлся брат Федор, забирал из шкафа пачки денег, оставляя серебро брату, — и уходил.

Алексей по уходе брата отправлялся напротив, через Брюсовский переулок, в грязный извозничий трактир в доме Косоурова пить чай и проводил здесь ровно час, беседуя, споря и обсуждая шансы беговых лошадей с извозчиками.

Сюда ездили лихачи и полулихачи. Они, так же как и конюхи «пыльников», следили через забор за состязаниями и знали лошадей. Каждый из любезности справлялся о шансах его лошади на следующий бег.

— А вот на последнем гандикапе вы уж к столбу подходили первым, да вас Балашев объехал... Его Вольный-то сбил вашего, сам заскакал и вашего сбил... Балашев-то успел своего на рысь поставить и выиграл, а у вас проскачка...

В это время Стрельцов был уже членом-любителем бегового общества. Вышло это неожиданно.

Владелец заложенных у него лошадей разорился, часть лошадей перешла к другим кредиторам, две остались за долг Стрельцову. Наездник, у которого стояли лошади, предложил ему оставить их за собой и самому ездить на них на призы.

Попробовал на проездках — удачно. Записал одну на поощрительный приз — благополучно пришел последним. После ряда проигрышей ему дали на большой гандикап выгодную дистанцию. Он уже совсем выиграл бы, если б не тот случай, о котором ему напоминали из сочувствия каждый раз извозчики.

С той поры он возненавидел Балашева и все мечтал объехать его во что бы то ни стало. Шли сезоны, а он все приходил в хвосте или совсем последним. Каждый раз брал билет на себя в тотализаторе — и это иногда был единственный билет на его лошадь. Публика при

выезде его на старт смеялась, а во время бега, намская на профессию хозяина, кричала:

— Веником! Веником ее!

А он все надеялся на свой единственный билет сорвать весь тотализатор, и все приезжал последним. Даже публика смеяться перестала. А Стрельцов по-своему наполнял свою жизнь этим спортом, — ведь единственная жизненная радость была!

Алексей Федорович не смел говорить брату об увлечении, которое считал глупостью, стоящей сравнительно недорого и не нарушавшей заведенного порядка жизни: деньги, деньги и деньги.

Ни знакомств, ни кутежей. Даже газет братья Стрельцовы не читали; только в трактире иногда мельком проглядывали журналы, и Алексей единственно что читал — это беговые отчеты.

Раз только в жизни полиция навязала богатым братьям два билета на благотворительный спектакль в Большом театре на «Демона». Алексей взял с собой Леньку-конюха.

Вернувшись домой, оба ругались, рассказывая Федору Федоровичу:

— И опять все вранье! А как он орал, что Вольный сын Эфира; а ты меня, Леня, в бок тычешь и шепчешь: «Врет!» И верно врал: Вольный сын Легкого и Ворожеи.

Девятый час утра небанного дня, но полтинное отделение Сандуновских бань с ливрейным швейцаром у входа со Звонарского переуллка было обычно оживлено своей публикой, приходившей купаться в огромном бассейне во втором этаже дворца.

Купаться в бассейн Сандуновских бань приходили артисты лучших театров, и между ними почти столетний актер, которого принял в знак почтения к его летам Корш. Это Иван Алексеевич Григоровский, служивший на сцене то в Москве, то в провинции и теперь игравший «злодеев» в старых пьесах, которые он знал наизусть и играл их еще в сороковых годах.

Он аккуратно приходил ежедневно купаться в бас-

сейне раньше всех; выкупавшись, вынимал из кармана маленького «жулика», вышибал пробку и, вытянув половинку, а то и до дна, закусывал изюминкой.

Из-за этого «жулика» знаменитый московский доктор Захарьин, бравший за визит к объевшимся на масленице блинами купцам по триста и по пятисот рублей, чуть не побил его палкой.

Никогда и ничем не болевший старик вдруг почувствовал, как он говорил, «стеснение в груди». Ему посоветовали сходить к Захарьину, но, узнав, что за прием на дому тот берет двадцать пять рублей, выругался и не пошел. Ему устроили по знакомству прием — и Захарьин его принял.

Первый вопрос:

— Водку пьешь?

— Как же — пью!

— Изредка?

— Нет, каждый день...

— По рюмке? По две?..

— Иногда и стаканчиками. Кроме водки зато ничего не пью! Вчера на трех именинах был. Рюмок тридцать, а может, и сорок.

Обезумел Захарьин. Вскочил с кресла, глаза выпучил, палкой стучит по полу и орет:

— Что-о?.. Со... со... сорок! А сегодня пил?

— Вот только глотнул половину...

И показал ему из кармана «жулика».

— Захарьин ударил меня по руке, — рассказывал приятелям Григоровский, — да я держал крепко.

— Вон отсюда! Гоните его!

На шум прибежал лакей и вывел меня. А он все ругался и орал...

А потом бросился за мной, поймал меня.

— А давно ли пьешь? Сколько лет?

— Пью лет с двадцати... На будущий год сто лет.

Сидя в кабинке Сандуновских бань, где Гонецкий ввел продажу красного вина, старик рассказывал:

— А пить я выучился тут, в этих самых банях, когда еще сама Сандунова жива была. И ее я видел, и Пушкина видел... Любил жарко париться!

— Пушкина? — удивленно спросили его слушатели.

— Да, здесь. Вот этих каюток тогда тут не было, дом был длинный, двухэтажный, а зала дворянская тоже была большая, с такими же мягкими диванами, и буфет был — проси чего хочешь... Пушкин здесь и бывал. Его приятель меня и пить выучил. Перед диванами тогда столы стояли. Вот сидим мы, попарившись, за столом и отдыхаем. Я и Дмитриев. Пьем брусничную воду. Вдруг выходит, похрамывая, Денис Васильевич Давыдов... знаменитый! Его превосходительство квартировал тогда в доме Тинкова, на Пречистенке, а супруга Тинкова — моя крестная мать. Там я и познакомился с этим знаменитым героем. Он стихи писал и, бывало, читал их у крестной. Вышел Денис Васильевич из бани, накинул простыню и подсел ко мне, а Дмитриев ему: «С легким паром, ваше превосходительство. Не угодно ли брусничной? Ароматная!» — «А ты не боишься?» — спрашивает. «Чего?» — «А вот ее пить? Пушкин о ней так говорит: «Боюсь: брусничная вода мне не наделала б вреда», и оттого он ее пил с араком».

Денис Васильевич мигнул, и банщик уж несет две бутылки брусничной воды и бутылку арака.

И начал Денис Васильевич наливать себе и нам: полстакана воды, полстакана арака. Пробую — вкусно. А сам какие-то стихи про арака читает...

Не помню уж, как я и домой дошел.

В первый раз напился, — не думал я, что арака такой крепкий.

И каждый раз, как, бывало, увижу кудрявцовскую карамельку в цветной бумажке, хвостик с одного конца, так и вспомню моего учителя.

В эти конфетки узенькие билетки вкладывались, по две строчки стихов. Помню, мне попался билетик:

Боюсь, брусничная вода
Мне б не наделала вреда!

Потом ни арака, ни брусничной не стало! До «жуликов» дожил! Дешево и сердито!..

Любил Григоровский рассказывать о прошлом. Много он видел, память у него была удивительная.

С удовольствием он рассказывал, любил говорить, и охотно все его слушали. О себе он не любил поминать,

но все-таки приходилось, потому что рассказывал он только о том, где сам участником был, где себя не выключишь.

Иногда называл себя в третьем лице, будто не о нем речь. Где говорит, о том и вспоминает: в трактире — о старых трактирах, о том, кто и как пил, ел; в театре в кругу актеров — идут воспоминания об актерах, о театре. И чего-чего он не знал! Кого-кого он не помнил!

— А что, Ваня, ты Сухово-Кобылина знал? — спросил его однажды в театре Корша актер Киселевский, отклеивая баки и разгримировываясь после «Кречинского».

— Нет, а вот Расплюева видал!

— Как Расплюева? Ведь это тип.

— Пусть тип, а был он хористом в театре в Ярославле и был шулером. Фамилия другая... При мне его тогда в трактире «Столбы» из окна за шулерство выкинули. Вот только забыл, кто именно: не то Мишка Докучаев, не то Егорка Быстров!

Для своих лет Григоровский был еще очень бодр и не любил, когда его попрекали старостью. Как-то в ресторане «Ливорно» Иван Алексеевич рассказывал своим приятелям:

— Вчера я был в гостях у молоденькой телеграфистки. Славно время провел...

Андреев-Бурлак смеется:

— Ваня! Как ты врешь! Когда ты мог с молоденькими славно время проводить, тогда телеграфов еще не было.

Как-то в утренний час вошел в раздевальню шести-футовый полковник, весь в саже, с усами до груди, и на его общий поклон со всех банных диванов раздалось приветствие:

— Здравствуйте, Николай Ильич!

— Всю ночь в Рогожской на пожаре был... Выкупаюсь да спать... Домов двадцать сгорело.

Это был полковник Н. И. Огарев, родственник поэта, друга Герцена. Его любила вся Москва.

Его откомандировали из гвардии в армию с производством в полковники и назначили в распоряжение московского генерал-губернатора. Тут его сделали полицмейстером второго отделения Москвы.

Он страстно любил пожары, не пропускал ни одного, и, как все пожарные, любил бани.

В шестидесятых годах он разрешал всех арестованных, даже в секретных камерах при полицейских домах, то есть политических преступников, водить в баню в сопровождении «мушкетеров» (безоружных служителей при полицейских домах). В 1862 году в Тверской части в секретной содержался крупнейший государственный преступник того времени, потом осужденный на каторгу, П. Г. Зайчневский. Огарев каждый день любовался пегими пожарными лошадьми и через окно познакомился с Зайчневским, тоже любителем лошадей, а потом не раз бывал у него в камере — и разрешил ему в сопровождении солдата ходить в бани.

По субботам члены «Русского гимнастического общества» из дома Редлиха на Страстном бульваре после вечерних классов имели обычай ходить в ближайшие Сандуновские бани, а я всегда шел в Палашовские, рядом с номерами «Англия», где я жил.

А главное, еще и потому, что рядом с банями была лавчоночка, где народный поэт Разоренов торговал своего изделия квасом и своего засола огурцами, из-под которых рассол был до того ароматичен и вкусен, что его предпочитали даже прекрасному хлебному квасу.

Лавчонка была крохотная, так что старик-гигант Алексей Ермилыч едва поворачивался в ней, когда приходилось ему черпать из бочки ковши рассола или наливать из крана большую кружку квасу. То и другое стоило по копейке.

Лавчонка запиралась в одиннадцать часов, и я всегда из бани торопился не опоздать, чтобы найти время побеседовать со стариком о театре и поэзии, послушать его новые стихи, поделиться своими.

В ту субботу, о которой рассказывается, я забежал в Сандуновские бани в десятом часу вечера.

Первым делом решил постричь волосы, — бороду и усы я не брил, бросив сцену. Парикмахер, совсем еще мальчик, меня подстриг и начал готовить бритвы, но я отказался.

— Помилуйте,— назвал меня по имени и отчеству,— ведь вы всегда брились.

Оказалось — ученик театрального парикмахера в Пензе. Я рассказал ему, что, бросив сцену, в последний раз брился перед спектаклем в Баку.

— На Кавказе, значит, были? У нас тоже в банях есть банщик персиянин с Кавказа, вот ежели хотите, я его позову.

Я обрадовался. А то бывал на Кавказе, на войне, весь Кавказ верхом изъездил, а в банях знаменитых не бывал.

Действительно, на войне не до бань, а той компании, с которой я мотался верхом по диким аулам, в город и носа показывать нельзя было. В Баку было не до бань, а Тифлис мы проехали мимо.

— Абидинов! — кликнул он.

Передо мной юркий, сухой и гибкий, как жимолость, с совершенно голой головой, кружится и вьется банщик и доставляет мне не испытанное дотоле наслаждение. Описать эту неожиданную в Москве операцию я не решаюсь — после Пушкина писать нельзя! Цитирую его «Путешествие в Арзрум»: «...Гассан начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего он начал ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком: я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение (азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут на спине вприсядку).

После сего он долго тер меня рукавицей и, сильно оплескав теплой водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас, как воздух! После пузыря Гассан опустил меня в ванну — тем и кончилась церемония».

Я еще сидел в ванне, когда с мочалками и мылом в руках влетели два стройных и ловких красавчика, братья Дуровы, члены-любители нашего гимнастического общества.

Который-то из них на минуту остановился на веревочном ковре, ведущем в «горячую», сделал сальто-мортале, послал мне приветствие мочалкой и исчез вслед за братом в горячей бане.

А вот и наши. Важно, ни на кого не обращая внимания, сомом проплыл наш непобедимый учитель фехтования Тарас Петрович Тарасов, с грозными усами и веником под мышкой. Его атлетическая грузная фигура начала уже покрываться слоем жира, еще увеличившим холмы бицепсов и жилистые икры ног... Вот с кого лепить Геркулеса!

А вот с этого Антиноя. Это наш непревзойденный учитель гимнастики, знаменитый танцор и конькобежец, старший брат другого прекрасного гимнаста и ныне здравствующего известного хирурга Петра Ивановича Постникова, тогда еще чуть ли не гимназиста или студента первых курсов. Он остановился под холодным душем, изгибался, поворачивался мраморным телом ожившего греческого полубога, играя изящными мускулами, живая рельефная сеть которых переливалась на широкой спине под тонкой талией.

Я продолжал сидеть в теплой ванне. Кругом, как и всегда в мыльной, шлепанье по голому мокрому телу, шипенье воды, рвущейся из кранов в шайки, плеск окочивающихся, дождевой шумок душей — и не слышно человеческих голосов.

Как всегда, в раздевальнях — болтают, в мыльне — молчат, в горячей — гогочут. И гогот этот слышится в мыльне на минуту, когда отворяется дверь из горячей.

А тут вдруг такой гогот, что и сквозь закрытую дверь в горячую гудит.

— Ишь, когда его забрало... Я четверть часа сижу здесь, а был уж он там... Аки лев рыкающий в пустыне Ливийской. Всех запарит! — обращается ко мне из ванны рядом бритый старичок с начесанными к щекам седыми вихорками волос.

Это отставной чиновник светского суда, за пятьдесят лет выслуживший три рубля в месяц пенсии, боль в пояснице и пряжку в петлице.

— При матушке Екатерине, — говорит он, — по этой пряжке давалось право входа в женские бани бесплатно, а теперь и в мужские плати! — обижался он.

А из горячей стали торопясь выходить по несколько человек сразу. В открытую дверь несло гоготанье...

— О... го-го!.. О-го-го!

— У... у... у... у...

— Плесни еще... Плесни... жары!

Слышалось хлестанье веником. Выходившие в мыльную качались, фыркали, торопились к душам и умывались из кранов.

— Вали!.. Поясницу!.. Поясницу!.. — гудел громopodobный бас.

— Так!.. Так!.. Пониже забирай! О-о-о...го... го!.. Так ее!.. Комлем лупи!.. Комлем!..

И вдруг:

— Будя!.. А!.. А!.. А!.. О... О...

Из отворенной двери валит пар. В мыльне стало жарко... Первым показался с веником в руках Тарасов... А за ним двигалось некое косматое чудище с косматыми волосами по плечам и ржало от восторга.

Даже Тарасов перед ним казался маленьким.

Оба красные, с выпученными глазами прут к душе, и чудище снова ржет и, как слон, поворачивается под холодным дождем...

Сразу узнал его — мы десятки раз встречались на разных торжествах и, между прочим, на бегах и скачках, где он нередко бывал, всегда во время антрактов скрываясь где-нибудь в дальнем углу, ибо, как он говорил: «Не подобает бывать духовной особе на конском ристалище, начальство увидит, а я до коней любитель!»

Подходит к буфету. Наливает ему буфетчик чайный стакан водки, а то, если другой буфетчик не знает да нальет, как всем, рюмку, он сейчас загудит:

— Ты что это? А? Кому наливаешь? Этим воробья причащать, а не отцу протодьякону пить.

Впрочем, все буфеты знали протодьякона Шеховцева, от приглашения «многая лета» которого на купеческих свадьбах свечи гасли и под люстрами хрустальные висюльки со звоном трепетали.

Мы с Тарасовым пошли одеваться.

В раздевальне друзья. Огромный и косматый писатель Орфанов Мишла — тоже фигура чуть поменьше Шеховцева, косматая и бородатая, и видно, что ножницы касались его волос или очень давно, а то, может быть, и никогда.



Страстная площадь в середине XIX века.



**Вид на Москворецкую набережную
конца XIX века.**

А рядом с ним крошечный, бритый по-актерски, с лицом в кулачок и курчавыми волосами Вася Васильев. Оба обитатели «Чернышей», оба полулегальные и поднадзорные, оба мои старые друзья.

— Вы как сюда? А я думал, что вы никогда не ходите в баню! Вы, члены «клуба немытых кобелей», и вдруг в бане!

Вася, еще когда служил со мной у Бренко, рассказывал, что в шестидесятых годах в Питере действительно существовал такой клуб, что он сам бывал в нем и что он жил в доме в Эртелевом переулке, где бывали заседания этого клуба.

Этот дом и другой, соседний, потом были сломаны, и на их месте Суворин выстроил типографию «Нового времени».

Только два поэта посвятили несколько строк русским баням — и каждый отразил в них свою эпоху.

И тот и другой вдохновлялись московскими банями.

Один был всеобъемлющий Пушкин. Другой — московский поэт Шумахер.

...В чертоги входит хан молодой,
За ним отшельниц милых рой,
Одна снимает шлем крылатый,
Другая — кованые латы,
Та меч берет, та — пыльный щит.
Одежда неги заменит
Железные доспехи брани.
Но прежде юношу ведут
К великолепной русской бане.
Уж волны дымные текут
В ее серебряные чаны
И брызжут хладные фонтаны;
Разостлан роскоши ковер,
На нем усталый хан ложится,
Прозрачный пар над ним клубится.
Потупя неги полный взор,
Прелестные, полунагие,
Вкруг хана девы молодые
В заботе нежной и немой
Теснятся резвою толпой.
Над рыцарем иная машет
Ветвями молодых берез...

И жар от них душный пышет;
Другая соком вешних роз
Устали члены прохладяет
И в ароматах потопляет
Темнокудрявые власы...

Изящным стихом воспеваает «восторгом рыцарь упоенный» прелесть русских Сандуновских бань, которые он посещал со своими друзьями в каждый свой приезд в Москву.

Поэт, молодой, сильный, крепкий, «выпарившись на полке ветвями молодых берез», бросался в ванну со льдом, а потом опять на полук, где снова «прозрачный пар над ним клубится», а там «в одежде неги» отдыхает в богатой «раздевалке», отделанной строителем екатерининских дворцов, где «брызжут хладные фонтаны» и «разостлан роскоши ковер»...

Прошло полвека. Родились новые идеалы, новые стремления.

Либеральный поэт шестидесятых годов П. В. Шумахер со своей квартиры на Мещанской идет на Язузу в Волковские протонародные бани.

Он был очень толст, страдал подагрой. И. С. Тургенев ему говорил: «Мы коллеги по литературе и подагре».

Лечился П. В. Шумахер от подагры, и вообще от всех болезней, баней. Парили его два банщика, поминутно поддавая на «каменку». Особенно он любил Сандуновские, где, выпарившись, отдыхал и даже спал часа два и всегда с собой уносил веник. Дома, отдыхая на диване, он клал веник под голову.

Последние годы жизни он провел в странноприимном доме Шереметева, на Сухаревской площади, где у него была комната. В ней он жил по зимам, а летом — в Кускове, где Шереметев отдал в его распоряжение «Голландский домик».

Стихи Шумахера печатались в журналах и издавались отдельно. Любя баню, он воспевал, единственный поэт, ее прелести вкусно и смачно.

Вот отрывки из его стихов о бане:

Мякнут косточки, все жилочки гудят,
С тела волглого окатышки бегут,

А с настреку вся спина горит,
Мне хозяйка смутны речи говорит.

Не ворошь ты меня, Танюшка,
Растомила меня банюшка,
Размягчила туги хрящики,
Разморила все суставчики.

В бане веник больше всех бояр,
Положи его, сухмяного, в запар,
Чтоб он был душистый и взбучистый,
Лопашистый и уручистый...

И залез я на высокий на полоч,
В мягкий, вольный, во малиновый парок.
Начал веничком я париться,
Шелковистым, хвостистым жариться.

А вот еще его стихи о том же:

Лишенный сладостных мечтаний,
В бесснльной злобе и тоске
Пошел я в Волковские бани
Распарить кости на полке.
И что ж? О радости! О приятство!
Я свой заветный идеал —
Свободу, равенство и братство —
В Торговых банях отыскал.

Стихотворение это, как иначе в те времена и быть не могло, напечатать не разрешили. Оно ходило по рукам и читалось с успехом на нелегальных вечеринках.

Я его вспомнил в Суконных банях, на Болоте, где было двадцатикопеечное «дворянское» отделение, излюбленное местным пучечеством.

Как-то с пожара на Татарской я доехал до Пятницкой части с пожарными, соскочил с багров и, прокопченный дымом, весь в саже, прошел в ближайшие Суконные бани.

Сунулся в «простонародное» отделение — битком набито, хотя это было в одиннадцать часов утра. Зато в «дворянских» за двугривенный было довольно просторно. В мыльне плескалось человек тридцать.

Банщик уж второй раз намылил мне голову и усиленно выскребал сажу из бороды и волос — тогда они у

меня еще были густы. Я сидел с закрытыми глазами и блаженствовал. Вдруг среди гула, плеска воды, шлепанья по голому телу я слышу громкий окрик:

— Идет!.. Идет!..

И в тот же миг банщик, не сказав ни слова, зашлепал по мокрому полу и исчез.

Что такое? И спросить не у кого — ничего не вижу. Ощупываю шайку — и не нахожу ее; оказалось, что банщик ее унес, а голова и лицо в мыле. Кое-как протираю глаза и вижу: суматоха! Банщики побросали своих клиентов, кого с намыленной головой, кого лежащего в мыле на лавке. Они торопятся налить из кранов шайки водой и становятся в две шеренги у двери в горячую парильню, высоко над головой подняв шайки.

Ничего не понимаю — и глаза мыло ест.

Тут отворяется широко дверь, и в сопровождении двух парильщиков с березовыми вениками в руках важно и степенно шествует могучая бородатая фигура с пробормом по середине головы, подстриженной в скобку.

И банщики, по порядку, один за другим выливают на него шайки с водой ловким взмахом, так, что ни одной капли мимо, приговаривая радостно и почтительно:

— Будьте здоровы, Петр Ионыч!

— С легким паром!

Через минуту банщик домывает мне голову и, не извинившись даже, будто так и надо было, говорит:

— Петр Ионыч... Губонин... Их дом рядом с Пятницкою частью, и когда в Москве — через день ходят к нам в эти часы... по рублевке каждому парильщику «на калач» дает.

ТРАКТИРЫ

«Нам трактир дороже всего!» — говорит в «Лесе» Аркашка Счастливец. И для многих москвичей трактир тоже был «первой вещью». Он заменял и биржу для коммерсантов, делавших за чашкой тысячные сделки, и столовую для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для всякого люда, и место деловых свиданий, и разгул для всех — от миллионера до босняка.

Словом, прав Аркашка:

— Трактир есть первая вещь!

Старейшими чисто русскими трактирами в Москве еще с первой половины прошлого столетия были три трактира: «Саратов», Гурина и Егорова. У последнего их было два: один в своем собственном доме, в Охотном ряду, а другой в доме миллионера Патрикеева, на углу Воскресенской и Театральной площадей. С последним Егорову пришлось расстаться. В 1868 году приказчик Гурина, И. Я. Тестов, уговорил Патрикеева, мечтавшего только о славе, отобрать у Егорова трактир и сдать ему. И вот, к великой купеческой гордости, на стене вновь отделанного роскошного, по тому времени, дома появилась огромная вывеска с аршинными буквами: «Большой Патрикеевский трактир». А внизу скромно: «И. Я. Тестов».

Заторговал Тестов, щеголяя русским столом.

И купечество, и барство валом повалило в новый трактир. Особенно бойко торговля шла с августа, когда

помещики со всей России везли детей учиться в Москву в учебные заведения и когда установилась традиция — пообедать с детьми у Тестова или в «Саратове» у Дубровина... откуда «жить пошла» со своим хором знаменитая «Анна Захаровна», потом блиставшая у «Яра».

После спектакля стояла очередь театральная публика. Слава Тестова забила Гурина и «Саратов». В 1876 году купец Карзинкин купил трактир Гурина, сломал его, выстроил огромный дом и составил «Товарищество Большой Московской гостиницы», отдал в нем роскошные залы и гостиницу с сотней великолепных номеров. В 1878 году открылась первая половина гостиницы. Но она не помешала Тестову, прибавившему к своей вывеске герб и надпись: «Поставщик высочайшего двора».

Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с Гурьинским трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым.

Кроме ряда кабинетов, в трактире были две огромные залы, где на часы обеда или завтрака именитые купцы имели свои столы, которые до известного часа никем не могли быть заняты.

Так, в левой зале крайний столик у окна с четырех часов стоял за миллионером Ив. Вас. Чижевым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал.

Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, сслянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбцей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстеган байдаковским пирогом — огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных

мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил.

— У меня этих разных фоли-жоли, да фрикасе-кура-се не полагается... По-русски едим — зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся.

И до преклонных лет в добром здравье дожил этот гурман.

Много их бывало у Тестова.

Передо мной счет трактира Тестова в тридцать шесть рублей с погашенной маркой и распиской в получении денег и подписями: «В. Далматов и О. Григорович». Число — 25 мая. Год не поставлен, но, кажется, 1897-й или 1898-й. Проездом из Петербурга зашли ко мне мой старый товарищ по сцене В. П. Далматов и его друг О. П. Григорович, известный инженер, москвич. Мы пошли к Тестову пообедать по-московски. В левом зале нас встречает патриарх половых, справивший со-рокалетний юбилей, Кузьма Павлович.

— Пожалуйте, Владимир Алексеевич, за пастуховский стол! Николай Иванович вчера уехал на Волгу рыбу ловить.

Садимся за средний стол, десяток лет занимаемый редактором «Московского листка» Пастуховым. В белоснежной рубаше, с бородой и головой чуть не белее рубашки, замер пред нами в выжидательной позе Кузьма, успевший что-то шепнуть двум подручным мальчуганам-половым.

— Ну-с, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста! Сооруди сперва водочки... К закуске чтобы банки да подносы, а не кот заплакал.

— Слушаю-с.

— А теперь сказывай, чем угостишь.

— Балычок получен с Дона... Янтаристый... С Кучугура. Так степным ветерком и пахнет...

— Ладно. Потом белорыбка с огурчиком...

— Манность небесная, а не белорыбка. Иван Яковлевич сами на даче провешивали. Икорка белужья парная... Паюсная ачуевская — калачики чуевские. Поросяночек с хреном...

— Я бы жареного с кашей, — сказал В. П. Далматов.

— Так холодного не надо-с?

И мигнул половому.

— Так, а чем покормишь?

— Конечно, тестовскую селянку, — заявил О. П. Григорович.

— Селяночку — с осетриной, со стерлядкой... живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, молчаловская.

— Расстегайчики закрой налимьими печенками...

— А потом я рекомендовал бы натуральные котлеты а ля Жардиньер. Телятина, как снег белая. От Александра Григорьевича Щербатова получаем-с, что-то особенное...

— А мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски, — улыбается В. П. Далматов.

— Всем поросенка... Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького, корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтела.

— А вот между мясным хорошо бы лососинку Грилье, — предлагает В. П. Далматов.

— Лососинка есть живенькая. Петербургская... Зеленцы пошерботить прикажете? Спаржа, как масло...

— Ладно, Кузьма, остальное все на твой вкус... Ведь не забудешь?

— Помилуйте, сколько лет служу!

И оглянулся назад.

В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню.

Моментально на столе выстроились холодная сморчковка во льду, английская горькая, шустровская рябиновка и портвейн Лева № 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое принесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымилась на черном хлебе и два серебряных жбана с

серой зернистой и блестяще-черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона.

— Кузьма, а ведь ты забыл меня.

— Никак нет-с... Извольте посмотреть.

На третьем подносе стояла в салфетке бутылка эля и три стопочки.

— Нешто можно забыть, помилуйте-с!

Начали по первоначалу «под селедочку».

— Для рифмы, как говаривал И. Ф. Горбунов: водка — селедка.

Потом под икру ачуевскую, потом под зернистую с крошечным расстегаем из налимьих печенок, по рюмке сперва белой холодной смирновки со льдом, а потом ее же, подкрашенной пикончиком, выпили английской под мозги и зубровки под салат оливье...

После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми...

Кузьма резал дымящийся окорок, подручные черпали серебряными ложками зернистую икру и раскладывали по тарелочкам. Розовая семга сменялась янтарным балыком... Выпили по стопке эля «для осадки». Постепенно закуски исчезали, и на месте их засверкали дорогого фарфора тарелки и серебро ложек и вилок, а на соседнем столе курилась селянка и розовели круглые расстегаи.

— Селяночки-с!..

И Кузьма перебросил на левое плечо салфетку, взял вилку и ножик, подвинул к себе расстегай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов расстегай в десятки узких ломтиков, разбегавшихся от цельного куска серой налимьей печенки на середине к толстым зарумяненным краям пирога.

— Розан китайский, а не пирог! — восторгался В. П. Далматов.

— Помилуйте-с, сорок лет режу, — как бы оправдывался Кузьма, принимаясь за следующий расстегай. — Сами Влас Михайлович Дорошевич хвалили меня за кройку розанчиком.

— А давно он был?

— Завтракали. Только перед вами ушли.
— Поросеночка с хреном, конечно, ели?
— Шесть окорочков под водочку изволили скушать.
Очень любят с хреном и со сметанкой.

Компания продолжала есть, а оркестрион в соседнем большом зале выводил:

Вот как жили при Аскольде
Наши деды и отцы...

Трактир Тестова был из тех русских трактиров, которые в прошлом столетии были в большой моде, а потом уже стали называться ресторанами. Тогда в центре города был только один «ресторан» — «Славянский базар», а остальные назывались «трактиры», потому что главным посетителем был старый русский купец. И каждый из городских трактиров в районе Ильинки и Никольской отличался своими обычаями, своим каким-нибудь особым блюдом и имел своих постоянных посетителей. И во всех этих трактирах прислуживали половые — ярославцы, в белых рубахах из дорогого голландского полотна, выстиранного до блеска. «Белорубашечники», «половые», «шестерки» их прозвания.

— Почему «шестерки»?

— Потому, что служат тузам, королям и дамам... И всякий валет, даже червонный, им приказывает... — объяснил мне старый половой Федотыч и, улыбаясь, добавил: — Ничего! Козырная шестерка и туза бьет!

Но пока «шестерка» станет козырной, много ей мытарств надо пройти.

В старые времена половыми в трактирах были, главным образом, ярославцы — «ярославские водохлебы». Потом, когда трактиров стало больше, появились половые из деревень Московской, Тверской, Рязанской и других соседних губерний.

Их привозили в Москву мальчиками в трактир, кажется, Соколова, где-то около Тверской заставы, куда трактирщики и обращались за мальчиками. Здесь была биржа будущих «шестерок». Мальчиков привозили обыкновенно родители, которые и заключали с трактирщиками контракт на выучку, лет на пять. Условия были разные, смотря по трактиру.

Мечта у всех — попасть в «Эрмитаж» или к Тестову. Туда брали самых ловких, смелых и грамотных ребяташек, и здесь они проходили свой трудный стаж на звание пологого.

Сначала мальчика ставили на год в судомойку. Потом, если найдут его понятливым, переводят в кухню — ознакоми́ть с подачей кушаний. Здесь его обучают названиям кушаний... В полгода мальчик наводится под опытным руководством поваров, и тогда на него надевают белую рубаху.

— Все соуса знает! — рекомендует главный повар.

После этого не менее четырех лет мальчик состоит в подручных, приносит с кухни блюда, убирает со стола посуду, учится принимать от гостей заказы и, наконец, на пятом году своего учения удостоивается получить лопаточник для марок и шелковый пояс, за который затыкается лопаточник, — и мальчик служит в зале.

К этому времени он обязан иметь поддюжины белых мадаполамовых, а кто в состоянии, то и голландского полотна рубах и штанов, всегда снежной белизны и не помятых.

Старые половые, посылаемые на крупные ресторанные заказы, имели фраки, а в единственном тогда «Славянском базаре» половые служили во фраках и назывались уже не половыми, а официантами, а гости их звали: «Человек!»

Потом «фрачники» появились в загородных ресторанах. Расчеты с буфетом производились марками. Каждый из половых получал утром из кассы на 25 рублей медных марок, от 3 рублей до 5 копеек штука, и, передавая заказ гостя, вносил их за кушанье, а затем обменивал марки на деньги, полученные от гостя.

Деньги, данные «на чай», вносились в буфет, где записывались и делились поровну. Но всех денег никто не вносил; часть, а иногда и большую, прятали, сунув куда-нибудь подальше. Эти деньги назывались у половых: подвенечные.

— Почему подвенечные?

— Это старина. Бывалоче, мальчишками в деревне копеечки от родителей в избе прятали, совали в пазы да в щели, под венцы, — объясняли старики.

Половые и официанты жалованья в трактирах и ресторанах не получали, а еще сами платили хозяевам из доходов или определенную сумму, начиная от трех рублей в месяц и выше, или 20 процентов с чаевых, вносимых в кассу.

Единственный трактир «Саратов» был исключением: там никогда хозяева, ни прежде Дубровин, ни после Савостьянов, не брали с половых, а до самого закрытия трактира платили и половым и мальчикам по три рубля в месяц.

— Чайные — их счастье. Нам чужого счастья не надо, а за службу мы платить должны, — говаривал Савостьянов.

Сколько часов работали половые, носясь по залам, с кухни и на кухню, иногда находящуюся внизу, а зал — в третьем этаже, и учесть нельзя. В некоторых трактирах работали чуть не по шестнадцати часов в сутки. Особенно трудна была служба в «простонародных» трактирах, где подавался чай — пять копеек пара, то есть чай и два куска сахара на одного, да и то заказчики экономили.

Садятся трое, распоясываются и заказывают: «Два и три!» И несет половой за гривеник две пары и три прибора. Третий прибор бесплатно. Да раз десять с чайником за водой сбегает.

— Чай-то жиденек, попроси подбавить! — просит гость.

Подбавят — и еще бегай за кипятком.

Особенно трудно было служить в извозчичьих трактирах. Их было очень много в Москве. Двор с колодами для лошадей — снаружи, а внутри — «каток» со снедью.

На катке все: и щековина, и сомовина, и свинина. Извозчик с холоду любил что пожирнее, и каленые яйца, и калачи, и ситнички подовые на отрубях, а потом обязательно гороховый кисель.

И многие миллионеры московские, вышедшие из бедноты, любили здесь полакомиться, старину вспомнить. А если сам не пойдет, то малого спосылает:

— Принеси-ка на двугривенный рубца. Да пару ситничков захвати или калачика!

А постом:

— Киселька горохового, да пусть пожирнее маслом попоснит!

И сидит в роскошном кабинете вновь отделанного амбара и наслаждается его степенство да недавнее прошлое свое вспоминает. А в это время о миллионных делах разговаривает с каким-нибудь иностранным комиссионером.

Извозчик в трактире и питается, и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь всухомятку. Чай да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда — пьянства. Раза два в день, а в мороз и три, питается и погрееется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью, и все это удовольствие стоит ему шестнадцать копеек: пять копеек чай, на гривенник снести до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит да у колоды приглядит.

В центре города были излюбленные трактиры у извозчиков: «Лондон» в Охотном, «Коломна» на Неглинном, в Брюсовском переулке, в Большом Кисельном и самый центральный в Столешниковом, где теперь высятся дом № 6 и где прежде ходили стада кур и большой рыжий дворовый пес Цезарь сидел у ворот и не пускал оборванцев во двор.

В каждом трактире был обязательно свой зал для извозчиков, где красовался увлекательный «каток», арендатор которого платил большие деньги трактирщику и старался дать самую лучшую провизию, чтобы привлекать извозчиков, чтобы они говорили:

— Едем в Столешников. Лучше «катка» нет!

И едут извозчики в Столешников потому, что там очень уж сомовина жирна и ситнички всегда горячие.

А в праздничные дни к вечеру трактир сплошь битком набит пьяными — места нет. И лавирует половой между пьяными столами, вывертываясь и изгибаясь, жонглируя над головой высоко поднятым подносом на ладони и на подносе иногда два и семь — то есть два чайника с кипятком и семь приборов.

И «на чай» посетители, требовавшие только чай, ничего не давали, разве только иногда две или три копейки, да и то за особую услугу.

— Малой, смотайся ко мне на фатеру да скажи самой, что я обедать не буду, в город еду, — приказывает сосед-подрядчик, и «малый» иногда по дождю и грязи, иногда в двадцатиградусный мороз, накинув на шею или на голову грязную салфетку, мчитсЯ в одной рубаше через улицу и исполняет приказание постоянного посетителя, которым хозяин дорожит. Одеваться некогда — по шее попадет от буфетчика.

Или извозчик приказывает:

— Сбегай-ка на двор, там в санях под седушкой вобла лежит. Принеси. Знаешь, моя лошадь, гнедая с лысинкой.

И бежит раздетый мальчуган между сотней лошадей извозничьего двора искать «гнедую с лысинкой» и «воблу под седушкой».

Сколько их заболело воспалением легких!

С пьяных получать деньги было прямо-таки подвигом, полчаса держит и ругается пьяный посетитель, пока ему протолкуешь.

А протолковать опытные ребята умели, и в этом доход их был.

И получить сумеют.

— Ну как, заправил?

— Петра-то Кирилыча? Так, махонького... А все-таки...

Сейчас еще жив сапожник Петр Иванович, который хорошо помнит этого, как я уже рассказывал, действительно существовавшего углицкого крестьянина Петра Кирилыча, так как ему сапоги шил. Петр Иванович каждое утро пьет чай в «Обжорке», где собираются старинные половые.

Московские купцы, любившие всегда над кем-нибудь посмеяться, говорили ему: «Ты, Петр, мне не заправляй Петра Кирилыча!» Но Петр Кирилыч иногда отвечал купцу — он знал кому и как ответить — так:

— И все-то я у вас на уме, все я. Это на пользу. Небось, по счетам когда платите, — сейчас обо мне вспоминаете, глянь, и наживете. И сами, когда счета покупателю пишете, тоже меня не забудете. На чаек бы с вашей милости!

И приходилось давать и уж больше не повторять своих купеческих шуток.

Этой чисто купеческой привычкой насмехаться и глумиться над беззащитными некоторые полковые умело пользовались. Они притворялись оскорбленными и выуживали «на чай». Был такой у Гурина полковой Иван Селедкин. Это была его настоящая фамилия, но он ругался, когда его звали по фамилии, а не по имени. Не то, что по фамилии назовут, но даже в том случае, если гость прикажет подать селедку, он свирепствует:

— Я тебе дам селедку! А по морде хочешь?

В трактире всегда сидели свои люди, знали это, и никто не обижался. Но едва не случилась с ним беда. Это было уже у Тестова, куда он перешел от Гурина. В зал пришел переведенный в Москву на должность начальника жандармского управления генерал Слезкин. Он с компанией занял стол и заказывал закуску. Получив приказ, полковой пошел за кушаньем, а вслед ему Слезкин крикнул командирским голосом:

— Селедку не забудь, селедку!

И на несчастье, из другой двери в это время входил Селедкин. Он не видел генерала, а только слышал слово «селедку».

— Я тебе, мерзавец, дам селедку! А по морде хочешь?

Угрожающе обернулся и замер.

Замерли и купцы.

У кого ложка остановилась у рта. У кого разбилась рюмка. Кто поперхнулся и задыхался, боясь кашлянуть.

Чем кончилось это табло — неизвестно. Знаю только, что Селедкин продолжал свою службу у Тестова.

В трактире Егорова, в Охотном, славившемся блинами и рыбным столом, а также и тем, что в трактире не позволяли курить, так как хозяин был по старой вере, был полковой Козел.

Старик с огромной козлиной седой бородой, да еще тверской, был прозван весьма удачно и не выносил этого слова, которого вообще тверцы не любили. Охотно-рядские купцы потешались над ним обыкновенно так: занимали стол, заказывали еду, а посреди стола клали незавязанный пакет. Когда старик ставил кушанье и

брал пакет, чтоб освободить место для посуды, он снимал сверху бумагу — а там игрушечный козел! Схватывал старик этого козла и с руганью бросал об пол. Но если игрушка была ценная, из хорошего магазина, он схватывал, убегал и прятал ее. А в следующий раз купцы опять покупали козла. Под старость Козел служил в «Монетном» у Обухова, в Охотном ряду, где в старину был монетный двор.

Был в трактире у «Арсентьича» половой, который не выносил слова «лимон». Говорят, что когда-то он украл на складе мешок лимонов, загулял у девочек, а они мешок развязали и вместо лимонов насыпали гнилого картофеля.

Много таких предметов для насмешек было, но иногда эти насмешки и горем отзывались. Так, половой в трактире Лопашова, уже старик, действительно не любил, когда ему с усмешкой заказывали поросенка. Это напоминало ему горький случай из его жизни.

Приехал он еще в молодости в деревню на побывку к жене, привез гостинцев. Жена жила в хате одна и кормила небольшого поросенка. На несчастье, когда муж постучался, — у жены в гостях был любовник. Испугалась, спрятала она под печку любовника, впустила мужа и не знает, как быть. Тогда она отворила дверь, выгнала поросенка в сени, из сеней на улицу да и закричала мужу:

— Поросенок убежал, лови его!

И сама побежала с ним. Любовник в это время ушел, а сосед всю эту историю видел и рассказал ее в селе, а там односельчане привезли в Москву и дразнили несчастного до старости... Иногда даже плакал старик.

Трактир Лопашова, на Варварке, был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову.

Лысый, с подстриженными усами, начисто выбритый, всегда в черном дорогом сюртуке, Алексей Дмитриевич Лопашов пользовался уважением и одинаково любезно относился к гостям, кто бы они ни были. В верхнем этаже трактира был большой кабинет, на-

зывается «русская изба», убранный расшитыми полотенцами и деревянной резьбой. Посредине стол на двенадцать приборов, с шитой русской скатертью и вышитыми полотенцами вместо салфеток. Сервировался он старинной посудой и серебром; чашки, кубки, стопы, стопочки петровских и ранее времен. Меню — тоже допетровских времен.

Здесь давались небольшие обеды особенно знатым иностранцам; кушанья французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду с надписью — фряжское, фалернское, мальвазия, греческое и т. п., а для шампанского подавался огромный серебряный жбан, в ведро величиной, и черпали вино серебряным ковшом, а пили кубками.

Раз только Алексей Дмитриевич изменил меню в «русской избе», сохранив всю обстановку.

Неизменными посетителями этого трактира были все московские сибиряки. Повар, специально выписанный Лопашовым из Сибири, делал пельмени и строганину. И вот как-то, в восьмидесятых годах, съехались из Сибири золотопромышленники самые крупные и обедали по-сибирски у Лопашова в этой самой «избе», а на меню стояло: «Обед в стане Ермака Тимофеевича», и в нем значились только две перемены: первое — закуска и второе — «сибирские пельмени».

Никаких больше блюд не было, а пельменей на двенадцать обедавших было приготовлено 2500 штук; и мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском... И хлебали их сибиряки деревянными ложками...

У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики. Приходили с покупателями, главным образом, крупными провинциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю.

Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. Сахар считался тогда скоромным: через говяжью кость перегоняют!

И вот за этим чаем, в пятиалтынный, вершили дела на десятки и сотни тысяч. И только тогда, когда кончали дело, начинали завтрак или обед, продолжать который переходили в кабинеты.

Таков же был трактир и «Арсентьича» в Черкасском переулке, славившийся русским столом, ветчиной, осетриной и белугой, которые подавались на закуску к водке с хреном и красным хлебным уксусом, и нигде вкуснее не было. Щи с головизной у «Арсентьича» были изумительные и Гл. И. Успенский, приезжая в Москву, никогда не миновал ради этих щей «Арсентьича».

За ветчиной, осетриной и белугой в двенадцать часов посылали с судками служащих те богатые купцы, которые почему-либо не могли в данный день пойти в трактир и принуждены были завтракать у себя в амбарах.

Это был самый степенный из всех московских трактиров, кутежей в нем не было никогда. Если уж какая-нибудь компания и увлечется лишней чаркой водки благодаря «хренку с уксусом» и горячей ветчине, то вовремя перебирается в кабинеты к Бубнову или в «Славянский базар», а то и прямо к «Яру».

Купцы обыкновенно в трактир идут, в амбар едут, а к «Яру» и вообще «за заставу» — попадают!

У «Арсентьича» было сытно и «омашнисто». Так же как в знаменитом Егоровском трактире, с той только разницей, что здесь разрешалось курить. В Черкасском переулке в восьмидесятых годах был еще трактир, кажется Пономарева, в доме Карташева. И домика этого давно нет. Туда ходила порядочная публика.

Во втором зале этого трактира, в переднем углу, под большим образом с неугасимой лампадой, за отдельным столиком целыми днями сидел старик, нечесаный, небритый, редко умывающийся, чуть не оборванный... К его столику подходят очень приличные, даже богатые, известные Москве люди. Некоторым он предлагает сесть. Некоторые от него уходят радостные, некоторые — очень огорченные.

А он сидит и пьет давно остывший чай. А то вынет пачки серий или займов и режет купоны.

Это был владелец дома, первогильдейский купец Григорий Николаевич Карташев. Квартира его была рядом с трактиром, в ней он жил одиноко, спал на голой лежанке, положив под голову что-нибудь из платья. В квартире никогда не натирали полов и не мели.

Ночи он проводил в подвалах, около денег, как «скупой рыцарь». Вставал в десять часов утра и аккуратно в одиннадцать часов шел в трактир. Придет. Сядет. Подзовет полового.

— Вчерашних щец кухонных осталось?

— Должно, осталось.

— Велика разогреть... А ежели кашка осталась, так и каши...

Поест — это на хозяйский счет, — а потом чайку спросит за наличные:

— Чайку одну парочку за шесть копеек да копеечную сигару.

Является заемщик. Придет, сядет.

— Чего хочешь?

— Выпил бы чайку.

— Ну и спрашивай себе. За чай и за сигарку заплати сам.

И заемщик должен себе спросить чаю, тоже пару, за шесть копеек. А если спросит полпорции за тридцать копеек или закажет вина или селянку — разговоры кончены:

— Ишь ты, какой роскошный! Уходи вон, таким транжирам денег не даю. — И выгонит.

Это все знали, и являвшийся к нему богатый купец или барин-делец курил копеечную сигару и пил чай за шесть копеек, затем занимал десятки тысяч под вексель. По мелочам Карташев не любил давать. Он брал огромные проценты, но обращаться в суд избегал, и были случаи, что деньги за должниками пропадали.

Вечером за ним приходил его дворник Квасов и уводил его домой.

Десятки лет такой образ жизни вел Карташев, не посещая никого, даже свою сестру, которая была замужем за стариком Обидиным, тоже миллионером, унаследовавшим впоследствии и карташевские миллионы.

Только после смерти Карташева выяснилось, как он жил: в его комнатах, покрытых слоями пыли, в мебели, за обоями, в отдушинах найдены были пачки серий, кредиток, векселей. Главные же капиталы хранились в огромной печи, к которой было прилажено нечто вроде гильотины: заберется вор — пополам его перерубит.

В подвалах стояли железные сундуки, где вместе с огромными суммами денег хранились груды огрызков сэкономленного сахара, стащенные со столов куски хлеба, баранки, веревочки и грязное белье.

Найдены были пачки просроченных векселей и купонов, дорогие собольи меха, съеденные молью, и рядом — свертки полуимпериалов более чем на 50 тысяч рублей. В другой пачке — на 150 тысяч кредитных билетов и серий, а всего состояния было более 30 миллионов.

В городе был еще один русский трактир. Это в доме Казанского подворья, по Ветошному переулку, трактир Бубнова. Он занимал два этажа громадного дома и бельэтаж с анфиладой роскошно отделанных зал и уютных отдельных кабинетов.

Это был трактир разгула, особенно отдельные кабинеты, где отводили душу купеческие сынки и солидные бородачи-купцы, загулявшие вовсю, на целую неделю, а потом жаловавшиеся с похмелья:

— Ох, трудна жизнь купечкая: день с приятелем, два с покупателем, три дня так, а в воскресенье разрешение вина и елея и — к «Яру» велели...

К Бубнову переходили после делового завтрака от Лопашова и «Арсентьича», если лишки за галстук перекладывали, а от Бубнова уже куда угодно, только не домой. На неделю разгул бывал. Много было таких загуливающих типов. Один, например, пьет мрачно по трактирам и притонам, безобразничает и говорит только одно слово:

— Скольки?

Вынимает бумажник, платит и вдруг ни с того ни с сего схватит бутылку шампанского и — хлесть ее в зеркало. Шум. Грохот. Подбегает прислуга, буфетчик. А он хладнокровно вынимает бумажник и самым деловым тоном спрашивает:

— Скольки?

Платит, не торгуясь, и снова бьет...

А то еще один из замоскворецких, загуливавших только у Бубнова и не выходивших дня по два из кабинетов, раз приезжает ночью домой на лихаче с приятелем. Ему отворяют ворота — подъезд его дедовского

дома был со двора, а двор был окружен высоким деревянным забором, а он орет:

— Не хочу в ворота, ломай забор! Не поеду!

Хозяйское слово крепко и кулак его тоже.

Затворили ворота, сломали забор, и его степенство победоносно въехало во двор, и на другой день никакого раскаяния, купеческая удаль еще дальше разгулялась. Утром жена ему начинает выговор делать, а он на нее с кулаками:

— Кто здесь хозяин? Кто? Ежели я хочу как, так тому и быть!

— А вы бы, Макарий Паисиевич, в баньку сходили — помылись бы. Полегчает...

— Желаю! Мыться!

— А я баньку велю истопить.

— Не хочу баню! Топи погреб!

И добился того, что в погребе стали печку ставить и на баню переделывать...

Но Бубновский верх еще был приличен. Нижний же этаж нечто неподобное.

— Что у тебя рожа на боку и глаз не глядит?

— Да так вчера вышло...

— Аль в «дыру» попал?

— Угодил!

Нижняя половина трактира Бубнова другого названия и не имела:

— Дыра.

Бубновская «дыра».

Благодаря ей и верхнюю, чистую часть тоже называли «дыра». Под верхним трактиром огромный подземный подвал, куда ведет лестница больше чем в двадцать ступеней. Старинные своды невероятной толщины — и ни одного окна. Освещается газом. По сторонам деревянные каютки — это «каморки», полутемные и грязные. По середине стол, над которым мерцает в табачном дыме газовый рожок.

Вокруг стола четыре деревянных стула. В залах на столах такие же грязные скатерти. Такие же стулья.

Гостинодворское купечество, ищущее «за грош да

пошире» или «пошире да за грош», начинает здесь гулянье свое с друзьями и такими же покупателями с десяти утра. Пьянство, гвалт и скандалы целый день до поздней ночи. Жарко от газа, душно от табаку и кухни. Песни, лагот, ругань. Приходится только пить и на ухо орать, так как за шумом разговаривать, сидя рядом, нельзя. Ругайся, как хочешь, — женщины сюда не допускались. И все лезет новый и новый народ. И как не лезть, когда здесь все дешево: порции огромные, водка рубль бутылка, вина тоже от рубля бутылка, разные портвейны, мадеры, лиссабонские московской фабрикации вплоть до ланинского двухрублевого шампанского, про которое тут же и песню пели:

От ланинского редерера
Трещит и лухнет голова...

Пили и ели потому, что дешево, и никогда полиция не заглянет, и скандалы кончаются тут же, а купцу главное, чтобы «сокровенно» было. Ни в одном трактире не было такого гвалта, как в бубновской «дыре».

В «городе» более интересных трактиров не было, кроме разве явившегося впоследствии в подвалах Городских рядов «Мартьяныча», рекламировавшего вовсю и торговавшего на славу, повторяя собой во всех отношениях бубновскую «дыру».

Только здесь разгул увеличивался еще тем, что сюда допускался и женский элемент, чего в «дыре» не было.

Фешенебельный «Славянский базар» с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры, и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и... аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в двадцатирублевых номерах.

Ход из номеров был прямо в ресторан, через коридор отдельных кабинетов.

Сватайся и женись.

Обеды в ресторане были непопулярными, ужины — тоже. Зато завтраки, от двенадцати до трех часов, были модными, как и в «Эрмитаже». Купеческие компании после «трудов праведных» на бирже являлись сюда во втором часу и, завершив за столом миллионные сделки,

и трех часам уходили. Оставшиеся после трех кончали «журавлями».

— Завтракали до «журавлей», — было поговоркой.

И люди понимающие знали, что значит, завтрак был в «Славянском базаре», где компания, закончив шампанским и кофе с ликерами, требовала «журавлей».

Там назывался запечатанный хрустальный графин, разрисованный золотыми журавлями, и в нем был превосходный коньяк, стоивший пятьдесят рублей. Кто платил за коньяк, тот и получал пустой графин на память. Был даже некоторое время спорт коллекционировать эти пустые графины, и один конноведчик собрал их семь штук и показывал свое собрание с гордостью.

Здание «Славянского базара» было выстроено в семидесятых годах А. А. Порожовичковым, и его круглый двухцветный зал со стеклянной крышей очень красив.

Сидели однажды в «Славянском базаре» за завтраком два крупных афериста. Один другому и говорит:

— Видишь, у меня в тарелке какие-то решетки... Что это значит?

— Это значит, что не минешь ты острога! Предназначение!

А в тарелке ясно отразились переплеты окон стеклянного потолка.

Были еще рестораны загородные, из них лучшие — «Яр» и «Стрельна», летнее отделение которой называлось «Мавритания». «Стрельна», созданная И. Ф. Натрушкиным, представляла собой одну из достопримечательностей тогдашней Москвы — она имела огромный зимний сад. Столетние тропические деревья, гроты, скалы, фонтаны, беседки и — как полагается — кругом кабинеты, где всевозможные хоры.

«Яр» тогда содержал Аксенов, толстый бритый человек, весьма удачно прозванный «Апельсином». Он очень гордился своим пушкинским кабинетом с бюстом великого поэта, который никогда здесь и не был, а если и писал

И с телятиной холодной!
Трюфли «Яра» вспоминать...

то это было сказано о старом «Яре», помещавшемся в пушкинские времена на Петровке.

Был еще за Тверской заставой ресторан «Эльдорадо» Скалкина, «Золотой якорь» на Ивановской улице под Сокольниками, ресторан «Прага», где Тарарыкин сумел соединить все лучшее от «Эрмитажа» и Тестова и даже перешеголял последнего расстегаями «пополам» — из стерляди с осетриной. В «Праге» были лучшие биллиарды, где велась приличная игра.

Когда пошло увлечение модой и многие из трактиров стали называться «ресторанами» — даже «Арсентьич», перейдя в другие руки, стал именоваться в указателе официально «Старочеркасский ресторан», а публика шла все также в «трактир» к «Арсентьичу».

Много потом наплодилось в Москве ресторанов и мелких ресторанчиков, вроде «Италии», «Ливорно», «Палермо» и «Татарского» в Петровских линиях, впоследствии переименованного в гостиницу «Россия». В них было очень дешево и очень скверно. Впрочем, исключением был «Петергоф» на Моховой, где Разживин ввел дешевые дежурные блюда на каждый день, о которых публиковал в газетах.

«Сегодня в понедельник — рыбная селянка с расстегаем. Во вторник — фляки... По средам и субботам — сибирские пельмени... Ежедневно шашлык из карачаевского барашка».

Популяризировал шашлык в Москве Разживин. Первые шашлыки появились у Автандилова, державшего в семидесятых годах первый кавказский погребок с кахетинскими винами в подвальчике на Софийке. Потом Автандилов переехал на Мясницкую и открыл винный магазин. Шашлыки надолго прекратились, пока в восьмидесятых — девяностых годах, в Черкасском переулке, как раз над трактиром «Арсентьича» кавказец Сулханов не открыл без всякого патента при своей квартире кавказскую столовую с шашлыками и — тоже тайно — с кахетинскими винами, специально для приезжих кавказцев. Потом стали ходить и русские. По знакомым он распространял свои визитные карточки:

«К. Сулханов. Племянник князя Аргутинского-Долгорукова» и свой адрес.

Всякий посвященный знал, зачем он идет по этой карточке. Дело разрослось, но косились враги-конкуренты. Кончилось протоколом и закрытием. Тогда Разживин пригласил его открыть кухню при Петергофе.

Заходили опять по рукам карточки «племянника князя Аргутинского-Долгорукова» с указанием «Петергофа», и дело пошло великолепно. Это был первый шашлычник в Москве, а за ним наехало сотни кавказцев, шашлыки стали модными.

Были еще немецкие рестораны, вроде «Альпийской розы» на Софийке, «Билло» на Большой Лубянке, «Берлин» на Рождественке, Дюссо на Неглинном, но они не типичны для Москвы, хотя кормили в них хорошо и подавалось кружками настоящее пильзенское пиво.

Из маленьких ресторанов была интересна на Кузнецком мосту в подвале дома Тверского подворья «Венеция». Там в отдельном зале с запиравшеюся дверью собирались деды нашей революции. И удобнее места не было: в одиннадцать часов ресторан запирался, публика расходилась — и тут-то и начинались дружеские беседы в этом небольшом с завешенными окнами зале.

Закрота кухня, закрыт буфет, и служит самолично только единственный хозяин ресторана, Василий Яковлевич, чуть не молившийся на каждого из посетителей малого зала... Подавались только водка, пиво и холодные кушанья. Пивали иногда до утра.

— Отдохновенно и сокровенно у меня! — говаривал Василий Яковлевич.

Приходили поодиночке и по двое и уходили так же через черный ход по пустынным ночью Кузнецкому мосту и Газетному переулку (тогда весь переулок от Кузнецкого моста до Никитской назывался Газетным), до Тверской, в свои «Черныши» и дом Олсуфьева, где обитали и куда приезжали и приходили переночевать нелегальные...

В «малом зале», как важно называл эту комнатенку со сводами Василий Яковлевич, за большим столом, освещенным газовой люстрой, сидели огромные бородатые и волосатые фигуры: П. Г. Зайчневский, М. И. Мишля-Орфанов, Ф. Д. Нефедов, Н. Н. Златовратский, С. А. Приклонский. Среди них щупленький, с интеллигентско-ру-

сой бородкой Н. М. Астырев, тогда читавший там корректуры своей книги «В волостных писарях». Затем крошечный, бритый актер Вася Васильев, попавшийся было по делу 193-х, но случайно выкрутившийся. Его настоящая фамилия была Шведевенгер, но об этом знали только немногие. Изредка бывал здесь В. А. Гольцев, раз был во время какого-то побега Герман Лопатин. Собирались здесь года два, а потом все разбрелись, а Василий Яковлевич продолжал торговать, и к нему всякий из выпесказанных, бывая в Москве, считал своим долгом зайти, а иногда и перехватить деньжонок на дорогу.

Вася Васильев принес как-то только что полученный № 6 «Народной воли», и поздно ночью его читали вслух, не стесняясь Василия Яковлевича. Когда Мишла прочел напечатанное в этом номере стихотворение П. Я. (Якубовича) «Матери», Василий Яковлевич со слезами на глазах просил его списать, но Вася Васильев отдал ему весь номер.

— Сколько позвольте заплатить, Василий Васильевич?

— Сколько хотите. Эти деньги пойдут на помощь политическим заключенным.

— Сейчас.

Василий Яковлевич исчез и принес радужную сторублевку.

— На такое великое дело извольте получить.

Только этим и памятен был ресторанчик «Венеция», днем обслуживающий прохожих на Кузнецком мосту среднего класса и служащих в учреждениях, а шатающаяся франтоватая публика не устаивала вниманием дешевого ресторанишка, предпочитая ему кондитерские или соседнюю «Альпийскую розу» и «Билло».

Рестораном еще назывался трактир «Молдавия» в Грузинах, где днем и вечером была обыкновенная публика, пившая водку, а с пяти часов утра к грязному крыльцу деревянного голубовато-серого дома подъезжали лихачи-одиночки, пары и линейки с цыганами.

Это был цыганский трактир. После «Яра», «Стрельны» и «Эльдорадо» цыгане, жившие в Грузинах, приезжали сюда «пить чай», а с ними и их поклонники.

. А невдалеке от «Молдавии», на Большой Грузинской, в доме Харламова, в эти же часы оживлялся более скромный трактир Егора Капкова. В шесть часов утра чистый зал трактира сплошь был полон фрачной публикой. Это официанты загородных ресторанов, кончавшие свою трудовую ночь, приезжали кутнуть в своем кругу: попить чайку, выпить водочки, съесть селяночку с капустой. И насмотревшись за ночь на важных гостей, сами важничали и пробирали половых в белых рубашках за всякую ошибку и даже иногда, подражая тем, которым они служили час назад, важно подзывали половых:

— Человек, это тебе на чай.

И давал гривенник «человек» во фраке «человеку» в рубашке. Фрак прибавлял ему кавычки. А мальчиков половых экзаменовали. Подадут чай, а старый буфетчик колотит ногтем указательного пальца себя по зубам:

— Дай железные!

Или прикажет:

— Дай мне в зубы, чтобы дым пошел!

И опытный мальчик подает ему щипчики для сахара, приносит папиросы и зажигает спичку.

На углу Остоженки и 1-го Зачатьевского переуллка в первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак да еще пристройки на крыше были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом — гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик И. Е. Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный, по его собственному плану, под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу лавки, второй этаж под «дворянские» залы трактира с массой отдельных кабинетов, а третий простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик, что

в нем помещалось больше ста столов, и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а сверху эстрада для песенников и гармонистов. Один гармонист заиграет, а сорок человек пляшут.

А над домом по-прежнему носились тучи голубей, потому что и Красовский и его сыновья были такими же любителями, как и Шустровы, и у них под крышей также была выстроена голубятня. «Голубятня» — так звали трактир, и никто его под другим именем не знал, хотя официально он так не назывался, и в печати появилось это название только один раз, в московских газетах в 1905 году, в заметке под заглавием: «Арест революционеров в «Голубятне»».

Еще задолго до 1905 года уютные и сокровенные от надзора полиции кабинеты «Голубятни» служили местом сходов и встреч тогдашних революционеров, а в 1905 году там бывали огромные митинги.

Очень уж удобные залы выстроил Красовский. Здесь по утрам, с пяти часов, собирались лакеи, служившие по ужинам, обедам и свадьбам, делить доходы и пить водку. Здесь справлялись и балы, и игрались «простонародные» свадьбы, и здесь собиралась «вязка», где шайка аукционных скупщиков производила расчеты со своими подручными, сводившими аукционы на нет и отбивавшими охоту постороннему покупателю пробовать купить что-нибудь на аукционе: или из-под рук вырвут хорошую вещь, или дрянь в такую цену вгонят, что навсегда у всякого отобьют охоту торговаться. Это на их жаргоне называлось: «надеть чугунную шляпу».

Кроме этой полупочтенной ассоциации «Чугунных шляп», здесь раза два в месяц происходили петушинные бои. В назначенный вечер часть зала отделялась, посредине устраивалась круглая арена, наподобие цирковой, кругом уставлялись скамьи и стулья для зрителей, в число которых допускались только избранные, любители этого старого московского спорта, где, как впоследствии на бегах и скачках, существовал своего рода тотализатор — держались купные пари за победителя.

К известному часу подъезжали к «Голубятне» богатые купцы, но всегда на извозчиках, а не на своих

рысаках, для конспирации, поднимались во 2-й этаж, проходили мимо ряда закрытых кабинетов за буфет, а оттуда по внутренней лестнице пробирались в отгороженное помещение и занимали места вокруг арены. За ними один за одним входили через этот зал в отдельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники приносили своих петухов, английских бойцовых, без гребней и без бородок, с остро отточенными шпорами. Начинался отчаянный бой. Арена обливалась кровью. Одичалые зрители, с горящими глазами и судорогами на лице, то замирали, то ревели по-звериному. Кого-кого здесь не было: и купечество именитое, и важные чиновники, и богатые базарные торгаши, и театральные барышники, и «Чугунные шляпы».

Пари иногда доходили до нескольких тысяч рублей. Фаворитами публики долгое время были выписанные из Англии петухи мучника Ларионова, когда-то судившегося за поставку гнилой муки на армию, но на своих петухах опять выскочившего в кружок богатеев, простивших ему прошлое «за удачную петушиную охоту». Эти бои оканчивались в кабинетах и залах второго этажа трактира грандиознейшей попойкой.

Сам Красовский был тоже любитель этого спорта, дававшего ему большой доход по трактиру. Но последнее время, в конце столетия, Красовский сделался ненормальным, больше проводил время на «Голубятне», а если являлся в трактир, то ходил по залам с безумными глазами, распевал псалмы, и... его, конечно, растащили: трактир, когда-то «золотое дно», за долги перешел в другие руки, а Красовский кончил жизнь почти что нищим.

Кроме «Голубятни», где-то за Москвой-рекой тоже происходили петушьи бои, но там публика была сбродная. Дрались простые русские петухи, английские бойцовые не допускались. Этот трактир назывался «Ловушка». В грязных закоулках и помойках со двора был вход в холодный сарай, где была устроена арена и где публика была еще азартнее и злее.

Третье место боев была «Волна» на Садовой — уж совсем разбойничий притон, наполненный сбродом таинственных ночлежников.

Среди московских трактиров был один единственный, где раз в году, во время весеннего разлива, когда с верховьев Москвы-реки приходили плоты с лесом и дровами, можно было видеть деревню. Трактир этот, обширный и грязный, был в Дорогомилове, как раз у Бородинского моста, на берегу Москвы-реки.

Эти несколько дней прихода плотов были в Дорогомилове и гулянкой для москвичей, запруживавших и мост и набережную, любуясь на работу удальцов-сгонщиков, ловко проводивших плоты под устоями моста, рискуя каждую минуту разбиться и утонуть.

У Никитских ворот, в доме Боргеста, был трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бумагой клетками с соловьями, и по вечерам и рано утром сюда сходились со всей Москвы любители слушать соловьиное пение. Во многих трактирах были клетки с певчими птицами, как, например, у А. Павловского на Трубе и в Охотничьем трактире на Неглинной. В этом трактире собирались по воскресеньям, приходя с Трубной площади, где продавали собак и птиц, известные московские охотники.

А. Т. Зверев имел два трактира — один в Гавриковом переулке «Хлебная биржа». Там заседали оптовики-миллионеры, державшие в руках все хлебное дело, и там делались все крупные сделки за чайком. Это был самый тихий трактир. Даже голосов не слышно. Солидные купцы делают сделки с уха на ухо, разве иногда прозвучит:

— Натура сто двадцать шесть...

— А овес?

— Восемьдесят.

И то и дело получают они телеграммы своих агентов из портовых городов о ценах на хлеб. Иной поморщится, прочитав телеграмму, — убыток. Но слово всегда было верно, назад не попятится. Хоть разорится, а слово сдержит...

На столах стоят мешочки с пробой хлеба. Масса мешочков на вешалке в прихожей... И на столах, в часы

биржи, кроме чая — ничего... А потом уж, после «делов», завтракают и обедают.

Другой трактир у Зверева был на углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме доктора А. С. Левенсона, отца известного впоследствии типографа и арендатора афиш и изданий казенных театров Ал. Ал. Левенсона.

Здесь в дни аукционов в ломбардах и ссудных кассах собиралась «вязка». Это — негласное, существовавшее все-таки с ведома полиции, но без официального разрешения, общество маклаков, являвшихся на аукцион и сбивавших цены, чтобы купить даром ценные вещи, что и ухитрялись делать. «Вязка» после каждого аукциона являлась к Звереву, и один из залов представлял собой странную картину: на столах золото, серебро, бронза, драгоценности, на стульях материи, из карманов вынимают, показывают и перепродают часы, ожерелья. Тут «вязка» сводит счеты и делит между собой барыши и купленные вещи. В свою очередь, в зале толкуются другие маклаки, сухаревские торговцы, которые скупают у них товар... Впоследствии трактир Зверева был закрыт, а на его месте находилась редакция «Русского слова», тогда еще маленькой газетки.

Сотрудники газет и журналов тогда не имели своего постоянного трактира. Зато «фабрикаторы народных книг», книжники и издатели с Никольской, собирались в трактире Колгушкина на Лубянской площади, и отсюда шло «просвещение» сермяжной Руси. Здесь сходились издатели: И. Морозов, Шарапов, Земский, Губанов, Манухин, оба Абрамовы, Преснов, Ступин, Наумов, Фадеев, Желтов, Живарев. Каждая из этих фирм ежегодно издавала по десяти и более «званий», то есть наименований книг, — от листовки до книжки в шесть и более листов, в раскрашенной обложке, со страшным заглавием, и ценою от полутора рублей за сотню штук. Печаталось каждой не менее шести тысяч экземпляров. Здесь-то, за чайком, издатели и давали заказы «писателям».

«Писатели с Никольской!» — их так и звали,

Стены этих трактиров видали и крупных литераторов, прибежавших к «издателям с Никольской» в минуту карманной невзгоды. Большею частью сочинители были из выгнанных со службы чиновников, офицеров, некончивших студентов, семинаристов, сынов литературной богемы, отвергнутых корифеями и дельцами тогдашнего литературного мира.

Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с одним из таких сочинителей.

— Мне бы надо новую «Битву с кабардинцами».

— Можно, Денис Иванович.

— Поскорей надо. В неделю напишешь?

— Можно-с... На сколько листов?

— Листов на шесть. В двух частях издам.

— Ладно-с. По шести рубликов за лист.

— Жирно, облопаешься. По два!

— Ну хорошо, по пяти возьму.

Сторгуются, и сочинитель через две недели приносит книгу.

За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах...

— Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и «Ледяной дом», и «Басурман» и «Граф Монтекристо», и «Три мушкетера» и «Юрий Милославский». Но ведь это вовсе не то, что писали Дюма, Загоскин, Лажечников. Ведь там черт знает какая отсебятина нагорожена... У авторов косточки в гробу перевернулись бы, если бы они узнали.

— Ну-к што ж. И у меня они есть. У каждого свой и «Юрий Милославский», и свой «Монтекристо» — и подписи: Загоскин, Лажечников, Дюма. Вот я за тем тебя и позвал. Напиши мне «Тараса Бульбу».

— То есть как «Тараса Бульбу»? Да ведь это Гоголя!

— Ну-к што ж. А ты напиши, как у Гоголя, только измени малость, по-другому все поставь да поменьше сделай, в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а не какой не другой. И всякому лестно будет, какая, мол, это новая такая Бульба! Тут, брат, важно заглавие, а содержание — наплевать, все равно прочтут, коли деньги заплачены. И за контрафакцию не привле-



Типы Хитровки.



Московский извозчик.

кут, и все-таки Бульба — он Бульба и есть, а слова-то другие.

После этого разговора, действительно, появился «Тарас Бульба» с подписью нового автора, так как Морозов самовольно поставил фамилию автора, чего тот уж никак не мог ожидать!

Там, где до 1918 года было здание гостиницы «Националь», в конце прошлого века стоял дом постройки допетровских времен, принадлежавший Фирсанову, и в нижнем этаже его был излюбленный палаточными торговцами Охотного ряда трактир «Балаклава» Егора Круглова.

— Где сам? — спрашивают приказчика.

— В пещере с покупателем.

Трактир «Балаклава» состоял из двух низких, полутемных залов, а вместо кабинетов в нем были две пещеры: правая и левая.

Это какие-то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки, каковыми, вероятно, они и были, судя по необыкновенной толщине сводов с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями.

По другую сторону площади, в узком переулке за Лоскутной гостиницей существовал «низок» — трактир Когтева «Обжорка», где чаевничали разносчики и мелкие служащие да заседали два-три самых важных «аблаката от Иверской». К ним приходили писать прошения всякого сорта люди. Это было «народное юридическое бюро».

За отдельным столиком заседал главный, выгнанный за пьянство крупный судебный чин, который строчил прошения приходившим к нему сюда богатым купцам. Бывали случаи, что этого великого крючкотворца Николая Ивановича посещал здесь знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако.

Кузнецкий мост через Петровку упирается в широкий раструб узкого Кузнецкого переуллка. На половине раструба стоял небольшой старый деревянный флигель с антресолями, окрашенный охрой. Такие дома оставались только на окраинах столицы. Здесь же, в

окружении каменных домов с зеркальными стеклами, кондитерской Трамбле и огромного Солодовниковского пассажа, этот дом бросался в глаза своей старомодностью.

Многие десятки лет над крыльцом его, — не подъездом, как в соседних домах, а деревянным, самым захолустным крыльцом с четырьмя ступеньками и деревянными перильцами, — тускнела вывесочка: «Трактир С. С. Щербакова». Владелец его был любимец всех актеров — Спиридон Степанович Щербаков, старик в долгополом сюртуке, с бородой лопатой. Великим постом «Щербаки» переполнялись актерами, и все знаменитости того времени были его неизменными посетителями, относились к Спиридону Степановичу с уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, спрашивался о тех, кто еще не приехал в Москву на великий пост. Здесь бывали многие корифеи сцены: Н. К. Милославский, Н. Х. Рыбаков, Павел Никитин, Полтавцев, Григоровский, Васильевы, Дюков, Смольков, Лаухин, Медведев, Григорьев, Андреев-Бурлак, Писарев, Киреев и наши московские знаменитости Малого театра. Бывали и драматурги и писатели того времени: А. Н. Островский, Н. А. Чаев, К. А. Тарновский.

Завсегдатаями «Щербаков» были и братья Кондратьевы, тогда еще молодые люди, о которых ходили стихи:

И один из этих братьев
Был по имени Иван,
По фамилии Кондратьев,
По прозванью Атаман.

Старик Щербаков был истинным другом актеров и в минуту безденежья, обычно к концу великого поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу.

Трактир этот славился расстегаями с мясом. Расстегай во всю тарелку, толщиной пальца в три, стоит пятнадцать копеек, и к нему, за ту же цену, подавалась тарелка бульона.

И когда, к концу поста, у актеров иссякали средства, они питались только такими расстегаями.

Умер Спиридон Степанович. Еще раньше умер владелец ряда каменных домов по Петровке — Хомяков. Он давно бы сломал этот несуразный флигелишко для постройки нового дома, но жаль было старика.

Не таковы оказались наследники. Получив наследство, они выгнали Щербакова, лишили актеров насиженного уюта.

Громадное владение досталось молодому Хомякову. Он тотчас же разломал флигель и решил на его месте выстроить роскошный каменный дом, но городская дума не утвердила его плана: она потребовала расширения переулка. Уперся Хомяков: «Ведь земля моя». Город предлагал купить этот клочок земли — Хомяков наотрез отказался продать: «Не желаю». И, огородив эту землю железной решеткой, начал строить дом. Одновременно с началом постройки он вскопал за решеткой землю и посадил тополи, ветлу и осину.

Рос дом. Росли деревья. Открылась банкирская контора, а входа в нее с переулка нет. Хомяков сделал тротуар между домом и своей рощей, отгородив ее от тротуара такой же железной решеткой. Образовался, таким образом, посредине Кузнецкого переулкa неправильной формы треугольник, который долго слыл под названием Хомяковской рощи. Как ни уговаривали и власти и добрые знакомые, Хомяков не сдавался.

— Это моя собственность.

Хомяков торжествовал, читая ругательные письма, которые получал ежедневно. Острила печать над его самодурством.

— Воздействуйте через администрацию, — посоветовал кто-то городскому голове.

Вызвали к обер-полицмейстеру. Предложили освободить переулок, грозя высылкой из Москвы в 24 часа в случае несогласия.

— Меня вы можете выселить. Я уеду, а собственность моя останется.

Шумела молодая рощица и, наверное, дождалась бы Советской власти, но вдруг в один прекрасный день — ни рощи, ни решетки, а булыжная мостовая пылит на ее месте желтым песком. Как? Кто? Что? — недоумевала Москва. Слухи разные, — одно только

верно, что Хомяков отдал приказание срубить деревья и замостить переулочек и в этот же день уехал за границу. Рассказывали, что он, действительно, испугался высылки из Москвы; говорили, что родственники просили его не срамить их фамилию.

А у меня в руках была гранка из журнала «Развлечение» с подписью: А. Пазухин.

Газетный писатель-романист и автор многих сцен и очерков А. М. Пазухин поспорил с издателем «Развлечения», что он сведет рошу. Он добыл фотографию Хомякова и через общего знакомого послал гранку, на которой была карикатура: осел, с лицом Хомякова, гуляет в роще...

Ранее, до «Щербаков», актерским трактиром был трактир Барсова в доме Бронникова, на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Там существовал знаменитый Колонный зал, в нем-то собирались вышеупомянутые актеры и писатели, впоследствии перешедшие в «Щербаки», так как трактир Барсова закрылся, а его помещение было занято Артистическим кружком, и актеры, день проводившие в «Щербаках», вечером бывали в Кружке.

Когда закрылись «Щербаки», актеры начали собираться в ресторане «Ливорно», в тогдашнем Газетном переулке, как раз наискосок «Щербаков».

С двенадцати до четырех дня великим постом «Ливорно» было полно народа. Облако табачного дыма стояло в низеньких зальцах и гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых актеров, пестро и оригинально одетых: пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты — то белые, то пестрые, то бархатные, а то из парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелоков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары. Владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый раз рас-

сказывают о тех овациях, при которых публика поднесла им эти вещи.

Первые три недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять: портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются, а там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последнее украшение — цепочка с брелоками — уходит вслед за часами в осудную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами.

С переходом в «Ливорно» из солидных «Щербаков» как-то помельчало сборище актеров: многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по вечерам Кружка или заходили в немецкий ресторанчик Вельде, за Большим театром.

Григоровский, перекочевавший из «Щербаков» к Вельде, так говорил о «Ливорно»:

— Какая-то греческая кухмистерская. Спрашиваю чего-нибудь на закуску к водке, а хозяин предлагает: «Цама я люца цакуца — это цудак по-глицески!» Попробовал — мерзость.

Актеры собирались в «Ливорно» до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском переулке, на Тверской, вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбаками.

Вверху в этом доме помешалась библиотека Рассохина и театральное бюро.

Между актерами было, конечно, немало картежников и бильярдных игроков, которые постом заседали в бильярдной ресторана Саврасенкова на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес.

Здесь бывали и провинциальные знаменитости. Из них особенно славились двое: Михаил Павлович Докучаев — трагик и Егор Егорович Быстров, тоже прекрасный актер, игравший все роли.

Егор Быстров, игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть: с него и пошел глагол «объгорить».

«ЯМА»

...С Тверской мы прошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление.

— Ну вот, здесь я и живу, зайдем.

Перешли двор, окруженный кольцом таких же старинных зданий, вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж. Темный коридор, и из него в углублении дверь направо.

— Вот и пришли!

Скрипнула тяжелая дверь, и за ней открылся мрак.

— Тут немного вниз... Дайте руку...

Я спустился в эту темноту, держась за руку моего знакомого. Ничего не видя кругом, сделал несколько шагов. Щелкнул выключатель, и яркий свет электрической лампы бросил тень на ребра сводов. Желтые полосы заиграли на переплетах книг и на картинах над письменным столом.

Я очутился в большой длинной комнате с нависшими толстенными сводами, с глубокой амбразурой маленького, темного, с решеткой окна, черное пятно которого зияло на освещенной стене.

И представилось мне, что у окна за столом сидит летописец и пишет..

Еще одно, последнее сказанье —

И летопись окончена моя... —

мелькнуло в памяти...

Я стоял и молчал.

— Нет, это положительно келья Пимена! Лучшей декорации нельзя себе представить.... — сказал я.

— Не знаю, была ли здесь келья Пимена, а что именно здесь, в этой комнате, была «яма», куда должников сажали, — это факт...

— Так вот она, та самая «яма», которая упоминается и у Достоевского, и у Островского.

Ужасная тюрьма для заключенных не за преступления, а просто за долги.

Здесь сидели жертвы несчастного случая, неумения вести дело торговое, иногда — разгула.

«Яма» — это венец купеческой мстительной жадности. Она существовала до революции, которая начисто смела этот пережиток жестоких времен.

По древним французским и германским законам должник должен был отрабатывать долг кредитору или подвергался аресту в оковах, пока не заплатит долга, а кредитор обязывался должника «кормить и не увечить».

На Руси в те времена полагался «правеж и выдача должника истцу головою до искупа».

Со времен Петра I для должников учредились долговые отделения, а до той поры должники сидели в тюрьмах вместе с уголовными.

Потом долговое отделение перевели в «Титы», за Москву-реку, потом в Пресненский полицейский дом, в третий этаж, но хоть и в третьем этаже было, а название все же осталось за ним «яма».

Однажды сидел там старик, бывший миллионер Плотицын. Одновременно там же содержалась какая-то купчиха, пожилая женщина, с такой скорбью в глазах, что положительно было жаль смотреть.

Помню я, что заходил туда по какому-то газетному делу. Когда я спустился обратно по лестнице, то увидел на крыльце пожилую женщину. Она вошла в контору смотрителя и вскоре вернулась.

Я заинтересовался и спросил смотрителя.

— Садиться приходила, да помещения нет, ремонтируется. У нее семеро детишек, и сидеть она будет за мужнины долги.

Оказывается, в «яме» имелось и женское отделение!

В России по отношению к женщинам прекратились телесные наказания много раньше, чем по отношению к мужчинам, а от задержания за долги и женщины не избавились.

Старый солдат, много лет прослуживший при «яме», говорил мне:

— Жалости подобно! Оно хоть и по закону, да не по совести! Посадят человека в заключение, отнимут его от семьи, от детей малых, и вместо того, чтобы работать ему, да, может, работой на ноги подняться, годами держат его зря за решеткой. Сидел, вот, молодой человек — только что женился, а на другой день посадили. А дело-то с подвохом было: усадил его богач-кредитор только для того, чтобы жену отбить. Запутал, запутал должника, а жену при себе содержать стал...

Сидит такой у нас один, и приходит к нему жена и дети, мал-мала меньше... Слез-то, слез-то сколько!.. Прясят смотрителя отпустить его на праздник, в ногах валяются...

Конечно, бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и водворяли.

Со стороны кредиторов были разные глумления над своими должниками. Вдруг кредитор перестает вносить кормовые. И тогда должника выпускают. Уйдет счастливый, радостный, поступит на место и только что начнет устраиваться, а жестокий кредитор снова вносит кормовые и получает от суда страшную бумагу, именную: «поимочное свидетельство».

И является поверенный кредитора с полицией к только что начинающему оживать должнику и ввергает его снова в «яму».

А то представитель конкурса, узнав об отлучке должника из долгового отделения, разыскивает его дома, врывается, иногда ночью, в семейную обстановку и на глазах жены и детей вместе с полицией сам везет его в долговое отделение. Ловили должников на улицах, в трактирах, в гостях, даже при выходе из церкви!

Но и здесь, как везде: кому счастье, кому горе. Бывали случаи, что коммерческий суд пришлет указ отпу-

ститъ должника, а черезъ мѣсяцъ опять отсрочку пришлетъ — и живетъ себѣ человекъ на волѣ.

А другой, у котораго протекціи нѣтъ и взятку дать не на что, никакихъ указовъ дожидаться не можетъ — разве смотритель изъ челоѵечности сжалятся да къ семье на денекъ отпуститъ.

Это все жертвы самодурства и «порядка вещей» канцелярскаго свойства, жертвы купцов-дисконтеровъ.

Ведь большинство попадало въ «яму» изъ-за самодурства богачеевъ-кредиторовъ, озлобившихся на должника за то, что онъ не уплатилъ, а на себя за то, что въ дуракахъ остался и потерялъ деньги. Или для того, чтобы убрать съ дороги мешающаго конкурента.

Кредиторъ злобно подписывалъ указъ и еще вносилъ кормовыя деньги, по пять рублей восемьдесятъ пять копеекъ въ мѣсяцъ.

И много такихъ мстителей было среди богатаго московскаго купечества, чему доказательствомъ служило существованіе долговаго отдѣленія, въ которомъ сидѣло почти постоянно около тридцати человекъ.

«ОЛСУФЬЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ»

На Тверской, против Брюсовского переуллка, в семидесятые и в начале восьмидесятых годов, почти рядом с генерал-губернаторским дворцом стоял большой дом Олсуфьева — четырехэтажный, с подвальными этажами, где помещались лавки и винный погреб. И лавки и погребок имели два выхода: на улицу и во двор и торговали на два раствора.

Погребок торговал через заднюю дверь всю ночь. Этот оригинальной архитектуры дом был окрашен в те времена в густой темно-серый цвет. Огромные окна бельэтажа, какие-то выступы, а в углублениях высокие чугунные решетчатые лестницы — вход в дом. Подъездов и вестибюлей не было. Посредине дома — глухие железные ворота с калиткой всегда на цепи, у которой день и ночь дежурили огромного роста, здоровенные дворники. Снаружи дом, украшенный вывесками торговых заведений, был в полном порядке. Первый и второй этажи сверкали огромными окнами богато обставленных магазинов. Здесь были модная парикмахерская Орлова, фотография Овчаренко, портной Воздвиженский. Верхние два этажа с незапамятных времен были заняты меблированными комнатами Чернышевой и Калининой, почему и назывались «Чернышами».

В «Чернышах» жили актеры, мелкие служащие, учителя, студенты и пишушая братия.

Но не этот наружный корпус давал главный доход домовладельцам.

За вечно запертыми воротами был огромнейший двор, внутри которого — ряд зданий самого трущобного вида. Ужас берет, когда посмотришь на сводчатые входы с идущими под землю лестницами, которые вели в подвальные этажи с окнами, забитыми железными решетками.

Посредине двора — огромнейший флигель. Флигели с боков, и ни одного забора, через который можно перелезть. Словом, один выход — только через охраняемую калитку.

А народу было тысячи полторы.

Недаром дом не имел другого названия, как «Олсуфьевская крепость» — по имени его владельца.

В промозглых надворных постройках — сотни квартир и комнат, занятых всевозможными мастерскими.

Пять дней в неделю тихо во дворе, а в воскресенье и понедельник все пьяно и буйно: стон гармоники, песни, драки, сотни полуголых мальчишек-учеников, детишки плачут, ревут и ругаются ученики, ни за что ни про что избиваемые мастерами, которых и самих так же в ученье били.

И ничего не видно и не слышно с улицы за большим двором, а ворота заперты, только в калитку иногда ныряли квартиранты, которые почище одеты. Остальные вечно томились в крепости.

«Мастеровщики» населяли все это огромное владение, а половина здешней мастеровщины — портные. Половина портных были бездомные пьяницы и были самыми выгодными, самыми дешевыми и беззащитными работниками.

Пьянство здесь поддерживалось самими хозяевами: оно приковывало к месту. Разутому и раздетому куда идти? Да и дворник в таком виде не выпустит на улицу, и жаловаться некому.

«Раки» было общее название этих людей.

И сидели «раки» годами в своих иорах, полураздетые, босые, имея только общие опорки, чтобы на двор выбегать, накинув на истлевшую рубаху какие-нибудь лохмотья. Мечтой каждого был трактир, средством

достижения — баня. Покупалась на базаре дешевого ситцу рубаха, нанковые портки, и в канун праздника цербер-дворник выпускал «раков» за железные ворота, как раз против Брюсовского переулка, в Стрельцовские бани. Здесь они срывали с себя лохмотья и, выпарившись, уже облеченные во все чистенькое, там же за пятак остригшись, шли в трактир Косоурова рядом с банями, а оттуда, в сопровождении трезвых товарищей, уже ночью исчезали в воротах «крепости».

Мастеровые в будние дни начинали работу в шесть-семь часов утра и кончали в десять вечера. В мастерской портного Воздвиженского работало пятьдесят человек. Женатые жили семьями в квартирах на дворе, а холостые с мальчиками-учениками ночевали в мастерских, спали на верстаках и на полу, без всяких постелей: подушка — полено в головах или свои штаны, если еще не пропиты.

К шести часам утра кипел ведерный самоварище, заблаговременно поставленный учениками, которые должны были встать раньше всех и уснуть после всех.

У всякого своя кружка, а то просто какая-нибудь банка. Чай хозяйский, а хлеб и сахар свой, и то не у всех. В некоторых мастерских мальчикам чай полагался только два раза в год — на рождество и на пасху, по кружке:

— Чтоб не баловались!

После больших праздников, когда пили и похмелялись неделями, садились за работу почти голыми, сменив в трактире единственную рубашку на тряпку, чтобы только «стыд прикрыть».

Кипяток в семь часов разливали по стаканам без блюдец, ставили стаканы на каток, а рядом — огромный медный чайник с заваренным для колера цикорием. Кухарка (в мастерских ее звали «хозяйка») подавала по куску пиленого сахара на человека и нарезанный толстыми ломтями черный хлеб. Посуду убирали мальчики. За обедом тоже служили мальчики. И так было во всей Москве — и в больших мастерских, и у «грызиков».

Мастера бросали работу, частью усаживались, как работали, «ноги калачиком», на катке вокруг чашек, а

кому не хватало места, располагались стоя вместе с мальчиками и по очереди черпали большими деревянными ложками щи.

Обедали не торопясь. «Хозяйка» несколько раз подливала щи, а потом вываливала в чашку нарезанную кусочками говядину, и старший из мастеров стучал ложкой по краю чашки.

Это в переводе на человеческую речь значило: «Таскай со всем».

После этого тихо и степенно каждый брал в ложку по одному кусочку мяса, зная, что если захватишь два кусочка, то от старшего по лбу ложкой влетит.

Ели молча, ложку после каждого глотка клали на каток и снова, прожевав мясо и хлеб, черпали вторую.

За кашей, всегда гречневой, с топленным салом, а в постные дни с постным маслом, дело шло веселей: тут уже не зевай, а то ложкой едва возьмешь, она уже по дну чашки стучит.

После обеда мальчики убирают посуду, вытирают каток, а портные садятся тотчас же за работу. Посидев за шитьем час, мастера, которым есть что надеть, идут в трактир пить чай и потом уже вместе с остальными пьют второй хозяйский чай часов в шесть вечера и через полчаса опять сидят за работой до девяти.

В девять ужин, точнее — повторение обеда.

«Грызиками» назывались владельцы маленьких заведений, в пять-шесть рабочих и нескольких же мальчиков с их даровым трудом. Здесь мальчикам было еще труднее: и воды принеси, и дров накопи, сбегай в лавку — то за хлебом, то за луком на копейку, то за солью, и целый день на посылках, да еще хозяйских ребят нянчи! Вставай раньше всех, ложись после всех.

Выбежать поиграть, завести знакомство с ребятами — минуты нет. В «Олсуфьевке» мальчикам за многолюдностью было все-таки веселее, но убегали ребята и оттуда, а уж от «грызиков» — то и дело. Познакомятся на улице с мальчишками-карманниками, попадут на Хитровку и делаются жертвами трущобы и тюрьмы...

Кроме «мастеровщины», здесь имели квартиры и жили со своими артелями подрядчики строительных работ: плотники, каменщики, маляры, штукатуры, или, как их в Москве звали, «шекатуры». Были десятки белошвейных мастерских, портнишек, вязальщиц, были прачечные. Это самые тихие и чистенькие квартиры, до отказа набитые мастерицами и ученицами, спавшими в мастерских вповалку, ходившими босиком, пока не выйдут из учениц в мастерицы. Их, как и мальчиков, привозили из деревни и отдавали в ученье на четыре-пять лет без жалованья и тем прикрепляли к месту. Отбывшие срок ученья делались мастерами и мастерицами и оставались жить у своих хозяев за грошовое жалованье. Некоторые обзаводились семьями.

В «Олсуфьевке» жили поколениями. Все между собой были знакомы, подбирались по специальностям, по состоянию и поведению. Пьяницы (а их было между мастеровщиной едва ли не большинство) в трезвых семейных домах не принимались. Двор всегда гудел ребятишками, пока их не отдадут в мастерские, а о школах и не думали. Маленьких не учили, а подросткам, уже отданным в мастерские, учиться некогда.

Взрослые дочери хозяев и молодые мастерицы, мальчики, вышедшие в мастера, уже получавшие жалованье, играли свадьбы, родня росла, — в «Олсуфьевке» много было родственников.

В большие праздники в семейных квартирах устраивали вечеринки. Но таких скромных развлечений было мало среди общего пьяного разгула. Поголовное пьянство обыкновенно бывало на масленице и на святках. Ходили из квартиры в квартиру ряженые, с традиционной «козой», с барабаном и «медведем» в вывороченном полушубке. Его тащил на цепи дед-вожатый с бородой из льна, и медведь, гремя цепью, показывал, как ребята горох в поле воруют, как хозяин пляшет и как барин водку пьет и пьяный буянит. Конечно, медведю подносили водки, и он уже после второй-третьей вечеринки сваливался и засыпал в сених, а если буянил, то дворники отправляли его в подвал.

У скромной, семейной работающей молодежи «Олсуфьевской крепости» ничего для сердца, ума и

разумного веселья — ни газет, ни книг и даже ни одного музыкального инструмента. Бельэтаж гагаринского дворца, выходившего на улицу, с тремя большими барскими квартирами, являл собой разительную противоположность царившей на дворе крайней бедноте и нужде. Звуки музыки блестящих балов заглушали пьяный разгул заднего двора в праздничные дни.

У живших в «Олсуфьевке» артелей плотников, каменщиков и маляров особенно гулящими были два праздника: летний — Петров день и осенний — Покров.

Наем рабочих велся на срок от Петрова до Покрова, то есть от 29 июня до 1 октября.

В Петров день перед квартирами на дворе, а если дождь, то в квартирах, с утра устанавливаются столы, а на них — четвертные сивухи, селедка, огурцы, колбаса и хлеб.

Первую чару пил хозяин артели, а потом все садились на скамейки, пили, закусывали, торговались и тут же «по пьяному делу» заключали условия с хозяином на словах, и слово было вернее нотариального контракта.

Когда поразопьются — торгуются и кочевряжатся:

— Андрей Максимов, а сколько ты мне положишь в неделю? — пьяным голосом обращается плотник к хозяину.

— Хошь по-старому — живи. А то, ежели что, и не надо, уезжай в деревню, — отвечает красный, как рак, хозяин.

— А ты надбавь! А то давай расщот!

— Как хошь! Получай сейчас и не отсвечивай!

Орут, галдят, торгуются, дерутся всю ночь...

А через день вся артель остается у хозяина.

Это Петров день — цена переряда.

У портных, у вязальщиц, у сапожников, у ящичников тоже был свой праздник — «засидки».

Это — 8 сентября.

То же пьянство и здесь, та же ночевка в подвале, куда запирали иногда связанного за буйство. А на другой день — работа до десяти вечера.

После «засидок» — с огнем.

У портных «засидки» продолжались два дня. 9 сен-

тября к семи часам вечера все сидят, ноги калачиком, на верстаках, при зажженной лампе. Еще засветло зажгут и сидят, делая вид, что шьют.

А мальчишка у дверей караулит.

— Идет!

И кто-нибудь из портных убавляет огонь в лампе донельзя.

Входит хозяин.

— Что такое за темнота у вас тутотка?

— Киросин не горит!

— Почему такое вдруг бы́ ему не гореть?

— Небось, сами знаете! Лампы-то ваши...

— Тэ-эк-с! Ну, нате, чтобы горел!

И выкидывает трешницу на четвертную и закуску. Огонь прибавляют.

Через час четверть выпита: опять огонь убавили. Сидят, молчат. Посылают мальчишку к главному закройщику — и тот же разговор, та же четверть, а на другой день — все на работе.

Сидят, ноги калачиком, а руки с похмелья да от холода ходуном ходят.

Летние каникулы окончились. После «засидок» начиналась зимняя, безрадостная и безвыходная крепостная жизнь в «Олсуфьевке», откуда даже в трактир не выйдешь!

ВДОЛЬ ПО ПИТЕРСКОЙ

Когда я вышел из трамвая, направляясь на вокзал, меня остановил молодой человек.

— Извиняюсь, я первый раз в Москве. Я студент. Меня интересует, почему станция на пустой площади у Садовой называется «Триумфальные ворота», а это — «Тверская застава», хотя передо мною Триумфальные ворота во всем их величии... Потом, что значит эти два маленьких домика с колоннами рядом с ними?

Я объяснил, что это конец Тверской, что ворота сто лет назад были поставлены в память войны двенадцатого года, но что по Садовой были когда-то еще деревянные Триумфальные ворота, но что они уже полтора-два века, как сломаны, а название местности сохранилось.

Объяснил я ему, что эти два домика в старину, когда еще железных дорог не было, были заставами и назывались кордегардией, потому что в них стоял военный караул, а между зданиями был шлагбаум, и так далее.

Студент поблагодарил меня, сказал, что он напишет в своей газете, сделает доклад в клубе, что у них все интересуются Москвой, потому что она — первый город в мире.

Его слова заинтересовали меня. За полвека жизни в Москве я тысячу раз проезжал под воротами и на конке, а потом и на трамвае, и мимо них в экипажах,

и пешком сновал туда и обратно, думая в это время о чем угодно, только не о них. Даже эта великолепная конская группа и статуя с венком в руках настолько прошла мимо моего внимания, что я не рассмотрел ее — чья это фигура. Я лишь помнил слышанное о ней: говорили, что по всей Москве и есть только два трезвых кучера — один здесь, другой — на фронте Большого театра. Только это был не «кучер», а «баба с калачом», по местному определению.

Я поднял глаза и наконец увидал, что это «богиня славы» с венком.

В такой же колеснице стоял на Большом театре другой «кучер» — с лирой в руках — Аполлон. Обе группы были очень однотипны, потому что как ворота, так и Большой театр архитектор Бове строил одновременно, в двадцатых годах прошлого столетия.

В домиках кордегардии при мне уже помещались то городские метельщики, то полицейская стража, то почтенные инвалиды, растиравшие на крыльце, под дорическими колоннами, в корчагах нюхательный табак для любителей-нюхарей.

Потом поместилась в одном из домиков городская амбулатория, а в другом — дежурка для фельдшера и служителей. Кругом домика, с правой стороны ворот, под легкой железной лестницей, приделанной к крыше с незапамятных времен, пребывали «холодные сапожники», приходившие в Москву из Тверской губернии с «железной ногой», на которой чинили обувь скоро, дешево и хорошо. Их всегда с десятка работало тут, а их клиенты стояли у стенки на одной ноге, подняв другую, разутую, в ожидании починки.

Вот эту картину я помнил, потому что каждый раз — и проходя, и проезжая — видел ее. И думаю: как это ни один художник не догадался набросать на полотне этот живой уголок Москвы!

Под воротами с 1881 года начала ходить конка.

В прежние времена неслись мимо этих ворот дорожные запряжки прожигателей жизни на скачки и на бега — днем, а по ночам — в загородные рестораны — гуляки на «ечкинских» и «ухарских» тройках, гремящих бубенцами и шуркунцами «голубчиках» на паре

с отлетом или на «безживотных» санках лихачей, одетых в безобразные по толщине воланы дорогого сукна, с шелковыми поясами, в угластых бархатных цветных шапках. Кажется, что с падением крепостного права должны были бы забыться и воланы: дворяне и помещики были поставлены «на ноги», лишились и кучеров, и запряжек.

Вместе с отменой крепостного права исчезли барские рыдваны с их форейторами-казачками и дылды-гайдуки слезли с запяток.

Московские улицы к этому времени уже покрылись булыжными мостовыми, и по ним запрыгали извозчики дрожки на высоких рессорах, названные так потому, что ездки на них тряслись, как в лихорадке.

После крепостного права исчез навсегда с московских улиц экипаж, официально называвшийся «похоронной колесницей», а в просторечии «фортункой».

— Достукаешься, повезут тебя на фортунке, к Иверской затылком.

И двигалась по Тверской из колымажного двора страшная черная, запряженная обязательно вороной без отметин лошадью телега с черным столбом. Под ним на возвышении стояла скамья, а на ней сидел, спиной к лошади, прикованный железной цепью к столбу, в черном халате и такой же бескозырке, осужденный преступник. На груди у него висела черная доска с крупной меловой надписью его преступления: разбойник, убийца, поджигатель и так далее. Везли его из тюрьмы главными улицами через Красную площадь за Москву-реку, на Конную, где еще в шестидесятых годах наказывали преступников на эшафоте плетми, а если он дворянин, то палач в красной рубахе ломал шпагу над головой, лишая его этим чинов, орденов и звания дворянского.

Фортунку я уже не застал, а вот воланы не перевелись. Вместо прежних крепостников появились новые богатые купеческие «саврасы без узды», которые старались подражать бывшим крепостникам в том, что было им по уму и по силам. Вот и пришлось лихачам опять воланы набивать ватой, только вдвое потолще,

так как удар сапога бутылками тяжелее барских заграничных ботинок и козловых сапог от Пироне.

Помню 1881 год. Проходя как-то на репетицию мимо Триумфальных ворот, я увидел огромную толпу. Задрал головы, все галдели.

На коне верхом сидел человек с бутылкой водки. Он орал песни. У ворот кипятился пристав в шикарном мундире с гвардейским расшитым серебром воротником. Он орал и грозил кулаком вверх.

— Слезай, мерзавец!

А тот его зовет:

— Чего орешь? Влазь сюда водку пить!..

И ничего в памяти у меня больше не осталось ярко-го от Триумфальных ворот. Разве только, что это слово «Триумфальные» ворота я ни от кого не слышал. Бывало, нанимаешь извозчика:

— К Триумфальным.

— К Трухмальным? К коим? Старым или новым?

Я и сам привык к московскому просторечию, и невольно срывалось:

— К Трухмальным!

А покойный артист Михаил Провыч Садовский, москвич из поколения в поколение, чем весьма гордился, любя подражать московскому говору, иначе и не говорил:

— Старые Трухмальные. Аглицкий клуб.

В Палашевском переулке, рядом с банями, в восьмидесятих годах была крошечная овощная лавочка, где много лет торговал народный поэт И. А. Разоренов, автор народных песен. Ему принадлежит, между прочим, песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Его другом был Суриков. У него бывали многие московские поэты. К нему из Петербурга приезжали А. Н. Плещеев, С. В. Круглов. Я жил некоторое время в номерах «Англия» и бывал у него ежедневно. Получил от него в подарок книжку «Продолжение «Евгения Онегина», написанную недурным стихом. Это был старик огромного роста, богатырского сложения, читал наизусть чуть не всего Пушкина, а «Евгения Онегина»

внал всего и любил цитировать. У него был друг, выше него ростом, седой, с серебряным курчавым чубом, а сила у него была непомерная. Его имя было Ермолай, но звали его с юности за удаль Ермаком. В то время все пространство между Садовой и Тверской заставой считалось еще Ямской слободой. Предки Ермака были искони ямщики, и дом их сгорел в тот же день, когда Наполеон бежал из Москвы через Тверскую заставу. Ермак помнил этот дом хорошо, и когда по моей просьбе он рассказывал о прошлом, то Разоренов тотчас же приводил из «Онегина», как Наполеон скрылся в Петровский замок и

Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он...

А Ермак время от времени затягивал свою любимую песню:

Как по Питерской, по Тверской-Ямской...

Вот из этих-то рассказов-воспоминаний друга я нарисовал себе прошлое Тверской заставы.

Движение было большое, особенно было оно в начале зимы, по снегу, когда помещики приезжали проводить зиму в Москве. За дормезами и возками цугом ташились целые обозы богатых помещиков, а небогатые тоже тянулись за ними.

— Помнишь? Как Ларина... — и начнет старик цитировать поездку Лариной в Москву, как приготовлялся.

Забвенью брошенный возок,

как в обозе укладывались домашние пожитки —

...Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами...

и как

...Ведут на двор осмнадцать кляч.

И вижу я, слушая эти рассказы, вереницы ожидающих очереди через шлагбаум, как, наконец, тому или другому проезжающему, по чинам и званиям, давался пропуск, и с крыльца кордегардии унтер командовал инвалиду шлагбаума:

— Подвысь!..

Инвалид гремел цепью шлагбаума. Пестрое бревно «подвешивалось» и снова за пропущенным опускалось до нового:

— Подвысь!..

Но вот заливается по Питерской дороге курьерский колокольчик — все приходит в движение. Освобождают правую часть дороги, и бешено несется курьерская или фельдъегерская тройка. Инвалид не ждет команды «подвысь», а, подняв бревно, вытягивается во фрунт. Он знает, что это или фельдъегерь, или курьер, или государственного преступника везут...

Все остальные обязаны были подвязывать колокольчик, не доезжая до Москвы.

Особенно много троек летело из Питера в Сибирь.

Вот Ермак ездил специально на курьерских тройках. Много он съел и кнутов и розог от курьеров, а все при разговоре мурлыкал:

Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах...

Увлекается, описывая Тверскую, Разоренов, а Ермак продолжает свою песню:

Вот мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой...
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой...

И долго-долго, до тех пор, пока не выстроили Николаевскую железную дорогу, он лихо правил курьерскими тройками, а потом по Садовой и по Владимирке до первой станции, ближе к разбойничьим Гуслицам.

По Тверской-Ямской
С колокольчиком...

Так было до первой половины прошлого века, до Николаевской железной дороги. Николай I положил на карту линейку и провел карандашом прямую черту от Москвы до Питера.

— Чтобы не сбиться с линии, — повешу!

И была выстроена прямая дорога. И первые поехали по ней арестанты. Из дворян и купечества многие боялись.

— Нечистая сила колеса крутит...

— Дьявол везет!

— Из одной ноздри пар, из другой огонь и дым валит.

Первое время еще возили по Питерскому тракту ссылаемых в Сибирь, а потом все стали ездить по железной дороге, и товары пошли в вагонах. Закрылось здание кордегардии. Не кричали больше «подвысы!»

Инвалиды мирно терли в корчагах махорку.

Вспоминал Разоренов, как Ямская слобода стала городом, потом, как заставу отменили и как дорогой, еще до самой воли, сквозь эти ворота возили возы березовых розог для порки крепостных — и не одних крепостных, а всего «подлого сословия люда». Пороли до отмены крепостного права и телесного наказания, а затем и розги перестали возить. Порки производили каждую субботу, кроме страстной и масленой.

Цари въезжали через эти Триумфальные ворота короноваться.

В 1896 году в честь коронации Николая II был большой народный праздник на Ходынском поле, где в 1882 году была знаменитая Всероссийская художественно-промышленная выставка. Но это уже было за пределами тогдашней Москвы. Мимо Триумфальных ворот везли возами трупы погибших на Ходынке.

— На беду это. Не будет проку от этого царствования.

Так сказал старый наборщик «Русских ведомостей», набравший мою статью о ходынской катастрофе.

Никто не ответил на его слова. Все испуганно замолчали и перешли на другой разговор.

НА МОИХ ГЛАЗАХ

С подъезда вокзала я сел в открытый автомобиль. И первое, что я увидел, это громаду Триумфальных ворот.

На них так же четверня коней и в колеснице та же статуя славы с высоко поднятым венком... Вспоминаю...

Но мы уже мчимся по шумной Тверской, среди грохота и гула...

Прекрасная мостовая блестит после мимолетного дождя под ярким сентябрьским солнышком. Тротуары полны стремительного народа.

Все торопятся — кто на работу, на службу, кто с работы, со службы, по делам, но прежних пресыщенных гуляющих, добывающих аппетит, не вижу... Вспоминается: «Теперь брюхо бежит за хлебом, а не хлеб за брюхом».

Мы мчимся в потоке звенящих и гудящих трамваев, среди грохота телег и унылых, доживающих свои дни, извозчиков... У большинства на лошадях и шлеи нет — хомут да вожжи.

Перегоняем все движение, перегоняем громоздкие автобусы и совкие такси.

Вдруг у самой Садовой останавливаемся. Останавливается вся улица. Шум движения замер. Пешая публика переходит, торопясь, поперек Тверскую, снуя между экипажами...

А на возвышении как раз перед нами стоит щеголе-

ватый в серой каске безмолвный милиционер с поднятой рукой.

Но вот пускает этот живой семафор в белой перчатке, и все ринулось вперед, все загудело, зазвенело. Загрохотала Москва...

Мы свернули на Садовую. На трехминутной остановке я немного, хотя еще не совсем, пришел в себя. Ведь я четыре месяца прожил в великолепной тишине глухого леса — и вдруг в кипучем котле.

Мы свернули налево на Садовую.

Садовая. Сколько тысяч раз за эти полвека я переехал ее поперек и вдоль! Изъездил немало.

В памяти мелькают картины прошлого. Здесь мы едем тихо — улица полна грузовиками, которые перебираются между идущими один за другим трамваями слева и жмушимися к тротуару извозчиками. Приходится выжидать и ловить момент, чтобы перегнать.

Первое, что перенесло меня в далекое прошлое, — это знакомый двухэтажный дом, который напомнил мне 1876 год. Но где же палисадник перед ним?

Новые картины сменяются ежеминутно. Мысли и воспоминания не успевают за ними. И вот теперь, когда я пишу, у меня есть время подробно разобраться и до мелочей воскресить прошлое.

В апреле 1876 года я встретил моего товарища по сцене — певца Петрушу Молодцова (пел Торопку в Большом театре, а потом служил со мной в Тамбове). Он затащил меня в гости к своему дяде в этот серый дом с палисадником, в котором бродила коза и играли два гимназистика-приготовишки.

У ворот мы остановились, наблюдали их игру. Они выбросили, прячась в кустах, серебряный гривенник на нитке на тротуар и ждали.

Ждем и мы. Вот идет толстый купец с одной стороны и старуха-нищенка — с другой. Оба увидели серебряную монету, бросились за ней, купец оттолкнул старуху в сторону и наклонился, чтобы схватить добычу, но ребята потянули нитку, и монета скрылась.

Купец поражен.

— Это их любимая игра. Уж и смеху бывает, — объяснил мне, когда мы вошли, его дядя с седой бородой...

Вот этого-то палисадника теперь и не было, а я его видел еще в прошлом году...

Перед заново выкрашенным домом блестел асфальтовый широкий тротуар, и мостовая была гладкая, вместо булыжной.

А еще раньше мне рассказывал дядя Молодцова о том, какова была Садовая в дни его молодости, в сороковых годах.

— ...Камнем тогда еще не мостили, а клали поперечные бревна, которые после сильных ливней всплывали, становились торчком и надолго задерживали движение.

...Богатые вельможи, важные дворяне ездили в огромных высоких каретах с откидными лесенками у дверей. Сзади на запятках стояли, держась за ремни, два огромных гайдука, два ливрейных лакея, а на подножках, по одному у каждой дверцы, по казачку. На их обязанности было бегать в подъезды с докладом о приезде, а в грязную погоду помогать гайдукам выносить барина и барыню из кареты на подъезд дома. Карета запрягалась четверней цугом, а у особенно важных особ — шестерней. На левой, передней, лошади сидел форейтор, а впереди скакал верховой, обследовавший дорогу: можно ли проехать? Вдоль всей Садовой, рядом с решетками палисадников, вместо тротуаров шли деревянные мостки, а под ними — канавы для стока воды. Особенно непроездна была Самотечная и Сухаревские Садовые с их крутым уклоном к Неглинке.

Целыми часами мучились ломовики с возами, чтобы вползти на эти горы. Но главный ужас испытывали на Садовой партии арестантов, шедших в Сибирь пешком, по Владимирке, начинавшейся за Рогожской заставой. Арестантские партии шли из московской пересыльной тюрьмы, Бутырской, через Малую Дмитровку по Садовой до Рогожской. По всей Садовой в день прохода партии — иногда в тысячу человек и больше — выставлялись по тротуарам цепью солдаты с ружьями. В голове партии, звеня ручными и ножными кандалами, идут каторжане в серых бушлатах с бубновым желтого сукна тузом на спине, в серых суконных бескозырьках, из-под которых светится половина обритой головы.

За ними движутся ссыльные в ножных кандалах, прикованных к одному железному пруту: падает один на рытвине улицы и увлекает соседа.

А дальше толпа бродяг, а за ними, вереница колымаг, заваленных скудными пожитками, на которых гнездятся женщины и дети; с детьми — и заболевшие арестанты.

Особенно ужасно положение партии во время ливня, когда размывает улицу, и часами стоит партия, пока вправят вымытые бревна.

— Десятки лет мы смотрели эти ужасы, — рассказывал старик Молодцов. — Слушали под звон кандалов песни о несчастной доле, песни о подаянии. А тут дети плачут в колымагах, матери в арестантских халатах заливаются, утешая их, и публика кругом плачет, передавая несчастным булки, калачи... Кто что может...

Такова была Садовая в первой половине прошлого века. Я помню ее в восьмидесятых годах, когда на ней поползла конка после трясучих линеек с крышей от дождя, запряженных парой «одров». В линейке сидело десятка полтора пассажиров, спиной друг к другу. При подъеме на гору кучер останавливал лошадей и кричал:

— Вылазы!

И вылезали, и шли пешком в дождь, по колена в грязи, а поднявшись на гору, опять садились и ехали до новой горы.

Помню я радость москвичей, когда проложили сначала от Тверской до парка рельсы и пустили по ним конку в 1880 году, а потом, года через два, — и по Садовой. Тут уж в гору Самотечную и Сухаревскую уж не кричали: «Вылазы!», а останавливали конку и впрягали к паре лошадей еще двух лошадей впереди их, одна за другой, с мальчуганами-форейторами.

Их звали «фалаторы», они скакали в гору, кричали на лошадей, хлестали их концом повода и хлопали с боков ногами в сапожищах, едва влезавших в стремя. И бывали случаи, что «фалатор» падал с лошади. А то лошадь поскользнется и упадет, а у «фалатора» ноги в огромном сапоге или, зимнее дело, валенке — из стремени не вытащишь. Никто их не учил ездить, а прямо из деревни сажали на коня — езжай! А у лошадей

были нередко разбиты ноги от скачки в гору по булыгам мостовой, и всегда измученные и недокормленные.

«Фалаторы» в Москве, как калмыки в астраханских или задонских степях, вели жизнь, одинаковую с лошадьми, и пути их были одинаковые: с рассветом выезжали верхами с конного двора. В левой руке — повод, а правая откинута назад: надо придерживать неуклюжий огромный валеk на толстых веревочных постромках. Им прицепляется лошадь к дышлу вагона... Пришли на площадь — и сразу за работу: скачки в гору, а потом, к полуночи, спать на конный двор. Ночевали многие из них в конюшне. Поили лошадей на площади, у фонтана, и сами пили из того же ведра. Много пилось воды в летнюю жару, когда пыль клубилась тучами по никогда не метеным улицам и площадям. Зимой мерзли на стоянках и вместе согревались в скачке на гору.

В осенние дожди, перемешанные с заморозками, их положение становилось хуже лошадиного. Бушлаты из толстого колючего сукна промокали насквозь и, замерзнув, становились лубками; полы, вместо того, чтобы покрывать мерзнущие больше всего при верховой езде колени, торчали, как фанера...

На стоянках лошади хрустели сеном, а они питались всухомятку, чем попало, в лучшем случае у обжорных баб, сидящих для тепла кушаний на корчагах; покупали тушонку, бульонку, а иногда серую лапшу на наваре из осердия, которое продавалось отдельно: на копейку — легкого, на две — сердца, а на три — печенки кусок баба отрежет.

Мечта каждого «фалатора» — дослужиться до кучера. Под дождем, в зимний холод и вьюгу с завистью смотрели то на дремлющих под крышей вагона кучеров, то вкусно нюхающих табак, чтобы не уснуть совсем: вагон качает, лошади трух-трух, улицы пусты, задавить некого...

Был такой с основания конки начальник станции у Страстной площади, Михаил Львович, записной нюхарь. У него всегда большой запас табаку, причем приятель-заводчик из Ярославля ящиками в подарок присылал. При остановке к нему кучера бегут, кто с берестяной табакеркой, кто с жестянкой из-под ваксы.

— Сыпани, Михаил Львович!

И никому отказа не было.

Михаил Львович еще во время революции продолжал служить на Рогожской станции. Умер он от тифа.

Вот о кучерской жизни и мечтали «фалаторы», но редко кому удавалось достигнуть этого счастья. Многие получали увечье — их правление дороги отсылало в деревню без всякой пенсии. Если доходило до суда, то суд решал: «По собственной неосторожности». Многие простужались и умирали в больницах.

А пока с шести утра до двенадцати ночи «форейторы» не сменялись — проскачут в гору, спустятся вниз, и сидят верхом в ожидании вагона.

Художник Сергей Семенович Ворошилов, этот лучший мастер после Сверчкова, выставил на одной из выставок двух дремлющих на клячах «форейторов». Картину эту перепечатали из русских журналов даже иностранные. Подпись под нею была:

Их моют дожди,
Посыпает их пыль...

Вагоны были двухэтажные, нижний и верхний на крыше первого. Он назывался «империал», а пассажиры его — трехкопеечными империалистами. Внизу пассажиры платили пятак за станцию. На империал вела узкая винтовая лестница. Женщин туда не пускали. Возбуждался в думской комиссии вопрос о допущении женщин на империал. Один из либералов даже доказывал, что это лишение прав женщины. Решать постановили голосованием. Один из членов комиссии, отстаивавший запрещение, украинец, в то время, когда было предложено голосовать, сказал:

— Та они же без штанцив!

И вопрос при общем хохоте не баллотировался.

* * *

Мы мчались, а я все гляжу:

Да где же палисадники?

На месте Угольной площади, на углу Малой Дмитровки, где торговали с возов овощами, дровами и само-

варным углем, делавшим покупателей «арапами», — чудный сквер с ажурной решеткой.

Рядом с ним всегда грязный двор, дом посреди площади заново выкрашен. Здесь когда-то был трактир «Волна» — притон шулеров, аферистов и «деловых ребят».

В 1905 году он был занят революционерами, обстреливавшими отсюда сперва полицию и жандармов, а потом войска. Долго не могли взять его. Наконец, поздно ночью подошел большой отряд с пушкой. Предполагалось громить дом гранатами. В трактире ярко горели огни. Войска окружили дом, приготовились стрелять, но парадная дверь оказалась незаперта. Разбив из винтовки несколько стекол, решили штурмовать. Нашелся один смельчак, который вошел и через минуту вернулся.

— Там никого...

Трактир был пуст. Революционеры первые узнали, что в полночь будут штурмовать, и заблаговременно ушли.

Вспомнился еще случай. В нижнем этаже десятки лет помещался гробовщик. Его имя связано с шайкой «червонных валетов», на шумевших на всю Москву.

Я не помню ни фамилии гробовщика, ни того «червонного валета», для которого он доставил роскошный гроб, саван и покров. Покойник лежал в своей квартире, в одном из переулков на Тверской. Духовенство его отпело и пошло провожать на Ваганьково. Впереди певчие в кафтанах, сзади две кареты и несколько молодых людей сопровождают катафалк!

Дошли по правому шоссе до шикарного ресторана «Яр», против которого через шоссе поворот к кладбищу.

Остановились. Молодые люди сияли гроб и вместо кладбища, к великому удивлению гуляющей публики, внесли в подъезд «Яра» и; никем не остановленные, прошли в самый большой кабинет, занятый молодыми людьми. Вставшего из гроба, сняв саван, под которым был модный сюртук, встретили бокалами шампанского.

Полиция возбудила дело, а гроб, покров и саван гробовщик за бесценок купил, и на другой день в этом гробу хоронили какого-то купца.

Началось другое дело. Обиженные в завещании родственники решили привлечь к суду главных наследников, которых в прошении просили привлечь за оскорбление памяти покойного, похоронив его в «подержанном» гробу.

И долго дразнили гробовщика, забегая к нему в лавку и спрашивая:

— Нет ли у вас подержанного гроба? Есть подержанный саван?

Потом, с годами, все это забылось и вспоминалось мне, когда я уже миновал Каретный ряд и въехал на Самотечную-Садовую.

Мы мчались вниз. Где же палисадники? А ведь они были год назад. Были они шегольские, с клумбами дорогих цветов, с дорожками. В такие имели доступ только богатые, занимавшие самую дорогую квартиру. Но таких садилов было мало. Большинство этих загороженных четырехугольников, ни к чему съедавших полулицы, представляло собой пустыри, поросшие бурьяном и чертополохом. Они всегда были пустые. Калитки на запоре, чтобы воры не забрались в нижний этаж. Почти во всех росли большие деревья, посаженные в давние времена по распоряжению начальства. Вот эти-то деревья и пригодились теперь. Они образуют широкие аллеи для пешеходов, залитые асфальтом. Эти аллеи-тротуары под куполом зеленых деревьев — красота и роскошь, какой я еще не видал в Москве.

Спускаемся на Самотеку. После блеска новизны чувствуется старая Москва. На тротуарах и на площади толпится народ, идут с Сухаревки или стремятся туда. Несут разное старое хоботье, кто носильное тряпье, кто самовар, кто лампу или когда-то дорогую вазу с отбитой ручкой. Вот мешок тащит оборванец, и сквозь дыру просвечивает какое-то синее мясо. Хлюпают по грязи в мокрой одежде, еще не просохшей от дождя. Обоняется прелый запах трущобы.

Свернули направо. Мчимся по Цветному бульвару, перегнали два трамвая. Бульвар еще свеж, деревья зеленые, с золотыми бликами осени.

Я помню его, когда еще пустыри окружали только что выстроенный цирк. Здесь когда-то по ночам «всякое

бывало». А днем ребята пускали бумажные змеи и непременно с трещотками. При воспоминании мне чудится звук трещотки. Невольно вскидываю глаза в поисках змея с трещоткой. А надо мной выплывают один за другим три аэроплана и скрываются за Домом крестьянина на Трубной площади.

* * *

Асфальтовые Петровские линни. Такая же, только что вымытая, Петровка. Еще против одного из домов дворник поливает из брандспойта улицы, а два других гонят воду в решетку водосточного колодца.

Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду Театральной площади, едем на широкую, прямо-таки языком вылизанную Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, катятся толстые автобусы.

Где же Охотный ряд?

Столешники. 1934 г.



**ДРУЗЬЯ
И
ВСТРЕЧИ**

СТАРОГЛАДОВЦЫ

Сырым осенним утром на усталой кляче ночного извозчика-старика, в ободранной пролетке я тащился по безлюдным переулкам между Пречистенкой и Арбатом. Был девятый час утра. Кухарки с корзинками, полными провизии, семенили со Смоленского рынка; двое приготовишек неторопливо путались в подолах своих серых шинелей, сшитых с расчетом на рост... На перекрестке, против овощной лавки, стояла лошадь и телега на трех колесах; четвертое подкатывал к ней старичок-огородник в белом фартуке; другой, плотный, бородатый мужчина в поношенном пальто, высоких сапогах и круглой драповой шапке, поднимал угол телеги. Дело, однако, не клеилось. Толстая лавочница, стоявшая у двери в лавку, равнодушно лушила подсолнухи, выплевывая скорлупу на узенький тротуар. На земле валялся картофель, выпавший из телеги, — а ей и горя мало! Лушит да поплевывает. Я спрыгнул с пролетки, подбежал, подхватил ось, а старателя в драповой шапке слегка отодвинул в сторону:

— Пусти, старик, я помоложе!

Я поднял угол телеги, огородник ловко закатил колесо на ось и воткнул чеку. Я прыгнул обратно в пролетку. Поехали.

Мой извозчик, погоняя клячу, смеялся беззубым ртом и шамкал, указывая кнутом назад:

— Граф-то как старается!

— Какой граф?

— Да вон, у телеги.

Я оглянулся.

Оба старика подбирали с мостовой картофель. Лавочница по-прежнему лущила семечки.

— И чего только ему надо? К нам в Дорогомилово приходил надясь работать. Наш хозяин, Козел, два пятерика дров купил, свалил их на улицу и нанял нас перетаскивать во двор и уложить в поленицы, а граф — тут как тут: давайте, говорит, ребята, я помогу... Мы дрова таскаем, а он укладывает. Поработал и денег не взял. Потом наши ребята его видели на Красном лугу: с золоторотцами из «Аржановки» тоже дрова укладывал...

Старик болтал всю дорогу, пока я не отпустил его на Арбате. Но и получив деньги, он все продолжал говорить:

— Свой дом в Хамовническом переулке, имение богатое... Настоящий граф — Толстов по фамилии...

Я тогда не обратил внимания на слова старика и тотчас забыл о них.

Прошло два года. Я работал в «Русских ведомостях». Они еще помещались в наемной квартире, в доме Мецгера, как раз на переломе несуразного Юшкова переулка между Мясницкой и Сретенкой. Редакция помещалась в доме, выходящем на улицу, а типография занимала большой корпус в глубине двора. Вот туда-то я и шел, чтобы сдать в набор заметки. Происходило это утром, когда в редакции обычно никого не бывало.

Впереди меня к редакционному подъезду подошел плотный человек в поношенном драповом пальто, высоких сапогах и драповой шапке, как-то знакомо нахлобученной. И вся фигура сзади показалась мне знакомой: видал где-то! Человек входил в подъезд, когда я шел мимо. Затворяя дверь, он на миг повернулся, и я увидел бородатое лицо. Где я его видел? Пробыв минут пять в типографии, я забежал в редакцию посмотреть газеты. Швейцар в очках читал «Московский листок».

— Никого еще нет?

— Никого. Вот сейчас только Лев Николаевич заходил, спрашивал Василия Михайлыча ¹.

— Кто?

— Граф Толстой... Да как вы его не встретили? Сей минут вышел.

А! Так вот кому я когда-то помог колесо надеть!

Я совершенно забыл об этой встрече, да и думать никак не мог, что знаменитый писатель ходил в Дорогомилово дрова в пятерики укладывать и одевался так бедно. Я полагал, что он живет в своей Ясной Поляне, и не знал, что к тому времени, когда мы встретились, он уже переехал в Москву.

Познакомился я со Львом Николаевичем уже в собственном доме редакции, в Чернышевском переулке, и потом встречался не раз, но, конечно, никогда не напоминал ему о первой встрече. Раза два по утрам я встречал его, всегда одного, на утренних прогулках. Зная мое прошлое по рассказам и очеркам в «Русских ведомостях», он всегда меня расспрашивал о бурлацкой жизни, о степях, об охоте на Кавказе.

Как-то (это было в конце девяностых годов) я встретил Льва Николаевича на его обычной утренней прогулке у Смоленского рынка. Мы остановились, разговаривая. Я шел в редакцию «Русской мысли», помешавшуюся тогда в Шереметевском переулке, о чем между прочим и сообщил своему спутнику.

— Вот хорошо, напомнили, мне тоже надо туда зайти.

Пошли. Всю дорогу на этот раз мы разговаривали о трущобном и бродяжном мире. Лев Николаевич расспрашивал о Хитровке, о беглых из Сибири, о бродягах. За разговором мы незаметно вошли в редакцию, где нас встретили редакторы В. М. Лавров и В. А. Гольцев.

При входе Лев Николаевич мне сказал:

— Я только на минуточку.

И действительно, хотя Лавров и Гольцев просили Льва Николаевича раздеться, но он, извинившись, раз-

¹ Соболевского.

даться отказался и так и стоял в редакции в шапке, с повязанным сверх нее башлыком.

Весь разговор продолжался не более двух-трех минут, и мы вышли.

День был морозный, что-то около двадцати градусов; у Льва Николаевича заиндевели борода.

— А у меня к вам просьба. Вы этот мир хорошо знаете, и я даже думал о вас и очень рад, что мы встретились. Дело в следующем. Я получил на этих днях очень интересную рукопись из Сибиря: арестант один рассказывает о своей жизни... Очень занимательно и литературно написано. Просит напечатать и, конечно, желает что-нибудь получить. Я прочел рукопись внимательно, но мне некогда заняться ею как следует. Посмотрите ее и отдайте куда-нибудь в газету. Если заплатят ему рублей десять — пятнадцать, и то хорошо.

Рукопись на следующий день принес мне сын Льва Николаевича, Андрей Львович. Я внимательно прочел ее. Она имела дату: «18 октября 1899 г., Каинск, Томской губ.». В начале и в конце было обращение к Льву Николаевичу, а посредине помещалась интереснейшая исповедь арестанта Лизгаро.

Внизу последней страницы стояло три адреса: самого Лизгаро — Каинский острог; жены его, Беляевой-Лизгаро, — Таежная и г-жи Л-й — Каинск, для передачи Лизгаро.

Обращение к Льву Николаевичу заканчивалось словами:

«Согласен все то, что изложено, пустить в печать, если нужно, переделать и исправить фамилии действующих лиц, пишу с целью материальной поддержки голодающей семье».

Прочитав рукопись Лизгаро, о деяниях которого я слышал раньше от корнета Савина, тогда уже острожной «знаменитости», я на следующий же день переслал ему двадцать пять рублей, упомянув в письме, что рукопись получил от Льва Николаевича, а сам отправился к Толстому и сказал об этом, отдав почтовую квитанцию.

— Зачем вы сами это сделали? И так много вдобавок! Лучше бы напечатать. Интересно!

Я кое-что знал о Лизгаро и ответил Льву Николаевичу, что в письме слишком многое присочинено и обо многом недосказано.

— Все равно интересно, прочиталось бы. Во всяком случае, очень вам благодарен. Да ему, думаю, больше ничего и не нужно, кроме денег.

И Лев Николаевич оказался прав. Вскоре я получил от Лизгаро из тюрьмы благодарственное письмо, из которого было видно, что он очень доволен, о чем я и сообщил Льву Николаевичу.

— Я был в этом уверен, — сказал он и добавил: — А все-таки когда-нибудь напечатайте!

Украинский ученый, исследователь Запорожья Д. И. Эварницкий тогда читал в Московском университете «историю Малороссии» и часто просил меня:

— Ты знаком с Львом Николаевичем Толстым, бываешь у него, сведи меня когда-нибудь к нему. Моя заветная мечта — повидать его.

И вот однажды, после такой просьбы, я предложил Эварницкому поехать сейчас же (было около семи часов вечера), но он отказался:

— Надо его предупредить, а то вдруг так, сразу...

Но я уговорил Эварницкого, и через полчаса мы были уже в хамовническом доме и поднимались наверх, послав заранее визитные карточки.

Мы вошли в кабинет. Лев Николаевич встал с кресла, поднял руки кверху и, улыбаясь, сказал:

— Вот они, запорожцы! Здравствуйте!

Мы просидели более часа. Эварницкий заинтересовал Льва Николаевича своими рассказами о Запорожье. Лев Николаевич в свою очередь припоминал о своей жизни у гребенских казаков, а потом разговор перешел на духоборов и штундистов. Последних Эварницкий знал очень хорошо.

Но мне слушать этот совершенно не интересный для меня разговор было скучно. Я вынул табакерку, хлопнул двумя пальцами по крышке, открыл и молча предложил Льву Николаевичу. Он тоже молча взял табакерку у меня из рук, заправил изрядную щепотку в

свой широкий нос — в одну и тотчас же в другую ноздрю, — склоняя при этом голову то вправо, то влево, и громко чихнул. Эварницкий, перебитый, должно быть, на самом интересном месте своего повествования, удивленно посмотрел на него, но Лев Николаевич уже справился и, закрыв табакерку, проговорил:

— Ну и крепок!

Он чихнул в платок и обратился к Эварницкому:

— Я ведь только у него и нюхаю. Очень табак хорош! Боюсь, как бы не привыкнуть!

И снова чихнул, затем передал мне табакерку, погладив ее, как всегда, по крышке, и опять обратился к Эварницкому:

— А знаете, профессор, если бы все курильщики бросили курение и перешли на нюханье, наполовину бы у нас меньше пожаров было и вдвое больше здоровых людей...

Как-то раз я встретил Льва Николаевича на Моховой. В это время Общество искусств и литературы, вылившееся потом в Художественный театр, ставило в Русском охотничьем клубе чеховские одноактные пьесы. Лев Николаевич указал мне афишу на столбе:

— «Медведь» Чехова! С каким бы удовольствием я посмотрел его пьески, да не хочется в клуб идти на спектакль.

— А вы на репетицию. Как раз завтра его пьесы репетируют, меня Арбатов¹ вчера приглашал.

— Да, но у меня знакомых там нет. А пошел бы...

— Позвольте мне завтра заехать за вами к семи часам вечера?

И вот на следующий день я велел моему постоянному извозчику Дунаеву подавать к шести часам вечера. Надо сказать, что Ваня Дунаев ездил со мной помесечно. Извозчики звали его Ванька-Водовоз за необыкновенную силу, а я называл его Берендей, потому что он был из Пятницы-Берендеево, извозничьей подмосковной местности. Я ездил с ним на рискован-

¹ Режиссер.

ные репортерские приключения по разным трущобам совершенно спокойно: малый был удалой и всегда трезвый, потому что его ничем нельзя было спонить... Он бывал со мною на скачках и бегах, знал всех лошадей и любил о них поговорить.

Вышел я и увидел: лошадь новая, крупный орловский рысак, только очень подержанный: передними ногами тронут — козинец, колена дрожат.

— Это откуда?

— Новокупочка. Сегодня с Конной, впервояд запряг... С бусырю малость, а резов. Бессекунный!.. На бегах ходил, аттестат есть с гербом! Прямо по нашей езде: урвать да уехать... Сто двадцать дал. Двадцать задаток, а останные по понедельникам.

Тогда московские барышники продавали в долг извозчикам лошадей с уплатой по пяти рублей каждый понедельник и наживали за эту рассрочку пятьдесят процентов.

Выбрались мы на Тверской бульвар — и понеслись. Огромный, мешковатый Ванька-Водовоз из простого погонялки преобразился в лихача. Лошадь держит на коротких вожжах, руки вытянул и только покрикивает, чтоб дорогу давали.

Через десять мннут мы были в Хамовническом переулке. По-видимому, нас ждали — дворник тотчас же отворил ворота. Меня провели в столовую, где вся семья была в сборе. Все пили чай, но Льву Николаевичу не дали, чтобы не простудился. Он ел гречневую размазню.

Софья Андреевна все меня уговаривала ехать поосторожнее.

— Будьте спокойны, и назад привезу, — успокаивал я.

— Нет, об обратном пути не беспокойтесь, за ним дети заедут.

Провожать нас высыпали все в переднюю. Стали одевать Льва Николаевича. Начали с валеных калош, потом теплый тулуп, подпоясали, подняли воротник, нахлобучили теплую шапку, повязали сверху башлык. Получилась фигура необъятная, а санки у меня были полулихацкие, узкие и притом без полости. Мне ездить с полостью было неудобно, так как го и дело прихо-

дилось соскакивать с саней, а холода я не боялся. Мой Берендей был единственным извозчиком во всей Москве без полости, даже при обер-полицмейстере Власовском, который ввел одинаковую «форму» для извозчиков и их экипажей и, между прочим, требовал, чтобы у всех саней имелась полость. Полиция беспощадно штрафовала нарушителей этих правил. Мне пришлось лично ездить к Власовскому, чтобы сняли с моего Дунаева штраф и разрешили ему ездить со мной без полости. Штраф Власовский приказал снять, но ездить без полости так и не разрешил, найдя, впрочем, чисто полицейский, хитроумный выход:

— Нарушить свой приказ не могу: полость обязательно должна быть на санях. Но вы можете не употреблять ее, пусть ваш извозчик сидит на ней...

И Ванька очень гордился, что он ездит без полости, а другие извозчики ему завидовали.

Уступил я Льву Николаевичу три четверти сиденья, а сам кое-как примостился и полувисел в воздухе, крепко обняв талию в необъятном тулупе.

Летим переулком, Лев Николаевич сквозь шарф и воротник бурчит:

— Это только в Москве такое приличие... Ездят обнявшись. То и дело видишь — облапнт даму, и катят...

Не успел он договорить, как мы выскочили рысью на Девичье поле и — прямо в ухабы! Тах!.. Тах!..

— Ну что, Лев Николаевич, если б я вас не обнял?..

— Да, вы правы, только уж очень быстро мы едем. Я люблю быструю езду... но это слишком!

— Ваня, как зовут твою лошадь?

— Птичек... Потому мать его была Птичка... В аттестате прописано.

— Ну, так с сегодняшнего дня зови его не Птичек, а Холстомер. В память того, что Льва Николаевича возил... У него есть «Холстомер».

Лев Николаевич что-то забурчал, но я не мог разобрать его слов.

Через несколько минут запаренная лошадь стояла, дрожа коленями и шпатуя задней ногой, на полукруглом возвышении перед подъездом, и швейцары клуба в казакиных и бараньих папах с красным верхом вы-

саживали, вводили почетного гостя и распаковывали его.

Я шепнул конторщику, чтобы он передал актерам, Арбатову или Лужскому, что я привез Льва Николаевича.

А он жал мне руку, что-то хотел сказать, а потом устался на выстроившихся около вешалок швейцаров: рослые, красивые, в черных мохнатых папах.

— Какие молодцы! Ну, прямо — старогладовцы!

Мы вошли в приемную. Из зала высыпали артисты и с великим почетом приветствовали неожиданного и дорогого гостя.

Пребывание Льва Николаевича Толстого в дни его юности в гребенских казачьих станицах, впечатления, рожденные в широкой вольной душе особыми условиями боевой и свободной жизни среди опасностей и патриархальной простоты казачества, ярко отразились на всем его последующем творчестве. Вспомним его произведения: «Казачьи», «Набег», «Рубка леса», «Встреча в отряде». Вечное его стремление опроститься зародилось там же, в этих станицах, среди самобытных людей. Я думаю, что и умереть ему хотелось там же.

Недаром ведь, когда через шестьдесят лет после того, как он жил в этих местах, Толстой ушел из Ясной Поляны, покинул роскошь, славу и почет, железнодорожный билет, найденный в его кармане, был до Владикавказа: он стремился в казачьи станицы! Там, на воле, в жизненной простоте, в тихой пустыне, он искал, видимо, последнего покоя... Эти глухие станицы гребенские до самой революции хранили старинный уклад во всей его неприкосновенности, с казачьими обычаями, которые так ярко описаны Львом Николаевичем в его чудесной повести «Казачьи».

Мне посчастливилось найти человека, который помнил Льва Николаевича, когда тот жил в Старогладовской станице.

И вот его-то рассказы я вполне точно и передаю здесь. Это единственный современник, который мог что-либо рассказать о жизни Льва Николаевича в то вре-

мя, когда на него обращали внимания столько же, сколько на всякого юнкера, стоявшего со своей частью в станицах. А там солдат недолюбливали, особенно в гребенских станицах, населенных старообрядцами своеобразно строгой жизни, соблюдавшими свои обычаи и верования.

В своем письме к графу Сергею Николаевичу Толстому от 23 ноября 1853 года Лев Николаевич, между прочим, упоминая о своем брате Николае, который увез из станицы гончих собак, говорит:

«Мы с Епишкой часто называли его за это «швиньей»».

Этот Епишка, неразлучный друг Льва Николаевича, удалец-казак былых времен, и есть тот самый Ерошка, который выведен как живой в повести «Казачья жизнь». И тот сверстник Льва Николаевича, о котором я говорю, хорошо помнил Епишку и много мне о нем рассказал.

Эту встречу я записал подробно в Ессентуках в 1910 году и здесь передаю в том виде, как я набросал ее тогда под свежим впечатлением.

Ессентуки, 19 июня.

Редко бывают такие встречи. Давно обратил мое внимание старый горец, офицер с солдатским Георгием и кавказским крестом. Мы разговорились. Оказался — исконный гребенской казак Кирилл Григорьевич Синюхаев, родом из Старогладовской станицы. Я знал, что это и есть та самая Новомлинская станица, которая описана в повести «Казачья жизнь».

Я помню, что несколько лет назад к Льву Николаевичу приезжал гребенской казак-офицер, — но то был молодой человек, а мой собеседник — однолесток Льва Николаевича, ему далеко за семьдесят, но это бодрый, энергичный старик, на вид гораздо моложе своих лет.

Гляжу на него и радуюсь: голова белая, как снеговая вершина, а сам сухой, стройный, как тростник. Заговорили о Льве Николаевиче.

— Как же! Я очень, очень хорошо помню Толстого. В 1845 году к нам в станицу перебрались старообряд-

цы с Украины и полстаницы новой построили. Так он сначала по приезде поселился в новой, а потом к нам перешел. У нас стояла двадцатая артиллерийская бригада, в ней его брат был офицером. Только он с братом не жил, а отдельно, у казака Сехина квартировал. У нас много Синюхаевых и Сехиных, и все родня меж собой. Так Толстой — у нас его все Толстов звали — поместился у богатого Сехина, а рядом жил другой брат Сехина, друг Толстого, дядя Епишка, охотник и джигит, каких теперь нет, да и прежде едва ли где другой такой отыскался. Знатный казак был дядя Епишка. Жил он одиноко, со своими собаками да ястребами и с разным зверьем прирученным, — у него в хате так они и помещались. Любили и уважали его все вокруг, да не то что мы одни, а и чеченцы, и ногайцы... К немирным в аулы, бывало, хаживал, и везде его принимали как почетного гостя. А говорил он всем одно и то же: «Все живем, а потом умрем. Люди не звери, — так и драться людям не надо. Вот зверя — того бей!» Так и жил он: либо на охоте, либо с балалайкой. В праздник разрядится, бешмет красный шелковый наденет — немирные князя Гирей подарили, — чувяки и ноговицы, серебром расшитые. Папаху у него была волчья или лисья, каких, кроме него, никто не носил. И обязательно с балалайкой и без оружия. Ростом в сажень, силищи непомерной. Каким я-то его помню, — так ему уже под семьдесят было. А выпьет, бывало, чихиря¹ с полведра да в хоровод — поет и пляшет. А как плясал! «Дядя Епишка, еще, еще!» — просят его.

«А ну-ка, швинья, тащи чапуру чихиря». Принесут, выпьет — и опять поет и пляшет да на балалайке звенит. Такой Епишка в праздник бывал. А в будни — суровый, ни с кем слова не скажет. Тогда носил он старый бешмет, козловой кожи штаны, поршни буйволовые, папаху старую волчью, на плечах шкуру звериную вверх шерстью, а в руках у него была всегда винтовка с золотой насечкой, — промаха он из нее по зверю никогда не делал. В те времена порох и свинец были

¹ Молодое красное вино.

дороги, состязаний в стрельбе не устраивали, ну да и промахов не давали...

Мимо нас в эту минуту проходил огромный, широкоплечий кубанец.

— Куда повыше и пошире его был дядя Епишка! — сравнил рассказчик. И тут смог я представить себе, какой в самом деле был богатырь, этот друг Льва Николаевича...

— И, кроме охоты, ничем он не занимался. Был у него и крест георгиевский, но никогда он его не надевал, а носил только засаленную ленточку на старом бешмете, да и то так, чтобы людям видно не было, для себя носил ее. О прежних своих отличиях не любил говорить, а старики про него чудеса рассказывали; славный был джигит, но потом от войны отказался: почему — никто не знал.

Веселый, мягкий был человек. И никого никогда ни словом, ни делом не обижал, разве только швиньей, бывало, назовет. Со всеми дружил и всем говорил «ты». Никому не услуживал, а любили его все. Слушать его рассказы, песни сбегалась вся станица. Голос сильный, звонкий.

На станичные сборы не ходил, общественных дел не касался: «Я сам по себе. Я одинец», — знал лишь свое ружье, охоту, сети, попить да погулять. Для одного Толстого только и делал исключение: любил его. Кунаки были, на охоту с собой никогда и никого, кроме Толстого, не брал. Бывало, у своей хаты варит кулеш, на камешках казанок ставит, и Толстой тут же сидит, — варят кулеш и вдвоем едят. Или идут с Толстым вдвоем с охоты — оба дичью увешаны, сумки набиты, за плечами ружья и шаталы¹. Походка легкая, а в самом пудов десять веса! На коне, как я его помню, никогда дядя Епишка не ездил, всегда пешком ходил. Говорил по-кумыкски, по-ногайски, у немирных князей Гиреев в гостях бывал, и все его любили, даже при нем марушки чадрой не закрывались. Горцы с ястребами охотились, так дядя Епишка вынашивал ястребов и продавал им за большую цену.

¹ Ш а т а л ы — рогатки, на которые ставят ружья для прицела.

— Скажите, Кирилл Григорьевич, а вы хорошо помните Толстого?

— Как сейчас вижу.

— Вы помните повесть «Казачи»?

— Чуть не наизусть. Ведь мы все ею зачитывались... Так и говорили: «Пишет наш Толстов».

— С кого он писал Лукашку?

— Лукашка был у нас сапожник. А того джигита не Лукашкой звали. Забыл я его имя... Да ведь тогда все у нас такие, как Лукашка, были, — все такие джигиты.

— А Марьяна?

— Не так давно умерла... — Потом стал он вспоминать дальше: — Помню я, у Толстого в конюшне были хорошие лошади — гнедая и чалая. Выведут, разгорячат лошадь, а он вскочит на нее и скачет по станице... Лихой джигит был. Только ведь потому все и обращали внимание на Толстого, что он джигит был да с дядей Епишкой дружил, а то разве знал кто, что он такой будет после! У меня-то в памяти еще потому, что мы жили рядом... Помню, он сначала у Глушка на Новой улице жил, а потом к Сехину, родному брату дяди Епишки, переехал, к Михаилу Петровичу. А это рядом с нами. Потом уж, когда Толстой офицером был, рассказывали, что он в набегах отличался. За Старый Юрт ходил со своей батареей, потому о нем тогда и говорили. А если не был бы джигит, кто бы на него внимание у нас обратил?

— Кто-нибудь, кроме вас, в станице помнит Льва Николаевича?

— Едва ли. Разве Ергушевы. Так уж ему, старому, больше восьмидесяти лет.

— Знакомая фамилия — Ергушев. В «Казачах» ее упоминает Лев Николаевич.

— Ну да, — который пьяный-то казак лежит. Это он с натуры взял и настоящей фамилией назвал. Любитель выпить был Ергушев... Родственник наш.

— Скажите, Кирилл Григорьевич, в станице узнали после, какой Толстой жил у вас?

— Конечно. Давным-давно, после первых произведений. И книги его все читали, и в школах о нем гово-

рили... Да вот мой племянник Сехин, сын Михаила Сехина, родной племянник дяди Епишки, к Толстому в Ясную Поляну ездил, портрет с надписью для станицы от самого получил, только у него украли дорогой портрет этот.

— Как же это было?

— А уже это пусть сам Дмитрий расскажет. Он теперь служит в Кизляро-Гребенском полку. Вы можете повидать его хоть завтра, около Пятигорска, он под Юцей в лагере стоит. Кланяйтесь ему от меня...

Рано утром я приехал в лагерь под горой Юцей, верстах в шести от Пятигорска, и попал на ученье Екатеринодарского полка. Жара была невыносимая, пыль непроглядная. Учение окончилось к полудню, и, пока расседывали коней и готовились к обеду, я воспользовался перерывом и отправился к Дмитрию Михайловичу Сехину.

Полки расположились рядом. Гребенцы уже вернулись с ученья, и я нашел Сехина в палатке. Вышел ко мне красавец-казачина с огромными усищами, в синих шароварах «шире Черного моря», в белой рубаше и огромной черной папахе. Он был весь покрыт пылью: еще умыться не успел.

— Я Сехин, вам меня? — сурово спросил он.

— Дмитрий Михайлович?

— Да, это я! Вам что угодно будет?

— А я к вам от Кирилла Григорьевича.

Я назвал свою фамилию. Оказалось, что Сехин знает меня, как литератора. Он пригласил меня в палатку, и я передал ему наш разговор с Синюхаевым и цель моего приезда.

— Ну, что же, я все вам с радостью расскажу. Эта встреча с великим Львом Николаевичем незабвенна, это лучшая минута моей жизни.

С его разрешения я вынул записную книжку, строки из которой я воспроизвожу сейчас.

«В Ясную Поляну я приехал 21 февраля 1908 года. Въезжаю. Снег. Аллея. Идут два мужика. Гляжу — один из них Лев Николаевич. Я спрыгнул с саней, под-

бежал, а он в снег свернул, лошадям дорогу дает. Подошел я, поклонился и говорю:

— Лев Николаевич! Необыкновенный случай: пятьдесят пять лет спустя внук за деда делает вам ответный визит.

Лев Николаевич не понял и строго посмотрел на меня. Я повторил мои слова.

— А! Палкин? — спросил меня Лев Николаевич.

— Нет, не Палкин, а внук дяди Ерошки.

Насупился Лев Николаевич, стоит и вниз глядит.

— Какого Ерошки?

— Того самого, у которого вы пятьдесят пять лет назад в гостях бывали, с которым охотились и которого в повести описали.

— Епи-ишки? Вот оно! — и лицо Льва Николаевича просияло. — Да не может быть! У Епишки и детей-то не было!

— А был брат Михаил Петрович, — я его сын, Дмитрий Михайлович Сехин.

— Сехин! Сехин!

Руку мне протянул и крепко пожал.

— А вы кто? Ротмистр? — и посмотрел на мою военную шинель.

— Нет, я войсковой старшина.

— А, значит подполковник. Ну пойдемте.

Он повернул к дому, а потом вдруг сказал:

— Да вы садитесь в сани! Поезжайте ко мне и скажите Илье Васильевичу, что мне надо еще десять минут погулять.

Я передал слова Толстого Илье Васильевичу, который и принял меня, поместив в комнате внизу. Через десять минут Илье Васильевич позвал меня наверх. Там были Горбунов-Посадов, Гусев и две переписчицы. Лев Николаевич вышел с сияющим лицом и рекомендовал меня:

— Позвольте представить племянника моего дяди Ерошки.

И он начал меня расспрашивать о станице, вспоминая виденное им.

— А камышовые крыши еще есть?

— Есть.

— А сверстники мои живы?

— Ергушев Иван Варфоломеевич еще жив.

— А чихирь тот же? Какой прекрасный напиток!
А рыбка шемайка?

— Мало, да притом очень измельчала.

— Жаль, жаль! А я отлично все помню: и Старогладовскую, и Старый Юрт! Горы — какая красота! Терек! Степи! Вот где настоящая жизнь. А Лукашка, брат Михаила Алексеевича! Да, да! Все помню. А как дом, где я жил? А дом Бабенковых, где жил брат Николай?.. А Епишкина хата?

— Все перестроено.

Лев Николаевич встал и сказал мне:

— Вот вам Гусев, расскажите ему.

Он вышел, но через пять минут вернулся, сел радостный и все вопросы о старине задавал.

— Забывчив вообще я стал. Но что тогда было — все помню!

Он опять встал и ушел, а через несколько минут позвал меня в кабинет. Я стал прощаться.

— Садитесь, куда вы торопитесь? Я еще не успел с вами поговорить.

— Но, ваше сиятельство... — начал было я, но Лев Николаевич перебил меня:

— Зачем так?..

— Как же мне вас звать? Звать Лев Николаевич — уж очень будет фамильярно.

— А вы меня по-ребенскому.

— Да у нас тех, кто старше тебя, зовут, как, помните, дядю звали: дядя Епишка.

— Стало быть, и зовите: дядя Левка. Это очень, очень почтенно! — он засмеялся ласково-ласково.

Я попросил у Льва Николаевича для Старогладовской школы его портрет.

Он достал портрет и надписал:

«На память староладовцам Лев Толстой».

Я уехал обласканный, счастливый. Но дорогой случилась беда: у меня украли чемодан, а вместе с ним и портрет».

Довелось мне разыскать на Кавказе и еще одного старика-генерала, служившего в дни юности в одной батарее с Львом Николаевичем. Но от него я добился только одной фразы:

— Как же-с... Мы оба с ним имели честь служить в одной батарее, славный был офицер.

АНТОША ЧЕХОНТЕ

О встречах в моей юности я начал писать через десятки лет. Они ярко встали передо мной только издали. Фигуры в этих встречах бывали крупные, вблизи их разглядеть было нелегко; да и водоворот жизни, в котором я тогда крутился, не давал, собственно, возможности рассмотреть ни крупного, ни мелкого.

В те времена героями моими были морской волк Китаев и разбойничий атаман Репка. Да и в своей среде они выделялись, были тоже героями. Вот почему и писать о них было легко.

Не то — Чехов. О нем мне писать не легко. Он вырос передо мной только в тот день, когда я получил поразившую меня телеграмму о его смерти и тотчас же весь отдался воспоминаниям о нем.

Познакомился я с ним, когда он был сотрудником мелкой прессы, строчившим ради заработка маленькие этюдики и разбрасывавшим их по мелким изданиям. Мы вместе с ним начинали в этих изданиях, — он писал сценки, я — стишки и тоже сценки да еще репортерствовал, что давало мне в те времена больше, чем его рассказы, мало заметные первое время.

Сперва у нас были мимолетные встречи, а потом началась дружба. Я полюбил Антошу, и он меня любил до конца жизни, хотя последнее время мы и отдались друг от друга.

В те годы, когда он еще ограничивался мелкими

сценками, еще до издания его книжки «Сказки Мельпомены», я уже занял в «Русских ведомостях» солидное положение и, кроме репортажа, печатал статьи и фельетоны.

«Русские ведомости» считались «большой прессой», и Чехов появился в этой газете только в 1893 году, после того как печатался в 1892 году в «Русской мысли» и в 1888 году в «Северном вестнике», где была помещена его «Степь», которая произвела на меня огромное впечатление. И впоследствии этот рассказ был у нас с ним одной из любимых тем для разговоров. А до «Степи» он был для меня только милым Антошей Чехонте, рассказов которого, разбросанных по газетам и журналам, я почти и не читал, — в кипучей репортерской жизни не до чтения было, да и не все газеты и журналы попадали мне в руки.

«Сказки Мельпомены» и подаренные им мне «Пестрые рассказы» меня не заинтересовали, все это было так знакомо и казалось мелочью.

Первое, что осталось у меня в памяти, — это «Каштанка», да и то тут была особая причина.

Как-то раз я вернулся из поездки домой, и мне подали «Новое время»:

— Прочитай-ка насчет Каштанки.

Заглавие было другое, но я увидел подпись Чехова и прочел эту прекрасную вещицу, напомнившую мне один из проведенных с Антошей Чехонте вечеров... А через год была напечатана «Степь», и я уверовал в талант моего друга...

Шли годы, Чехова «признали». Его приглашали к себе, добивались знакомства с ним. Около него уживались те, кто так недавно еще относился к нему не то снисходительно, не то презрительно: так, сотрудник мелкой прессы...

А затем у него началась связь с Художественным театром. Жить стали Чеховы богаче, кончились наши ужины с «чеховским салатом» — картошка, лук и маслины — и чаем с горячими баранками, когда мы слушали виолончель Семашки, молодых певиц и молодого еще певца Тютюника, который, маленький, стоя, бывало, у рояля, своим огромным басом выводил: «...Вот

филин замахал крылом» — и в такт плавно махал правой рукой.

Шумно и людно стало теперь у Чеховых...

Иногда все-таки урывались часы для дружеской беседы, и, когда мы оставались вдвоем, без посторонних, — Чехов опять становился моим старым милым Антошей, на которого смотреть было радостно, а среди окружавшего его теперь общества мне всегда бывало как-то жаль его — чувствовалось мне, что и ему не по себе... Недаром он называл сотрудников «Русских ведомостей» — мороженые сиги...

— Ты — курьерский поезд. Остановка — пять минут. Буфет.

Так Чехов сказал мне однажды, еще в те времена, когда он жил в «комоде», в этом маленьком двухэтажном коттедже на Кудринской-Садовой, куда я забегал на часок, возвращаясь из газетных командировок или носясь по Москве в вихре репортерской работы.

Приходят на память эти слова Чехова, когда начинаю писать воспоминания, так непохожие на обычные мемуары. Ведь мемуары — это что-то последовательное, обстоятельное — изо дня в день, из года в год... Их хорошо писать отставным генералам, старым чиновникам, ученым на покое, — вообще людям, прожившим до старости на одном месте, на одной службе.

У бродяги мемуаров нет, — есть клочок жизни. Клочок там, клочок тут, — связи не ищи... Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. Днем завтракаешь в «Эрмитаже», ночью, добывая материал, бродишь по притонам Хитрова рынка. Сегодня, по поручению редакции, на генерал-губернаторском рауте пьешь шампанское, а завтра — едешь осматривать задонские зимовники, занесенные снегом табуны, — и вот — дымится джулун.

Над костром в котелке кипит баранье сало... Ковш кипящего сала — единственное средство, чтобы не замерзнуть в снежном буране, или, по-донскому, шургане...

Николай Рубинштейн дирижирует в Большом театре на сотом представлении «Демона», присутствует вся Москва в бриллиантах и фраках, — я описываю обстановку этого торжественного спектакля; а через неделю уже Кавказ, знакомые места, Чортова лестница, заоблачный аул Безенги, а еще выше, под снежной шапкой Коштан-тау, на стремнинах ледяного поля бродят сторожкие туры. А через месяц Питер, — встречи в редакциях и на Невском... То столкнешься с Далматовым, то забредешь на Николаевскую, 65, к Николаю Семеновичу Лескову, то в литературном погребеке на Караванной смотришь, как поэт Иванов-Классик мрачно чокается с златокудрым, жизнерадостным Аполлоном Коринфским, и слушаешь, как восторженный и бледный Костя Фофанов, закрыв глаза, декламирует свои чудесные стихи, то у Глеба Успенского на пятом этаже в его квартирке на Васильевском острове, в кругу старых народников рассказываешь эпизоды из своей бродяжной жизни бурлацкой... А там опять курьерский поезд, опять мечешься по Москве, чтобы наверняка прошедшую прогульную неделю...

И так проходила в этих непрерывных метаниях вся жизнь — без остановки на одном месте. Все свои, все друзья, хотя я не принадлежал ни к одной компании, ни к одной партии... У репортера тех дней не было прочных привязанностей, не могло быть... Прочных знакомств летучему корреспонденту тоже не было времени заводить — единственное знакомство у меня в то время, знакомство домами, было с семьей Чехова, да и то до тех пор, пока Чехов не вошел в славу.

Разные были мы с ним люди.

Я долго не мог вспомнить, как и когда началось наше знакомство и где произошла у меня первая встреча с Чеховым. Об этом он мне как-то раз напомнил сам; оказалось, что в эту первую встречу я Чехова и не заметил. Помнил только вторую, в редакции «Будильника», где редактор Н. П. Кичеев представил мне симпатичнейшего юношу с заброшенными назад волосами.

— Антоша Чехонте — Дядя Гиляй. Знакомьтесь.

— Мы уже знакомы... Нас познакомил Селецкий, помните?.. Вы мне еще чуть руку не сломали, Я сделал вид, что помню.

С этого дня мы стали встречаться особенно часто в «Будильнике» и «Зрителе» у Всеволода Давыдова. Совсем друзьями сделались. Как-то за столом у меня дома, в случайном разговоре о Русском гимнастическом обществе, он сказал улыбаясь:

— Я тоже член-учредитель Гимнастического общества. Селецкий меня и брата Николая записал в учредители... Так, для счета... Вот там-то мы с тобой, Гиляй, и познакомились. Помнишь?

Так как стесняться было нечего, я сказал откровенно:

— Нет, не помню.

И рассказал Антон Павлович, как его случайно завел Селецкий, тогдашний председатель общества, в гимнастический зал в доме Редлиха на Страстном бульваре.

— Посреди огромного зала две здоровенные фигуры в железных масках, нагрудниках и огромных перчатках изо всех сил лупят друг друга по голове и по бокам железными полосами, так что искры летят — смотреть страшно. Любуюсь на них и думаю, что живу триста лет назад. Кругом на скамьях несколько человек зрителей. Сели и мы. Селецкий сказал, что один из бойцов — Тарасов, первый боец на эспадронах во всей России, преподаватель общества, а другой, в высоких сапогах, его постоянный партнер — поэт Гиляровский. Селецкий меня представил вам обоим, а ты и не поглядел на меня, но зато так руку мне сжал, что я чуть не заплакал.

Чехов с тех пор так и не бывал больше в Гимнастическом обществе, но разговаривали мы о нем впоследствии не раз, а в 90-х годах он даже внес членский взнос и снова стал числиться членом, желая сделать мне, председателю общества, приятное. Привез я ему как-то в Мелихово список членов общества, где и его фамилия была напечатана.

— Ну, какой же я гимнаст! — сказал он улыбаясь. — Я — человек слабый, современный, а вы с Тарасовым

точно из глубины веков выплыли. Тамплиеры! Витязи! Как тогда хлестались вы мечами! Никогда не забуду. А ты и меня в гладиаторы!.. Нет уж, куда мне!.. Да и публика у вас не по мне, — пробежал он глазами по списку членов общества.

— Нет, публика у нас простая — конторщики, приказчики, студенты. Это — люди активные, ну, а те вот — Морозовы, Крестовниковы, Смирновы — виноторговцы и еще некоторые — только платят членские взносы.

— Значит, мы мертвые души? Люди настоящего века. А придет время, — может быть, лет через сто, — будут все сильными, будет много таких, как ты и Тарасов... Придет время!..

И несколько лет Антон Павлович числился членом общества, но никогда там не бывал, хотя ценил и любил силу и ловкость в других. Когда я приезжал в Мелихово, то обязательно и он и его отец, Павел Егорович, вели меня к лошадям, пасшимся в леваде, сзади двора, и бывали очень довольны, когда я им показывал какие-нибудь штуки по вольтижировке или джигитовке.

— Знаешь, Гиляй, пробовал я тебя описывать, да ничего не выходит, — говорил мне не раз Антоша. — Не укладываешься ты, все рамки ломаешь. Тебе бы родиться триста лет назад или, может быть, лет сто вперед. Не нашего ты века.

Разные мы с ним были люди, а любили друг друга. Я его, слабого и хрупкого, любил какой-то особой, нежной любовью. И как радостны бывали наши встречи! В юные годы мы очень часто виделись. Раз, в 1882 году, целую неделю вместе работали в окружном суде на деле Скопинского банка — известном процессе, который вел прокурор С. С. Гончаров. Антон Павлович писал заметки об этом процессе в «Петербургской газете» под псевдонимом «Рувер».

Много в Скопине воров,
Погубил их Гончаров! —

острил Чехов.

В 1884 году я женился, наши семьи познакомились. Помню, как-то в субботу, получив в «Русских ведомостях» гонорар за неделю, что-то около ста рублей, я пришел в «Будильник» и там встретил Чехова. На его

долю гонорара в «Будильнике» пришлось что-то мало, а я похвастался деньгами.

— Ну так вот — пеки пирог у себя и скажи Марии Ивановне, что мы все придем. И Левитана приведем...

Под влиянием разговоров о Крыме Левитан, найдя на моем столе альбом, сделал в нем во время общей беседы два прекрасных рисунка карандашом: «Море при лунном свете» и «Ветлы». Тотчас после него Николай Павлович Чехов нарисовал в альбоме красным, черным и синим карандашами великолепную женскую головку. Антон Павлович, долго смотревший на художников, сказал:

— Разве так рисуют? Ну, головка! Чья головка? Ну, море! Какое море? Нет, надо рисовать так, чтобы всякому было понятно, что хотел изобразить художник.

Он взял альбом. Рисунок, готовый через несколько минут, был встречен общим хохотом. Антон Павлович, отдавая мне альбом, сказал:

— Береги, Гиляй, это единственное мое художественное произведение: никогда не рисовал и больше никогда рисовать не буду, чтобы не отбивать хлеб у Левитана.

На рисунке изображена была гора, по которой спускается турист, в шляпе и с палкой, башня, дом с надписью «Трактир», море, по которому плывет пароход, и в небе — птицы; внизу — надпись: «Вид имения «Гурзуф» Петра Ионыча Губонина», а кроме того, везде были пояснения: «море», «гора», «туристы», «чижи»...

Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Отец служил приказчиком у галантерейщика Гаврилова, Михаил Павлович и Мария Павловна учились еще в гимназии. Мы с женой часто бывали тогда у Чеховых, — они жили в маленькой квартире в Головином переулке, на Сретенке. Веселые это были вечера! Все, начиная с ужина, на который подавался почти всегда знаменитый таганрогский картофельный салат с зеленым луком и маслинами, выглядело очень скромно, ни карт, ни танцев никогда не бывало, но все было проникнуто какой-то особой теплотой, сердечностью и радушием.

Чуть что похвалишь — на дорогу обязательно завернут в пакет, и отказываться нельзя. Как-то раз в пасхальные дни подали у Чеховых огромную пасху, и жена моя удивилась красоте формы и рисунка. И вот, когда мы собрались уходить, вручили нам большой, тяжелый сверток, который велели развернуть только дома. Оказалось, в свертке — великолепная старинная дубовая пасочница.

Мы с Антоном работали в те времена почти во всех иллюстрированных изданиях: «Свет и тени», «Мирском толке», «Развлечении», «Будильнике», «Москве», «Зрителе», «Стрекозе», «Осколках», «Сверчке». По вечерам часто собиралась у Чеховых небольшая кучка жизнерадостных людей: его семейные, юноша-виолончелист Семашко, художники, мой товарищ по сцене Вася Григорьев, когда великим постом приезжал в Москву на обычный актерский съезд. Мы все любили его пение и интересные рассказы, и Антоша нередко записывал его меткие словечки, а раз даже записал целый рассказ о случае в Тамбове, о собаке, попавшей в цирк. Это и послужило темой для «Каштанки».

В 1885 и 1886 годах я жил с семьей в селе Краскове по Казанской дороге, близ Малаховки. Теперь это густо населенная дачная местность, а тогда несколько крестьянских домов занимали только служащие железной дороги. В те времена Красково пользовалось еще разбойничьей славой, деля ее с соседней деревней Кирилловкой, принадлежавшей когда-то знаменитой Салтычихе. И из Кирилловки и из Краскова много было выслано крестьян за разбои в Сибирь. Под самым Красковым, на реке Пехорке, над глубоким омутом стояла громадная разрушенная мельница, служившая притоном «удалым добрым молодцам». В этом омуте водилась крупная рыба и, между прочим, огромные налимы, ловить которых ухитрялся только Никита Пантюхин, здешний хромой крестьянин, великий мастер этого дела. На ноге у него много лет была какая-

то хроническая гниющая рана, которую он лечил, или прикладывая ил из омута и пруда, или засыпая нюхательным табаком. Никита сам делал рыболовные снаряды и, за неимением средств на покупку свинца, употреблял для грузил гайки, которые самым спокойным образом отвинчивал на железнодорожном полотне у рельсов на местах стыка. Что это могло повлечь за собой крушение поезда, ему и на ум не приходило.

Чехов очень интересовался моими рассказами о Краскове и дважды приезжал туда ко мне. Мы подолгу гуляли, осматривали окрестности, заглохшие пруды в старом парке. Об одном пруде, между прочим, ходило предание, что он образовался на месте церкви, провалившейся во время венчания вместе с духовенством и брачущимися. Антон Павлович записал это предание. И вот на берегу этого самого пруда, в зарослях парка мы встретили Никиту. Он ловил карасей и мазал илом свою ужасную ногу. Антон Павлович осмотрел ногу и прописал какую-то мазь; я ее привез, но Никита отказался употреблять лекарство и заявил:

— Зря деньги не плати, а что мазь эта стоит — лучше мне отдавай деньгами либо табаку нюхательного купи: табак червяка в ногу ест.

Рассказал я Чехову, как Никита гайки отвинчивает, и Антон Павлович долго разговаривал с ним, записывал некоторые выражения. Между прочим, Никита рассказывал, как его за эти гайки водили к уряднику, но все обошлось благополучно.

Антон Павлович старался объяснить Никите, что отвинчивать гайки нельзя, что от этого может произойти крушение, но Никите это было совершенно непонятно. Он только пожимал в ответ плечами и спокойно возражал:

— Нешто я все гайки-то отвинчиваю? В одном месте одну, в другом — другую... Нешто мы не понимаем, что нельзя, что нельзя?

Никита произвел на Чехова сильное впечатление. Из этой встречи впоследствии и родился рассказ «Злоумышленник». В него вошли и подлинные выражения Никиты, занесенные Чеховым в его знаменитую записную книжку.

Мы жили в доме де Ладвез на Второй Мещанской, в маленькой квартирке в нижнем этаже. В это время был большой спрос на описание жизни трущоб, и я печатал очерк за очерком, для чего приходилось слоняться по Аржановке и Хитровке. Там я заразился: у меня началась рожа на голове и лице, температура поднялась выше 40 градусов. Мой полуторагодовалый сын лежал в скарлатине, должно быть, и ее я тоже принес из трущоб. На счастье, мой друг доктор А. И. Владимиров, только что окончивший университет, безвыходно поселился у меня и помогал жене и няне ухаживать за ребенком. У меня рожа скоро прошла, но тут свалилась в сыпном тифу няня Екатерина Яковлевна, — вошь я занес, конечно, тоже с Хитрова рынка... И вот в это самое время случайно забежал ко мне Антон Павлович. Он пришел в ужас и стал укорять нас, что не послали за ним. Осмотрел няню, сына, проглядел рецепты и остался доволен лечением. Тут вернулся Владимиров, и мы все вместе уговорили Антона Павловича не приходить больше в наш очаг заразы. Суровый Владимиров для убедительности перевел все на профессиональную почву: дескать, лечу я и прошу не мешать. Как будто — уговорили. Не прошло, однако, и двух дней, как Антон Павлович явился опять и затем стал заходить и справляться чуть ли не ежедневно. Тогда мы решили не отпирать ему дверей, несмотря на все просьбы, разговаривали с ним сквозь щель, не снимая с двери цепочки.

Антон Павлович подарил мне первый литографированный экземпляр своей пьесы «Иванов», которая была поставлена в бенефис Н. В. Светлова в театре Корша. Вот что об «Иванове» рассказывал мне брат Антоши, Иван Павлович:

— Я носил пьесу в театр Корша. Понравилась. Потом как-то зашел я на репетицию и застал в буфете бенефицианта Светлова и Градова-Соколова. Светлов ругательски ругал пьесу: «Какая это пьеса для бенефиса? Одно название чего стоит — «Иванов». Кому интересен какой-то Иванов? Никто и не придет». — «Нет,

брат, ошибаешься, — возразил Градов-Соколов. — Во-первых, автор — талантливый писатель, а во-вторых, — название самое бенефисное: «Иванов» или «Иванов». Каждому «Иванову» и «Иванову» будет интересно узнать, что такое про него Чехов написал. И если только одни «Ивановы» придут — у тебя уж полный сбор обеспечен»...

И действительно, Градов-Соколов предсказал верно.

Когда начался разъезд после спектакля, — только и слышалось у подъезда:

— Карету Иванова!

— Одиночку Иванова!

— Лихач от Большой Московской с Ивановым!

— Кучер полковника Иванова!..

В 1886 году от Антона Павловича я получил его книжку «Пестрые рассказы», изданные «Осколками». Самую первую свою книжечку, «Сказки Мельпомены», он дал мне еще в 1884 году. Вслед за «Пестрыми рассказами» он напечатал в том же году в типографии братьев Вернер, на Арбате, вторую книгу — «Невинные речи». У Вернеров мы оба работали в издаваемом ими журнале «Сверчок».

Чехов посоветовал и мне собрать и издать свои очерки и рассказы, которых за последние два года, благодаря моему увлечению беллетристикой, накопилось порядочно.

— Кто же мне издаст?

— А Собачий Воротник.

Так Чехов называл младшего Вернера, шеголя, носившего пальто с воротником из какого-то серого меха.

Но «Собачий Воротник» отказался издать мою книгу, а предложил напечатать ее в кредит. И я напечатал «Трущобные люди».

Ее сожгли. Уцелел лишь один экземпляр, переплетенный из листов, тайком данных мне фактором. Единственный экземпляр моей книги я подарил жене. Близкие знакомые, желавшие прочитать эту запретную книгу, приходили к нам. Пришел и Чехов.

— Ну, конечно, нецензурно. Хотя ты мне бы показал, что печатать хочешь... Можно было бы что-нибудь сделать. А то уж одно название — «Трущобные лю-

ди» — напугало цензуру. Это допустимо было в шестидесятых годах, когда цензоры либеральничали в угоду времени. Ну и дальше заглавия: «Человек и собака», «Обреченные», «Каторга», «Последний удар»... Да разве это теперь возможно?

— Вы подумайте, Антон Павлович,— у жены это любимое слово было,— вы подумайте, как же не напечатать книгу, когда все помещенные в ней очерки были раньше напечатаны?

— В отдельности могли проскочить и заглавия и очерки, а когда все вместе собрано, действительно получается впечатление беспросветное... Все гибнет, и как гибнет! Мрачно все...

И тут же Чехов утешил нас:

— Ну, да скоро доживем мы до того времени, когда эту книгу Гиляя напечатают, и увидим ее большой успех... А это будет... будет... Идет к тому...

Сожгли мою книгу, и как будто руки отшибло писать беллетристику. Я весь отдался репортерству, изредка, впрочем, писал стихи и рассказы, но далеко уже не с тем жаром, как прежде.

Я увлекся конским спортом — вспомнил юность, степи, табуны. Я отдыхал на скачках, главным образом не на самых скачках, а на утренних работах скаковых лошадей.

Потом начал писать в казенном журнале «Коннозаводство» и московском «Русском спорте», а впоследствии редактировал «Журнал спорта». Я интересовался только верховыми лошадьми, купеческого рысака я не любил,— и метался по степям, по табунам, увлекаясь давно знакомым мне делом.

С Чеховым я встречался все реже и реже... Уже давно кончились наши субботы у меня и воскресенья у Чеховых. Антон Павлович стал идти в гору. «Русские ведомости», которые я почти оставил, стали за ним ухаживать, «Русская мысль» — тоже... А потом — Художественный театр. Но хотя наши встречи и стали реже, они всегда были самые теплые, дружеские и по-прежнему веселые. Вспоминается, например, такой случай.

Как-то часу в седьмом вечера, великим постом, мы ехали с Антоном Павловичем с Миусской площади из городского училища, где брат его Иван был учителем, ко мне чай пить. Извозчик попался отчаянный: кто казался старше, он ли или его кляча,—определить было трудно, но обоим вместе сто лет насчитывалось наверное; сани убогие, без полости. На Тверской снег наполовину стаял, и полозья саней то и дело скрежетали по камням мостовой, а иногда, если каменный оазис оказывался довольно большим, кляча останавливалась и долго собиралась с силами, потом опять тащила еле-еле, до новой передышки. Наших убеждений извозчик, по-видимому, не слышал и в ответ только улыбался беззубым ртом и шамкал что-то невнятное. На углу Тверской и Страстной площади каменный оазис оказался очень длинным, и мы остановились как раз против освещенной овощной лавки Авдеева, славившейся на всю Москву огурцами в тыквах и соевыми арбузами. Пока лошадь отдыхала, мы купили арбуз, завязанный в толстую серую бумагу, которая сейчас же стала промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. Мы поползли по Страстной площади, визжа полозьями по рельсам конки и скрежеща по камням. Чехов ругался — мокрые руки замерзли. Я взял у него арбуз.

Действительно, держать его в руках было невозможно, а положить некуда.

Наконец, я не выдержал и сказал, что брошу арбуз.

— Зачем бросать? Вот городской стоит, отдай ему, он съест.

— Пусть ест. Городовой! — поманил я его к себе.

Он, увидав мою форменную фуражку, вытянулся во фронт.

— На, держи, только остор...

Я не успел договорить: «осторожнее, он течет», как Чехов перебил меня на полуслове и трагически зашептал городовому, продолжая мою речь:

— Осторожнее, это бомба... неси ее в участок...

Я сообразил и приказываю:

— Мы там тебя подождем. Да не урони, гляди.

— Понимаю, вашевскродие.



Кузнецкий мост.



Толкучий рынок у Никольских ворот.

А у самого зубы стучат.

Оставив на углу Тверской и площади городского с «бомбой», мы поехали ко мне в Столешников чай пить.

На другой день я узнал подробности всего, вслед за тем происшедшего. Городовой с «бомбой» в руках боязливо добрался до ближайшего дома, вызвал дворника и, рассказав о случае, оставил его вместо себя на посту, а сам осторожно, чуть ступая, двинулся по Тверской к участку, сопровождаемый кучкой любопытных, узнавших от дворника о «бомбе».

Вскоре около участка стояла на почтительном расстоянии толпа, боясь подходить близко и создавая целые легенды на тему о бомбах, весьма животрепещущую в то время благодаря частым покушениям и арестам. Городовой вошел в дежурку, доложил околоточному, что два агента охранного отделения, из которых один был в форме, приказали ему отнестись «бомбу». Околоточный притворил дверь и бросился в канцелярию, где так перепугал чиновников, что они разбежались, а пристав сообщил о случае в охранное отделение. Явились агенты, но в дежурку не вошли, ждали офицера, заведовавшего взрывчатыми снарядами, без него в дежурку войти не осмеливались.

В это время во двор въехали пожарные, возвращавшиеся с пожара, увидели толпу, узнали, в чем дело, и старик-брандмейстер, донской казак Беспалов, соскочив с линейки, прямо, как был, весь мокрый, в медной каске, бросился в участок и, несмотря на предупреждения об опасности, направился в дежурку.

Через минуту он обрывал остатки мокрой бумаги с соленого арбуза, а затем, не обращая внимания на протесты пристава и заявления его о неприкосновенности вещественных доказательств, понес арбуз к себе на квартиру.

— Наш, донской, полосатый. Давно такого не едал.

Немало квартир переменили Чеховы, во всех приходилось мне у них бывать. Припоминаю один курьез из тех времен, когда они жили на Большой Якиманке.

Пришел я к Чеховым как-то под вечер и нашел Антона ходящим из угла в угол по кабинету: лицо — бледное, осунувшееся.

— Что с тобой?

— Живот болит. Завязал шарфом — не помогает, надо радикально лечиться, — и позвал служившего у него мальчика. — Бабакин, сходи в аптеку и купи касторки в капсюлях.

Аптека была рядом, и мальчик живо принес касторку. Чехов развернул коробку и со смехом показал мне две огромные капсюли.

— Каковы? За кого они меня приняли? — Он взял перо и крупными буквами написал на коробке: «Я не лошадь».

Бабакин снова отправился в аптеку и на этот раз принес шесть капсюлей в коробочке. Аптека получила желанный автограф.

В 80-х годах Антон Павлович купил себе небольшое имение Мелихово в Серпуховском уезде, в двенадцати верстах от станции Лопасня, Курской железной дороги.

Антон Павлович очень любил свой тихий мелиховский уголок, свой «вишневый сад».

Особенно хорошо там было ранней весной. Иногда я ездил туда на пасху, когда съезжались в Мелихово гости и вся патриархальная семья Чеховых была в сборе.

Налево от передней помещался кабинет Антона Павловича с полками книг и письменным столом, на котором всегда лежала папка с начатым рассказом или повестью. Он обыкновенно при гостях работал урывками, но все-таки писал каждый день: напишет немного, потом оторвется от работы, выйдет к гостям поговорить, затем опять садится писать. Иногда во время обеда он внезапно вставал из-за стола, уходил в кабинет, набрасывал несколько строк и, вернувшись в столовую, продолжал застольную беседу. Удивительно легко у него гостилось. Всякий делал, что хотел, никто никому не мешал. И в то время, когда он писал, к нему

можно было входить в кабинет, не боясь помешать. Так, по крайней мере, на моей памяти это всегда бывало в Мелихове.

Столовая была рядом с кабинетом. У Антона Павловича имелось свое излюбленное место у конца стола, вблизи от двери в кабинет.

В те времена он не отказывался от рюмки водки и стакана вина и всегда сажал меня рядом с собой и любил сам наливать мне. По правую руку от меня всегда занимал место его отец, Павел Егорович, тоже разделявший нашу компанию. А дальше мать, Евгения Яковлевна, сестра, Мария Павловна, и братья.

Уроженцы Таганрога, они любили южные кушанья, и Евгения Яковлевна мастерски их готовила и любила угощать по-донскому. И настоечка, и наливочка, и пироги — всего бывало всегда вволю. А уезжающим в Москву обязательно завертывали чего-нибудь вкусного на дорогу.

С восторгом я вспоминаю о Мелихове. Это, кажется, лучшее время из жизни Чехова. Здоровье его тогда находилось еще в сравнительно хорошем состоянии, был он жизнерадостен, любил природу. Да и задумываться было некогда: литературная работа, хозяйство, сад, в котором Антон Павлович всегда копался, занимаясь посадками, а потом вечная толпа баб и мужиков, приходивших к своему «дохтуру» с разными болезнями. И всегда — гости и гости.

Когда последних съезжалось слишком много, а особенно «дамского сословия», мы, своя компания, с Антоном Павловичем во главе, переселялись в баню. Впрочем, ее только называли баней. В действительности там при бане было несколько комнат, прекрасно обставленных, с кроватями и диванами. Славно время проводили мы там — и наливочка, и чаек, и разговоры да чтения с вечера до утра.

Кто-то из братьев Чеховых имел фотографический аппарат, снимал виды и группы. И вот однажды ранней весной, только что снег сошел, мы гуляли в саду, Антон Павлович обратился ко мне:

— Гиляй, я устал, покатай меня на тачке! — и сел в тачку. Туда же поместился его брат Миша, бывший

тогда еще гимназистом, а когда я привез их к дому, то пожелали снять фотографию. Кроме нас трех, на группе — Иван Павлович Чехов и двоюродный брат Антона Павловича — Алеша Чехов.

Я частенько наезжал в Мелихово. Иногда Антоша вызывал меня письмами. Вот одно из них, случайно уцелевшая открытка:

«Москва. Столешников, дом Корзинкина. Вл. Ал. Гиляровскому. Хочешь, чтобы тебя забыли друзья? Купи имение и поселись в нем. Потяни, Гиляй, за хвостик свою память и вспомни о поздравляющем тебя литераторе Чехове. Христос воскрес! Твой А. Чехов. Мелихово.

Р. S. Лошади теперь хорошие. Приезжай».

Помню, раз, должно быть в 900-м году, напечатал я фельетон о выступлении декадентов в Художественном кружке и их жестоко вышутил. Заглавие фельетона было «Люди четвертого измерения». В ответ я получил от Чехова такую открытку:

«Милый дядя Гиляй, твои «Люди четвертого измерения» великолепы, я читал и все время смеялся. Молодец дядя! После 20 апреля буду в Москве. Крепко жму твою ручищу. Твой А. Чехов, 23 марта 1900 г.»

Помню, что я ответил ему тогда открыткой с такими стихами:

Каламбуром не избитым
Удружу — не будь уж в гневе:
Ты в Крыму страдал плевритом,
Мы на севере — от Плеве.

Когда приехал Чехов в Москву, я спросил его, получил ли он открытку. Оказалось — нет. Я ему повторил стихи.

— Ну вот, ты напиши-ка мне их, а открытка твоя, наверное, пригвождена к делу приставом Гвоздевичем...

Как-то мы завтракали вдвоем с Антоном Павловичем в «Славянском базаре». Он зимой приехал в Москву из Ялты,

— Ты помнишь Елифанова? — спросил Чехов меня. — Сценки писал...

— Ну да, Сережу... Алкоголик, бедняга...

— Наткнулся я на него в Ялте в больнице за несколько дней до смерти. Носил ему гостинцев... Всему он радовался... Вспоминали старых товарищей, Москву, трактиры... Когда заговорил я о тебе, он только два слова сказал: «Было попито!»

Я тут же рассказал один случай с Елифановым, который очень понравился Чехову, и он взял с меня слово, что я его обязательно напечатаю. Это был уже блеск его славы, и мелочей он не писал. Я дал ему слово — и забыл.

Мы сидели как-то в редакции «Московского листка», где Н. И. Пастухов, по обыкновению в расстегнутом халате и в туфлях, рассматривал за письменным столом принесенный репортерами материал. Сережа Елифанов, небесталанный поэт и автор сенок, принес уличную картинку о том, как толпа в самый Новый год собралась на Цветном бульваре около лежавшего на снегу замерзшего попугая, прекрасного белого какаду. Елифанов рассказывал, что в Москве появились попугаи, живут они на бульварах, все это в смешной форме. Пастухов прочел сценку и сказал: «Не пойдет! Ты вот найди, откуда это попугай взялся и как он на бульвар попал, тогда пойдет!» — «Это невозможно, Николай Иванович». — «Какой же ты после этого репортер выходишь? Может, сам нашел на помойке дохлую птицу и подкинул ее, чтобы сценку написать? Вон Гиляй с Вашковым купили на две копейки грешников у разносчика, бросили их в Патриарший пруд, народ собрали и написали сценку «Грешники в Патриаршем пруде». Там хоть смешно было... А это что? Сдох попугай, а ты сценку в сто строк. Вот найди теперь, откуда птица на бульвар попала. Эх, ты, строчило мученик!»

Пастухов встал и ушел.

На углу Петровки и Рахмановского переуллка, в доме Левенсона, над трактиром Зверева помещались тогда мебелирашки «Надежда», которые были населены

главным образом проститутками из средних, мелкими служащими и актерами. В те времена, когда Пастухов послал Елифанова разыскивать попугая, в самом лучшем из номеров «Надежды» жил некто Кондратьев, красивый высокий блондин с огромными выхоленными усами. Он рекомендовался всем как отставной офицер, но, судя по его языку, уж слишком упрощенному, этому верить было трудно. Известно только было, что он жил картежной игрой и бильярдом и был завсегда-таем бильярдного трактира Саврасенкова близ памятника Пушкину. Эта бильярдная, занимавшая два зала, с лучшими фрейберговскими бильярдами, служила в Москве самым крупным притоном для шулеров. Игра происходила на деньги, причем публика, теснившаяся по длинным диванам вдоль стен, держала иногда крупные суммы за игроков-шулеров, и спуск шел всюю. Играли здесь знаменитости того времени: Пискун, Соломон, Шулькевич, Голиаф, Малинин и, не последний среди них, Кондратьев. Играл еще маляр Кирюша, умевший показывать такую игру, что у шулеров выигрывал партии.

Из редакции «Листка» после отповеди Пастухова мы с Елифановым вышли очень огорченные, и я повел его к Саврасенкову утешать графинчиком водки с приличной закуской. Мы сели на большой диван, как раз против бильярда, где велась игра. К нам подсел великан, игрок Голиаф, которого я давно знал, и, указывая на игравших, сказал:

— Вот Малинин, что он вчера с Кондратьевым сделал — смехота!

— А что?

— Уж и не говорите. У Кондратьева на празднике деньжонки завелись, ну, Васька к нему и подмазался и прямо отсюда, это третьего дня было, к нему в гости навязался. Выпили в номере чайку, водочки вдвоем, а потом ему Малинин банчишко заложил один на один. Игра шла начистоту. Играли долго. Под утро Малинин все деньги у него выиграл, часы, портсигар, а тот зарвался, из себя вон лезет. А Васька ему: «Хочешь на попугая?» А в комнате у него белый попугай любимый жил. «Да на что он мне? Ну, изволь, согласен». Дол-

го ли, коротко играли, Кондратьев и попугая проиграл. «Получай, твой попугай! Хочешь на собаку? У меня пойнтер есть ланских кровей, цены нет». — «Где же он?» — «Да внизу в швейцарской, в номере держать нельзя, хочешь за триста рублей?» — «Ладно, давай и кобеля!» Кондратьев вышел из номера за собакой, а Малинин взял попугая из клетки да и выкинул его через форточку на улицу, а сам надел шубу и наутек. «Куда же ты?» — «Не могу, домой пора». И ушел. Сейчас вот Малинин все это нам и рассказывал. Кондратьев за ним бегаёт, плачет: «Отдай попугая, я без него жить не могу», а он уж сдох давно, на Цветном бульваре ребята его таскали замерзлого.

Это была удача! Епифанов подробно описал всю рассказанную нам историю, принес Пастухову и получил за это 25 рублей и теплое пальто в подарок.

В пятом томе писем А. Чехова есть письмо от 25 ноября 1899 года Горькому из Ялты:

«Здесь в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе умер поэт «Развлечения» Епифанов, который за два дня до смерти попросил яблочной пастилы и, когда я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом, радостно: «Вот эта самая! Она!» Точно землячку увидел».

Я прочел это письмо в собрании писем, изданных Марией Павловной, вспомнил данное слово и написал то, что рассказывал когда-то Антону Павловичу об Епифанове.

«Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затаили в траве свою скрипучую, монотонную музыку...»

С такой любовью описывает Антон Павлович утро в степи.

А дальше день, знойный июльский день:

«Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка

видит все одно и то же — небо, равнину, холмы... Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной... Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла...»

Славно удалось его первое большое произведение «Степь»!

Не та буйная, казацкая, гоголевская степь с ее налетами запорожцев, а тихая, спокойная степь времени его детства и юности.

Антон Павлович — степняк прирожденный, от прадедов. Когда вышла его «Степь», я много беседовал с ним о степях, которые сам страстно люблю. В этих беседах принимал участие и его отец.

Из рассказов Павла Егоровича и его детей я узнал и родословную Чеховых.

Дед Антона Павловича, Егор Михайлович Чех, принадлежал к крепостным знаменитого донца графа Платова. Почему прозвание его было Чех, так и осталось неизвестным. Он жил и работал в степных слободах Крепкой и Княжой, заработал достаточно денег, чтобы выкупиться на волю, что и сделал. Дети у него были уже свободны, — три сына: Михаил, Павел и Митрофан.

Михаил, старший, был отцом отдан в ученье в переpletчики в Калугу, где скоро получил известность, как лучший мастер. Он назывался не Чехов, а Чохов. Своему отцу он прислал подарок — весьма сложно сделанную шкатулку со следующей надписью: «Примите, дорогой родитель, плод усердного труда моего». Шкатулкой этой очень дорожил Антон Павлович.

Митрофан Егорович открыл бакалейную торговлю в Таганроге. После него остались два сына: Владимир, учительствовавший в Таганроге, и Егор, служивший в Русском обществе пароходства и торговли. Это был любимец Антона Павловича, который звал его «Жоржик». Я бывал в Ялте у Антона Павловича, встречал у него Егора Митрофановича.

Павел Егорович, отец Антона Павловича, начал свою молодость трудной работой прасола. Он гонял скот — и красный калмыцкий и серый украинский — в Москву, в Харьков и другие большие города. Во время путешествия с гуртами, где верхом, где пешком, он попал в Шую и там высмотрел себе невесту. Это и была Евгения Яковлевна. Она урожденная Морозова, дочь купца.

Женившись, Павел Егорович задумал переменить полную приключений кочевую жизнь прасола на оседлую и открыл в Таганроге, по примеру брата, колониальную лавочку.

Дети Михаила Чохова все были коммерсанты.

Дети Павла Егоровича: покойный Николай — был весьма талантливый художник, Антон, Александр и Михаил — писатели, Иван — учитель, Мария — художница-пейзажистка. Павел Егорович, став коммерческим человеком, все-таки не утратил той поэтической жилки, которую заставила забиться в груди его степная прасольская жизнь.

Много раз я беседовал с Павлом Егоровичем. Холодный, расчетливый практик исчезал, и предо мной вставал совершенно другой человек, полный поэзии, когда разговор переходил на степь, на привольную жизнь, на табуны, на казачество. Молодел и изменялся Павел Егорович.

В том же Мелихове, бывало, когда я возвращался на север из моих частых поездок по южнорусским степям, разговоримся мы, заслушается, оживится старик и предложит:

— Пойдемте-ка, я вам наших лошадок покажу.

— Вот садитесь-ка на эту, проезжайте, — как идет! Только что с Дона привели! — и начнет расписывать достоинства лошадки, заглянет в старину и скажет: — Эх, бывало, и я когда-то ездоком был!

А то еще у него увлечение было — скрипка.

Вспоминал он иногда и некоторые строки Кольцова.

Видно, что поэзия степной жизни, глубоко вкоренившаяся в юности, и любовь к степи, переданная сыну, таились в душе его и, хотя изредка, все-таки пробива-

лись сквозь толстую, наносную, многолетнюю кору практической жизни и борьбы с нуждой.

А нуждаться ему приходилось в прежние годы. Торговля в Таганроге шла неважно. Надо было подыскивать еще заработки. И тут-то вот скрипка, знание музыки и хороший голос создали новую профессию Павлу Егоровичу...

На родной сестре Евгении Яковлевны, Федосье Яковлевне, был женат друг и товарищ Павла Егоровича, А. Б. Долженко, начавший свою деятельность такими же степными путешествиями по России за скупкой холста и разных крестьянских изделий. Бывали оба они в Шуге и женились на родных сестрах. А. Б. Долженко потом завел мануфактурную торговлю в Таганроге, был большой любитель духовного пения и на этом сошелся с Павлом Егоровичем. Сначала они пели в греческом монастыре, потом во дворце, в походной церкви и в соборе. Павел Егорович обучал хор под скрипку и был регентом.

Это давало почетное положение в городе, а хор его приезжали слушать даже из Ростова и других городов.

В хоре пели все дети Чехова и сын А. Б. Долженко, Алексей, до настоящего времени один из друзей семьи Чехова, сверстник младших. Александр Павлович, старший, пел сначала дискантом, потом басом; Николай, хороший скрипач, помогал отцу и особенно много пел, что отразилось на его здоровье и, возможно, послужило причиной его болезни; Антон пел альтом.

Семья жила очень дружно. Антон Павлович был смирнее всех. У него была очень большая голова, и его звали «Бомбой», за что он сердился. Любимым занятием Антона было составление коллекций насекомых и игра в торговлю, причем он еще ребенком мастерски считал на счетах. Все думали, что из него выйдет коммерсант.

В том, что Антон Павлович сделался писателем, мы многим обязаны его матери, Евгении Яковлевне, а также и тому, что коммерческие дела отца его в Таганроге шли плохо. Старшие дети учились, Александр был уже в четвертом классе гимназии, когда пришло время отдавать учиться Антона...

В «Степи» Чехова отец Христофор разговаривает с купцом Кузьмичевым. Первый стоит за учение и приводит в пример Ломоносова:

— Умственность, принимаемая с верой, дает плоды, богу угодные.

А Кузьмичев отвечает:

— Кому наука в пользу, а у кого ум путается. Сестра — женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

— А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учение постигать!

Вероятно, подобные разговоры происходили когда-то среди окружавших Антона Павловича в детстве.

Когда Антон был в четвертом классе, а Александр в восьмом, отец открыл новую лавку около вокзала, надеясь на наплыв публики.

И время каникул у обоих прошло в лавке. Единственным отдыхом было посидеть вечером на крылечке и послушать отдаленную музыку, доносившуюся из городского сада.

Покупатели были большей частью беднота, а торговцы-гимназисты обладали добрым сердцем, и в результате вместо барыша оказался убыток. Лавка была закрыта.

Антон снова очутился в гимназии. Николай и Александр были отправлены в столицу, первый — в Московское училище живописи и ваяния, второй — в университет.

Торговые дела Павла Егоровича шли все хуже. А тут еще домовладелец Монсеев плату за квартиру и лавку с четырехсот рублей в год возвысил до восьмисот. Это была последняя капля, — и Чеховы, закрыв торговлю, переселились в Москву.

Здесь начали учиться младшие дети, Мария и Михаил, а вскоре приехал из Таганрога доучившийся там

в гимназии Антон и поступил в университет, а затем стал сотрудничать в юмористических журналах.

Любил я чеховскую компанию, когда они жили в «комоде». Удивительно был похож на комод этот двухэтажный флигелек — он и сейчас такой же — на Кудринской-Садовой; он принадлежал тогда земляку Чехова, доктору Карнееву, донскому казаку. Вверху помещались столовая и комнаты для семьи, внизу — большой кабинет Антона Павловича, в который сверху была устроена внутренняя лестница прямо из столовой. Тогда я очень много разъезжал в разных командировках, то на холеру, то на чуму в Астраханские пустыни, то на разные катастрофы, а то в Задонские степи по делам табунного коневодства, в казачьи зимовки и калмыцкие улусы. И только налетом, возвращаясь в Москву, мог видеть я моего друга, и каждая встреча наша была взаимно радостна.

В один из таких приездов влетел я к Антону в кабинет. Он, по обыкновению, за письменным столом сидит.

— Откуда? — улыбнулся он, и глаза его засияли.

— Да отовсюду: с Волги, с Дона, с Кубанских плавней, с Терских гребней.

— Как ты загорел! Совсем чугунный. Ну, садись! Рассказывай!

— Вот тебе гостинец из родных краев, — копченый гусь, сало, две бутылки цимлянского с Дона да шемайка вяленая с Терека.

Весь стол у Антона был обложен аккуратно связанными пачками конвертов с сохранившимися еще на них пятью сургучными печатями — денежных, — со стола он перекладывал их на полку.

— Архив перебираю, — пояснил он мне. — Все редакционные дела. Вот «Осколки», вот «Стрекоза», вот «Петербургская газета»... Память о прожитых богатствах.

И он начал развертывать мой кулек.

— А, с Дону, родное, степь-матушка!

Я тихо, бережно пожал ему руку, он улыбнулся.

— Эх, ты!.. Ну, рассказывай...

Не успел я рта разинуть, как сверху сбежал юноша в студенческом мундире — Н. Е. Эфрос... А из прихожей появились Семашко с виолончелью и певец Тютюник. Поздоровались, начали любоваться гостинцами. Эфрос почти тотчас же простился и убежал. Сверху слышался крик Марии Павловны:

— Антоша, завтрак готов!

— Несите все на стол! — обратился Антон Павлович к нам. — Вы, Семашко, рыбу, гуся и сало, а вы, певец, вино. Мы сейчас придем есть.

Они ушли наверх. Вдруг раздался звонок, вошла горничная.

— Антон Павлович, вас портной спрашивает.

— Глебов? Белоусов?

— Нет, не Федор Глебыч и не Иван Алексеич, а другой какой-то, с бородой и с узлом.

— Гиляй, милый, посмотри и; если чужой кто, скажи, что меня дома нет.

Я вышел в переднюю. У двери смиренно стоял в скромном драповом пальто бородатый мужчина, под мышкой у него был узел в черном коленкоре, в каком портные заказы приносят.

— Владимир Галактионыч! Вот не узнал... Из Нижнего? Ну, раздевайтесь!

— Да, вчера приехал.

— Антоша, Короленко пришел! — закричал я.

Только что мы уселись в кабинете, как раздался голос Евгении Яковлевны сверху:

— Антоша, кабачки остынут!

Пришлось прервать беседу и идти наверх, в столовую.

И почти всегда так бывало: когда ни придешь, постоянно народу у Чеховых труба не толченая. Он уже начал входить в моду. Начался тот период, о котором так много писали, а я здесь описываю только мои личные впечатления, вспоминаю то время, когда мы — Гиляй и Антоша Чехонте — были близки. И хотя до конца жизни он остался для меня Антошей, а я для него Гиляем, прежней близости, когда Чехов «вошел в моду», уже не стало — слишком редки были встречи вдвоем.

Здоровье Антона Павловича становилось все хуже и хуже. Я изредка навещал его в Ялте. Приехал я как-то раз очень усталый от довольно бурно проведенного времени в норд-оста, потрепавшего нас между Новороссийском и Ялтой. Тогда у меня, чего никогда еще не бывало, появился тик, нервное подергивание лица и шеи.

— Это что тебя дергает? Это что еще за глупости? Как не стыдно, — ты, витязь, премированный за атлетику! — начал упрекать меня Чехов.

Меня опять дернуло.

— Оставь, будь умным! Ты думаешь, что лучше будет, если ты так головой мотнешь? — И он точь-в-точь повторил мое движение с сердитым взглядом. Первый раз в жизни я увидел у него такие глаза. — Ничего от твоего дерганья на свете лучше не будет, все как было, так и останется... Брось, не смей!

И, погрозив сердито пальцем, он сразу изменил тон и показал мне в окно на невзрачного человека, копошившегося около клумбы.

— Это наш Бабакай. Пойдем в сад, и ты мне скажи экспромт о Бабакае.

Я сочинил какие-то четыре строчки, из которых помню теперь только последнюю: «И какой-то Бабакай».

— Ну вот, теперь напиши это на косяке, — мы спустились в это время вниз по лестнице.

Я написал. Антон Павлович прочел.

— Это я с тебя стихами докторский гонорар взял за то, что от глупой привычки вылечил. Понял ты, что дергаться не надо, от этого никому ни лучше, ни хуже не будет, и перестань.

— Верю и не буду.

— Да, вот... Ты думаешь, я плохой доктор? Полицейская Москва меня признает за доктора, а не за писателя, значит — я доктор. Во «Всей Москве» напечатано: «Чехов Антон Павлович. Малая Дмитровка. Дом Шишкова. Практикующий врач». Так и написано: не писатель, а врач, — значит, верь!

И я поверил и больше ни разу не дернулся до сего времени.

Мы сидели на лавочке в саду, а Бабакай рылся в клумбе. У меня был кодак, я снял несколько раз Анто-на, Бабакаю, дачу, Антон меня снял. Подошла Мария Павловна, — сняли и ее. Одна только ее карточка и вышла хорошо. Это единственный раз, когда Антон Чехов был фотографом. Подошел Бабакай.

— Антон Павлович, какие-то бабы из города в шляпках приходили, я сказал, что вас нет.

— Хорошо, Бабакай! Это он городских дам называет бабами, отбою от них нет, — пояснил мне Чехов.

— Судьба твоя такая. Без баб тебе, видно, не суждено. Ты подумай, сам говоришь: «От баб отбою нет». Служит у тебя Бабакай... Под Новым Иерусалимом ты жил в Бабкине, и мальчик у тебя был Бабкин... И сапоги мы с тобой покупали у Бабурина.

— Да, я и не подумал об этом, все баб... баб... баб... кругом! — рассмеялся он.

— Нет, еще не совсем кругом, а только что в начале баб. А чтоб завершить круг, ты вот на этой самой клумбе, которую копает Бабакай, посади баобаба.

В ответ Антоша со смехом вынул кошелек, порылся в нем и подал мне две запонки для манжет.

— Вот тебе за это гонорар. На память о баобабе... Обязательно посажу баобаба и выпишу его через Бабель-мандебский пролив... Бабельмандебский!

Он опять расхохотался.

— Гиляй, знаешь что, — заключил он, — оставайся у меня жить. С тобой и умирать некогда.

А как любил Чехов степи! Они были постоянно темой наших разговоров, когда мы оставались вдвоем, и оба мы на этих воспоминаниях отдыхали от суеты столичной...

Еще в начале нашего знакомства он с удовольствием выслушивал мои стихи про Стеньку Разина, про запорожцев, которые еще тогда напечатаны не были.

Я уже говорил о том впечатлении, которое произвела на меня «Степь», напечатанная впервые в «Северном вестнике» в конце 80-х годов. При первой же встрече я высказал Чехову свой восторг:

— Прелесть! Ведь это же настоящая, настоящая степь! Прямо дышишь степью, когда читаешь.

— Скучно тебе было читать, скажи по совести!

— Тихо все, читаешь, будто сам в телеге едешь, тихо-тихо едешь.

— Вот оттого-то она и скучна тебе, так и быть должно. Моя степь — не твоя степь. Ведь ты же опоздал родиться на триста лет... В те времена ты бы ватаги буйные по степи водил, и весело б тебе было. Опоздал родиться...

Он засмеялся. А потом задумался и, глядя мне в глаза, медленно проговорил:

— Будет еще и твоя степь. И ватаги буйные будут. Все повторится, что было... Только мы с тобой не доживем до этого. А будет, будет это... И Гонты, и Гордиенки, и Стеньки Разины будут... Все будет... И шире и грознее еще разгуляется. Корка вверх лопнет, и полется; ведь в каждой станице таится свой Стенька Разин, в каждой деревне свой Пугачев найдется... Сорвется с цепи — а за ним все стаей, стаей...

Повторение этого разговора было у нас опять в Ялте, через несколько лет, когда я возвращался из «Нового света» — знаменитого голицынского виноделия. Антон Павлович был один — он да Евгения Яковлевна. Остальные все разъехались. Он чувствовал себя в этот день очень хорошо, мы опять гуляли по саду и разговаривали в кабинете перед открытым окном, глядя на море.

— Твои герои — в прошлом, сильные, могучие, с порывами; а мои нынешние все кислота, киснут и скулят; как ты выражаешься — чеховщина.

Он надолго закашлялся.

— Да ведь так гнить без конца нельзя... Гниет болото, гниет да и высохнет... И запылает от искорки торф в глубине и лес наверху. Только после нас это будет. Не вовремя ты родился. Или опоздал на триста лет, или раньше явился на сто. Помнишь, у тебя стихи. Я забыл. Как это?

— Какие?

— Идут полки... Бунчуки стали... кто гол... кто в бархате... атаман... усища... Всю картину вижу, а стихов не помню.

— Изволь:

Идет казацкой силы рать...
Все ближе... ближе... Слышны крики,
Видны отдельные полки,
Звенят подковы, блещут пики,
Горят на солнце бунчуки.
На том папаха,
Из черна соболя окол,
На этом рваная рубаха,
На этом бархат, этот гол,
И лишь полгруды закрывают
Усы...

— Вот... вот... Именно такие... Все будет, все будет... через сто лет.

Он вытянул руку к окну, к морю.

— Гляди! Вот твои запорожцы летят на чайках, — прямо на гостиницу «Россия»! Вот ватаги с горы толпами прут, топоры сверкают. Слышишь, гудит?..

— Антоша, завтракать! — вошла Евгения Яковлевна.

Он сразу поник, опустил руку и обернулся ко мне:

— Идем.

Мы вышли из комнаты вслед за Евгенией Яковлевной.

«Так-то, Гиляюшка, все будет, все будет, только мы с тобой не увидим...» — еще звучало у меня в ушах.

В последний раз я видел Чехова почти накануне его отъезда за границу. Я вернулся с юга, и дома мне сказали, что Антон Павлович очень плох, хотел меня видеть и что доктора его увозят из России. Переодевшись, я тотчас отправился к нему, на четвертый этаж дома Полякова, № 22 по Леонтьевскому переулку. Только я протянул руку к звонку, как дверь сама навстречу мне отворилась и вышел доктор Ю. Р. Таубе.

— Ну вот и хорошо, Владимир Алексеевич, что вы приехали, Антон Павлович вспоминал вас, обрадуется.

— Каков он?

— Слаб. Послезавтра за границу.

На шум вышла в прихожую Ольга Леонардовна с

очень суровым лицом, но при виде меня сразу прояснилась:

— Я испугалась, думала, чужой кто. Идите, Антоша рад будет вам...

Мы тихо подошли к кабинету. Сквозь полуотворенную дверь я увидал Антона Павловича. Он сидел на турецком диване с ногами. Лицо у него было осунувшееся, восковое... и руки тоже... Услышав шаги, он поднял голову... Один момент — и три выражения: суровое, усталое, удивленное — и веселые глаза. Радостная Антошина улыбка, которой я давно не видел у него.

— Гиляй, милый, садись на диван! — И он отодвинул ноги вглубь.

— Владимир Алексеевич, вы посидите, а я на полчаса вас покину, — обратилась ко мне Ольга Леонардовна.

— Да я его не отпущу! Гиляй, какой портвейн у меня! Три бутылки!

Я взял в свою руку его похудевшую руку — горячую, сухую.

— А ну-ка пожми! Помнишь, как тогда... А табакерка твоя где?

— Вот она.

Он взял ее, погладил, как это всегда делал, по крышке и поднес ее близко к носу.

— С донничком? Степью пахнет донник. Ты оттуда?

— Из Задонья, из табунов.

— И неук¹ объезжал?

— И неук¹ объезжал, и каймак² ел, и цимлу пил, и выморозки³...

— Хорошо там у нас... Наши платовские целинные степи!

Он задумался.

¹ Неук — необъезженная лошадь, не ходившая еще ни в упряжи, ни под верхом.

² Каймак — особым способом приготовленные сливки с топленого молока.

³ Цимла — цимлянское вино. Выморозки — крепкое виноградное вино, из которого вода удалена вымораживанием.

— А я вот за границу еду, да... за границу...

— Прекрасно, а как вернешься, в степи тебя пове-
зу, в табуны.

— Ах, степи, степи!.. Вот ты счастливцев... Ты там поэзии и силы набираешься. Бронзовый весь, не то, что мы. Только помни: водку пей до пятидесяти лет, а потом не смей, на пиво переходи.

Я долго ему рассказывал о табунах, о калмыцком хуруле¹, о каторжной работе табунщиков зимой в голодовку да в шурганы², когда по суткам с коня не слезаешь, чтоб табун головой против ветра держать... а он слушал, слушал, сначала все крутил ус, а потом рука опустилась, глаза устремились куда-то вдаль... задумчивые и радостные... Думаю, степь увидал.

— Допивай портвейн, там в шкафу еще две бутылки... Хороший портвейн... Только твоя сливянка да запеканка домашняя лучше. Кланяйся Марии Ивановне да скажи, что приеду обязательно ее наливки пить... Помнишь, тогда... Левитан, Николай, опенки в уксусе...

И Антон Павлович с блаженной улыбкой закрыл глаза и опустил голову на подушку:

— Я так, минутку... не уходи, пей...

И задремал. За все время нашей беседы он ни разу не кашлянул. Я смотрел на осунувшееся милое лицо, спокойное-спокойное, на неподвижно лежавшие желтые руки с синими жилками и думал:

«Нет, Антоша, не пивать тебе больше у меня сливянки, не видать тебе своих донских степей, целинных, платовских, так прекрасно тобой описанных»...

Колышется живая площадь красными знаменами, красными платочками, красными майками. А среди этого красного, ритмически волнующегося моря вкраплены яркие зеленые, оранжевые и голубые пятна и полосы.

Послушная звукам оркестра, стройно движется демонстрация. Тысячи рук с рельефными мышцами

¹ Хурул — монгольский храм.

² Шурган — метель, буран.

сверкают и золотятся живой бронзой на солнце, опускаются и снова вырастают из цветных маек. Тысячи оживленных глаз и здоровых румяных лиц глядят весело и уверенно.

Шаг уверен, ярок, смел.
Звучит ритмично мостовая,
И бронза загорелых тел -
Горит на солище, как живая.

— Все люди будут сильными! — сказал мне в одну из бесед А. П. Чехов.

— «Все люди будут сильными», — глядя на демонстрацию, повторил я слова Чехова.

В восторге смотрел я на эту полную сил и жизни молодежь, на стройные ряды загорелых ребятишек, радостным и звонким строем уверенно шагающих за своими старшими товарищами. На лицах у всех написано:

«Мы — сильные!»

И теперь, когда я заканчиваю эти строки, мое восьмидесятилетнее сердце болит о друге юных дней, и мне думается, будь он жив, — встретив такой праздник молодежи, он, автор «Хмурых людей», написал бы книгу: «Жизнерадостные люди».

СОЖЖЕННАЯ КНИГА

На Тверской, напротив генерал-губернаторского дворца, стоял четырехэтажный дом Олсуфьева. Ряд надворных флигелей были сплошной трущобой, а в доме на улицу четвертый этаж занимали меблирашки, известные всей Москве под именем «Чернышей», — комнаты с низкими потолками, с маленькими окнами, с подоконниками на треть метра от полу: чтобы посмотреть в окно, надо было согнуться в три погибели. Этим огромным домом управлял квартальный из бывших городских, состоявший при генерал-губернаторе князе В. А. Долгорукове для личных услуг. Полиция перед ним трепетала и не смела сунуть носа в Олсуфьевскую крепость — ни в ее трущобы, ни в меблирашки «Черныши», которые десятки лет содержала старуха Чернышева. Управляющий не интересовался, кто и как в них живет, вполне полагаясь на «Чернышиху», крестившую с десятков его детей, причем каждому своему крестнику она клала на «зубок» по выигрышному сторублевому билету. И хозяйка оправдывала доверие: в меблирашках всегда было тихо, ни шума, ни скандалов, — половина жильцов была не прописана.

В семидесятых — восьмидесятых годах там останавливались и подолгу проживали отцы и деды нашей революции.

В эти годы самый большой номер, в две комнаты, занимал М. И. Орфанов-Мишля, бывший судебный следо-

ватель по должности, ярый народник-шестидесятник и автор «Сибирских рассказов», запрещенных для библиотек. Роста он был огромного, сложения богатырского, темная борода в полгруды, по-видимому, никогда не ведала ножниц, а косматая грива подстригалась раз-два в год.

В номере рядом с ним жил его друг Вася Васильев, провинциальный актер, служивший в то время в Москве, в театре А. А. Бренко, мой старый товарищ по сцене; сам он был крошечный, лицо с кулачок, бритое по-актерски, густые брови и черные курчавые волосы — родовое наследство по мужской линии.

Отец его был кантонист, по фамилии Шведевенгер, родом откуда-то с Волини. В аракчеевские времена там забирали еврейских мальчиков от родителей, крестили их и в кантонистских школах воспитывали из них солдат.

Разъезжали фуры по еврейским поселкам, ловили ребятшек и навсегда увозили от родителей. При крещении им давали имя и фамилию большей частью по крестному отцу, а отец с матерью даже не знали, где находится их ребенок.

И Мишла и Вася были прописаны: один — по указу об отставке, другой — по паспорту клинского мещанина Василия Васильевича Васильева. Проживал мещанин Васильев по этому документу столько лет, сколько искала полиция солдатского сына Шведевенгера, разыскиваемого по делу Питерской коммуны в Эртелевом переулке и по другому делу, связанному с арестом Н. Г. Чернышевского. Потом он был арестован еще по делу 193-х, но как-то ухитрился удрать, и на место Шведевенгера выплыл актер Васильев.

В номере Мишла стояли две кровати и диван вроде тургеневского «самосона», поперек которого могло в ряд улечься пятеро, что иногда и бывало. В номере Васи тоже стояли две кровати и диван поменьше и тоже не пустовали. Эти два номера были явками для народников и местом их ночлега. Два номера напротив занимали: один — студент Ершов, а другой — хористка Попова, знакомая Гриши Орденсона, торговца книгами, который время от времени, проездом через Москву «с товаром», останавливался у нее. Часть багажа он обычно по при-

езде отдавал Васе, а остальное вез дальше, главным образом в Воронеж, где у его жены был домишко. Вася распаковывал багаж и раздавал его по назначению в Москве. По большей части это были книжки и брошюры на тонкой бумаге для рабочих на фабриках и заводах, а иногда увесистая пачка «Народной воли».

Ночевали у Мишлы и Васи разные лица. И раз в номере последнего целый месяц спокойно прожил П. Г. Зайчневский, удравший из ссылки. Не раз ночевал и я.

Как-то утром зашел к нам Мишлы. В одной рубаше и в резиновых огромных калошах на босу ногу. А мы только что встали и пили чай.

— Сегодня в час приходите ко мне завтракать. Будут Нефедов, Приклонский и Глеб Иванович. Он вчера приехал из Питера и сейчас еще спит у меня. Я хочу прочитать новый сибирский очерк. Ну, так приходите. А я побегу к Генералову за закусками. Предупреждаю, водки не будет. Только пиво. Хочется серьезно прочитать.

Я немного опоздал, и, когда пришел, чтение уже началось. Не желая мешать, я сделал общий поклон и сел в сторонке. Меня с улыбкой дружеским жестом приветствовал Мишлы и поклонились остальные. В первый раз я тогда увидел писателей, и сразу четырех.

На диване-самосоне сидел гигант Мишлы и читал. Справа от него, вытянув во всю длину короткие ножонки, приютился у спинки маленький Вася. Он, задрав голову, смотрел на чтеца, как мышь на колокольню. Слева устроился сумрачный Нефедов, с его лысой головы наполовину сполз косматый, грубо сделанный парик. Напротив, на стуле, сидел Глеб Иванович Успенский, внимательно слушая. Он глубокомысленно резал ломтики сыра и запивал их маленькими глотками пива.

С. А. Приклонский, автор книги «Год на севере», стройный и красивый, с лицом, еще обвеянным недавними полярными бурями Ледовитого океана, курил папиросу за папиросой, то и дело стряхивая пепел с вьющейся русой бороды.

— Два года табаку не видал! Курили с поморами мох да торф, — говорил он обыкновенно, как бы извиняясь, когда запускал пальцы в портсигар соседа.

В молчании слушали все интересный рассказ из острожной жизни.

На половине тетради чтец остановился:

— Дайте отдохнуть. Пожалуйте пока закусить. Наливайте пива.

Завтрак был сервирован на столе, с листом газеты «Русских ведомостей», только что поданным и пахнувшим краской, вместо скатерти: полковриги ситного, филипповские калачи, головка голландского сыра и три вареных колбасы во всей своей неприкосновенности.

— Ну-с, режьте и ешьте!

Тогда-то Мишла представил меня обществу, назвав по фамилии.

— Друг Василия Васильевича. Вместе работают.

Меня приняли очень любезно: рекомендация была солидная.

Принялись резать колбасу, наливать пиво, батарея бутылок которого стояла на окне.

— Колбаса великолепная, еще совсем горячая!.. У нас в Петербурге такой нет. Каждый раз в гостинец привожу ее из Москвы от Генералова, — сказал Глеб Иванович.

И тут вдруг громко захохотал, поперхнулся и прыснул пивом на всех нас Приклонский.

— Ты чего ржешь? Что с тобой? — улыбнулся Мишла.

— Ха-ха-ха! Генераловская! — заливался Приклонский.

— Да в чем дело?

— В чем? Вернулся после двух лет отсутствия вчера в Москву. Иду по Тверской, все так же, как и прежде было... Тот же двухэтажный желтый дом Филиппова... Тот же золотой калач над дверью висит... Рядом та же гостиница Шевалдышева. Дальше та же самая голубая, с огромными золотыми буквами вывеска над гастрономическим магазином: «Генералов». Как раз над ней такого же размера другая старая вывеска — «Фотография», — ну, словом, все, как и было... Издали только и видны эти две крупные надписи «Фотография»... «Генералов». Читаю, да как расхохочусь на всю улицу! Народ останавливается, а я гляжу, оторваться не могу. Гляжу

и хохочу. Читаю вслух «Фотография» и «Генералов» — и хохочу.

«Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Давно ль на сей земле? Да что с вами?» — подает мне кто-то руку. Гляжу — мой защитник Плевако.

«Здравствуйте, Федор Никифорович! Да вы глядите, читайте», — указал я на противоположную стену.

«Ну фотография, ну Генералов, ну...»

Вдруг его скуластое лицо расплылось в улыбку. Засмеялись киргизские раскосые глаза, и грянул хохот на всю улицу.

Образовалась толпа. Подходят знакомые, здороваются с Плевако. Спрашивают, что такое, а он поднимает обе руки, одним пальцем показывает на одну вывеску, другим — на другую. Все читают и хохочут, глядя на две большие золоченые свиные головы, рельефно выдающиеся посреди стены, как раз между вывесками «Фотография» — «Генералов».

Приклонский хохотал, мы все ему вторили. И ведь тоже только сейчас вспомнили про эти головы. Никому в голову не приходило. У Глеба Ивановича слезы на глазах выступили от хохота.

— Ведь каждый раз захожу к Генералову за колбасой, каждый раз, когда мимо иду, вижу эти две курносые свиные головы, каждый раз невольно читаю вывески — и никогда не думал и подумать, что это фотография генералов!.. Вот как мы, российские обыватели, запуганы генералами.

В этот день больше не читали.

Это была моя первая встреча с Глебом Ивановичем Успенским.

Прошли годы. Я уже был женат. Мы встретились снова с Глебом Ивановичем в «Русских ведомостях».

Глеб Иванович Успенский очень любил щи с головизной и московские расстегаи с рыбой и вязигой, а потому каждый его приезд в Москву мы отправлялись небольшой компанией прямо из редакции в Черкасский переулок, к «Арсентьичу». Так звали не совсем первоклассный, но сытный трактир, славившийся рыбными блюдами. Впоследствии, когда мы подружились, он не раз

обедывал у меня, и жена угощала его борщом и ватрушками или щами с головизной и рыбной кулебякой.

Мы обедали втроем, и после обеда, за стаканом вина, он каждый раз просил меня прочитать «Стеньку Разина». Сцена с палачом всегда вызывала у него слезу на глаза, и он, впечатлительный и нервный, говорил при этом жене:

— Мария Ивановна! Как вы не боялись выйти за него замуж? Ведь он Стенька Разин! Только Стенька Разин так и мог про себя написать.

В один из таких обедов в моей скромной квартирке, в доме Лавровой в Хлыновском тупике, за стаканом самодава, привезенного мне моим приятелем с Дона, я разболтался, стал рассказывать о белильном заводе Сорокина в Ярославле, о чем никогда никому не говорил. Глеб Иванович засыпал меня вопросами, а я в ответ принес ему очерк из рабочей жизни «Обреченные», который лежал у меня, начисто переписанный, но отдавать его в печать я даже не мечтал и никому, кроме своей жены, не читал.

Набросан он был еще в 1874 году на Волге, между Ярославлем и Нижним, когда я с белильного завода пробирался в Астрахань на вольные ватаги.

Из Нижнего я отослал это мое первое произведение отцу, и только в 1883 году, уже твердо вступив на литературный путь, я взял у отца эти листы бумаги, исписанные карандашом, и впоследствии в свободное время их отделявал, переписывал, но все еще не решался печатать именно этот очерк.

И великая радость охватила меня, когда Глеб Иванович, прослушав весь большой очерк, не перебивая, с влажными от волнения глазами, сказал:

— Ведь это золото! Чего ты свои репортерские заметки лупишь. Ведь ты из глубины вышел, где никто не бывал, пиши, пиши очерки жизни! Пиши, что видел...

И целый час он говорил, говорил, заставлял перечитывать отдельные строки, выражения, целые сцены...

Незабвенно говорил, а мы незабвенно, в восторге слушали, и я рос в своих глазах.

— Нет, ты сообрази... Ведь ты показал такой ад, откуда возврата нет... Приходят умирать, чтобы хозяин

мошну набивал, и сознают это и умирают тут же. Этого до тебя еще никто не сказал. А это будет. Другого исхода нет.

Мы просидели целый вечер у меня. Он расспрашивал подробности, мелочи и то и дело говорил:

— Этого у тебя нет. Запиши! Вставь! Сегодня ты перепиши и завтра принеси в редакцию. В четыре часа я буду там.

Когда я на следующий день пришел в редакцию «Русских ведомостей», В. М. Соболевский меня уже ждал, сидя за своим редакторским столом, а Глеб Иванович тут же вычитывал свою корректуру.

В этот вечер я исполнил просьбу Успенского — сводил его на Хитровку. Он пришел в ужас от обстановки и далее разбойничьего трактира «Каторга» отказался идти. С Хитровки мы вместе поехали в типографию «Русских ведомостей», где я сдал срочные заметки и, к величайшей моей радости, увидел гранки набранных уже «Обреченных». Это была моя первая крупная работа в «Русских ведомостях» за подписью.

Я печатал уже давно рассказы и очерки в газетах и журналах, но не рисковал дать в «Русские ведомости», где «подвалы» занимались корифеями. Этим моим выступлением в профессорской газете я обязан Глебу Ивановичу и затем ему же обязан еще большим: он меня спас от тюрьмы, а может быть, и от Сибири, а пока упрочил мое положение в «Русских ведомостях».

Собрал я пятнадцать рассказов, разбросанных в разных изданиях за эти годы: вышло больше десяти листов; дал заглавие «Трущобные люди» и напечатал в типографии братьев Вернер, на Арбате, книжку в двести сорок страниц.

Это была первая моя книга!

С трепетом сердца, почти священнодействуя, я читал корректуру и в гранках, и уже в листах, и, наконец, когда все было отпечатано, я получил в листах один экземпляр, а другой, сброшюрованный, был отправлен цензору.

Совершенно спокойный, надеясь, что на книге кой-что заработаю, взял я аванс в редакции, занял, кроме того, сто рублей для уплаты типографии в счет трехсот рублей

и ждал с нетерпением выпуска книги. Она еще лежала в листах, запертая на замке в кладовой типографии. Второго экземпляра, несмотря на мои усиленные просьбы, мне не выдали.

— Подождите, получим от цензора, начнем брошюровать, тогда и дадим сколько угодно.

Прихожу на другой день, 17 ноября, в типографию. Евгений Вернер, переводчик и редактор «Сверчка», встречает меня с лицом встревоженным.

— Гиляй, твою книгу арестовали. Ночью приехал инспектор по делам печати, обыскал типографию, и буквально всё, до последнего листа твоей книги, арестовал, увез и набор велел при себе рассыпать. У самих ни гранки не осталось. И оригинал взял!

Я чувствовал себя убитым. Бросился к председателю цензурного комитета — старому-старому Федорову.

— Уж ежели арестовали — значит, хороша книга. Зря не арестуют. В Петербург уже для соответствующего распоряжения отправили экземпляр.

И больше разговаривать не стал.

Посоветовали мне поехать в Петербург, в главное управление по делам печати, куда был послан вместе с книгой и мотивированный доклад цензора. Что было в докладе, я так и не узнал, ибо это в цензурном комитете считалось величайшей государственной тайной.

А я весь в долгу, и выпуск книги для меня был всё.

Поехал в Петербург. Являюсь в цензурный комитет и наталкиваюсь на секретаря С. В. Назаревского, которому рисую мое горе. Он деликатно объясняет, что едва ли я получу разрешение на выпуск книги, что она уже с неблагоприятным для меня заключением главного управления рассматривается в комитете министров.

— По всей вероятности, не позволят выпустить в свет!

— Что же делать? Мне советовали подать прошение начальнику главного управления Феоктистову.

— Подайте... для очищения совести... Только едва ли... Завтра в два часа подайте лично начальнику.

Прихожу на другой день в два часа с прошением о пересмотре книги и разрешении ее. Прошу курьера доложить, сшибая с него важность рублевой бумажкой.

— Сейчас доложу... Только их превосходительство сегодня не в духе... Подождите.

Доложили. Вхожу. Солидный чиновник один шагает по кабинету. Увидал меня и, наклонив голову, подходит. Рекомендуюсь, подаю прошение.

— Что это? Прощение?

— Да.

Берет. Смотрит.

— А марки? Марки где, я говорю?!

— Марки я наклею... Только, пожалуйста, не откажите выслушать.

— Без марок прошение не подают... Извольте наклеить марки...

Я стоял молча, растерянный.

— Идите же... Приложите марки и передайте прошение в канцелярию.

Я продолжаю стоять.

— Извольте идти, я кончил. — И нагнув еще больше шею, повернулся ко мне задом.

Пока я в канцелярии наклеивал марки, оказалось, что Феоктистов уже ушел. Прощение мне пришлось подать его помощнику Адикаевскому.

Это страшное, тупое существо в вицмундире приняло меня весьма сурово и заявило, что оно знакомо с моей книгой и с заключением цензурного комитета об ее уничтожении вполне согласно.

— Там описание трущоб в самых мрачных тонах, там, наконец, выведены вами военные в неприглядном и оскорбительном виде... Бродяги какие-то... Мрак неприглядный... Н-да-с, молодой человек, так писать нельзя-с... Из ваших хлопот ничего не выйдет... Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка.

— Там все правда! — возразил я.

— Вот за правду и запретили. Такую правду писать нельзя. Напрасно хлопотали и марки на прошение наклеивали... Марки денег стоят-с... Уезжайте в свою Москву, вас уведомят, — он повернулся и ушел.

Ничего не понимая, спускаюсь по широкой лестнице с пятого этажа цензурного комитета.

Свежий воздух на улице привел меня в себя — и

первая мысль в голове: «Как это я не побил морду Адикаевскому?»

А кулаки уж свинцом налились. Стою, как добрый молодец на распутье.

Передо мной в этот миг выросли двое друзей: богатырская фигура седого старика и Глеб Иванович Успенский.

— Ты как здесь?.. Вот рад! — воскликнул Глеб Иванович.

— Здравствуй, Гиляй!.. — меня облапил и целует старик.

Тут только я узнал его. Это был Аполлон Николаевич Алифатов, управляющий конным заводом Орлова.

А Глеб Иванович глаза вытарашил:

— Да разве вы знакомы? Аполлон, ты знаешь его?

— Ну вот еще! Наш брат — лошажник.

Мы стояли на тротуаре, я подробно рассказывал свое горе и закончил:

— Вот и жду! Как выйдет Адикаевский — морду в ключья, ребра переломаю. А завтра Феоктистова изувечу!

И оба в один голос:

— Что?! Да ты обезумел! Попадешь в тюрьму — и прямо в Сибирь! А им только по ордену дадут в утешение.

— Все равно, прежде я их награжу...

Друзья взяли меня под руку, а я уперся:

— Никуда не пойду.

Алифатов старается.

— Нешто его, быка, сдвинешь!.. Ну!

Рванули и повели. Я послушно пошел.

— Да ты подумай только, как, например, Феоктистова бить... Он уж так побит, что сам не свой ходит. Вот что про него Минаев написал:

Островский¹ Феоктистову
Затем рога и дал,
Чтоб ими он ненство
Писателей бодал!

¹ М. Н. Островский, брат писателя, министр государственных имуществ.

— Ну, черт с ним! Адикаевского изувечу.

— И это глупо. Из-за мерзавца и себя и семью губить... А на кого семья останется? А где Успенский будет борщ с ватрушками есть? А?

Алифатов все время смотрел на меня, качал головой и повторял:

— Вот дура, вот дура некованая. Вспомни: Адикаевский! Набьешь ему морду, попадешь к жандармам в ад и будешь каяться.

Мы все трое засмеялись и пошли. Пересекли Невский и зашли в мебелирашки у Аничкова моста, к Алифатову, где случайно остановился и я. На столе была икра, сыр, колбаса и бутылка красного вина. Закусили и выпили. Много говорили, и, наконец, Глеб Иванович убедил меня, что после такого ответа ждать нечего.

— Все равно, книгу сожгут наверное, а это большая честь: первая твоя книга — и сожгли! А скандалить будешь — вышлют. Схватят вот так, как мы с Алифатовым тебя тащили, да и поведут. А там начальство грозное в синем мундире сидит, а рядом жандарм здоровеннейший... И скажет тебе начальство... Ты только вообрази, что вот я, Глеб Успенский, генерал, а он — жандарм.

Алифатов встает, вытягивается во фронт, руку под козырек:

— Так точно, васкобродие!..

— Взять этого смутьяна в кибитку — и прямо в Сибирь! Ты мне головой отвечаешь за него! Понял?

— Так точно, васкобродие... Предоставим, васкобродие...

И лица у обоих серьезные, и вдруг мы все расхохотались, и всем нам стало весело...

Вечер мы провели у Глеба Ивановича, на Васильевском острове, проужинали до рассвета, а на другой день с почтовым увез меня Алифатов в Москву. С этого дня у нас с Глебом Ивановичем установилось навсегда дружеское «ты».

В Москву я вернулся успокоенным и даже с некоторой гордостью: автор запрещенной книги!

Сочувственно отнеслись ко мне все товарищи по

«Русским ведомостям», а горячее всех — наборщики, всегда мои лучшие и самые близкие друзья.

В Москве заговорили обо мне и о моей книге, которая, невиданная, сделалась всем интересна, но я упорно никому ее не показывал. Она в хорошем переплете хранилась у жены, которой я и подарил этот единственный экземпляр.

Славы было у меня много, а дома денег ни копейки. Долги душили. Я усиленно работал, кроме «Русских ведомостей», под всевозможными псевдонимами всюду: и стихи, и проза, и подписи для карикатур. Запрашивал цензурный комитет, но всегда один ответ: запрещена безусловно.

Встречаю как-то в ресторане Тестова издателя «Московского листка» Н. И. Пастухова.

— Главного инспектора сегодня утром видел. Поехал в часть твою книгу жечь... Только смотри, это страшный секрет.

— Как жечь? Отчего же меня не уведомили?

— А вот сожгут и не узнаешь. Я сказал сегодня инспектору, что вообще книги жечь очень глупо.

— Конечно, глупо! — обрадовался я такому либеральному взгляду у редактора «Московского листка».

— И даже очень! Какая польза от того и кому? Надо запрещенные книги не жечь, а изрезать и продавать на фабрику в бумажную массу. Ведь это денег стоит! Инспектор поблагодарил меня, хочет проект внести об этом.

— А в какой части жгут мою книгу?

— В Суцевской. Только, гляди, меня не подведи.

Через несколько минут лихач домчал меня до Суцевской части. С заднего двора поднимался дым. Там, около садика, толпа пожарных и мальчишек. Снег кругом был покрыт сажей и клочками бумаги. В печи догорала последняя куча бумаги: ее шевелил кочергой пожарный. Пахло гарью и керосином, которым пропитался снег около печи... Начальственных лиц — никого: уже все разъехались. Обращаюсь к пожарным, спрашиваю по знакомству, что жгут.

— Книгу какую-то запрещенную... Да и не книгу, а листы из типографии... Вот остатки догорают... И что

В. Гиляровский
Вл. Гиляровский.

ТРУЩОБНЫЕ ЛЮДИ.

ЭТЮДЫ СЪ НАТУРЫ.

14 ноября
Первый Эскиз +
Моей маме.

С искренним!

МОСКВА.

Типография бр. Ворпезъ, Арбатъ, домъ Каринской.

1887 г.

Титульный лист книги В. А. Гиляровского
«Трущобные люди».



А. М. Горький в 1901—1902 гг.

за книга — никто не знает. Один листок только попал, на сигарки взяли, да и то не годится: бумага толста.

Я взял у пожарных этот единственный измятый лист с оторванным на курево уголком. Читаю: «Вл. Гиляровский. Трущобные люди». Всего в моих руках оказалось восемь страниц, и я до сего времени берегу эту реликвию. Я после узнал, что проект инспектора по делам печати был принят, он получил награду, и после моей книги уж ни одной в Москве не было сожжено: резали на полосы и посылали на бумажную фабрику. Железная печь была заброшена в пожарный сарай, и только во время революции 1905 года ее извлекли пожарные-кузнецы и перековали на свои надобности.

А мне осталось утешение, что последней сожженной книгой в Москве была моя!

ПЕВЕЦ ГОРОДА

Половина июня, а уж кандидаты на выигрыш дерби начинали определяться, хотя владельцы на утренних галопах старались скрыть резвость своих крэков¹, пуская их совершенно неожиданно не с определенных мест, а где-нибудь внутри круга, иногда по мягкой дорожке, или делают галопы в два часа ночи, на рассвете. Июнь — боевой месяц московских скачек, и с рассветом до восьми девяти часов утра владельцы лошадей и спортсмены всегда присутствовали на работах. Посторонних зрителей не бывало прежде всего потому, что пускали на ипподром только своих, да, кроме того, жокеи скакали без камзолов, в пиджаках и фуражках — так что лошадь узнать не знатоку не было возможности и глядеть, не зная, что за лошади скачут, интереса не представляло. Владельцы входили внутрь круга, где проводили лошадей, шептались с тренерами, отдавали приказания жокеям. Любители сидели скромно за чайком вокруг мраморных столиков посреди партера. Накануне больших скачек весь цвет скакового спорта присутствовал здесь.

Солнце еще только сверкнуло лучами на крышах высоких зданий, а граф Г. И. Рибопьер в сопровождении К. А. Петiona уже показался на росистой траве круга. Рибопьер любовался трехлетками своего завода, детьми Эола и Астарота, и обсуждал шансы на приз с трене-

¹ К р э к — фаворит.

ром Митчелем. Рибопьер, вице-президент скакового общества, был в гусарской форме, а Петтион, состоявший при нем в менажерах¹, его товарищ по гвардии, — в штатской, но такой же «гордый и ясный», как и его принципал. Рибопьер очень гордился своим графством, хотя титул этот и фамилию предок его получил по милости Екатерины II за заслуги, о которых потомок избегал распространяться. Придворный парикмахер Пьер был особенно миловиден, когда смеялся, и Екатерина часто говорила ему: «*Ris, beau Pierrel!*»². Отсюда и пошла фамилия, а потом к ней присоединился и графский титул. Петтион о своих предках молчал, потому что в те времена иметь дедом одного из крупнейших вождей французской революции было, конечно, возможно, но говорить об этом было рискованно. Чуть ли даже не из-за этого родства Петтион, гвардейский офицер, в отставку принужден был выйти.

Вот два рыжих трехлетка в пополах ринулись внутрь круга с места... Петтион щелкнул секундомером — все спортсмены поднялись у своих столиков и взялись кто за бинокль, кто за часы... Все караулили конюшню Рибопьера, откуда ждали дербиста. К Рибопьеру подошел генерал Арапов, лошади которого уже отскакали: тренер его, Николай Чураев, проверил их, еще когда чуть брезжило, и теперь наблюдал конкурентов...

Братья Иловайские, донские коннозаводчики, тоже пустили своих красавцев, детей знаменитого Дир-Боя, купленного ими у донского коннозаводчика Максима Денисова из Пятиизбянской станицы, прямого и единственного потомка Степана Разина, что Денисову ставилось в вину начальством и отзывалось на успехах службы...

Как журавль на болоте, в дальнем углу ипподрома недвижно стоял польский коннозаводчик Людвиг Грабовский. Своего трехлетка, который, как он верил, должен вне конкуренции взять дерби, Грабовский не пускал сегодня, потому что много собралось публики. Этот страстный охотник любил скаковую публику только в те моменты, когда его лошадь, взявшую большой приз,

¹ Менажер — заведующий хозяйством, управляющий.

² «*Ри, бо Пьер!*» — Посмейся, красавец Пьер.

публика прощряла аплодисментами. Тогда Грабовский прямо от весов, еще не остывшего скакуна брал левой рукой за повод и проваживал перед трибунами под аплодисменты публики, размахивая ответно цилиндром, поднятым выше головы лошади...

Братья Ильенко, украинские коннозаводчики, всегда скакали только на лошадях своего завода и сажали на них только своих жокеев-украинцев, которых так воспитывали, что они являлись самыми опасными конкурентами и в скачках побивали англичан. Таковы были Воронков и Дудак.

Круг оживал все больше и больше. Появились члены скакового общества с биноклями. Они разместились в беседке для действительных членов, куда члены-любители не допускались. Сюда им подавали кофе и легкий холодный завтрак. Здесь были казак Платонов с солдатским Георгием, А. Ф. Шереметьев, М. Л. Пеховский, Ф. Ф. Достоевский, сын знаменитого писателя, казначей общества... Вот в беседку внесли на кресле княгиню А. М. Хилкову — она давно уже лишилась ног, но без лошадей жить не может. А сегодня привезли ее посмотреть трехлетку Вальса, сына Лагурьена, любимого производителя ее завода. На Вальса она возлагала большие надежды и любовалась красавцем жеребцом под жокеем Пучковым, промчавшимся по призовому кругу возле самой беседки...

Дербисты отскакали. Пошел старший возраст и ездоки-охотники. На препятствиях пробовал новую лошадь, кажется, Вербену, ротмистр Сумского гусарского полка Е. Н. Зворыкин, не пропускавший ни одной скачки с препятствиями. Он падал несколько раз, и его уносили с круга замертво, говорили, что у него «семь ключиц» сломано, а он все скачет и добросовестно берет призы. Соколов весьма удачно пробовал на «ирландском банкете» какую-то норовистую лошадь и лихо справился с опасным препятствием... Брал барьеры прекрасный ездок Манич. Ему из-за столиков аплодировали, но не за езду, а по другой, особой причине: кроме скакового спорта он занимался комиссионными делами. Года два назад он по поручению фабриканта Постникова продал его роскошный дом на шоссе, примыкавший садом к скаковому

двору, фабриканту Коншину. В саду был небольшой пруд с карасями. При составлении у нотариуса купчей Манич выговорил себе в добавок комиссии карасей в пруду, на что Коншин согласился, и в купчей написали, что караси в пруду принадлежат Маничу. Прошло два года, Коншину понадобилось выстроить для своей рысистой конюшни здание, для чего необходимо было засыпать пруд. Когда приступили к работам, Манич заявил, что он не позволяет трогать его рыбу. В конце концов за десяток карасей Манич получил с Коншина двенадцать тысяч рублей.

Но вот барьеры убрали, и часов с семи начали скакать лошади, следить за резвостью которых интересно было уже только их владельцам да игрокам в тотализатор. Когда все скаковое начальство ушло, стала собираться посторонняя публика. Приходили любители провести утро на свежем воздухе и полюбоваться лошадьми. Ввалилась раскрасневшаяся компания прямо из отдельного кабинета «Яра». Предводительствовал компанией завсегдатай «Яра» Иван Иванович в своем неизменном цилиндре над огромными усами. Он занял столик, а сам подошел к соседнему столику, где сидели солидный пожилой мужчина с рыжей бородой и другой — с коротко подстриженными усами, а на стуле стоял гимназист и в бинокль наблюдал лошадей.

— Яков Кузьмич, меня просил цыган Федор Соколов узнать — выиграет ли сегодня кандикап ваш Еврипид?

Иван Иванович расправил усы, поздоровался и сел за столик.

— Думаю, что не выиграет... Мы сейчас вот с Бараниным рассуждали... Он ведь его тренирует — и говорит, что шансов нет — фунтов пять сбросить бы.

— Ну, а Этна как? Она на поощрительный приз скачет...

— Этна не в кондициях... Так, для галопа пускаем! — вдруг, соскочив со стула, отрезал гимназист. Сел, отвернулся и снова взялся за бинокль.

Иван Иванович извинился, встал и направился к своей компании.

— Этна сегодня легко выиграет, но если этому усатому сказать, он разблаговестит, и дадут за нее гривен-

ник на рубль, — заявил гимназист, как только Иван Иваныч отошел.

— Ты уж у меня, Валерий, известный политик... Все у тебя рассчитано, — ответил мужчина с рыжей бородой, отец гимназиста.

В тотализатор он обычно не играл, только каждый раз брал на свою лошадь один билет и то не ради азарта, а просто так, без всякого расчета. За билетом он посылал сына, а тот, когда знал наверное, что лошадь выиграть не может, клал деньги в карман и говорил отцу:

— Я ставить не буду и страхую твой выигрыш, даром жечь денег не следует. А на эти деньги я книг куплю...

— Ах, дипломат, дипломат! И все-то у тебя с «холодным вниманием рассудка».

Яков Кузьмич, развитой и начитанный, любил щегольнуть цитатой, особенно за стаканом вина, в дружеской беседе. Чистокровные лошади были его страстью.

«Чистокровная лошадь — красота и сила», «резвость есть сумма силы», то и дело бросал он в разговорах со спортсменами такие афоризмы.

У него было всего только две лошади второстепенных — Этна и Еврипид. Они стояли на конюшне тренера Барачина, выигрывали редко, а все-таки окупали себя и доставляли огромное удовольствие владельцу, страстному любителю скачек, как и его сын, гимназист. Со стариком Брюсовым я был знаком по «Славянскому базару», где он завтракал, приходя из своего городского амбара. Он был подписчиком спортивного журнала, который я редактировал, а главным читателем журнала был его сын. С обоими я постоянно встречался на скачках.

Однажды сын пришел ко мне в редакцию раскрасневшийся, взволнованный, и робко подал статью по вопросу, в то время сильно волновавшему спортсменов. Написано было бойко, освещение верное. Я ее напечатал в ближайшем номере, и велика была радость юноши, увидавшего в печати свое первое произведение. После этого В. Я. Брюсов написал еще несколько спортивных статей, а затем, уже будучи студентом, навсегда бросил спорт

и перешел на поэзию и науку. Впоследствии он мне прислал книжку своих стихов «Русские символисты», с посвящением и подписью авторов: «Валерий Брюсов и А. Мировольский». Мы время от времени начали встречаться, но близкого знакомства как-то не завязывалось.

Весной 1900 года ехали мы с Валерием Яковлевичем Брюсовым вдвоем в купе из Москвы по Александровской железной дороге. Конечно, разговор о поэзии, о современных поэтах, о литературных течениях и общих знакомых.

— Мы люди разные, — сказал Брюсов. — Вы человек степи, певец воли и удали, а мы люди города. Мы износились в городе, а все-таки я его люблю.

Надо заметить, что говорил он это года за три до своего увлечения Верхарном.

— Вот в вашей «Забытой тетради», — продолжал Брюсов, — в стихотворении «Каменный город», вы говорите:

Сгубят меня эти камни,
Годик побыть бы на воле...

А мы вот без города жить не можем. Город для нас всё. Мы боимся степного простора.

И он прочел несколько стихотворений. В них были и «улицы, кишашие народом, шумные дикой толпой», и «ушедшие в небо ступени, застывшие громады зданий», и «грохот его, и шумы певучие»...

— Вот ответ на ваш «Каменный город», слушайте:

Мы дышим комнатною пылью,
Живем среди картин и книг,
И дорог нашему бессилью
Отдельный стих, отдельный миг.

А я отвечал ему отрывками из «Стеньки Разина», «Запорожцев», отвечал ему песнями моря, степи, горных бурь, ночного урагана... Разина я ему прочел всего, с запрещенными тогда главами.

— О, если б это напечатать! Это сплошь революция.

— На Волге начато. На Дону кончено.

— Да. Это в городе не могло родиться.

— Вот поэтому-то я и не люблю города, — ответил я.

Вернувшись осенью в Москву, я нашел у себя на столе письмо от Валерия Яковлевича, в котором он го-

ворил, что посылает мне продолжение нашей вагонной беседы, а меня просил прислать ему всю, с запрещенными главами, поэму «Стенька Разин». В другом пакете лежала книга «Tertia vigilia».

Рубрика «Города» два раза подчеркнута карандашом. А на первой странице такое посвящение:

В. А. ГИЛЯРОВСКОМУ

Все мы жалки и тощи
В этой дряхлой вселенной,
В мире бледных кикямор.
Слава радостной мощи
Все ж в тебе неизменной,
Гняляровский Владимир.

Валерий Брюсов. 1900.

* * *

Потом мы часто встречались в Литературном художественном кружке, где он был директором, но это были встречи на народе, не такие, как тогда, в вагоне. Здесь Брюсов совсем не тот. Мне казалось, что вышел он из врубелевского портрета — в официальном сютуке, застегнутый, как футляр, на все пуговицы, со скрещенными на груди руками. И даже голова мне казалась такой, как ее понял и дал проникновенный Врубель.

Или я его видел иногда на шмаровинской «среде», на литературных «вторниках», на разных юбилейных ужинах. Встречи были минутные, но когда мы жали друг другу руку, лицо его теряло обычную холодную корректность, на губах расцветала дружеская улыбка, и вся его фигура оживала от статуynности. Радостно каждый раз встречались и ни разу не обменялись при этих встречах своими взглядами на то или другое течение в литературе. Я следил за его литературными и разнообразными учеными работами и, вспоминая его слабую, бессильную фигуру, дивился работоспособности дышавшего «комнатной пылью» человека, у которого «отдельный стих, отдельный миг»... В его переводах Верхарна я находил много знакомого, много того, что я пять лет назад, в вагоне между Москвой и Шелковской, слышал от «певца города», которому был понятен

Грохот его и шум певучий.



Шли годы. Наши мимолетные встречи продолжались так же дружески, но «певец города» становился с годами другим. В нем klokотал уже отзвук вулкана революций, он уже предвидел

Океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон...

«На этих всех, довольных малым, вы, дети пламенного дня, восстаньте смерчем, смертным шквалом, крушите жизнь и с ней меня»...

И город стал не тот, что тогда, когда он писал свои «Tertia vigilia». Теперь он славил город:

«И когда среди крови, пожара и дыма неумолимо толпа возвышает свой голос мятежный, — все прошлое топчет в прахе, играет со смерчем в кровавые плахи...»

Так еще задолго до первой революции начинает сказываться будущий поэт Октября.



Менялось время. Менялись отношения между людьми. А мы в отношении друг друга были неизменны. Насколько понимали мы и любили друг друга, может быть ясно из следующего.

В 1911 году, под осень, я сильно заболел воспалением легких. Чувствую, что все может случиться, что я, наконец, могу сломаться, а надо было кое о чем подумать вперед. Я решил обратиться к единственному в Москве человеку — хоть вся Москва знакома — Валерию Яковлевичу.

С постели вызвал его по телефону и говорю:

— Валерий Яковлевич, у меня воспаление легких, температура больше тридцати девяти, но мне необходимо вас повидать. Именно вас одного и никого более. Заразного ничего. Если бы вы...

— Ну что же, я через час, ровно через час приеду к вам, — перебил он меня и еще раз сказал: — Через час я у вас. — И положил трубку.

Часы пробили шесть.

Жду. Ставлю термометр: тридцать девять. Начинаю сомневаться: вдруг не приедет?

Звонок у двери. Жена идет встречать и через минуту вводит Валерия Яковлевича. Часы бьют семь.

— Дядя Гиляй! Да разве степному орлу полагается хворать! — И протягивает руку. Я не хочу подавать — он берет насильно и крепко жмет. Я отвечаю.

— Э, дядя Гиляй! Руку ломаешь, ведь мы городские.

— Валерий Яковлевич! Прошу выслушать — и дайте слово, что меня не перебьете до конца.

— Даю.

— Мне очень плохо. Сегодня ночью уж я был на том свете. Если не перенесу — исполните мою огромную просьбу.

И я рассказал ему, как бы мне хотелось видеть изданными мои работы.

— Ну вот видите, дорогой дядя Гиляй, первую вашу просьбу я исполнил. А она была очень трудная — не перебить вас, когда вы, извините, несете чушь. Но я не перебивал вас. Вторая же ваша просьба совсем легкая, я с легким сердцем даю вам слово исполнить ее в точности, тем более, что мне ее и не придется исполнять: через две недели мы будем в кружке пить ваш любимый карданах... Вы любую болезнь ветром развеете... А вот если вас придавит рухнувшим домом в городе или в степи грозой убьет, — иначе вы умереть не можете, — то даю вам слово сделать все, что вы сказали.

Во время чая Валерий Яковлевич рассматривал мой альбом и написал в нем следующие стихи. Был ли это экспромт и есть ли они в печати — не знаю.

Меня поманит ли улыбкой
Любовь, подруга лучших лет,
Иль над душой, как влага зыбкой,
Заблещет молний синий цвет;

На радости и на страданья
Живым стихом отвечу я,
Ловец в пустыне бытия...
Стоцветных перлов ожидания.

Валерий Брюсов.

*На добрую память о прошлом
В. А. Гиляровскому 29 сентября 1911 г.*

Часы били девять. Тогда он ушел.

Потом он несколько раз справлялся по телефону, а через две недели мы пили с ним в кружке карданах.

* * *

Во время германской войны ни разу не встречались, выходило так: когда он в Москве — я уеду или наоборот.

Только после Октября мы стали встречаться чаще и опять на минуты. Как-то в голодный год только подольше побеседовали в театре Зими́на на каком-то митинге или спектакле. Сидели за кулисами в артистической уборной, пили чай и ели жадно какие-то бутерброды с лошадиной колбасой. Между прочим, поменялись экспромтами. Что ему я написал — не помню, а он занял страничку моей книжки:

*Другу моего отца и моему
В. А. Гиляровскому — дяде Гиляю,*

Тому, кто пел нам полстолетия,
Не пропустив в нем ни штриха,
При беглой встрече рад пропеть я
Хотя бы дважды два стиха.

*Валерий Брюсов.
20 июля 1920 г.*

* * *

На моем полувековом юбилее, 3 декабря 1923 года, Валерий Яковлевич был товарищем председателя юбилейного комитета. Чувствуя себя не совсем здоровым, он все-таки приехал и в своем приветствии вспомнил, как он гимназистом принес ко мне свое первое произведение и как был счастлив, когда я напечатал его первый литературный труд. И это было в последний раз, когда я видел Валерия Яковлевича, слышал его, говорил с ним.

Через месяц праздновался юбилей поэта в Большом театре, но юбиляр, еще не поправившийся от болезни, незримо присутствовал в глубине темной директорской ложи бенуара, рядом со сценой.

Я знал о состоянии его здоровья, знал, что он там,

за этой драпировкой. Он грезился мне таким же усталым и бледным, каким он был на моем юбилее, и, читая свое приветствие, я встал на правой стороне сцены и обратился лицом к ложе. В своем стихотворении я хотел продолжить его речь, его воспоминание юных дней — и оно начиналось так:

Помню я, в серенькой блузе
Ко мне гимназист приходил...

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

На Моховой, бок о бок с Румянцевским музеем — ныне Ленинской библиотекой, — у входа в «меблированные комнаты» остановился извозчик, из саней вылез мой приятель, художник Н. В. Неврев. Мы, так сказать, столкнулись.

— Зайдем к Саврасову, возьмем его с собой и пойдем завтракать в «Петергоф».

Я не был знаком с Алексеем Кондратьевичем Саврасовым, но преклонялся перед его талантом. Слышал, что он пьет запоем и продает по трешнице свои произведения подворотным букинистам или украшает за водку и обед стены отдельных кабинетов в трактирах.

Поднимаясь в третий этаж, Неврев рассказал мне, что друзья приодели Саврасова, сняли ему номер, и вот он уже неделю не пьет, а работает на магазины этюды...

— Я вчера к нему заходил, — прекрасную вещь кончает... Пишет с натуры через окно сад и грачиные гнезда... Нарочно сейчас приехал к нему посмотреть.

Дверь была чуть приотворена. Мы вошли. Два небольших окна глядят в старинный сад, где между голых ветвей, на фоне весеннего неба, чернеют гнезда грачей.

Мне вспомнились слова И. И. Левитана:

— Я ученик Алексея Кондратьевича.

В комнате никого не было. Неврев пошел за перегородку, а я остановился перед мольбертом и замер от

восторга: свежими, яркими красками заря румянила снежную крышу, что была передо мною за окном, исчерченную сетью голых ветвей берез с темными пятнами грациных гнезд, около которых хлопочут черные белоснежные птицы, как живые на голубом и розовом фоне картины.

За перегородкой раздался громкий голос Неврева:

— Да вставай же, Алеша! Пойдем в трактир... Ну же, вставай!

Никакого ответа не было слышно.

Я прошел за перегородку. На кровати, подогнув ноги, так как кровать была коротка для огромного роста, лежал на спине с закрытыми глазами большой человек с седыми волосами и седой бородой, как у библейского пророка. В «каютке» этой пахло винным перегаром. На столе стояли две пустые бутылки водки и чайный стакан. По столу и на полу была рассыпана клюква.

— Алеша, — тормошил Неврев.

— Никаких! — хрипел пьяным голосом старик.

— Никаких! — повторил он и повернулся к стене.

— Пойдем, — обратился ко мне, Неврев, — делать нечего. Вдребезги. Видишь, клюквой закусывает, значит, надолго запил... Уж я знаю, ничего не ест, только водка да клюква.

Потормошил еще — ответа не было. Вынул из кошелька два двугривенных и положил на столик рядом с бутылками:

— Чтобы опохмелиться было на что, а то и пальто пропьет.

Неврев был в восторге от картины:

— Ведь это же старый Алексей Кондратьевич. Вчера утром я подмалевку видел, а сейчас почти закончено... Надо присмотреть, чтобы спьяна не испортил... Забегу к нему завтра утром...

Так я в первый раз видел знаменитого художника, одного из основоположников русского пейзажа. Это было 25 марта, в солнечный день, в конце 80-х годов.

Потом как-то через год или два я зашел однажды в эстампный магазин «Ницца» и увидел знакомую картину, ту самую, которую я видел в номере на Моховой.

Внизу стояла подпись красной краской «А. Саврасов», видно, что сделана дрожащей рукой.

— Я видел у Саврасова эту картину, — заявил я владельцу магазина.

— Это не она, а повторение. Та картина давно продана, но Алексей Кондратьевич делает повторения. Да это уж далеко не то. Совсем старик спился.. Жаль беднягу. Оденешь его — опять пропьет все. Квартуру предлагал я ему нанять — а он свое: «Никаких!», — рассердится и уйдет. Как раз вчера писал у меня. Есть еще такие повторения, и не плохие. В прошлом году с какой-то пьяной компанией на «Балканах» сдружился. Я его разыскивал, так и не нашел.. Иногда заходит оборванный, пьяный или с похмелья. Но всегда милый, ласковый, стесняющийся. Опохмелю его, иногда поздержу у себя дня на два, приодену — напишет что-нибудь. Попрошу повторить «Грачи прилетели» или «Радугу». А потом все-таки сбежит. Ему предлагаешь остаться, а он свое: «Никаких!..»

Видел я Саврасова еще раз, великим постом, когда он ехал по Мясницкой с Лубянской площади, совершенно пьяный, вместе со своим другом Кузьмичом, который крепко его держал, чтобы он не вывалился из саней. Кузьмичом звали И. К. Кондратьева — старого писателя, работавшего в журналах и писавшего романы для издателей с Никольской. Жил он всегда на «Балканах» в Живорезном переулке, куда, видимо, и вез Саврасова, приютившегося у него.

Зима того года, когда мы встретились, была с самой осени снежная. Весь февраль — кривые дороги — сплошь метели. Поезда дальнего следования запаздывали, иногда на сутки, а на московских крышах, с кратерами вокруг труб, алмазные на солнце плато снега нависали большими белыми губами над тротуарами. Тогда не особенно следили за очисткой крыш, да и сбрасывать снег было весьма рискованной работой — заградительные решетки на краю крыши были редки.

Март в самых первых числах дохнул весной, иногда лишь порошил сырой снег с полчаса. «Молодой за ста-

рым идет» — говорили. Температура поднялась выше нуля. Солнце подогрело, и снег начал сползать с крыш, валиться целыми глыбами, а на желобах повисли хрустальные сосульки. Вдоль тротуаров по мостовой бежали мутные ручьи.

Пробираясь по Петровке, я остановился на тротуаре и задумался, где бы наскоро позавтракать. Напротив в актерском ресторанчике «Палермо» «неугрызимые» бифштексы и телятина под бешемелью с тухлинкой. В доме Левенсона на Петровке же — ресторан-низок Трехгорного завода, тоже дрянь, хоть и назывался литературным, потому что в этом доме прежде помещалась редакция «Русского слова».

Пораздумав, решил отправиться в «Россию», которая прежде называлась татарским рестораном. Ее держали татары, а потом снял необыкновенно толстый грек Венизелос или Владос — не помню точно имени. Он надвигался своей громадной тушей на гостя и гудел сверху, так как толщина не позволяла ему нагибаться.

— Позалуста. Цудак по-глицески. Позалуста. Тсфтели из филе, а ля Владос (или Венизелос, не помню), — рекламировал он меню.

Я остановился на тефтелях, но когда еще раз поднял глаза на Петровку, то решил идти завтракать домой.

Петровские линии, самая чистая улица Москвы, единственная тогда покрытая асфальтом, напомнила мне легенду о Вавилонском столпотворении в момент, когда после смещения языков строители разбежались и нахлынувшие аборигены начали разбирать леса и сбрасывать нагроможденные одна на другую каменные глыбы.

Я стоял и дивился. Грохали лавины снега. На крышах обоих домов с десятков рабочих, привязанных веревками к трубам, лопатами двигали и рушили вниз громады легко сползавшего снега...

По обе стороны тротуары были отделены от середины улицы снеговыми хребтами. Проезда не было, а проход, не без риска, конечно, был по самой середине мостовой. У подъезда ресторана два швейцара в картузах с золотыми галунами прокладывали лопатами путь, пересекая траншею поперек снегового хребта. Я шел домой. Через Столешников переулок переправлялась толстая

дама, хлюпая по мокрому снегу и балансируя на скользких выбоинах, что было весьма не легко: правой рукой она поддерживала подол модного тогда длинного платья, а в вытянутой левой руке держала муфту и шляпную картонку с надписью: «Вандраг», заменявшие ей необходимый баланс при опасной переправе...

Я остановился на углу Столешникова. На середине переулка кое-где обнажались булыжники мостовой, по которым скрежетали полозья извозчичьих саней, и чмокали на ухабах копыта лошадей... По обеим сторонам, вдоль тротуара громоздились кучи снега, сброшенного с крыш, и среди них серели каменные тумбы. Тогда тумбы были еще обязательны на всех улицах. Эти глупые тумбы являлись пережитками еще тех почти донисторических времен, когда деревянные мостки, заменявшие тротуары, ограждались ими от лошадей и телег.

На углу Столешникова и дальше по Петровке, где теперь огромный дом № 15, тогда стояли дома Рожнова. Там помещались магазины, между прочим, модный шляпный магазин Вандраг, булочная Савостьянова, парикмахерская Андреева. А между ними большая гостиница «Англия» с трактиром, когда-то барским, а потом извозчичьим и второстепенным. Во дворе находились два двухэтажных здания мебелишек и стоянка для извозчичьих лошадей...

Вход в трактир был со двора, а другой и въезд во двор — со стороны Столешникова переулка.

И вот на тротуаре около этих ворот я увидел огромную фигуру, в коротком летнем пальтишке, в серых отрепанных брюках, не закрывавших разорванные резиновые ботинки, из которых торчали мокрые тряпки. На голове была изношенная широкополая шляпа, в каких актеры провинциальных театров изображают итальянских бандитов. Ветер раздувал косматую гриву поседелых волос и всклокоченную бороду.

Я подошел ближе. Он правой рукой шарил в кармане и сыпал на ладонь левой копейки. Я взглянул в лицо.

— А...

Я узнал Саврасова, когда-то любимого профессора Училища живописи, автора прославивших его картин «Грачи прилетели» и «Разлив Волги под Ярославлем»...

Много я видел его этюдов и рисунков по журналам — и все на любимую тему — начало весны.

— Алексей Кондратьевич, здравствуйте.

— Погоди... четыре... пять... — считал он медяки.

— Здравствуй, Алексей Кондратьевич!

— Ну? — уставился он на меня усталыми покрасневшими глазами.

— Я — Гиляровский. Мы с вами в «Москве» в «Волне» работали.

— А, здравствуйте! У Кланга?

— Да, у Ивана Ивановича Кланга.

— Хороший он человек... Ну вот...

А сам дрожал, лицо было зеленое...

— Вот собираюсь опохмелиться. Никак не могу деньги собрать, за подкладку провалились.

— Вот что, Алексей Кондратьевич. Пойдем ко мне, — предложил я, — выпьем, закусим...

— Куда же это?

— Вот рядом, в дом, где балкон.

Он вдруг поднял голову, воззрился на что-то, посвежел, помолодел как-то сразу, глаза загорелись. Ткнул меня в бок, а правой рукой указывал на крышу церкви напротив, на углу Петровки.

— Гляди, гляди!..

По крыше тихо сползала лавина снега, а на ней сидела ворона, что-то торопливо, энергично долбившая клювом. Лавина двинулась быстрее, нависла на миг всей массой над тротуаром. Часть ее оторвалась и рухнула вниз, распугав, к счастью благополучно, прохожих, а на другой половине, быстро сползавшей, ворона продолжала свое дело. И когда остальное снежное плато рухнуло, ворона приподнялась, уселась на самом жолобе и стала глядеть вниз на упавший снег: то одним глазом взглянет, то повернет голову — и другим...

— Какая прелесть!.. — радовался старик.

Должно быть, убедившись, что все потеряно, ворона улетела, и снова потух старик.

— Пойдемте, — позвал я его и взял за руку.

— Лучше бы в трактир, напротив. Да вот деньги-то... — и он опять зашарил в кармане.

— Денег-то у меня тоже нет.

Я взял его за руку, и мы зашлепали по растаявшему тротуару.

— Одет-то я... Нет, не пойду! — уперся было он на лестнице.

— Да у меня отдельная комната, никого не встретим.

Я отпер дверь и через пустую прихожую мимо кухни провел его к себе, усадил на диван, а сам пошел в чулан, достал валенки-боты. По пути забежал к жене и, коротко сказав о госте, попросил приготовить поесть.

Принес, дал ему теплые носки и заставил переобуться.

Он долго противился, а когда надел, сказал:

— Вот хорошо, а то ноги заколели!

Встал, закозырился, лицо посвежело, глаза улыбались.

— Ишь ты, теперь хоть куда. Штаны-то еще новые... — и снова сел.

В это время вошла жена — он страшно сконфузился, но только на минуту.

— Алексей Кондратьевич, пойдемте закусить, — пригласила она.

С трудом, дрожащей рукой он поднял стаканчик и как-то медленно втянул в себя его содержимое. А я ему приготовил на ломтике хлеба кусок тертой с сыром селедки в уксусе и с зеленым луком. И прямо в рот сунул:

— Закусывай — трезвиловка!

Он съел и повеселел:

— Вот так закуска!..

А жена ему тем временем другой такой же бутерброд приготовила.

— Не разберу, что такое, а вкусно, — похвалил он.

После второго стаканчика старик помолодел, оживился и даже два биточка съел — аппетит явился после «трезвиловки».

Разговорились. Вспоминали журналы, выставки, художников. Он взял со стола карандаш и спросил бумаги.

— Привык что-нибудь чертить, когда говорю... А то руки мешают.

Я подал ему альбом и карандаш.

Просидел у меня Алексей Кондратьевич часа два. От

чая он отказался и просил было пива, но угостили его все-таки чаем с домашней наливкой, от которой он в восторг пришел.

Я предложил Алексею Кондратьевичу отдохнуть на диване и заставил его надеть мой охотничий длинный пиджак из бобрика. И хотя трудно его было уговорить, он все-таки надел, и когда я провожал старика, то был уверен, что ему в обшитых кожей валенках и в этом пиджаке и при его летнем пальто холодно не будет. В карман ему я незаметно сунул серебра.

Жена, провожая его, просила заходить не стесняясь, когда угодно. Он радостно обещал, но ни разу не зашел, — и никогда больше я его не встречал, слышал только, что старик окончательно отрущобился и никуда не показывается.

Я его видел только три раза и все три раза в конце марта, когда грачи прилетают и гнезда выют...

В моем альбоме он нарисовал весну... избушку... лужу... и грачей...

И вспоминаю я этого большого художника и милого моему сердцу человека, каждую весну, — когда грачи прилетают.

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

Огромный железный замок, каких с тех пор я больше никогда не видал, висел на низенькой, обитой листовым железом двери.

А привело меня к этой двери вот что. Это было в половине восьмидесятых годов, в конце сентября. Я работал тогда в «Русских ведомостях» и возвращался с ночного пожара по Малой Бронной. Вижу, с бульварчика Патриарших прудов тропотит мелкими шажками, чуть не бежит, маленький человечек с рыжеватой округлой бороденкой и маленькими «северными» пронзительными глазами, весело глядящими, ничего не видя из-под измятой полястой шляпки. Одет он был в модную тогда среди небогатой интеллигенции коричневую размахайку-крылатку.

— Елпидифор Васильевич, здравствуйте!

— А, Баян, ты откуда такой чумазый?

— С пожара на Живодерке.

— Большой пожар?

— Строчек на пятнадцать... цыганский домишко сгорел.

— А! На-ка, пощупай...

И сует мне из-под крыла своей размахайки пакет с горячими калачами.

— Горяченькие; пойдем ко мне чай пить. Вот моя квартира.

И, потянув меня в ворота, вынул из кармана огромный железный ключ с резной бородкой и плоской, ажурной ручкой.

— Видал такие? В прошлом году настоятель Каменного монастыря на Кубинском озере подарил замочек-то. Петровских времен.

Пока он отпирал этот замочек величиной с кошку и изображавший собой кошку: ручка — хвост во рту, — к нам подошел усатый, солдатского вида, седой дворник. Он поставил к стенке метлу, вытянулся во фронт и шапку «по-николаевски» скинул.

— Чего изволите приказать, ваше превосходительство?

— Опять?! Сколько раз говорил. У меня, небось, имя есть.

— Ельди... Ельди... Ну, хоть убей... Ваше превосходительство...

— Ладно; вот тебе копейка, беги в трактир за кипятком, чай заварись...

Заиграл какую-то музыку замок, запела дверь, и мы с Елпидифором Васильевичем вошли. Елпидифор Васильевич передал дворнику большой медный чайник, в который сыпнул щепотку чаю из жестяной чайницы с надписью «К. и С. Поповы».

— И на письмах, — обратился ко мне дворник, — им пишут: «Его превосходительству»...

— Ну, ладно, беги за чаем... Да тут около пруда разносчик с грешниками¹ стоит, купи у него десяток, — и дал гривенник и газету на обертку.

— Грешники и Патриарший пруд! Это почище «развесистой» клюквы, думаю...

Квартира Елпидифора Васильевича была в нижнем этаже, с маленькими оконцами, глядевшими из толстенных сводов, как из глубокой ниши. Первая комната, где мы повесили верхнее платье, была прихожая, заваленная связками рукописей чуть не до потолка. Только рядом с дверью висел медный рукомойник над треногой ушастой

¹ Гречневики.

деревянной лоханью. Рядом с ним серебрилось широкое полотенце, вышитое синим с красным: с одной стороны — красная избушка, по сторонам две елки, а с другой — синий монах в красной лодке и опять две елочки, тоже синие.

— На, умойся! — Подал мне кусок яичного мыла и, указывая на полотенце, сказал: — Этим летом мне монашки в скиту поднесли.

Когда я умылся и вошел в следующую комнату, Елпидифор Васильевич разбирал наваленные на столе бумаги и перекладывал их на соседний стол.

— Очищу место для чая... А ты пойди в те комнаты, погляди на стенах иконы древние.

Комната, в которой накрывался чай, была и столовая, и приемная, и рабочий кабинет. Она сплошь завалена пачками и кипами перевязанных бумаг. По стенам — полки, набитые книгами, то огромными, то крошечными, в древних кожаных переплетах. На одном из четырех столов стояла чернильница, лежали окруженные выцветшими древними рукописями свежие листы начатой работы. Следующая комната — спальня хозяина. На огромном, красного дерева диване — ситцевое одеяло из цветных ситцевых треугольничков. «Наверное, работы таких же монашенков, что и полотенце вышивали!» — подумалось мне. Сверху лежали две подушки, также в вышитых наволочках. По сторонам, между полками книг, висели от пола до потолка древние иконы, рассмотреть которые было невозможно: окна, запыленные, должно быть, никогда не мытые, создавали таинственный полумрак. Слепо выглядывали образа из ниш и почерневших от времени, глубоких толстых сводов. Пахло слегка сыростью, пылью, старой бумагой и еще чем-то. Я узнал *чем* только в следующей большой комнате. В полумраке (солнце из-за высокого соседнего дома никогда сюда не заглядывало) можно было рассмотреть такие же иконы, сплошь завесившие стены, уложенные на полу книги и связки рукописей. Местами все переплелось паутиной. Я догадался, чем пахло в той комнате: пахло мышами. Рассмотреть ничего нельзя, — только из-под тол-

стой, мохнатой, как бы живой пыли неведомые контуры видны. Елпидифор Васильевич вошел и позвал пить чай.

— Вот три года все собираюсь разобраться, да все не удосужусь. Ценз нет этому хламу. И вот всё новые и новые наслоения. Каждый год с севера привожу... Вот здесь уж законченная работа — «Причитания северного края»... Былины да песни древние. Вот здесь весь угол раскольников. Тут древний царский быт... А вот театральный уголок! Я, брат, тоже по театру годка два поработал, по истории русского театра до восемнадцатого века... А вот это, где пыли нет, сверху, — «Слово о полку Игореве»... Чудеса! Что за язык... я прямо отдыхаю на этой работе... Как раз сейчас на столе «Игорь» лежит... А вот как-то пришел ко мне один приятель, — ты его знаешь, а потому имени не скажу, — да и говорит: «Так жить нельзя! Это у тебя не квартира ученого, а лавочка старьевщика!» И с этого слова мне еще дороже стало мое логово и мой хлам. Чуть пошевелишь — золото. Копнешь, а под ним бриллиант. Одно возьмешь, а другое само лезет. Все-то я помню. Этот хлам у меня в голове: закрою глаза и памятью вижу, что там лежит, что как выглядит.

А чай уже сервирован.

На свободном месте стола, рядом с кипой рукописей по «Игорю» стоял большой медный чайник и два стакана на блюдечках, лежали калачи, каленые яйца, вареная колбаса и десяток гречневиков на «Московском листке».

— Еще теплые, подсолнечным маслицем вспрыснуты. Аромат! Я их очень люблю. А вот чем я тебя попотчую с чайком. Землячка вот твоя! — И подвинул ко мне глиняную банку с благоуханным поляничным вареньем на меду.

— Это с Бела-Озера... Ведь твой отец белозер, а я черепан. Оба мы потомки ушкуйников. Давно я с ним не видался, вместе учились.

Я это знал, и мой отец в письмах ко мне приписывал: кланяйся черепану. Из-за этого и наша долгая дружба с Елпидифором Васильевичем началась.

Когда закусили и выпили чаю, он наклонился под стол и вытащил полуштоф наливки и характерной фор-

мы бутылку бенедиктина, его любимого напитка. Вместо рюмок появились два маленьких серебряных стаканчика: на одном выгравировано по-славянски: «Его же и монаси приемлют», а на другом: «Пей другую».

— А ты все по пожарам да по катастрофам носишься! А дельное-то что делаешь?.. Стихи-то пишешь? Ведь я тебя недаром Баяном зову. Тебя да еще одного только Граве Леонида... Твоих бурлаков помню... Плакал, читал.

— Вот я со «Стенькой Разиным» вожусь. Две главы написал...

— А ну-ка? Может, что помнишь? Стеньку я люблю. Стенька мужик умный. Он знал, что знал!

И когда я ему прочел «Казнь», он даже прослезился и сказал:

— Это, брат, для грядущих поколений... Света долго не увидит. Вот когда-нибудь такой будущий Барсов разыщет твою пропахшую мышами рукопись, — вот тогда она и свет увидит. А ну-ка, еще что помнишь?

Прослушал.

— Все равно печатать нельзя. А я тебе о Стеньке расскажу, что сам слышал; написать надо, а то пропадет.

И рассказал мне Елпидифор Васильевич о том, как Никон, разжалованный царем из патриархов, сидел ссыльным монахом в своем «Новом Иерусалиме», в своем каменном доме-крепости. «Патриарх всея Руси и собинный друг государя» был накануне ссылки в глухой Олонецкий монастырь, как вдруг к нему пришел неизвестный человек и просил принять его.

— Ты, Баян, был в Новом Иерусалиме? Недалече от Москвы, посмотреть тебе надо... главное — дом Никона, моя речь о нем; съезди.

На другое лето я был в Новом Иерусалиме. В роскошном монастырском саду, в глухом углу стоит под вековыми деревьями небольшой двухэтажный дом, сложенный на тысячи лет, с толстенными стенами и маленькими окнами, — крепость по тому времени необо-

римая. В то время, когда я был в нем, все сохранилось так, как было. Обратил я внимание на мебель: неподъемные скамьи, столы из толстых досок на таких ногах-бревнах, что не сдвинешь с места. И особенно эта вековая мебель была страшна в маленькой комнатке во втором этаже, где Никон занимался делами и принимал поодиночке только тех, с кем тайный разговор держал.

И вот в те, такие тревожные дни для метавшегося в своей крепости, обозленного Никона к нему тайно пришел Стенька Разин!

— А то, что я тебе рассказываю, — пояснил мне Барсов, — я слышал в Новом Иерусалиме от старого монаха, говорившего вообще мало и с большой осторожкой, по выбору. Я долго работал в хранилищах монастыря и подружился с ним.

«Допустил патриарх (с большим уважением он вспоминал и его, и Стеньку) к себе Степана Тимофесвича в свой собинный покой, где вот мы с тобой сидим, и пошел у них разговор долгий и бесспорный, потому думали они одинаково. И рассказал атаман донской патриарху всея Руси, что он хочет для народа правду открыть и дать волю... Вот, — как сейчас вижу, — на тех самых местах, где мы, маленькие людишки, сидим, тогда сидели два богатыря... И патриарх благословил его: «Иди, бейся за правду и волю!»

— Вот, что мне удалось слышать, то и тебе передаю, — у тебя выйдет, а то без этого нехватка будет. Пиши! А теперь замонахорим¹.

Выпили по чарочке.

— А вот я тебе покажу кое-что.

Елпидифор Васильевич вышел в заднюю комнату. Когда он вернулся с тетрадью своей рукописи, я кончал то, что впоследствии украсило моего «Стеньку» и что я прочел тут же ему:

Благослови, отец святой,
Мне постоять за волю...

¹ С латинского. Здесь — выпьем «монахора», т. е. бенедиктина.

Так начинается моя книжка «Стенька Разин», напечатанная только в 1922 году. Я прочел эту, сейчас за его столом написанную главку со словами Никона:

Ты прав, Степан, иди за волю биться...

После самых сердечных излияний Елпидифор Васильевич положил передо мной свою тетрадь, исписанную его круглым, четким почерком, и сказал:

— Читай, Баян!..

«Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяще пѣснь творити, то растѣкашется мыслѣю по древу, сѣрымъ вѣлкомъ по земли, шизымъ орломъ подѣ облакъ. Помняшеть бо, рече, пѣрвыхъ временъ усобицѣ».

Через год он дружески надписал мне свою работу — «К «Слову о полку Игореве».

Долго мы не видались с Барсовым. Он вообще нигде не бывал, занятый научным трудом и музейными изысканиями да в обществе «Древностей российских», где секретарствовал. Как-то летом в воскресенье, когда семья была на даче, я нахожу на столе визитную карточку: «Елпидифор Васильевич Барсов. Шаболовка, собственный дом». А на другой стороне надпись карандашом: «Милый друг Баян. Хоть бы заглянул ко мне на новоселье. Воскресенья и праздники всегда дома».

Выхожу я тотчас же из дому, — навстречу по Столешникову переулку хромает романист А. М. Пазухин. Я показываю ему карточку: собственный дом.

— Ты всеведущий, а этого и не знал. Ну-ну!

Мы зашли позавтракать в Петровские линии, в ресторан, и Пазухин рассказал мне о событии, которое может случиться только в Москве, где необычайный размах уживается с копеечностью на мелочах. Пазухин был участником такого интересного события.

Через час, расставшись с Пазухиным, я подъезжал к двухэтажному деревянному, небольшому с фасада дому на Шаболовке.

«Дом действительного статского советника Елпидифора Васильевича Барсова» — значилось на воротах.

Отворяю калитку — звякнул колокольчик на весь двор. Вхожу. Широкий двор. По зеленой травке ходят куры. За решеткой сада, в конце двора, белеют под старыми липами и тополями пышные кусты жасмина, а из дверцы садовой решетки торопится ко мне навстречу и сам домовладелец, в красной рубаше, подпоясанной шелковым поясом, в широкополой соломенной шляпе. Блаженство и радость на лице его с седеющей бородкой, подстриженной, уж не той, как прежде, клочковой, нечесаной.

— Милый Баян! Вот рад, вот рад! Наконец-то ты у меня, в моей «нечаянной радости», в моей новой «лавочке старьевщика».

— Любуюсь!

— А ведь я уж два года женат... Пойдем в сад. Жена пошла на базар клубники к чаю купить, а я малость вздремнул после обеда... По праздникам мы обедаем в двенадцать...

В решетчатой зеленой беседочке, оплетенной диким виноградом, около стола с розовой скатертью, уставленного закусками и чайной посудой, хлопотал в белом фартуке дворник солдатского вида, с седыми усами, который меня узнал и приветствовал.

— Вот и его мне тоже Николай Иванович вместе с архивом с Патриарших прудов перевез.

Я притворился, что ничего не знаю.

— Какой Николай Иванович? Ничего не понимаю!

— Помнишь, я тебе тогда говорил, что был у меня приятель, который сказал, что у меня не квартира, а лавочка старьевщика. Тогда фамилии его я тебе не назвал. А это был Пастухов!

Я развел удивленно руками.

— А уж меня-то как он удивил. Вот, пока жены нет, я тебе, Баянушка, как другу, все расскажу. А ты закусывай. Вот пирожки с верховологодскими груздями... Вот вяленая нельмушка из Кубинского озера. Колбазка генераловская... Морошка моченая. А вот наливочка поляничная. Кушай и слушай такой сказ, что, будь жив Щеголенок Василь Петрович, он бы такую былинку сгоношил, что за сказку примешь.

Выпили мы по серебряной чарочке, а он мне другую наливает.

— Слушайся надписи!

Я охотно послушался, читая: «Пей другую».

— ...Да, так вот было дело. Сиж у себя на Патриарших, разбираюсь в старье, вдруг входит Пастухов.

— Не помешал?

— Нет, просто так роюсь. Садись, Николай Иванович.

— Одевайся, поедem ко мне, а потом уж к тебе я тебя перевезу.

Выходим. Стоит четырехместная коляска. Садимся. В Ваганьковском к нему во двор не въезжаем. Навстречу из ворот выходят в шляпах Виктор (сын Пастухова) и Пазухин. А Пастухов говорит им:

— Садись, ребята, в коляске прокачу! — И махнул кучеру рукой, чтобы ехал. Тот уж знал, куда ехать; как оказалось, через Каменный мост едем. Приезжаем на Шаболовку. Останавливаемся у ворот вот этого самого дома, и он пальцем тычет, на вывеску показывает. Читаю — и как безумный гляжу... И очень мне обидно показалось: что за глупая шутка, думаю... «Дом действительного статского советника Е. В. Барсова».

Входим во двор. На крыльце встречает какая-то женщина, скромно одетая, в темном платье, с косынкой на голове, и кланяется.

— Милости просим, Елпидифор Васильевич...

Меня Николай Иванович и Виктор ведут под руки. Иду, а сам дрожу. Ничего не понимаю... Входим в зал, по стенам пустые книжные шкафы... Дальше — кабинет с роскошным письменным столом и тоже шкафы и полки по стенам, а на столе дорогой письменный прибор и серебряный бювар с надписью: «Дорогому другу Е. В. Барсову на новоселье от Н. Пастухова».

Открывает он бювар, а в нем бумага — купчая крепость на дом на мое имя! После чаю я тебе все покажу!..

Вошла с корзинкой клубники моложавая, довольно красивая и стройная женщина в легком сереньком платьице, с кружевной косынкой на голове.

— А вот и супруга моя... А это Баян, поэт, сын моего друга и мой дружок.

Этим на этот раз и кончились разговоры, а остальное

передаю со слов Пазухина, что в ресторане уже слышал.

Пастухов, повидав жите-быте Барсова, решил своему сотруднику подарить дом, где ему было бы удобно работать.

— Там он того гляди умрет — дышать нечем, — говорил он и стал отыскивать домик-особнячок в здоровой местности. Подыскал домик с садом на Шаболовке, у одинокой вдовы недавно умершего бухгалтера. Оформил покупку и привез нового владельца на новоселье.

В тот же день перевезли в фуре Ступина сразу весь барсовский архив под присмотром солдата, усатого дворника, который в тот же день переселился в новый дом. В первые два дня все было уложено и уставлено.

В эти дни обедать Пастухов его увозил к Тестову, самовар ставил новый дворник, или старая хозяйка приглашала его пить чай. На третий день она должна была переехать совсем и уже наняла себе квартиру. Утром зашел к ней проститься Елпидифор Васильевич. Она сидит у чайного стола и горько плачет. Из разговора выяснилось, что и квартиру наняла хорошую, и кухарка остается у нее, одно неудобство: хлева нет.

— Все бы ничего... Всем я довольна... Да вот сижу и жду мясника, коровушку на убой продаю...

Слезы текут.

— Коровушку жалы! — И разрыдалась.

Сидит Барсов, сам чуть не плачет, утешая ее, и вдруг:

— Знаете что: выходите за меня замуж! Вы знаете, кто я такой... Позвольте сегодня же по старинному порядку сваху заслать, а там честным пирком и за свадебку.

Так и стала вдова-мещанка генеральшей.

В летние месяцы я иногда заезжал к Барсову. Самое интересное бывало, когда я заставал его одного. В солнечные дни сидели в садике за чарочками для наливок или «наперсточками» для бенедиктина. Жена его, мало понимавшая наши разговоры, уходила по хо-

зьяйству, и через решетку слышались ее воинственные крики на кур или ворон, карауливших наседку с цыплятами.

В дождливый день он водил меня по желтому крашеному полу, ежедневно протертому керосином. Нигде ни пылинки. Казалось, что книги и рукописи на полках в застекленных шкафах скушают о «лавочке старьевщика» и о паутинке, которая все-таки шевелилась, когда по ней бегал паук или трепетала муха, залетевшая через дверь с грязного двора. Особенно поражал чистотой зал, где по субботам каждый лист «самосадков», доросших, как и три широколиственные пальмы, до потолка, перетирался самой хозяйкой, балансировавшей с рассветом на складной лестнице. Эти пальмы были ею выращены, когда она еще была девочкой, а ее отец, мещанский выборный, выстроил этот домик за год до ее рождения, на монастырском пустыре. На окне горшки с геранью — и пахучей кудрявой и красно-розовой, и лилии, и столетник, лимоны и апельсины, посаженные зернышками, — словом, садоводство на каждом окне. А на столике, сделанном из старинных изразцов уже по заказу самого Барсова, красовался медный чайник, с которым когда-то его усатый «Личарда» бегал за кипятком в трактир. Теперь он служил для поливки цветов.

Внизу две комнаты были заняты разным громоздким драгоценным старьем северной старины: деревянные фигуры святых, вырезанные из цельного дерева, половинки церковных резных дверей иконостасов и различные посохи, между которыми отличался посох с финифтевой ручкой, украшенной надписью вязью. Барсов его нашел где-то на глухой почтовой станции под Архангельском, и кому он принадлежал, неизвестно.

— Какому-нибудь сосланному святителю, — говорил он.

Древних икон еще больше прибавилось: ими завешаны обе комнаты, и всему свой уголок, свое место. В первой комнате чего-чего не было! Вот деревянные колодки, в которые монастырских узников заклепывали, и куски иконостасов и царских врат удивительной резной работы, сохранивших еще позолоту... А рядом — настоящие и с глубокого севера, и из мордовских лесов

большие идола, вырубленные также из целого векового пня дерева. Потом, знакомясь с работами Коненкова, я вспомнил барсовских идов. Мне сразу на ум пришло:

«Эге! Вот откуда твоя слава пошла. Ничто не ново под луной!»

Глядя на эти фигуры идов и домодельные скитские иконы и картины из покоев раскольничьих владык севера, много общего я находил потом на декадентских выставках. К их картинам также требовались надписи вроде этой:

«Се лев, а не собака».

На стенке разное оружие, отысканное Барсовым на чердаках и в подвалах монастырей: копья, ружья, медная пушечка, и из раскопок в старой Рязани — стрелы, ерихонки железные, кольчуги.

— А вот это, видишь, на стене, железные вериги в пуд весом. Их носил юродивый Фомушка, который проклял за душегубство Ивана Грозного, когда он зверствовал в Вологде. Иван Грозный после этого проклятия уехал и не тронул «блаженного». Вериги потом в Вологде висели в монастыре, а Палладий, новый архиерей, приказал их убрать и выбросить.

А вот оборудованный с особым тщанием под средним окном и около него на стене — театральный уголок.

— Я, брат, ты знаешь, тоже годика два и театру послужил... Работал по истории русского театра до восемнадцатого века. Всех книжников и барахольщиков обьелозил... Книги, рукописи — там, вверху, в шкафах, а здесь, видишь, — указал он на стену и витринку, — маски разных времен, рисунки, лепка, оружие и доспехи, а в шкафу костюмы... Я, брат, тоже считаю себя человеком театра. Кто им не увлекался! Я-то ушел, а вот и сейчас два дьякона в опере служат.

Потом уж, наверху, за накрытым столом, говорит:

— Помнишь, какая хламота была на Патриарших? Теперь этот музейчик всегда заперт, окна не отворяются, все кисеей покрыто... А мышами-то все-таки припахивает!



А. П. Чехов в 80-е годы.



В. Я. Брюсов в 1900 г.

— Да, есть-таки. Как там было.

— Вот за это-то я и люблю эти комнаты. Как ты ни говори, а все-таки «лавочка старьевщика» имела свою особую прелесть. Ведь там и под пылью жизнь кипела: потянешь одно, а там, глядишь, другое за ним, из другого совсем мира... А за ним еще и еще. Как игра в бирюльки — только живые. Одна родит другую.

А сам поляничную подливает и подвигает ко мне чарочку: «Пей другую». Это уж десятая!

— Так-то, Баян!

Выпили, а он широким жестом обвел шкафы.

— А тут что? Как солдаты, стоят книги, и каждая на своей полочке, и каждая бирюлька занумерована... А там, куда ни ткнешь, всюду «нечаянная радость». Не ждешь, а найдешь!

— Да, это ты верно слово сказал.

— Да не мое это слово — чужое повторяю, а сказал его Лев Николаевич Толстой. Он в конце семидесятых годов, когда приезжал в Москву, ко мне захаживал советов насчет материалов для своих работ. Иногда надо было показывать их и при нем рыться в пыли архива. То и дело приходилось неожиданно находить нужное совсем в неподобающем месте. И сказал он мне как-то: «Я понимаю теперь, как можно любить самую беспорядочность такого архива: в нем живет нечаянная радость».

Вот почти единственное, что у меня осталось ярче всего в памяти из его рассказов о Толстом. А говорил он мне о нем не раз. Смутно помню, что он много раз вспоминал разговоры с Толстым по поводу декабристов. Я помню, что Барсов упоминал в тот день часто это слово, — называл много известных имен, но я боюсь их вспоминать, даже то, что осталось в памяти: вдруг ошибешься. А с такими великими именами ошибки не допустимы, а то выйдет, как у барсовского «Личарды».

— Ельди... Ельдн... Хоть убей... Ваше превосходительство!

Я вот ничего не записывал из этих разговоров, о чем теперь слезно жалею: сколько он знал!

Помнится, что раз только, вернувшись домой, я записал один разговор, а что именно, не помню.

И вот теперь, через десяток лет, когда я пишу мою памятку о друге моем, друге моего отца, друге всех и вся, — я нашел в папке обрывок старой тетради, в которой сохранилась единственная запись одной нашей беседы.

Вот она целиком, вся как есть.

«Сегодня, 25 июня 1901 года, был я у Барсова в его домике. Он, как всегда дома, в кумачной рубашке и соломенной шляпе. Блаженствует в своем садочке. Самовар. Чай с поляничным вареньем — из Белозерска прислали. Пирожки с вологодскими рыжечками и луком и неизбежный «монахором» из старинных серебряных чарочек.

— Все то же, что там, на Патриарших. И варенье-полянничка, и морошка моченая, и наливочка.

— Сравнил! Теперь рай! И скатерка чистая, и самовар.

— Мне и тогда у тебя нравилось, хорош уголок был!

— Вот тоже и Толстой говорил... Он там у меня несколько раз был, когда приезжал в Москву. Это было в 78-м и 79-м годах. Он тогда писал новый роман «Петр I». Много о севере расспрашивал, о древних людях. А потом приходит как-то ко мне и говорит:

— Я пока остановился писать «Петра»: ничего раскола не понимаю. — И засыпал меня вопросами о расколе. Потом уж я напечатал в «Русском обозрении» статью: «Петр и Толстой». Это был мой ответ Льву Николаевичу. Как-то тогда Толстой встретился с гостившим у меня моим другом, собирателем былины Щеголенковым. Я записывал с голоса его былины. Старик был совершенно неграмотен.

Я их познакомил. Разговор сделался общим. Щеголенков много говорил о внецерковных христианах. Толстой заслушался его, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Вот как по-настоящему богу молятся. А мы разве умеем?

Просидел тогда Толстой у меня до поздней ночи. Толстой так увлекся сказами и былинами Щеголенкова, что пригласил его к себе, и он, уже совсем старый, — ему было тогда под восемьдесят, — прогостил у Толстого месяца три. С этой встречи у меня Толстой бросил окончательно свой роман «Петр I» и перестал быть художником, посвятив всего себя вопросу внецерковного христианства...»

Рассказ Барсова я записал дословно, пока Елпидифор Васильевич выходил из-за стола по хозяйству, и даже из записной книжки переписал в тетрадь.

ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ

I

Я зачитывался первыми рассказами Горького, дивился, что нашелся большой художник, затронувший тот мир, в котором я так долго вращался. Антон Чехов не раз мне говорил: «Тебя надо свести с Горьким! Познакомься с ним обязательно».

И Горькому говорил обо мне с тем же предложением.

Но мои постоянные отъезды из Москвы в газетные командировки нас вечно разлучали: он в Москве — меня нет, — и наоборот. Но все-таки встретились в первый раз у Чехова.



В 1899 году я работал в только что открывшейся амфитеатровской газете «Россия» и в «Курьере». В июле, вернувшись из очень рискованной поездки по Балканскому полуострову и сдав последнюю корреспонденцию в «Россию», я, совершенно утомленный работой и пережитыми днями в Белграде во время осадного положения, решил отдохнуть несколько дней на Волге. Остановился в Нижнем, чтобы на другой день выехать обратно, но зашел к Горькому, положительно очаровался им и застрял на несколько дней. Мне пом-

нится, что он жил в той же квартире, где я бывал в 1882 году у Вл. Г. Короленко, тоже сосланного тогда в Нижний, как и Горький.

* * *

Алексей Максимович и Екатерина Павловна приняли меня просто и дружески. Я у них обедал, пил чай, играл с маленьким Максимом, который лазал по мне, забираясь на плечи.

Незабвенные дни!

Как-то, гуляя по Покровке в яркий июльский день, я фотографировал своим кодаком всю семью, но лучше всех вышел Максимчик. Это единственная карточка, уцелевшая у меня от того времени.

С Алексеем Максимовичем вдвоем мы гуляли ежедневно с утра по городу, по Нижнему базару, среди грузчиков и рабочего народа, с которым так связана была его и моя юность. Было что вспомнить, понимали друг друга с одного слова. Лазали вдвоем по развалинам Кремля и снимали кодаком друг друга, стараясь повиснуть где-нибудь над пропастью. Алексею Максимовичу нравились такие порывы удали. Сидя на откосе и над впадением Оки в Волгу, мы любовались красотами.

На меня особо сильное впечатление производил тогда этот вид, подобный которому я видел так недавно, месяц назад. Откос Нижнего и сад Калимегданской крепости в Белграде — это повторение одного в другом. И там с высокой скалы и также слева перед самым городом впадает могучая Савва в огромный Дунай. Там, где перед нами строения ярмарки, — город Землин, и так же как перед нами теперь даль полей, так и там — степи Венгрии. И тут я рассказал Алексею Максимовичу подробности моего побега и события в Белграде, о которых он уже знал из газет... Я, как шиллеровский Роллер, сорвавшийся с виселицы, под впечатлением вида с откоса переживал недавние приключения и болтал без умолку...

С откоса мы прошли в цирк Акима Никитина, моего старого товарища по цирку, попали на репетицию. Аким был в восторге от гостя, которого знал хо-

рошо, как и весь Нижний его знал, и тут же предложил посещать цирк во все время его пребывания в Нижнем, и во время спектаклей, и во время репетиций, быть в цирке, как дома.

Алексей Максимович сразу полюбил Акима, простого и милого, интересовался репетициями и всегда ходил в цирк, как свой человек.

Но как хорошо было в доме за обедом и за чаем! У меня нервы были приподняты после пережитого, я рассказывал о моих приключениях, так что гостеприимному хозяину и говорить было некогда.

Но когда я стал рассказывать подробности о студенческих волнениях в Москве, Алексей Максимович оживился и заговорил, весь отдавшись этому жгучему вопросу.

Тут я припомнил написанные мной зимой два стихотворения, ходившие в Москве по рукам. Когда я прочел их, он встал, принес бумаги и карандаш и просил меня записать, что я и сделал, подписавшись В. Гиля-й.

II

На другой день мы гуляли по пристани.

Встречаю знакомого москвича, долго служившего по пароходству на Волге. Окликаю его:

— Николай Федорович!

С ним трое нижегородцев, тоже служащих по пароходству. Окружили нас, познакомились и зовут:

— Пойдем с ними. Там баржу разбило. Вот наш пароход стоит. Там и закуска — все как следует... Только добежим до... — назвали какое-то место, — поглядим и сейчас назад... Через час дома.

— Алексей Максимович, едем, — предлагаю.

— Едем, — улыбается.

Сели на шумевший небольшой буксир, повернули нос и побежали на низ. Мы сидели на носу. Разговаривали. День серенький, без ветра. Я чувствовал себя совершенно отдохнувшим, и настроение было буйное, хотелось расходовать свои возобновленные силы. Я начал читать стихи на буйные мотивы... Наконец, прочел всю поэму

свою о Стеньке Разине. Лучшей обстановки и лучших слушателей с Горьким во главе придумать было нельзя. Восторг полный... Пароход уже стал заворачивать, чтобы причалить против воды у затонувшей баржи.

Незаметно пролетел десяток верст.

Алексей Максимович сказал мне:

— Дядя, а мне Стеньку пришли!

Затонувшая баржа, груженная железом. Водолив да двое рабочих на ней. А кругом нигде и никого. Мы да баржа на боку...

Хозяева спустились на баржу, а мы гуляли по песку минут десять, и нас кликнули:

— Ну, теперь выпьем!

Перед нами выросли три корзины.

Развязали одну — шампанское.

Развязали другую — стаканы, тарелки, посуда.

Развязали последнюю — ламповые стекла, завернутые в соломенные колпачки. Недоумение сменилось хохотом.

— Чем закусывать будем?

А Горький указал на мачту баржи.

— А вобла-то на что?

Сняли с мачты связки воблы. Отвалили и пошли вверх. Алексей Максимович веселился больше всех, смотря, как под воблу хорошо шампанское пьется... Меня заставил прочитать еще раз Стеньку Разина... Через полчаса мы были у пристани. А через час Екатерина Павловна угощала нас обедом.

* * *

Вернувшись в Москву, я послал мой сборник стихов «Забытая тетрадь», где были напечатаны, пропанные цензурой, две главы «Стеньки Разина».

«Разин — здорово! и красиво!» — пишет мне в ответ на посылку Алексей Максимович.

* * *

Впоследствии в Москве мы встречались у Антона Чехова и в Художественном театре, когда Алексей Максимович ставил свое знаменитое «На дне». Для этой

пьесы я водил артистов труппы Художественного театра со Станиславским и Немировичем-Данченко во главе по притонам Хитрова рынка, а художника Симова даже в самые трущобные подземелья Кулаковки, в тайные притоны «Сухого оврага», которые Симов увековечил в своих прекрасных декорациях. А потом Алексей Максимович уехал за границу, прислав мне со своей надписью полное собрание своих сочинений.

III

Я опять пережил эти впечатления 1899 года еще раз, когда в мартовской книжке «Нового мира» за 1926 год был напечатан протокол допроса Горького после его ареста весной 1901 года.

«Еще в 1899 году к Максиму Горькому, по его словам, приезжал литератор Гиляровский и в разговоре о студенческих беспорядках сказал, что в Москве имеет большой успех среди публики стихотворение «Сейте». По просьбе Горького, Гиляровский будто бы воспроизвел эти стихи на лоскуте бумаги, не ручаясь за точность (стихи отобраны при обыске у Горького в 1901 г.).

Под стихами значится неразборчивая подпись. «И. Гиля...»¹. Начальник жандармского управления, сообщив об этом департаменту полиции, заметил, что «стихи написаны карандашом, но довольно разборчиво и без всяких помарок, очевидно, Гиляровский прекрасно помнил содержание этих стихов». Хотя М. Горький и отрицал на жандармском допросе авторство Гиляровского в отношении этих стихов, но жандармы склонны были приписать стихотворение именно ему. Авторство Горького в данном случае отпадало потому, что стихи были написаны не его рукой и значилась подпись: «И. Гиля...»

Стихотворение это было написано в Москве, зимой, во время самых беспорядков, на завтрак в «Славянском базаре» на белом листе переплетенной карточки вин. Завтракали мы вчетвером: В. А. Гольцев, В. М. Лав-

¹ А я часто пишу не ясно.

ров, редактор «Русской мысли», и В. М. Соболевский. Гольцев вырезал ножом страницу со стихами, спрятал в карман, пообещав прислать мне на другой день копию, что и исполнил. Стихотворение засверкало по Москве. Я даже сам столько читал его в разных компаниях и на вечеринках, что выучил наизусть.

Давно забыто все старое в кипучем вулкане захватывающей новой жизни!

И вдруг благодаря — кому же?! — жандармскому архиву я имею и забытое стихотворение, и незабвенные дни, проведенные у Алексея Максимовича, встали передо мной, как далекий сон.

ФОГАБАЛ

Холодно. Побурела трава на опустелом ипподроме. Ни дверей, ни окон у остатков каменных зданий... Прежде отделялось высоким забором от Ходынского поля здание на дворике, где взвешивались на скачках жокеи, и рядом стоял деревянный домик смотрителя круга. Кое-что осталось от сада перед домиком, забор и загородка сада уничтожены, и из окошек домика открывается вид на голое Ходынское поле и Ваганьковское кладбище. В домике живет семья... Голодает, холодает. Дрожит ночью, когда идут мимо толпы бесприютного и бродяжного люда, но как-то ее никто не трогает — должно быть, сразу видно, что взять нечего. Жильцы флигелька вынесли октябрьскую бомбардировку, когда из Ходынских казарм слали снаряды в Кремль, и на следующий год ночной пожар скаковых трибун рядом с их жильем, от которых остались эти «железные удавы» — куча изогнутых от жары рельс и балок.

Сегодня, гуляя по оголенному осеннему парку, я прошел сюда, на самую середину круга, — и воспоминания роятся и свертываются в клубок, и яркими гирляндами и живыми цветочными клумбами рисуются пять этажей трибун, полных в день дерби летними платьями дам, огромный партер вдоль всего этого ажурного железного здания, которое ни с какой постройкой и сравнить нельзя... Ну, а с чем можно сравнить «ирландский банкет» посредине? Это головоломное препятствие, на

которое решались скакать только самые отважные спортсмены! Он такой же, как и был. Высокий вал между двух широких канав. Лошадь скачет сначала через одну канаву на гребень вала, а с него уже вторым прыжком берет вторую канаву, за два раза перепрыгивая в ширину более семи метров и всегда теряя около минуты на этом препятствии. Нередко на нем ездоки и кости ломали и лошади калечились.

Еще в те дни, когда существовала деревянная беседка, в день розыгрыша самого почетного приза разыгрывался однажды стипльчезный приз с «ирландским банкетом». На последний записалось трое известных победителей на скачках с препятствиями. Все трое — гвардейские офицеры из Петербурга; четвертым записался совершенно неожиданно совсем молодой офицер, улан, младший брат скаковых коннозаводчиков Евгения и Сергея Ильенко — Иван. Он скакал на лошади, им самим выезженной и тренированной одновременно для скачек и для службы в полку.

Прозвучал звонок к стипльчезу. Со старта выделился ротмистр К. на своем выводном крэке. Взял три зеленых барьера на дорожке и понесся внутрь круга, корпусом в пяти впереди всех, на «банкет».... Трое соперников почти голова в голову скакали вслед за ним. Вот его белый китель мелькнул на мгновение на валу «банкета», чтобы тотчас появиться на другой стороне второй канавы и легко уйти от конкурентов, которые еще должны были остановиться на вершине вала перед вторым прыжком. И тут произошло нечто поразительное — все это было делом одного момента. В то время когда вороной конь К-на еще только собирался прыгнуть, трое конкурентов уже подлетели. Страшным посылом Ильенко выбросил своего скакуна, и мимо белого кителя на вороном коне мелькнул белый китель на золотисто-рыжем, который не остановился на гребне вала, а птицей перелетел и обе канавы и вал и очутился сразу впереди вороного на пять корпусов, да так и не уступил ни пяди до самого призового столба. В трибунах творилось что-то необычайное: в момент прыжка раздалось тысячеголосое «ах», а затем такие аплодисменты, каких старая беседка еще не слыхивала.

Через много лет так же аплодировали Гагарину, тоже взявшему сразу обе канавы на полукровной англо-донской кобыле Красивой, и Виллебрандсу на английском стиплере Чатартоне. И больше никогда это не повторилось ни у «джентельменов», ни у жокеев, даже англичан, кстати сказать, весьма не любивших «ирландского банкета».

После этой блестящей победы молодой Ильенко сбросил военный мундир и весь отдался скаковому коннозаводству. По зимам он с братьями работал на Харьковском конном заводе, летом занимал должность старшего члена московского общества и сам, как и его братья, тренировал свою призовую конюшню и писал в спортивных журналах статьи в защиту чистокровной лошади. Он, Иван Михайлович Ильенко, был одним из главных создателей этих единственных в мире многоэтажных скаковых трибун, которые сейчас вот лежат передо мною в виде горы чудовищных удавов, иногда блестящих, иногда матовых, с кое-где проступившими кровавыми пятнами ржавчины...

Я присел на выгнутую, скрюченную пылом пожара рельсу и задумался. Вот вижу сквозь ажурные рельсы чело-века, выходящего из флигелька. Он, опираясь на палку, устало двигается к развалинам трибун. На нем короткий нагольный полушубок, какие носят в кавалерии конюхи, и защитная фуражка с красной звездой; седая борода гвоздем, седые усики... да это Ильенко?

Да, это Иван Михайлович Ильенко. Это его семья обитает здесь. Он остался верен скаковому кругу: во время немецкой войны он бросил скачки и ушел к своему старому товарищу генералу Брусилову, был с ним в боях до конца кампании, потом вернулся в этот убогий флигелек к семье, а при советском правительстве его снова пригласил Брусилов на работу по коннозаводству, был он полезен государству знанием дела до тех пор, пока, наконец, по болезни не оставил службы персональным пенсионером и не кончил жизни рядом с «ирландским банкетом».

Я вышел на скаковую аллею, вдоль проезда между шоссе к трибунам и почти против маленького домика, где много лет жил секретарь скакового общества

Н. П. Лебедев, и здесь увидал... и опять поразился — уж очень не ко времени было то, что я увидел: передо мной появился человек в длинном черном, еще недавно модном сюртуке с разрезом сзади и в цилиндре!

Все что угодно я мог ожидать, но цилиндр на четвертый год революции, да еще сюртук-редингот! По всему видно было, что человек этот гулял: и по спокойным движениям, и по сложенным назад рукам с тоненькой тросточкой. Легкий ветерок раздувал его огромные светлые усы. Взглянув на них, я сразу узнал его:

— Иван Иваныч!

Это был редкостный тип, который мог создаться только в купеческой Москве, только в ее веселящемся кругу мог жить, наслаждаться, кушать самые изысканные блюда, посещать театры, ежедневно слушать хоры в лучших загородных ресторанах и присутствовать на ипподромах, не пропуская ни одного скакового или бегового дня, и при этом никогда он, единственный, не поставил ни одного рубля в тотализатор, потому что никакой игры не любил, — это, во-первых, а во-вторых, никогда почти у него этого рубля и в кармане не было.

А между тем он всегда одевался у лучших столичных портных Сиже и Жоржа, цилиндр носил только от Вандрага и всегда самого последнего фасона. Не признавал он пиджаков и визиток, а неизменно, зимой и летом, был в модном сюртуке, прекрасно сидевшем на его плотной фигуре с округлым брюшком и являвшемся лучшей рекламой для портного. Поверх этого сюртука — тоже всегда, зимой и летом, — пальто из легкой материи и затем желтые лайковые перчатки. Ни в какой мороз он не застегивался, уши и лицо его, всегда румяные, не признавали мороза — и так он ходил, бывало, в открытом партере зимних бегов, и к нему в антрактах то и дело подходят люди в лисьих шубах, бобровых воротниках и собольих шапках, что-то шепчут, исчезают и вместе возвращаются на свои места, прожевывая закуску и еще более разрумянившиеся. В свою объемистую утробу Иван Иваныч мог поместить невероятное количество всяких вин, в состоянии был пить иногда круглые сутки, перепить и уложить в лоск несколько кутиащих компаний, а сам, что называется, ни в одном гла-

зу — только лицо становится еще краснее. И таким я видел его десятки лет в Москве, неизменно здоровым и жизнерадостным. Годы от него как-то отскакивали, не оставляя никаких следов, светло-русая голова его по-прежнему была без одного седого волоса, как и огромные выхоленные усы, за которые, да и за всю фигуру вместе звали его Фарлафом.

— Ты совсем Фарлаф, Иван Иванович.

— А что такое Фарлаф? Что это, едят? — спросил на бегу за завтраком купчик из Таганки, единственный наследник умершего миллионера, одетый в лисью шубу.

— Вот и я такой же дурак был, как ты, пока умаразumu люди не выучили, — строго сказал ему Иван Иванович и сразу смягчил: — Это из оперы.

— Я в театре еще отродясь не бывал, тятенька был строгий, меня никуда не пушал из дома...

— Ну, ладно, пойдем сегодня в театр. Отсюда поедем к Тестову, а оттуда в театр, как раз Фарлафа увидим.

— Что же? Покорнейше благодарим, я с нашим удовольствием... Надо мною старших теперича нет...

И у Ивана Ивановича явился новый воспитанник, за образование которого он с этого дня, к великой радости молодого купчика, и принялся.

— Облома обламываю, — рекомендовал он своего воспитанника близким друзьям.

На другой день он повел купчика к Сижке, где заказал модное платье, и к Михайлову на Кузнецкий мост, где купил пальто на хорьковом меху с бобровым воротником, потом — обедать в Эрмитаж, а вечером слушать цыган у «Яра». Воспитание началось. Купчик в восторге тратил деньги на кутежи, но Иван Иванович ни разу не попросил взаймы — он знал, что этого купец боится: пей, ешь, что хошь, а денег попросить нельзя, скажет — объегорить хочешь. И никогда Иван Иванович не занимал денег у своих клиентов, он получал проценты с Сижки, с Михайлова, с Хлебникова, с ресторанных счетов. На это он одевался и платил за квартиру, катался как сыр в масле, а денег карманных больше красненькой или четвертной на извозчика и на чай у него никогда не водилось. Бывали случаи в начале этой его профес-

сии, после кутежа, когда какой-нибудь таганский оболтус, заплатив огромный счет у «Яра», бросал сотни три хорам, он пробовал просить:

— Сидор Мартынович, дай мне сотенку, надо за квартиру платить.

— Че-го? Ну, брат, на эту удочку меня не пымзешь. Пей, ешь, сколько влезет, а сухими ни-ни. Лучше и не заикайся, если хошь компанию со мной водить.

А все-таки купцы лезли к нему, и пообедать и поужинать с Иваном Ивановичем считалось чуть ли не за честь. А главное — он умел заказать, и важные метрдо-тели у «Яра» или в «Стрельне» подобострастно выслушивали его заказы — уж очень хорошо он гастрономию знал.

Иногда, когда кутила компания купцов, понимающая толк, то в отдельный кабинет, где сервировался обед или ужин, являлись: в «Стрельне» сам Натрускин, а у «Яра» сам Апельсин — так все звали хозяина этого ресторана за его круглое, чисто выбритое лицо, действительно цвета почти что апельсина-королька.

И оба эти владельца ресторанов дивились его уменью заказать самые дорогие кушанья и назвать номера вин всех фирм без ошибки, не глядя в прейскурант, а также и особо дорогие вина из погреба этих ресторанов.

— А вот у вас, Иван Федорович, не осталось ли бутылочки сухой мадеры Серцеаль, которую вы купили после Кузнецова Александра Григорьевича из его собственных садов на Мадере?.. Я помню, в прошлом году вы удивили нас с Голицыным.

— Как же-с, Лев Сергеевич заплатил мне за три бутылки и велел оставить их на текущем счету.

— Да... да... триста рублей, кажется, вы с него взяли.

— Помилуйте, Иван Иванович, разве это много? Ведь я сам купил из погреба наследников дюжину за восемьсот рублей, насилиу выпросил. Две бутылки остались только. Берегу как зеницу ока.

— Тащи их сюда. Чего там говорить!

— Одну-с, Иван Иванович, дам, одну уж позвольте оставить.

— Тащи обе... Одну с собой возьму — мне можно только сухое вино.

— Слушаю-с... А свой салат к индейке вы сами, конечно, приготовите, Иван Иванович?

— Просим, просим! — в один голос зашумела вся компания богача Сумского, сахарозаводчика, большого гурмана и гурмана-мученика вместе с тем: он страдал сахарной болезнью, но иногда рисковал кутнуть и всегда уже в таких случаях приглашал Ивана Ивановича — тот знал, что ему можно и чего нельзя.

Так жил и блаженствовал десятки лет этот купеческий арбитер, элантиарум¹ купеческих кутил.

Я помню его с 1876 года. Он бывал в Артистическом кружке с Сережей Губониным и тогда еще имел торговлю в городских рядах, где над магазином шелковых изделий красовалась вывеска: «Рошфор и Емельянов». Рошфор был француз, Емельянов — коренной москвич, отец Ивана Ивановича. Последний, еще двадцатилетним малым, сперва ходил в картузе и поддевке, по-купечески, раза три со стариком Рошфором ездил в Париж за «модьем», но после третьей поездки, продолжавшейся около двух месяцев, так как Рошфор там с месяц прохворал и месяц отдыхал после болезни, вместо «Ванячки» в картузе бородатый, в долгополом сюртуке родитель увидал своего единственного сына франтом, одетым по последней моде и причесанным а-ля Капюль, в желтых перчатках и цилиндре. А когда отец по обыкновению повел его завтракать в «Дыру» под Бубновским трактиром, то сынок предложил отправиться наверх в парадные бубновские залы и там, призвав хозяина, стал ему заказывать такие блюда, что тот глаза вытарашил, а отец рассердился, сказал ему: «Лопай сам» и ушел в «Дыру» хлебать солянку из осетрины и есть битки в сметане.

С тех пор Иван Иванович уже не снимал с себя цилиндра, а когда я поселился в Москве в 88-м году, то у него уже не было никакой торговли. После смерти отца Рошфор выставил его из своей фирмы, но он не унывал и стал появляться у «Яра» в компании своих друзей — купцов, которых раньше он угощал и которые теперь

¹ Законодатель мод. Так называли Петрония (автора «Сатирикона») в римском обществе во времена Нерона.

угощали его, преклоняясь перед его умением устраивать пиры.

И вот этот самый Иван Иванович сейчас быстро обернулся и, перехватив палку в левую руку, заторопился снять перчатку с правой и веселым взглядом приветствовал меня.

Чисто выбритый, ухоженные усы, те же огромные, шелковистые, без единой седины, цилиндр слегка набекрень, как и прежде, и неизменный, так недавно еще модный сюртук, залоснившийся и вытертый, но без пылинки, сидевший теперь на нем, как на вешалке. От чичиковской округлости брюшка и следов не осталось, и не было полноты румяного лица, слегка побледневшего, но еще свежего. Это был на вид так мужчина лет сорока пяти — пятидесяти.

— Гуляете? — относя в сторону во всю длину руки цилиндр, улыбнулся он.

— Да, засиделся в городе, за три года первый раз решил в парк пройти.

— И прямо сюда пришли? Знать... Невольно к этим грустным берегам... и вас влечет неведомая сила? — закончил он. — А я здесь каждый день гуляю... Да идти-то мне... помните, как у Достоевского Мармеладов говорит: идти некуда. А сам пошел в пивную... А теперь и пивных нет... Вот мне так идти действительно некуда, Тетка у меня на Якиманке была, распроединственная моя родственница — да и та пропала без вести... Женат я не был, старые друзья по пьяному делу смыты, «кого уж нет, а те далече». Спасибо, еще управляющий домом, где я тридцать лет живу, там, на Башиловке, дал мне комнатушку, заваленную книгами... Живу в ней и перечитал всех классиков, о которых прежде и понятия не имел. Знал, что есть Пушкин, потому у «Яра» в Пушкинском кабинете его бюст стоял. Вот встану, поплюю вместо чаю кипяточку с черным сухариком, почищу цилиндр, их у меня три осталось, вычищу сюртук, побреюсь — каждый день для поднятия духа бреюсь, — а потом сюда гулять...

Я слушал и не знал, что сказать.

— Пережил всю революцию, пожаром трибун всю ночь любовался...

— А отчего они сгорели?

— Кто знает? И спросить некого... Э, да что и говорить. Ведь мне под семьдесят, а ни одного седого волоса, никаких катаров не мог напиться... И в довершение всего аппетит, как и прежде, прекрасный, а есть нечего.

Во время этого разговора мы дошли до бульвара и сели на уцелевшей лавочке против бывшего «Яра». Я вспомнил, что у меня в кармане большой кусок прекрасного швейцарского сыра, который по дороге сюда я купил у кого-то из-под полы на мосту у вокзала.

— Да-с, Владимир Алексеевич, все кончилось. Кончилсь «Яр», «Мавритания», «Стрельна»... все... все... А без них и я кончаюсь... Хоть бы чем-нибудь их вспомнить, а там хоть и умирать.

— Ну что же, вспомним! Видишь, Иван Иванович? Ну-ка, понюхай!

Я вынул из кармана чуть просалившуюся от слезки бумагу с куском сыра и поднес к его носу. Он с удивленным видом откинул голову, так что цилиндр чуть не слетел, и воскликнул:

— Швейцарский сыр! А у меня ножик есть.

Он вынул обломок ножика и подал мне. Я развернул сыр и отрезал ломтик.

— Да разве так можно? Что вы!

Он быстро снял обе перчатки, сунул их в карман и заявил:

— Руки у меня чистые.

Он взял у меня нож и сыр.

— Грех такое добро портить. Может быть, да и на-верняка, пожалуй, я такой сыр в последний раз ем, так позвольте уж...

И он начал резать тупой стороной ножа, и сыр свертывался в трубочку, становился ароматным, пушистым, мягким и таял на языке.

— Такой сыр не режут, а гофрируют.

Он священнодействовал, и мы молча съели треть куска.

— У-ух! Вот отвел душу. Жаль, что хлеба нет.

Он передал мне кусок сыру, я разрезал его пополам, завернул в бумагу и один кусок положил себе в карман, а другой отдал ему.

Он поблагодарил меня, взял нож и свой сыр разрезал на две равные части, одну половину нарезал ломтиками уже острием, завернул и положил в один карман, другую в другой.

— Зачем вы его так нарезали?

— Ничего, он и так съест, он гофренья не поймет.

— Кто?

— Фогабал. Вы помните его?

— Еще бы! Ильенковская лошадь.

— Да не лошадь, а гимназист — Фогабал.

Да, я помню и гимназиста Фогабала.

Я видел его и в гимназическом пальто, и в щегольском костюме на скачках, и оборванцем в «Перепутье».

«Перепутье» — это был трактир против «Яра». В «Яре» кутили богатые спортсмены, а «Перепутье» в дни бегов и скачек и накануне их был всегда переполнен играющими. Они перед состязанием являлись сюда, чтобы узнать шансы фаворитов у жокеев, наездников и «жучков», отмечали «верную лошадку» и нередко угадывали, а больше жульничали. В числе «жучков» помню я высокого бледного, волосатого блондина, с зари дежурившего на ипподроме и следившего за проездкой лошадей. К концу состязаний он всегда бывал пьян, но лошадей знал хорошо, и его отметкам все верили.

Никто не знал его настоящего имени, и он откликался на Фогабала.

— Милый Фогабалушка, отметь афишечку.

Этот полупьяный оборванец сыграл громадную роль в истории спорта: обе роскошные трибуны выстроены благодаря ему.

Скачки и бега на Ходынке существовали с половины прошлого века. Бега тогда разыгрывались еще по трем дорожкам: каждая лошадь бежала по отдельной. Посещали ипподром только настоящие охотники, любители лошадей, да в праздничные дни приезжали немногие москвичи подышать свежим воздухом и полюбоваться зрелищем.

Так и перебивались с хлеба на квас оба императорских общества: скаковое — дворянское и беговое — ку-

печеское. Сборы были нищенские и призы только для почета.

В конце семидесятых годов секретарь Московского скакового общества М. И. Лазарев за границей познакомился с тотализатором и ввел его на скачках. Первое время билеты были только рублевые, лошади скакали по две, по три, редко по пять. Игра не шла потому, что увлекающий азарт отсутствовал. В каждой скачке была известная всем лучшая лошадь, которая и обходила легко соперников, а потому и выдавали выигравшим не больше гривенника на рубль.

Двойного тотализатора еще не было.

Когда скакал знаменитый Перкун, выигравший ряд призов в Англии и непобедимый в России, больше гривенника никогда не платили. Да Перкун никогда и не проигрывал.

«Банк, а не лошадь», — говорили расчетливые игроки. Некоторые брали на него билеты десятками, чтобы наверняка, как ренту, получить два-три рубля.

Десять процентов в три минуты: и вход и извозчик оплачены.

Лопнул банк!

Было жаркое солнечное воскресенье во второй половине августа. Нарядная публика разукрасила убогую беседку скачек. Галерея, ложи и ряды деревянных скамеек, поднимавшихся амфитеатром, были заняты аристократической и купеческой Москвой, партер — спортсменами и франтами в светлых костюмах. Около касс тотализатора публики по обыкновению было мало. Тогда еще игра шла слабая. Самой интересной в этот день была скачка непобедимого Перкуна, с которым скакали три достойных его соперника с лучшими жокеями — англичанами. На Перкуне ехал считавшийся тогда первым жокей Амброз — это окончательно обеспечило победу Перкуна. На остальных трех, записанных уже не думая о первом призе, только в надежде получить второй или третий, скакали Клейдон, Конер и Шелли. На пятой лошади, принадлежавшей И. М. Ильенко, собственного его завода, Фогабале, скакал только что вышедший из конюшенных мальчишек жокей Воронков. Все билеты в тотализаторе стояли на Перкуна. Публи-

ка играла наверняка: лучше гривенник нажать, чем рубль прожить. Нашлись охотники и «резануть», то есть поставить на других лошадей, вернее, на жокеев-англичан, и только в Фогабала, а главное, в жокея Воронкова никто не хотел верить.

— Харьковский хохленок супротив четырех англичан!

Опустил стартер флаг. С места ринулись скакуны, впереди всех Амброз с улыбкой уверенности в своей победе. Иногда он оглядывался на Клейдона и Конера, голова в голову поспевающих за ним. Близко к ним скакал молоденький, розовый, как девушка, Шелли, а сзади, почти в хвосте у него, коренастый Воронков на своем Фогабале, который шел спокойным махом, будто и не участвовал в скачке, а так, для галопа трепался.

В последнем повороте Воронков легким посылом перегнал Шелли и приблизился чуть-чуть к двум соперникам, в хлысте наседавшим на Перкуна. Пришлось и Амброзу взяться за хлыст, начали резаться всюю все трое, и все-таки Перкун был на корпус впереди.

И вот Воронков, сохранивший силы, уже перед самым призовым столбом уверенным посылом выбросил своего Фогабала и легко, без хлыста, пришел первым на целый корпус впереди Амброза.

Так с этого дня и осталось прозвище за Воронковым — «хитрый хохленок».

А что было в беседке! И партер, и ложи, и галерея — все гудело, ругало англичан... Всех и вся поносила неистовая публика. Требовали назад деньги. На Фогабала никто не играл, оказался поставленным билет только в одной кассе, и его взял какой-то гимназист, который не имел понятия о лошадях, а просто подошел, вынул рубль и сказал:

— Дайте номер третий.

Цифра ли ему понравилась, мечтал ли он о тройке за латынь, а получил груду кредиток — тысячу триста девятнадцать рублей на свой рубль, которые он, вытараща от волнения глаза, не считая, рассовывал по карманам своей старой блузы и серого пальто. Счастливец окружили, смущали в продолжение всего антракта, терзали разнообразными вопросами и оставили его, лишь услышав звонок новой скачки.

В следующем антракте его не нашли. Кто он был, никто не знал.

В газетах на другой день была описана победа Фогабала и неизвестный гимназист, получивший за рубль тысячу триста девятнадцать рублей. Даже люди, никогда не посещавшие скачек и не знавшие слова тотализатор, заинтересовались, конечно, не лошадьми, а возможностью выиграть тысячу на рубль. И через день на следующих скачках, несмотря на будни, публики было вдвое больше, а в воскресенье через неделю деревянные трибуны были переполнены, игра шла вовсю.

Непонимающая публика стала играть на всех лошадях, даже тогда, когда фаворит бесспорно был непобедим, и на фаворитов поэтому стали выдавать уже по полтине на рубль. Игра для знатоков лошадей стала верным и выгодным делом, ставки увеличились, оборот тотализатора сделался громадным. Затем ввели тотализатор и на бегах.

А единственный виновник успеха гимназист Фогабал — ему другого имени не было — сделался завсегда-таем ипподрома, бросил гимназию, служил некоторое время хористом, а потом окончательно сошел с круга, спился и кончил свою карьеру «подзаборным жучком».

— Да, Иван Иванович, видал я его, этого главного виновника успеха тотализатора, того самого, что и скаковые и беговые трибуны выстроил. Как же, знаю. Все знаю!

— Все, да не все! Во всем этом в первую голову виновник я... Я выстроил эти трибуны, и только я. Я создал азарт, я лишил чести и карьеры молодого человека. Даже человеческого имени его лишил! Превратил в лошадь — Фогабал! Вместо имени у него осталась кличка.

И начал Иван Иванович изливаться, пересчитывая жертвы азарта.

На глазах у него выступили слезы.

— Один я виновник!

— Успокойтесь, Иван Иванович! Что вы?

— А вот слушайте! Тогда на скачках, как вы знаете, только что ввели тотализатор. Как вы помните, игра вначале была очень маленькая. И вот, чтобы развить

игру, управление скачек щедро раздавало контрамарки. Много их давали хористкам у «Яра» и в «Мавритании», главным образом цыганкам и певцам, чтобы они своих поклонников из богатого купечества приводили. Ну и ходили те, потому что даром билеты получали, хотя проигрывали гораздо больше, чем была плата за вход. Да такова уж натура у купца: ему хоть рвотного, да даром.

Мне присылали на каждые скачки по несколько контрамарок, зная мое большое знакомство. Я раздавал их и сам неукоснительно ходил. Мне это было необходимо даже — оттуда я гостей к «Яру» водил. Так вот в одно из воскресений прислали мне пять контрамарок, а я накануне обещал дать три штуки чиновнику сиротского суда, он рядом со мной на даче жил. За дачу платил сто рублей, частенько обедал и ужинал у «Яра», а жалования получал, хотя и столоначальником был, всего семь рублей в месяц. Оклады были в этом суде все такие с екатерининских времен еще, а чиновники шуrowали на сиротские денежки, с опекунов взятки брали огромные. Ну, понес я ему контрамарки — он как раз с женой чай пил, и с ними тут же сидел взрослый гимназист, учитель их детей, зашел получить плату за уроки. Бедняк, круглый сирота, у дяди, хориста Большого театра, жил. Отдал я три контрамарки, а четвертую предложил гимназисту, который никогда на скачках не бывал. Он взял с радостью.

В тот же день я его увидел и на скачках, тотчас после выигрыша. Он сидел у кассы, на скамейке, бледный и расстроенный. Показал мне деньги. Тут я узнал все и отвез его домой. После этого он запутался, заиграл, сначала в тотализатор, потом в карты. Наконец, попал в сумасшедший дом, пробыл там несколько лет, а на днях опять сюда вернулся. Я видел его третьего дня на скаковом кругу, среди развалин беседки.

Там после пожара лежит — поглядите, любопытно — огромная куча скрюченных изогнутых огнем рельс и железных балок. Эту кучу я не раз видел, а тут вдруг почему-то жуть забрала... Дело было к вечеру... шел я и вдруг услышал из кучи странный, надтреснутый голос.

Жутко стало, а в то же время любопытство одоле-

ло. И что же, по другую сторону, увидел я, стоит огромный старик с длинными волосами, с всклокоченной бородой, оборванный, и ревет во весь голос — не поет, а действительно ревет: «Вот мельница, она уж развалилась...»

Вгляделся я и узнал мою жертву — Фогабала!

Подошел. Глаза безумные, лицо бледное, даже синеватое какое-то.

— Фогабалушка? Здравствуй, милый!

А он поднял над головой руки, потом стал ими хлопать по бокам, как крыльями, и опять заревел:

— «Я ворон здешних мест!» — Потом узнал меня и заплакал.

Иван Иванович снял цилиндр и протянул мне руку.

— Прощайте. Я ему сырку снесу... Он там, в подвале живет.

Иван Иванович тихо зашагал через шоссе, ни разу не оглянувшись. Только у входа в скаковую аллею остановился, снял цилиндр, махнул мне и тотчас же, двинувшись дальше, скрылся за поворотом аллеи. Это был последний цилиндр, который я видел.

Я продолжал одиноко сидеть на уцелевшей бульварной скамейке против «Яра», этого великолепного храма разгула прожигателей жизни, — роскошного каменного и стеклянного дворца, выросшего из старого деревянного здания одновременно с железными и каменными трибунами, воздвигнутыми на месте старых, деревянных. Иван Иванович когда-то говорил: «На мой век хватит «Яра» и «Стрельны», — говорил это уверенно, глядя на новый каменный «Яр», выросший за счет тотализатора. Публика скачек и бегов была постоянной публикой этого ресторана.

Как на службу, являлся ежедневно Иван Иванович в сверкающий огнями и переполненный шегольской публикой ресторан. Входил лоснящийся, пузатый, гордым и вместе с тем добродушным взглядом окидывал все столы и, направляясь к эстраде, за свой постоянный столик, раскланивался направо и налево.

— Иван Иванович! Иван Иванович, к нам! — раздавалось со всех сторон.

И он каждому отвечал, каждого по имени-отчеству

называя, и садился там, где компания казалась ему наиболее подходящей. Он везде был желанный гость.

И вот я вспомнил сейчас, когда увидел его в первый раз, почему обратил на него внимание. Обстановка, при которой это произошло, неповторима, как и люди того времени, и стоит того, чтобы описать ее, а происходило все это более полувека назад.

ПОД «ВЕСЕЛОЙ КОЗОЙ»

В. Н. Андреев-Бурлак рассказал как-то в дружеской компании случай, произошедший с ним на нижегородской ярмарке.

— Приезжаю я из Москвы с утренним поездом. Пью в буфете кофе. Садится рядом со мной толстяк с алмазным перстнем на указательном пальце. На жилете гремит брелоками золотая цепь.

— Вот и вы приехали! — покровительственно треплет меня по плечу. — Как-то наши с вами дела пойдут, Василий Николаевич, на ярмарке?

— А вы тоже артист? — спрашиваю.

— Как же! Мы с девицами приехали. Целый вагон привез, и в заведения и на «Самокаты».

«Самокаты» я знал с 1874 года, когда совершенно случайно попал в Нижний.

Они существовали задолго до этого и были закрыты губернатором Н. М. Барановым в холерный 1892 год и никогда, насколько мне известно, не были описаны.

Весной 1874 года, после того как я вырвался с белильного Сорокинского завода в Ярославле, после зимы каторжной работы я очутился на палубе самолетского парохода, бежавшего на низ, и совершенно неожиданно попал в Нижний на ярмарку.

О пароходах на Волге никто никогда не говорил: «плывет», «едет», «идет», а всегда — «бежит». Никто из

пассажиров-волгарей не скажет: «Я плыл, я ехал...» — Нет! Обязательно скажут так:

— Туда мы побежали на «Самолете», а оттуда я прибежал на «Дружине».

И действительно, глядя, как пароход вертит огромными колесами и шлепает по воде плицами колеса, будто ногами ступает, остается впечатление, что он именно бежит...

Итак, я побежал на изящном розовом пароходике общества «Самолет», с черной прямой трубой, опоясанной широкой красной полосой, и с белым флагом на корме. На нем желтой краской был изображен какой-то рисунок, из которого я помню две скрещенные медные трубы. Это означало, что пароход почтовый.

А символ трубы обозначал почту, потому что у сидевших рядом с кучером провожатых почтовых дилижансов были точь-в-точь такие медные трубы, в которые они всю дорогу неистово дудели: «Берегись, мол, почта идет!»

Не едет. Нет, а идет... Почта пришла... Почта отходит в семь утра...

Вот и побежал я на «Самолете», запасшись краухой ситного, воблой, выправив билет третьего класса.

Тогда билеты не покупали, а «выправляли».

Старинное слово это осталось от тех времен, когда еще пароходов не было. Теперь просто каждый подходит к кассе на пристани, платит деньги, получает билет и только. Может быть, это слово возникло по связи получения билетов с получением паспортов? Паспорт или заменяющий его документ для кратковременной отлучки не покупался сразу — надо было хлопотать, тратиться, чтобы его «выправить».

Сижу я на корме на круге якорного каната. Любуюсь красавцем-городом на высокой горе, с белыми домами на набережной, бульваром в яркой весенней зелени. Творицами за Волгой... Вон там те же самые скаты бревен, где я три года назад, придя пешком из Вологды, увидел бурлаков Малафеевской расшивы, груженной хлебом. Тут меня и наняли на пугину до Рыбны, и пошли мы в этот кабак за водкой, а потом на базар за лап-

тями, а оттуда к тому песчаному ухвостью, за которым стояла расшива.

Ночевали мы на сыром песке, а на заре я, в новых лаптях, впрягся в лямку и зашагал в ватаге вверх по матушке по Волге. Взяли меня на место бурлака, который вчера уже под самым Ярославлем упал в лямке и тут же умер, на берегу, и тут же его зарыли в песок в густых тальниках.

Чуть не четверть ватаги за путину переумирало. Холерища семьдесят первого года на Волге была жестокая. Насмотрелся я этих холерных смертей в нашей ватаге, а уж там, в Рыбне, где я прокрючничал лето, валом валила она народ.

Посмотрел я на наш завод на высоком берегу: грязно-желтый, обнесенный высокой стеной, острогом глядит. Звали его «бурлацкое кладбище», потому что редко кто выходил оттуда живым. Отравлялись свинцовыми белилами, чахли и умирали.

— Чу! Труба и колокольчики...

Над нами по набережной пролетела куда-то пожарная команда... Я узнал высокого старика брандмейстера.

О, сколько пережито за три года! И атаман Репка и Костыга, как живые, перед глазами. И порка розгами солдата Орлова... И кулачные бои... А в ушах звенит голос нашего запевалы бурлацкого, его песня о пуделе, которой я после никогда не слышал:

Белый пудель шаговит, шаговит...

Черный пудель шаговит, шаговит...

Раздолье Волги летом, пьяный вой Будиловского притона зимой, а кругом зимогоры, зимогоры... «Рвань коричневая», то слезливая, забитая, то «удалы добры молодцы» — непокорные, которым удержу нет.

Зимогоры — верхне-волжское яркое слово, обозначающее тех, которым зимой горе.

И я — недавний зимогор, вырвавшийся на волю... Да еще с билетом на почтовом пароходе «Удалой», тогда одним из самых резвых на верхнем плесе.

Второй свисток прогудел над головой и выбросил в

воздух один за другим два снежных облачка пара. Сквозным серебром забелели они на голубом небе, расплылись прозрачным кружевом и бесследно растаяли...

А с верховьев Волги с продолжительным свистком бежал сероватый легкий пароход с трехцветным торговым флагом, часто хлюпая плицами, и стал делать круг, чтобы стать как полагается, носом против течения. Он ловко завернул, пришвартовался к своей такой же сероватой пристани, с таким же трехцветным флагом на мачте. Над колесами я разобрал надпись «Велизарий».

— Тихомир здорово опоздал. Со злости вдрызг налимонился, всех разнесет, — громким голосом говорил кому-то наш усатый капитан в морской, с белым верхом, фуражке.

— Ему зарез. В Ярославле всех пассажиров прозевал. В Костроме тоже мы всех заберем, — ответил кто-то невидимо для меня.

И тут же три свистка и три облачка белого пара за клубились на лазури и медленно растаяли над нами, когда «Удалой», повернув носом вправо, захлопал лопастями по забурлившей воде, выбрался на стрежень и прямо побежал вниз.

И «Велизарий» выбросил два облачка, побольше наших, дал два продолжительных, каких-то злых, тревожных свистка, будто у того, кто давал свисток, дрожала рука.

Пассажиры с носа перешли на корму и шутили над «чумовым Тихомировым». Ехавшие на «Удалом» из Рыбинска удивлялись задержке там «Велизария», который должен был бы по расписанию выйти через десять минут после нас.

Кругом шли разговоры о Тихомирове. Из них я узнал, что когда он напьется пьян, то идет «капитанить» и устраивать бешеную гонку с «Самолетом». И так всю навигацию — кроме месяца нижегородской ярмарки. Тогда пароходом правит опытный капитан старик из лоцманов, а его хозяин со дня поднятия флага на ярмарке вплоть до закрытия ее безвыходно кутит по всем притокам, до «Самокатов» включительно.

Я бродил по пароходу и чувствовал себя, как говорится, на седьмом небе...

Еще рано утром я бросил мою рвань на базаре и переделал во все новое: синяя рубаха в полосу, короткая суконная поддевка, сапоги гармонией и картуз с лаковым козырьком. Я оделся именно так, как всегда щеголял Демка, конюх при цирке Василия Ивановича Вольфа. Я года два дружил с Демкой и во время моих скитаний без паспорта и под чужим именем я, когда нужно, выдавал себя за циркового конюха, так как эта профессия никаких подозрений не возбуждала, а цирк — всеми любимая тема для разговоров, которой я и пользовался в случае нужды.

Так я решил поступать и впредь. Переодевшись в лавчонке около Будилова трактира, я уселся на тумбе, и местный седой Фигаро из старых солдат взял с меня за стрижку пятак, заявив, что остриг «под польку».

Он сразу угадал, что я с белильного завода, и посоветовал мне идти на Волгу и промыть волосы.

Это напоминание о белильном заводе укололо меня, и совершенно успокоился я только тогда, когда, купаясь, извел полкуска казанского мыла.

Я, гуляя по пароходу, поднялся на мостик, на который допускались только классные пассажиры, и меня никто не остановил. Я понял, что с недавним прошлым кончено и что никто не подумает, что я вчера еще был обреченным на гибель рабочим белильного завода и что еще сегодня утром был зимогор.

Быстро бежал «Удалой». Сзади чуть-чуть слышались три свистка: «Велизарий» отваливал. Едва ли скоро догонит.

Увидав, что спектакля не ожидается, пассажиры разбрелись с кормы. Я спустился и снова сел на канаты.

Вползли из душного кубрика два матроса и, сев рядом со мной, принялись колотить воблу о перила.

— Собачий барин остановки требует! — указал один из них, зубами сдирая шкуру с янтарной рыбины.

Далеко впереди лодка с пассажирами отваливала от высокого правого берега, где среди зелени сверкал на солнышке белый дом с колоннами.

— Это Собачий барин? — спросил я.

— Он самый.

И вспомнились рассказы старых бурлаков Костыги и

Улана. Вспомнились и ночи на белильном заводе, когда бывалый бурлак Суслик, развлекавший всю казарму в долгие бессонные ночи своими бывальщинами да сказками, не раз упоминал Собачьего барина.

— На этом самом месте, — говорил он, — с испокон века бурлацкая перемена, а потом она закончилась. Приехал из Питера барин, выстроил усадьбу, она и сейчас цела пониже Ярославля — белый дом на горе, весь на виду. Стал по летам наезжать сюда на жительство. Дело еще было при крепостном праве, дворян огромная, собак уйма: охотиться гости из Питера прибывали — все важные бары. Не понравилось барину, что его бурлаки беспокоят тем, что ночуют на берегу, что кашу варят, песни поют и барынь своим видом пугают. И начал он наши ватаги собаками травить на ходу, а ежели на перемену останутся, то ночью на нас, на сонных, налетали охотники верховые и арапниками пороли. Так года два зверовал барин да на Репку и наткнулся. А Репкина ватага — так бурлачков полсотни — всегда богатырь к богатырю была подобрана. Затеял барин потеху, сам с пьяными гостями высыпал, напустил на бурлачков своих охотников, а Репка ждал. Ну и отчихвостили наши ребята господишек и их холуев по-бурлацки. На Репку наскочил сам барин с арапником. Схватились они врукопашную, на чертолом облапились, — картинно рассказывал Суслик эту бывальщину и заканчивал: — Барин помер. Стройка дворовая сгорела, только дом остался, бурлаки перевелись, а место и по сю пору зовут Собачий барин.

Да, бурлаки перевелись, и шахма по берегу Волги тальником заросла, а Волга оживала с каждым днем. Навстречу нам попались три парохода, тащившие баржи с хлебом: «Самсон», «Громобой» и «Бурлак», да один еще почтовый самолетский, такой же, как наш, светло-розовый, с красным поясом на черной трубе и золотой надписью над колесами — «Легкий».

Приняли пассажиров: какого-то мужичка да офеню с лубяным коробом. Последний, как влез, короб открыл и начал торговать бусами, гребенками, платочками и разными мелочами — колечками, крестиками и книжками. Тут были и «Еруслан Лазаревич», и «Прекрасная маго-

метанка, умирающая на гробе своего мужа», и «Епанча, татарский наездник». Эти расценивались по три копейки, а две толстые — «Гуак или непреоборимая верность» и «Английский милорд» — подороже. Купил и я «Гуака», карандаш и записную книжку в зеленом сафьяне.

Яркое солнышко, тишина. Только белые плиты лениво хлопают по воде да наш пароход обменивается свистками со встречными.

Пассажиры расположились на скамейках, книжки читают.

Когда мы отваливали от Бабаек, захватив пассажиров, вдаль показался «Велизарий», но было уже поздно. Мы не видели, как он заворачивал к пристани.

Матросы съели воблу. Уж и Кострома близко.

— Полный ход! — раздалась вдруг капитанская команда.

Плиты захлопали чаще.

— «Вылезарий» вылезает! — засмеялся матрос.

Из-за острова показался дым, а затем флаг и труба «Велизария».

— Пушай его! Мы бы уже в Костроме были, да у Собачьего барина задержались.

В Костроме пароход стоял долго. Я отправился смотреть город. На набережной залюбовался ярко освещенной солнцем рекой и заволжской далью и сел на скамейку, где два молодых человека с черными усиками, разговаривавшие по-итальянски, громко восторгались Волгой.

— Ну что, синьоры, и вам наша Волга нравится? — обратился я к ним на французском языке, которым недурно владел благодаря своей мачехе — в ее семье иначе между собой как по-французски не говорили.

Разговорились. Это были итальянцы Э. Ф. Лукачини и М. О. Ломбардо, впоследствии владельцы известного ювелирного магазина в Москве, в пассаже Солодовникова.

— Что вы здесь делаете? — спросили они меня.

— Да ровно ничего. Сошел с парохода, затем поеду дальше, на низовья, работы искать, — и я рассказал им какую-то полуправду.



А. А. Блок.



А. А. Блок в театральном костюме.

— Не хотите ли поработать у нас? Нам нужен простой рабочий на время ярмарки.

Они приехали на летнюю ярмарку в Кострому с мраморными вазами, статуэтками и разными итальянскими безделушками.

— Идите на пароход. Берите ваш багаж.

— Пусть уж багаж останется. Там только хлеб да вобла.

— Вобла? — с удивленным видом переспросил Ломбардо. — Что это такое?

Я объяснил. И в тот же день я уже раскупоривал ящики, помогал раскладывать товар в деревянном балагане на площади, а потом всю ярмарку днем был за приказчика и ночевал в балагане за сторожа.

По окончании ярмарки я уложил товар, свез на пароход и сдал в Нижний.

Нам было жалко расставаться, так мы свыклись и подружились. В конце концов итальянцы пригласили меня с собой на ярмарку в Нижний.

Когда я приехал, нижегородская ярмарка еще не была открыта, свозились, распаковывались и раскладывались товары под Главным домом, где Ломбардо и Лукачини сняли магазинчик в пристройке, направо от входа со стороны флага. Напротив нас был магазин швейных машин Блока, того самого, который имел впоследствии в Москве на Мясницкой огромный магазин весов «Фербенкс», велосипедов и пишущих машин.

Сейчас я не помню, чьи магазины были кругом. Только одна вывеска, наискосок от нас, в начале галереи с галантереей, привлекла мое внимание. На синем фоне золотыми буквами ярко горели слова «Рошфор и Емельянов». Я знал, что Рошфор — французский революционер и маленькие тетрадки его журнала «Intransigent» лежали вместе с номерами «Колокола» в ящике письменного стола ссыльного студента Саши Разнатовского, моего дяди по мачехе, в комнате которого я жил вместе с ним.

Конечно, слово «Рошфор» меня заинтересовало. Оказалось, это были московские купцы с Таганки, торговавшие в Ножовой линии. При них в лавке находился сын Емельянова, беловолосый малый лет семнадцати, с круг-

лым, заплывшим жиром розовым лицом и толстыми губами, которые то и дело носили на себе следы какого-нибудь варенья. На ярмарке он сидел почти все время на табуретке перед магазинчиком и обязательно что-нибудь жевал: то халву и разные сласти из греческой лавочки рядом с нами, то пирожное из кондитерской Мишель, при выходе из Главного дома; за пирожным Лупетка — так его прозвали соседние приказчики за толстомордые — бегал то и дело.

Помощи в торговле от него, кажется, не было никакой, и он был взят сюда отцом, чтобы присматривался к делу.

Вместе с отцом оба они, в поддевках, в высоких сапогах и в картузах, обедать ходили в харчевню. Да и самые что ни на есть богачи питались обычно на ярмарке не лучше их, преимущественно всухомятку, покупая всякую снедь у разносчиков. Чай пили все из медных чайников; кипяток приносился из трактира. Так жили на ярмарке миллионеры старого типа, дети которых развернулись вовсю через четверть века, чтобы на Всероссийской выставке сверкнуть на весь мир своей чрезмерной роскошью.

А тогда приезжали деды и отцы со своих фабрик на ярмарку в вагонах третьего класса, в буфеты на станциях не ходили, а вынимали из дорожного мешка ситцевый платок, в котором лежали хлеб, соль, яйца, обязательно каленые (дольше не портятся), и тут же в вагоне пили чай из своих чайников.

— Станция Петушки — горячие пирожки! — объявлял по вагонам кондуктор, получавший за рекламу о пирожках от буфетчика угощение. Иногда ему удавалось соблазнить какого-нибудь таганского или рогожского миллионера, и тот раскошеливался на пятиалтынный и посылал приказчика купить тройку пирожков.

— Да ты, малый, гляди, чтоб горячие были! — напутствовал его «сам».

Копеечничали, жульничали, в еде себе отказывали, скопидомствовали и старались надуть, всякий по своей специальности: где обмерить, где обвесить, где рабочего штрафом донять — только бы нажать лишнюю копейку!

Они копили капиталы своим наследникам, а наслед-

ники из ярмарочных трактиров не выходили: проводили время с певичками, били зеркала.

Да и сами старики загуливали иногда.

— А где сам? — спросил однажды покупатель у доверенного в амбаре.

— Третий день из Барботенкова трактира не выходит.

— Значит, вожжа под хвост попала?

— Есть грех. Да извольте приказать, без него в лучшем виде вам все отпустим.

Вернулся хозяин дня через три туча-тучей. Доверенный отдал отчет и деньги. Доложили о совершенных им сделках, а «сам», хоть и с похмелья, а сразу увидал, что его надули. Увидал, а молчит. А потом уже не вытерпит:

— Ну ж и Петра Кириллова ты мне заправил, Федотыч!

— Помилуйте, Митрофан Саввич, нешто я смею?

— Ладно уж, помалкивай. Самой, гляди, не проболтайся. Сюды она собирается, боится, как бы я не загулял под «Веселой козой». Так и пишет.

«Веселой козой» называли нижегородский герб: красивый олень с закинутыми за спину рогами и как-то весело приподнятой передней ногой. Местные живописцы рисовали оленя по-разному, и везде он вызывал улыбку у зрителя: — Ве-е-селая коза!

Для купеческого загула здесь существовали по трактирам закабаленные содержательницами хоров певички и были шикарные публичные дома, в которые то и дело привозили новых и новых рабынь торговцы живым товаром, а отбросы из этих домов шли на «Самокаты».

«Самокаты» — это гнезда такого разврата, какой едва ли мог существовать когда-нибудь и где-нибудь, кроме нижегородской ярмарки.

И место для них было выбрано самое подходящее, отделенное от ярмарки двумя глубокими каналами. Один впадал в Мещерское озеро, к берегу которого примыкали «Самокаты», а другой граничил с банным пустырем. Только двумя мостиками и узкой лавой для пешеходов отделялось оно от азиатского квартала ярмарки, а четвертая его сторона уходила в болото, поросшее тальником и бурьяном в рост человека. Официально это место

называлось Самокатская площадь и было предназначено для народных гуляний, но редко трезвый решался сунуться в это волчье логово, всегда буйное, пьяное. Зато вся уголовщина, сбегавшаяся отовсюду на ярмарку, чувствовала себя здесь как дома. Попадали туда (на «Самокаты» не шли, не ездили, туда именно попадали) и рабочие-водники со всех соседних пристаней и складов на берегу Волги, где был для них и ночлежный дом. Туда безбоязненно входил всякий, потому что полицейского надзора не существовало во всем этом обширном районе водников, как и на всем Самокатном полуострове.

Площадь с балаганами и каруселями («Самокаты») была окружена рядом каменных и деревянных, почти сплошь одноэтажных, строений, предназначенных специально под трактиры и притоны. Все они были на один манер, только одно богаче, другое беднее, одно обширнее, другое меньше. Половину здания занимал трактир, остальную часть — номера. И все они звались «Самокатами». «Самокат» Милютина был самый огромный, окруженный с трех сторон широкой террасой. Двери номеров выходили прямо на нее. Юридически, по закону, трактир от номеров должен был быть отделен; фактически, за взятки, то и другое сливалось в одно целое. Одно без другого существовать не могло, одно являлось продолжением другого. Номера населены были женщинами, находившимися в кабале у хозяев. Эти белые рабыни — самые несчастные существа в мире.

По обязательному постановлению в гостиницах на видных местах должны были висеть доски с именами съемщиц квартир. Это соблюдалось строго. Приведу для примера одну такую доску: «№ 1 — Ягорнха. № 2 — Фекла. № 3 — Самовариха. № 4 — Гехма. № 5 — Анна. № 6 — Безноса. № 7 — Мадамиха».

За каждой Ягорихой и Мадамихой числилось несколько рабынь, закабаленных ими. У этих имена были выдуманные, да ни один гость, и никто вообще по имени их и не называл никогда... Вот они-то и помещались в этих номерах, которые назывались «кузницами».

За каждый такой номер платилось от сорока до шестидесяти рублей за ярмарку. Комнатки были разгороже-

ны сквозными перегородками, а кроме того, кровать от кровати отделялась короткой ситцевой занавеской.

Время на «Самокатах» проводилось так. С утра женщины слонялись по площади и по трактирам, растрепанные, изможденные, полупьяные, зазывали в свои «кузницы» проходящих или просто выпрашивали у них на похмелье. После полудня в балаганах начинались представления. Карусели крутились, заливались гармошки, с шести вечера шел полный разгул. С этого часа «девицы» безвыходно до утра пребывали в своих «кузницах», двери которых отворялись только для того, чтобы выпустить одного гостя и впустить на смену ему другого, уже дожидавшегося очереди за дверью... Террасы были обычно переполнены этими «жаждущими любви». Они сидели, пьяные, на скамейках вдоль стены в ожидании своей очереди, дремали, переругивались... Но чуть только где-либо начинался шум, скандал, тотчас же появлялось двое или трое здоровенных вышибал, саженных малых зловещего вида, и после двух-трех затрещин все смолкало, а виновники шума выталкивались вон или выносились вышибалами в задние двери и выкидывались в крапиву на пустыри.

И так продолжалось сегодня, завтра и всю ярмарку — до тех пор, пока не забивали «кузниц» досками, после чего до будущего лета замирали «Самокаты» с их трактирами и «мельницами», из которых самой крупной считалась Кузнецовская.

Я бывал на «мельницах», этих будто бы тайных игорных домах, бывал на «Самокате» у Милютина, во всех воровских и разбойничьих притонах. Я надевал старый картуз, высокие сапоги, а для защиты на всякий случай клал в карман кастет, но все обходилось обычно благополучно, кроме одного случая.

«Мельницы» были главным притоном всякой уголовщины, всевозможных воров и разбойников, до беглых каторжников включительно. Только здесь все они чувствовали себя свободными и равноправными, но всегда оказывались жертвами шулеров. Без «мельниц» они были бы как рыба без воды и воровали как будто для того, чтобы проигрывать.

Вор, украв, продавал краденое и, не успев поест,

спешил на «мельницу». Здесь ему было свободно. Обходов в те времена не было, а старый, чуть не единственный местный сыщик Лудра не был опасен. Разбойники его не стеснялись — свой человек.

В те времена на ярмарке был клуб и две «мельницы». Одна, Кузнецовская на «Самокатах», работавшая день и ночь, и денная в Канавине. Ярмарочный клуб, отделение какого-то нижегородского клуба, помещался в Караван-сараяе, близ «Самокатов». Направо у входа в клуб покупался у конторщика за пять рублей сезонный билет для посещения клуба, для чего не требовалось никаких записей или рекомендаций, и большинство билетов, конечно, выдавалось на первое попавшееся, выдуманное имя. Беглые каторжники и громилы, предъявляя купленный билет, входили в клуб, где можно было встретить и весьма почтенных москвичей, любителей потешиться азартной игрой, а также и всех московских клубных, «мельничных» и парходных шулеров.

В клубе играли преимущественно в макао. При входе у конторщика обменивались кредитные билеты на металлические марки, стоимостью от одного до десяти рублей каждая, которые служили для удобства ставок.

Кроме того, перед игроками лежали кучи сотенных и четвертных билетов. Штраф начинался с часа ночи, в двадцать пять копеек, и, прогрессируя, к рассвету доходил до тридцати шести рублей. Обыкновенно, когда к двум часам штраф начинался в два рубля, столы пустели, и оставалось лишь два или три крупных стола с тысячными оборотами. После двух часов публика, покинувшая зал клуба, толпилась в коридоре, сговаривалась, где продолжать игру без штрафа, и в большинстве случаев размещалась по номерам Караван-сарая, где квартировали крупные московские шулера. Конечно, здесь обыгрывали всех и наверняка на всевозможные лады. Крупные воры и беглые сибиряки предпочитали эту игру в номерах: в клубе играли в макао, которого они не понимали, а здесь метали штосс — единственная игра, которую они признавали. Штосс специально велся на «мельнице» в Канавине, существовавшей при гостинице в отдельном зале около бильярдной. Помещение этой «мельницы» из года в год арендовали московские игро-

ки, и большей частью владельцем ее являлся один из завсегдатаев трущобного «Крыма» на Цветном бульваре в Москве, некто Александр Иванович, известный под прозвищем Крымский. Настоящей фамилии его никто не знал, да и вообще в этом мире до настоящих имен и фамилий никому не было дела. Крымский редко метал банк сам, а всегда держал долю у каждого банкомета, получая, кроме того, десять процентов с каждого снятого банка, так называемых «хозяйских» — плата за помещение и риск.

Во время нижегородской ярмарки московские «мельницы» и грачевские притоны пустовали, так как все крупное уезжало сюда, на «Макарьевскую». Оставались только жучки и портяночники, игравшие в стуколку и банковку, да в «три карты». Переулки, примыкавшие к Грачевке, — например, Соболев или, как его называли, Фортепьянный, — тоже пустовали, так как половина обитателей этих домов со стеклянными выступами-фонарями в бельэтаж отправлялась на ярмарку, где происходил обмен товара подержанного на свежий. Этот рынок белых невольниц происходил и в первоклассном притоне — танцевалке Кузнецова, и в других трущобах «Самокатов». Товар московский менялся на провинциальный, тоже весьма и весьма подержанный, и тот и другой широко распространял заразу, так как не только медицинского, но и вообще никакого надзора не существовало. У Кузнецова вверху в громадном зале помещалась танцевалка, а внизу — каморки «кузницы» и «мельница». Чтобы пройти из танцевалки на «мельницу», надо было спуститься на двор, заросший после пожара 60-х годов кустарником и бурьяном, где когда-то на цепи сидел кузнецовский медведь Костолом. В этом бурьяне обирали пьяных. Рассказывали, что непокорных, неугомонных и неугодных посетителей отводили к мишке «побороться».

Одного слова «медведь» было достаточно, чтобы нежеланный гость никогда не появлялся в Кузнецовском притоне. «Мельницу» у Кузнецова содержал отставной солдат Селитро. Он дружил с московскими банкометами, грачевскими героями, известными только по своим кличкам: Архивариус, капитан Жевакин, Цапля, Паш-

ка Шалунок, Ломонос, Раздиришин, Цирульник, Василий Темный — так называемая «московская рота».

Они пользовались особой привилегией держать банк, а Щучка, Фомушка, Глухой, Шалунок и Байстрюков, впоследствии московский сыщик, вместе с другими карманниками, а также душителю-азиаты никогда не получали права метать банк и были вечными данниками банкометов. Проиграется воришка-портяночник и просит банкомета:

— Дай грешку до завтра!

— Обойдешься. Лучше воровать будешь, злая рота!

«Мельничные» банкометы жили за счет понтирующих воров. Для профессионалов высшего полета главными доходами были московские купцы, вроде страстного игрока дисконтера Борисова, который каждую ночь проигрывал тысячи, приходя с карманами, полными далеко вперед обрезанных серий. Он это делал, желая из скарденности хоть выгадать три-четыре процента на обрезанных вперед купонах. На него устраивались облавы, и, пользуясь тем, что вследствие своей копеечной жадности он сэкономил заплатить штраф в клубе и шел в номера, обыгрывали его наверняка. Но раз одного купца-сибиряка и в самом клубе в две ярмарки обыграли на несколько сот тысяч. Обыгрывали его каждый раз под утро, когда шел высокий штраф и присутствовали только самые крупные игроки — все дольщики банка: «московская рота».

Приходил в клуб иногда под утро и пароходчик Тихомиров, но ненадолго. Он вынимал пачку сотенных и, проиграв их, больше уж в карман не лазил, а шел куда-нибудь кутить. Система игры его была такова. Он подходил к столу:

— Сколько в банке?

— Две тысячи.

Вынимал бумажник, полный денег, клал на стол:

— По банку!

Проиграв, молча платил: выиграв — так же молча брал деньги и уходил.

Никогда он не отыгрывался, никогда второй карты не ставил. Конечно, за это банкометы не любили его.

Крупная игра шла на ярмарке. Там было около кого

погреть руки разбойному люду. Кроме карманников, вроде Пашки Рябчика, рязанского Щучки, Байстрюкова и Соньки Блювштейн, знаменитой «Соньки Золотой ручки», съезжались сюда шулера и воры не только из Москвы, Одессы и Варшавы, но даже Восток слал своих.

Около полуночи из Кузнецовского притона я раз шел домой в Кунавино, попал в какой-то пустой переулок, где не было ни сторожей, ни собак. Ночь была безлунная, пасмурная. Я сел на приступок пустого ларя, чтобы немного отдохнуть, и увидел, что со стороны «Самокатов» шел человек, беззаботно мурлыкавший:

Я хочу вам рассказать, рассказать,
Как стрелочек шел гулять, шел гулять.

И сзади него какими-то кошачьими движениями бесшумно крались две темные фигуры в остроконечных шапках. Точь-в-точь таких людей я полчаса назад видел на «мельнице», где они сверкали кинжалами и черными глазами из-под высоких остроконечных бараньих шапок.

Я сжал в кармане кастет и ждал, что будет дальше.

А высокий человек продолжал идти, тихо мурлыкая. Вдруг одна из фигур выпрямилась, махнула над своей головой рукой — и почти в тот же миг веселый певец крикнул и рухнул навзничь во весь свой огромный рост. В два прыжка, как кошки на мышь, оба азиата прыгнули и, став на колени, припали к нему. В один миг я прыгнул на них сзади, схватил за шиворот, тряхнул... Шапки свалились с бритых голов. Это облегчило задачу. Они не успели еще сделать ни одного движения, не издали ни одного звука, а я уже молотил их голова об голову, а потом бросил на землю.

Не издав ни звука, они лежали недвижимо, может быть притворяясь, уткнувшись в землю... Для безопасности я еще раз осмотрел их, оба были недвижимы. Человек, которого они хотели убить или ограбить, между тем приподнялся, начал озираться и что-то, весь дрожа, бормотал.

Я успокоил его, рассказал, как было дело, указал на недвижимых грабителей.

Он только тогда пришел в себя, встал и, подняв с земли остроконечную шапку, прохрипел чуть слышно:

— Это персы-душители. Надо бы их добить. Притворяются, мерзавцы, я их знаю.

Он снял со своей шеи петлю — довольно тонкий, длинный волосяной аркан, показал мне и стал меня благодарить за спасение. Аркан он свернул и сунул в карман, потом пощупал недвижимо лежащих персов и сказал:

— Кажется, готовы. А вернее, притворяются. Надо кинжалы взять. А то неравно, того и гляди, сзади пырнут.

Он вынул из ножен кинжал у одного, а я у другого.

— В канал бросим.

Мы шли между запертых ларей. Он опирался на мою руку, не раз принимался говорить, но тотчас хватался за горло и замолкал. Ни одного человека мы не встретили по дороге.

Вот и канал и узенькие лавы через него, прямо к единственному освещенному зданию Караван-сарая. На середине он остановился, оперся на перила, бросил кинжал в воду. Я сделал то же.

— Ну, теперь ничего, отдышался, — прохрипел он. — Я, знаете, с «мельницы» шел. Выиграл тысячи две, но эти самые фансегары и выследили. — И он опять принялся благодарить меня...

Я предложил проводить его домой.

— Я уже почти дома. Здесь, в Караван-сараяе, номер снял.

Из бокового кармана он вынул толстую пачку сотенных, развернул ее и подает мне.

— Возьмите, сколько вам нужно. Пожалуйста, не стесняйтесь. Ведь если бы не вы...

Я отказался наотрез...

У входа в Караван-сарай мы расстались по правилам «бывалых людей», т. е. не спросив друг у друга имени-отчества.

Я пошел по набережной к Главному дому, чтобы добраться до своей квартиры в Кунавине, на противоположном конце ярмарки. Там тоже немало притонов было, но одиночных, а «Самокаты» — оптовый разврат.

Шел я и думал: «А где-то когда-то я его видел».

Потом на «мельнице» Кузнецова мне указали и самого атамана шайки душителеей во время такой сцены.

Большая комната, несколько столов, около каждого — два стула, для банкюмета и дюльщика, помогавшего считать ставки. Вокруг каждого стола те же игроки, что и на Кунавинской «мельнице», перекочевавшие сюда на ночь, выстроились сплошной стеной в два-три ряда, причем задние делали ставки через головы передних, и многие из них, главным образом азиаты, видимо, не пользовались доверием. Только и слышны были возгласы банкюмета:

— Ты сколько, Ахмет, ставишь?

— Какая твоя карта, Визирь?

— Дывинадцать рублей. Три сбоку.

Восьмерка выиграла, дюльщик подвинул к Ахмету двенадцать рублей.

— Зачем дывинадцать? Мы ставили девытнадцать.

На спор выросла огромная фигура с ястребиным носом и черными глазами навькате. Это и был гроза «мельницы», известный тогда всем атаман шайки душителеей Али-Бер. Сразу, одним жестом, прекратил он спор.

С ним никто не вступал в пререкания, его слово было законом. Нечего и говорить, что он действовал всегда в пользу банкюмета и получал за это долю.

Много лет ездил на ярмарку со своей шайкой Али-Бер. Полиция его не смела трогать, игорные дома платили ему дань. Слухи про него ходили самые зловещие, но взять его никто не решался. Боялись его грозного вида и кинжала в золотых ножнах, за ручку которого, сверкая глазами, он хватался при всяком удобном случае. Высшее начальство вообще старалось не касаться трущобного мира ярмарки. Избавил ярмарку от Али-Бера и его шайки пароходчик Тихомиров. Как-то ночью он зашел в Кузнецовские номера, где играли в карты купцы, его приятели. Игра шла очень крупная. Неожиданно появился Али-Бер со своими двумя адъютантами и по обыкновению потребовал доли.

Произошел спор. Али-Бер наполовину вынул кинжал из ножен и угрожающе сверкал глазами.

Тихомиров, как всегда, не совсем трезвый и не игравший, спокойно подошел к нему и, не говоря ни слова,

своим тяжелым кулачищем трахнул его по уху. Тот, как сноп, повалился на пол.

Поднялась суматоха. Все вскочили. Адъютанты бежали было в дверь, но их схватила в коридоре прислуга. В конце концов их всех связали, явилась полиция, которая при обыске нашла в карманах у каждого из них, в том числе и у Али-Бера, пришедшего тем временем в себя, по волосяному аркану.

С тех пор душителее больше не появлялось на ярмарке, а Тихомиров продолжал свои гонки с «Самолетом».

Об этом разудалом купеческом капитане Тихомирове я слышал много лет спустя рассказ от одного из моих товарищей по сцене, провинциального актера К. В. Загорского.

В конце девяностых годов он жил в Москве, в Петровском-Разумовском, со своей семьей, часто бывал у меня, и мы вспоминали театральную старину.

Загорский был прирожденный москвич, друг детства Александра Николаевича Островского, а в дальнейшем товарищ по службе с ним в одном из дореформенных московских судов, не то в «совестном», не то в «управе благочиния». Он знал и кое-кого из тех людей, с которых знаменитый драматург брал характерные черты для своих типов. Как-то раз спросил меня:

— Ты, конечно, видел «Бесприданницу»?

— И видел и не видел. Раз только из-за кулис кусочками смотрел. Не помню ни сюжета, ни действующих лиц, кроме одного Паратова, и то лишь потому, что его играл Далматов. В памяти у меня осталось несколько слов, которые Далматов положительно кричал, увлекаясь, но мне думается, что Паратов был моряк, судя по тем словам...

— Ну, ну, говори! — перебил меня Загорский.

— «Шуруй, шуруй. Сало в топку. Окрока в топку!» — вот и все, милый Костя, что я помню о «Бесприданнице».

— Ну вот, теперь ты поймешь, как создавал свои живые типы Александр Николаевич.

Однажды А. Н. Островский повез Загорского прока-

тяться по Волге. До Ярославля они ехали по железной дороге, а там сели на пароход «Велизарий».

Очень ярко Загорский изображал Тихомирова, богатыря военного вида, с усами, в капитанской с галуном фуражке, более похожего или на корнета Отлетаева, или на разбойничьего атамана, но никак не на купца.

— Тихомиров влетел на мостик, отмахнул капитана, стал на его место и принял командование в то время, когда пароход уже повернул на низ.

— До полного! — загремел его голос.

Впереди нас дымил «Самолет», только что отошедший от пристани.

Мы с Александром Николаевичем и с тремя почетными пассажирами сидели на мостике около лоцмана.

— Пару! — крикнул Тихомиров.

Капитан, в поддевке, седобородый, стоявший с ним рядом, вынул из кармана бутылку коньяку, серебряный солидного размера стаканчик, налил полный, поднес командиру.

Тот выпил, крикнул и затем рывкнул в трубу:

— Полный ход!

Пароход содрогался и часто-часто барабанил лопастями колес.

Все ближе и ближе подходили к «Самолету». Уже можно было прочесть над колесами надпись золотыми буквами «Легкий», уж виден был рисунок на флаге, безумно-весело сверкали глаза командира. Он весь был поглощен состязанием. «Легкий» тоже тропотил плицами, прибавляя ходу.

— Шуруй! — ревел наш командир в трубу.

Ни на кого и ни на что не обращал он внимания, кроме своего противника. Только два слова и чередовались: «Шуруй!» и «Пару!»

Да то и дело посверкивал серебряный стакан в его руке.

Публика начинала беспокоиться. Да и я тоже.

Островский, у которого тоже веселым спортсменским огнем горели глаза, успокаивал меня:

— Он всегда так! Сейчас перегоним, а там пойдем своим ходом. Ничего! Сейчас перегоним.

Публика толпилась на носу и прилипла к бортам.

Кто трусил, кто одобряюще покрикивал... У большинства поблескивал азарт в глазах, как на бегах или скачках или на петушиных боях.

— Сала! — мигнул «сам», и капитан, бывший лоцман, юркнул вниз.

— Сало спалили. Окорока, говорит, остались,— вернулся он наверх.

— Вали окорока в топку!

И опять команда в трубу:

— Шуруй! Наддай! Пару!

Через полчаса бешеного хода мы нагнали и стали обгонять «Легкого», с мостика которого капитан в белом кителе, окруженный пассажирами, и в том числе щеголихами-дамами, грозил нам кулаком и что-то кричал, должно быть, ругался.

Тихомиров выхватил у лоцмана бутылку, допил коньяк из горлышка, бросил ее в воду и крикнул в рупор:

— Будьте здоровы! — и опять в трубу: — Шуруй!..

А затем, когда наша корма была уже рядом с носом самолетского парохода, он, обнажив заднюю часть, показал ее побежденному сопернику.

Старый игрок, бывавший в дни молодости на Волге и в Нижнем, знавший лично и Али-Бера и Тихомирова, рассказал мне о конце последнего:

— Давно это было. Не могу наверное год назвать, но помню, что перед началом турецкой войны 1877 года. В Ярославле мы втроем, своей компанией, сели на «Храброго». Это тогда был самый резвый самолетский пароход на верхнем плесе. Составили было стуюлку, да играть так и не пришлось. Почти одновременно с нами отвалил «Велизарий», и пошла гонка. Мы не уступали, и тот не сдавался. Какая уж тут игра! Все высыпали на палубу. Как всегда, начали о заклад биться два табачных фабриканта, Дунаев и Вахрамеев по тысяче заложили и деньги на руки рыбинскому Журавлеву отдали с тем, чтобы расчет был в Костроме. Дунаев держал на нашего «Храброго», а Вахрамеев — за «Велизария». Весь пароход играл. Кто на деньги, кто на бутылку вина, кто на пару чая.

Я сам поставил красненькую за «Велизария», уж

очень он стал наседать, и потому я был уверен в своем выигрыше.

Подошли мы к Николо-Бабайкам. Вот вдали и монастырь показался.

«Велизарий» сильно приблизился. Можно было рассмотреть уже самого Тихомирова. То и дело он наклонялся к трубе, командовал в машинную.

И наш тоже то и дело кричал в кочегарку:

— Наддай! Наддай!

Все ближе и ближе подходил «Велизарий». Того и гляди, первым прибудет к пристани. Публика замерла. Вдруг... Жутко вспомнить... Страшный взрыв...

И дальше он описал ужасную картину.

Середина парохода вся взлетела на воздух с капитанским мостиком. С носа и кормы народ начал бросаться в воду. Тонули. Мы спустили лодку для спасения утопавших. С берега явились на помощь рыбацкие лодки. По расписанию, через полчаса наш «Самолет» ушел.

— После,— закончил он свой рассказ,— я узнал, что на монастырском кладбище было похоронено около пятидесяти человек во главе с виновником общей и своей собственной гибели, командиром «Велизария».

Об Али-Бере, деятельность которого одним ударом пресек Тихомиров, восточные купцы на ярмарке в следующем после гибели капитана году рассказывали, что атаману душителей, бежавшему от русских властей, на Востоке публично отрубили голову. Так в один год покончили свои дни два ярких типа вертепов «Веселой козы».

УЧЕНИК РАСПЛЮЕВА

В московском шулерском мирке, мало посещавшем театры вследствие того, что все всегда были заняты картами, пользовалась вниманием только одна пьеса «Свадьба Кречинского» — уж очень она их сердцу была близка. Среди них существовали свой Кречинский и свой Расплюев.

— Вчера метал банк Кречинский!

И все знали, что разговор идет про старого игрока, щеголя Попова.

— Расплюев арапа запустил... Пенсне у него разбили.

И все знали, что арапа запустил Николай Назарович Расплюев. Но никому не известно было, кто он, откуда, как его настоящая фамилия. Знал это, может быть, один только Василий Морозович Темный, не раз вместе попадались и вместе шествовали по этапу, для удостоверения личности, в Тамбов и оттуда тотчас же благополучно возвращались в Москву.

Известно, что Василий Морозович Темный на самом деле был мещанин Василий Морозов. Вместе в шулерской компании они работали по игорным домам в Москве, а в ярмарках, в вагонах и на пароходах — только вдвоем. Уж очень удобная была пара: Расплюев, всегда чисто выбритый, с подстриженными усами, с причесанной по моде головой, в неизменном золотом пенсне, держался барином, а Темный, в долгополом сюртуке, в щегольских смазных сапогах, в картузе набекрень, с

бородой-лопатой, выглядел богатым захолустным купцом или кулаком-землевладельцем. Вообще это была фигура лихая, атаманская. Оба друга являлись шулерами высокого класса. Говорили, что их связывала какая-то тайна. Василий Морозович еще в своей среде назывался по имени персонажа из той же «Свадьбы Кречинского» — купцом Щебневым. Купец Щебнев — это тот самый, который в пьесе повторяет все время одну фразу: «Прикажите получить-с».

Это была любимая фраза и Темного, когда он метал банк, — без денег он никогда не метал и, убив карту, тотчас же требовал:

— Прикажите получить.

Вот за это его и прозвали Щебневым.

На моей памяти в поездке между Козловом и Москвой они обыграли московского богача Сергея Губонина на двенадцать тысяч рублей, и Губонин, рассказывая об этом в клубе друзьям, доказывавшим, что попал на шулеров, уверял:

— Помилуйте, быть не может. И по одежде купец, и фамилия хорошо знакомая, купеческая фамилия, Щебнев, с ним барин в золотом пенсне ехал, тоже проиграл и он.

Уж разуверился тогда, когда ему показали афишу «Свадьбы Кречинского», где напечатано было в числе действующих лиц: «купец Щебнев».

Кречинским звали Попова, но вслух, в глаза ему не говорили, боялись:

— Он за Кречинского ребра переломал Ломоносову.

А Ломоносов первым кулачным бойцом считался. Попова и боялись и уважали шулера, как великого мастера своего дела, всегда скромного и державшего свое слово. Одевался он, даже являясь в грязные игорные притоны, всегда шикарно — черная пара от лучшего портного (его поставщиком был исключительно Сиже), стройный, высокого роста, и никогда, сознавая свою огромную физическую силу, не возвышавший голоса. Стоило молча поднять ему свою большую выхоленную руку (он даже спал в перчатке) — и всякий шум прекращался за игорным столом каторжной компании. Приемы Кречинского были приемами барина именно в том духе,

как играл Киселевский у Корша, они были усвоены им до мелочей, только носил он не бакенбарды, обязательные у Кречинского на всех сценах, а красиво подстриженные, тонкие, выхоленные усы.

Он, разгадывавший первым каждый новый прием шулерства и придумавший некоторые приемы сам, не любил бывать на народе, не играл ни в клубах, ни на свадьбах и балах в Москве, а уезжал для игры в отдаленные от центра города, где его не знали, главным образом в Сибирь, да по старой памяти иногда играл на пароходах. В Москве его специальностью было метать банк на «мельницах» только среди шулеров и представителей преступного мира и обыгрывать их только ловкостью рук и новизной приема... И никогда никто его не поймал. В Москве он занимал небольшую уютную квартиру, где жил со своей старухой-матерью и с гражданской женой, красивой эстонкой. Узнав, что какие-нибудь московские шулера кого-нибудь обыграли на большую сумму, он устраивал у себя карточный вечер, где, кроме шулеров самого высокого полета, никого не было,— и обыгрывал их вчистую каким-нибудь вновь изобретенным специально для этого случая приемом. Впоследствии этот прием расшифровывался, входил в обиход, и никто из обыгранных Поповым шулеров на него не сердился, а, узнав секрет, шулера сами применяли его в игре.

— На него донтировать все равно, что с бритвы мед лизать! — говаривали самые опытные игроки, но, чуть бывало позовет на вечеринку, как тараканы на хлеб лезли.

Красиво метал Попов! Изящно сорвав обложку с колоды, а колода уже подменена незримо у всех на глазах, начинал тасовать, прорезая насквозь, а карты все ложились в том же самом порядке, как они были заранее сложены,— и давал кому-нибудь срезать. Но резка ни к чему не приводила — ловкое движение руки, и карты вновь лежали, как он заранее рассчитал.

Игра была готова. Ставили деньги или, кому разрешено, записывали мелом. Орлиным, именно орлиным глазом он окидывал стол — и сразу видел все: на какие

карты крупные ставки, на какие мельче, верны ли записи.

— Что у вас там написано? Пять или три? Три? Ну так хвостик прочеркните направо... А мне показалось отсюда пять...

— А этот угол на пе или на перепе?

— На пе...

— У вас мелок подкололся, две полоски дает... выходит, на перепе...

— Заметал!

Как машина, правильно и размеренно ложились карты направо и налево; после каждого «абцуга» Попов оглядывал стол и тихо тянул верхнюю карту. Вот показались за тузом червонные «четыре сбоку», а одна «четыре сбоку» — девятка — уже была дана, значит, по теории вероятности десятка, может быть лежащая под тузом, — дана. Самая крупная ставка, пучок сотенных, поставлена была на десятку... Попов снял туза, но под ним оказалась не десятка, а валет... Десятка следующая — бита. Все догадывались конечно, что передернуто, но никто не видел этого.

Таков был московский Кречинский 70-х, 80-х и 90-х годов.

С этим-то самым Поповым я познакомился в 1874 году в Ярославле, а через год после этого на нижегородской ярмарке спас его от смерти, вырвав из рук душителй.

В первой половине 80-х годов я встретил его в Москве, в бильярдной ресторана «Эрмитаж», где изредка выпадала крупная игра, но по большей части публики бывало мало, потому что туда пускали далеко не всех. Проходя мимо, я случайно зашел в бильярдную посмотреть игру. Один бильярд стоял пустой, а на другом в соседней комнате, за спущенными драпри, играл с маркером высокий щеголь — и играл прекрасно. Я сел на диван в тот момент, когда щеголь, наклоняясь над бильярдом, бегло взглянул на меня и блестяще закончил партию, положив щегольским ударом два последних шара.

— Нет, Николай Васильевич, с вами «так на так»

играть я не могу... Десять очков вперед разве... А то немыслимо.

— Ну, хорошо, Алексей, пока довольно. Вот тебе за партию, сдачи на него,— щеголь бросил на бильярд пять рублей.— Шары оставь, бильярд за мной, и ступай наверх, скажи Мариусу, чтобы прислал моего сотер-на и старого бри.

Я смотрел на него, и мне вспомнилась ночь... Пустая площадь... Две крадущиеся за высоким человеком фигуры... Волосая петля душителее...

И вот он опять был передо мной... Вымыв после игры руки, он подошел ко мне.

— Простите, что я подошел к вам. Но если бы не вы тогда, так этого не было бы. Узнали? Я — Попов Николай Васильевич, помните?

— Сразу вас узнал, Николай Васильевич. Очень рад.

— Ну, вот насчет рад, знаете... Может быть, и рады, потому что не знаете... всего не знаете... Но я вам должен сказать все... Не откажите выпить со мной стакан вина... Прекрасное, куплено во Франции еще самим Оливье... Ведь Оливье тоже игрок был когда-то.

В это время вошел Алексей, и половой в белой рубашке принес вино и сыр.

— Еще стакан, Алексей! Сам принеси.

— Пожалуйста,— пригласил Попов меня к столу.

— С удовольствием!

Мы пили действительно прекрасный сотерн.

Попов и до этого не раз встречал меня в Москве, но стеснялся подходить, а я его не узнавал, забыл. Он читал почти все, что я написал, и удивился, что это писал я, тот самый, который тогда в Нижнем ходил в высоких сапогах и картузе. Он сознался, что остался таким же игроком-профессионалом, каким был тогда, только еще более усовершенствовался.

— Если вы познакомитесь с игроками, или вот хоть спросите Алексея, вам многое про меня расскажут — и все, что они будут говорить, верно. Скажут, шулер — верьте... Вот почему я и не подхожу к вам и не лезу со своим знакомством. Да я нигде и не бываю, кроме «мельниц»... Вот и сегодня у Васьки Павловского на Большой Дмитровке банк мечу, а вчера был в притоне у Вьюна

на Грачевке... И нигде больше не бываю. Иногда вот прихожу сюда с Алексеем поиграть на бильярде... Но на деньги я никогда на бильярде не играю... Вообще у меня система не заводить знакомств без нужды и меньше показываться на людях. А то придешь в бильярдную, и вдруг кругом шепот: «Кречинский пришел». Ну, поняли вы теперь, кто я?..

Мы пили вино, он все изливался, благодарил меня за спасение жизни и взял с меня слово при встречах не узнавать его и не подходить к нему:

— Разрешите только мне иногда подходить к вам — я знаю, когда можно...

В конце концов мы сыграли партию на бильярде, и я, хорошо игравший, остался на пятидесяти очках, когда он закончил партию дуплетом.

— Хорошо играете,— сказал он мне, и мы разошлись.

В течение следующих десяти лет мы встречались раза три. Однажды по моей усиленной просьбе он сказал мне пароль-пропуск на шикарную «мельницу» Цапли-Орловского, где я видел знаменитую метку Попова, конечно, и виду не подав, что мы знакомы, а потом лет десять не видал его и забыл даже о его существовании в суете своей работы и из-за частых отъездов из Москвы.

Как-то раз в апреле 1912 года я присел на скамейку Нарышкинского сквера и, просмотрев газету, собирался уже встать, когда рядом со мной опустился на скамейку высокий старик с густой седой бородой, в потрепанном пальто и в вылинявшей фетровой шляпе.

— Владимир Алексеевич, вот я сам теперь подошел к вам... Узнали? Попов. Позвольте с вами посидеть?

— Пожалуйста, рад вас видеть, Николай Васильевич.

— Вот теперь и я вижу по глазам вашим, что будто вы рады меня видеть... Жалеете, вижу, меня... Ну, как-ов я?..

— Постарели, Николай Васильевич.

— Да, теперь я опять Николай Васильевич Попов и похож больше уж не на Кречинского, а на Расплюсва после трепки докучаевской.

— Ничего, это дело поправимое,— успокоил я его.

Вздохнул старик и указал своей все еще по-прежнему

му мягкой и белой рукой на противоположную сторону бульвара:

— Видите этот домик? Видите герб наверху?

— Вижу.

— Этот домик когда-то принадлежал тому, кто придумал фамилию Кречинский, Сухово-Кобылину. Это все старые игроки знают. Ведь у нас, игроков, самая любимая пьеса «Свадьба Кречинского» — ну и об авторе ее не раз мне приходилось слышать... и дом этот мне указывали. Много разговоров было. Старик Шелье лично знал Сухово-Кобылина, вместе с ним после убийства содержался под шарами в Тверской части. Шелье тоже хоть и шулер, а фамилии барской был, его тоже не в клоповник, а на гауптвахту посадили поэтому, в отдельную камеру.

День был теплый. Солнышко так и жарило.

— Хорошо на солнышке. Одна радость осталась — солнышко. Я каждый день хожу сюда кости погреть.

Разговорились дальше.

— Лет десять, как я бедствую... В комнатухе приутился...

Я насилу уговорил старика зайти ко мне пообедать. Чуть не силой привел... После обеда я упросил его, и упросил с большим трудом, взять денег на пальто и обувь и записал его адрес: угол Садовой и Каретного ряда...

Через два или три дня я зашел к нему. Он жил в сыром флигеле во дворе, комнатка была мрачная, облезлая. Сам Попов, чистенько одетый, подстриженный, в хорошем пальто, пил с калачом чай из кружки и жестяного чайника.

Я увел его к себе обедать. Моим домашним он понравился, я выдал его за моего старого друга юности.

Недели через две мы пригласили его провести у нас лето на даче. За лето старик поправился, порозовел и все радовался... Всему радовался, а больше всего солнышку. Все мои домашние его полюбили. Обедал он вместе с нами, а жил отдельно, в комнатке во флигельке.

— В первый раз в жизни счастливым стал, никто здесь меня не знает. А хорошо то, что хорошо забыто.

В Москву Попов не поехал, остался зимовать во флигельке, а потом среди зимы перебрался в соседнюю

деревню в избу, да и застрял там. Летом он пользовался нашим столом, а зимой я посылал ему провиант из города.

Жили мы с ним по-хорошему. Дома при всех разговорах у нас был один, а когда мы с ним вдвоем гуляли в лесу или я заходил в его комнатку — разговоры бывали другие: старину вспоминали...

— Лет десять я до этого рая здешнего бедствовал. Сперва умерла мать, до глубокой старости добрая была, а потом моя Эммочка, тридцать лет мы с ней невенчанно жили, у нее муж в Ревеле остался. А потом без них все опротивело, и жизнь — и даже что?! — игра опротивела, игра, которую я больше всего любил...

На столе у Николая Васильевича всегда лежали две-три колоды карт, и во время разговоров он не выпускал их из рук.

— Все опротивело... Игра опротивела... Опустился я...

У него была какая-то своя профессиональная шулерская гордость, и она выявлялась иногда во время разговоров. Он воодушевлялся, красивые черные глаза его начинали сверкать, а в руках карты и прыгали, и вертелись, и трещали, и, как ветер, шумели...

— Разве теперь игроки! Портяночники! Шантрапа!.. Прежде было искусство, а теперь? Ишь какое искусство — прометать готовую накладку!.. А подсунуть ее в десять колод железки всякий фармазонщик сумеет... Ни ума, ни искусства тут не нужно. Любой лапотник промечет. А прежде требовались и метка, и складка, и тасовка сквозная. — Он распустил карты веером, перетасовал их, и все карты оказались лежащими в прежнем, но обратном порядке. — А сколько разных авантажей — всех их знать надо было. А банки — «кругляк», «девятабцужник», последний — когда девять карт из тринадцати бьются, а «кругляк» — когда бьются все подряд.

И он, держа колоду в руках, показывал мне поразительные вещи, делая неуловимые вольты перед моими глазами и передергивая так, что невозможно было заметить. А тасовал он так, что карты насквозь проходили и ложились в том же порядке, как первоначально.

— Вот это — искусство!..

Я смотрел на чудеса его рук — и не мог понять, каким образом все это у него выходило.

— Ведь я, кроме карт, всю жизнь ничем не занимался... Если мне выпустить из рук карты на неделю, так шабаш... «Свадьбу Кречинского» помните? Уж на что был искусник Михаил Васильевич Кречинский, а занялся не своим делом, на фармазонство перешел, булавку сменил, как последний подкидчик, ну и пропал! За чужое дело не берись!

— Да ведь это на сцене, — возразил я.

— Нет, в жизни! Фамлия только другая, а он самый у нас в Ярославле жил. За графа Красинского считался, уважением пользовался, а потом оказалось, что это вовсе не граф, а просто варшавский аферист и шулер, шляхтич Крысинский. Одну букровку в паспорте переправил, оказалось...

— И вы знали его в Ярославле?

— Нет, я тогда еще мальчуганом был, а вот мой учитель по игре, Елисей Антонович, вместе с ним работал... С него-то Сухово-Кобылин Расплюева, как с живого, списал, да и Кречинского списал с графа, тоже с натуры. Он был выслан после истории с булавкой из Петербурга в Ярославль, здесь сошелся с Елисеем Антоновичем — фамилии его не помню, кажется, из духовного звания он был или из чиновников... Все это я узнал через много лет. Жили они в Ярославле, а на добычу вдвоем отправлялись — разъезжали по ярмаркам, по городам и усадьбам, помещиков обыгрывали. Потом уж раз узнали, что граф был липовый и что в графы его, как в «Свадьбе Кречинского» говорится, «пиковый король жаловал».

Я по целым часам иногда слушал Попова, увлекшегося воспоминаниями, вынимал книжку, начинал записывать.

— Не надо, не пишите! — просил он. — Лучше сам я этим займусь. Зимой делать-то нечего, вот я и опишу всю свою жизнь с самого детства, все, что видел, всех, с кем дело имел. А потом вы выберете оттуда, что надо, — и печатайте. У меня родни никакой нет, некому будет обижаться на меня. Печатайте, как есть, с полной фамилией... Может, еще найдется и такой человек, ко-

торый меня добрым словом вспомнит,— ведь всякое в жизни моей бывало.

А я все-таки записал и запомнил много из рассказов Николая Васильевича. Так продолжалось три лета.

Потом началась война, затем революция; старик все время жил в деревне и время от времени присылал мне пакеты с рукописями на листках клетчатых блокнотов, которые я оставил ему. Наконец в 1919 году сам привез мне последнюю рукопись под названием «Исповедь шулера», а через год умер от сыпняка. Начиналась рукопись так: «У каждого человека есть своя книга жизни. Есть такая и у меня своя книжонка, которая просится, как исповедь, на свободу. Есть в начале ее грязные пятна, которые я не в силах отчистить,— моя горделивость страдала — я долго ее не мог побороть, но я все-таки ее поборол»...

Из записок Попова и из его рассказов во время наших бесед на даче выяснилось, как он стал игроком. Отец Николая Васильевича, кожевник, умер, когда мальчику было лет десять. У них был где-то на окраине Ярославля небольшой домишко с садиком и огородом, с воротами, выходившими на немощеную улицу, а на воротах висела деревянная дощечка с нарисованным на ней ведром. У соседнего домика, такого же маленького, но с большим яблоневым и ягодным садом, на дощечке был изображен ухват; по другую сторону улицы на домике столяра висела дощечка с изображением швабры.

Означало это, что на каждый пожар домовладельцы должны были являться с назначенными им вещами: мать Попова с ведром, столяр со шваброй.

«Мать моя была тогда еще совсем молодая и, рано овдовев, так ни за кого второй раз замуж и не вышла, до самой своей смерти не оставляла меня, и скончалась старушка в Москве, у меня на руках. Одиноко мы в Ярославле жили на крохи, оставленные отцом, да на доход с огорода. Знакомых мать не заводила, только соседи Кудимыч с женой, пожилые уже, но крепкие, здоровые старики, и бывали у нас. Детей они не имели, а квартировал у них некий Плакида, державший бильярдную в трактире «Русский пир», против Николо-Мокринских казарм. Об этом я узнал уже гораздо позд-

нее, а в первые годы сиротства я не понимал, что такая и за штука — бильярд.

Фамилия Кудимыча была Анкудинов, как и стояло под изображением ухвата,— ну и звали его все Кудимычем. А то еще за глаза Коровой звали. Он ездил зимой по ярмаркам, а летом по Волге, чем-то торговал, как говорили, но в нашем городе он ничего не делал, сидел дома, лишь иногда в гости ходил. Дома всегда Кудимыч ходил в опорках и ситцевой рубаше, а отправляясь в гости, надевал бархатный жилет, долгополый мешанский сюртук и сапоги с голенищами гармоникой, причем так, бывало, начищал их ваксой, что они, как зеркало, блестели. Щеголь был, хоть и старик... Меня и он и жена его любили, давали гостинцы, ягоды из своего сада.

А постарше я стал — Кудимыч или его жена, а то Плакида начали посылать меня в лавку или в ренсковой погреб за вином и пивом, когда гости к ним приходили. Чаше других бывал у них Елисей Антонович. Он одевался барином, носил часы, брюки на выпуск, голова у него была седая, а усы он красил, из себя был высокий, толстый, одутловатый, важный такой на вид».

Рассказывая мне о нем, Попов добавлял, что и сейчас еще ходит по Москве живой его портрет, один субъект, известный всем как либерал и благотворитель, а на самом деле шулер и дисконтер, разоривший много народу.

«До четырнадцати лет я учился в уездном училище, потом ученье бросил.

У Кудимыча в саду стояла беседка с окнами, и часто там сидел он с Елисеем Антоновичем, в карты вдвоем играли. Иногда к ним присоединялся и Плакида. Меня посылали за вином и закусками. Бывало, напишет Елисей Антонович в ренсковой погреб или в рыбную лавку записку и пошлет меня, а в лавке его уважали, отпускали самого лучшего балыка, икры... Затем они выпивали, играли, а то карты подбирали.

Как-то раз, мне уж лет пятнадцать было, зашел я в беседку, а Кудимыч начал меня гнать домой: ступай, не твое здесь дело! Но Антоныч остановил меня и принял-ся разные фокусы показывать, стал учить меня самого их делать.

— Гляди, Кудимыч, ловкий малый выйдет из него, руки-то какие!

И вот мои большие белые руки решили мою участь.

Когда Антоныча не было, меня учил Кудимыч, а потом Плакида позвал в свою бильярдную, где, кроме бильярда, были разные игры: и бикса, и судьбы, и фортушка,— а рядом в комнатке день и ночь в карты на деньги резались. Елисей Антонович заставлял меня продельывать всевозможные штуки с картами, учил все новым и новым приемам, очень меня хвалил и Кудимыч каждый раз говорил:

— Из малого выйдет толк. Руки на редкость, и не дурак.

В бильярдной у Плакиды я скоро стал своим человеком и в шестнадцать лет умел играть наверняка, быстро подбирать карты, делать вольты, всевозможные коробки, фальшивые тасовки и все, что требовалось для игрока, т. е. шулера-исполнителя. И успехом своим я обязан был главным образом Елисею Антоновичу, он куда выше был и Плакиды и Кудимыча».

Дальше в записках Попова шло описание всех шулерских походов, а также игорных домов, игры на пароходах, главных шулеров. Но этому необходимо посвятить особый очерк, а теперь я передам только гибель Расплюева. Расплюевым его, правда, никто из игроков не называл, хотя многие и знали, что Расплюев именно с него списан был Сухово-Кобылиным.

Попов узнал о «Свадьбе Кречинского», о том, кто именно были Кречинский и Расплюев, через много лет после того, как, восемнадцатилетний, он ездил с шулерами летом на пароходах обыгрывать пассажиров.

— Вернувшись с Кудимычем из такой поездки,— рассказывал он мне,— мы узнали от Плакиды, что Елисей Антонович актер Егор Быстров, тогда известный игрок на бильярде, поймал в мошенничестве и так избил, что его привезли домой замертво. Плакида сам присутствовал при этом. Дело было в бильярдной трактира «Столбы». Играли по крупной Быстров и знаменитый маркер Яшка Доминик, державший свой бильярд в трактире Лысенкова на Сенной и ходивший играть в трактир «Столбы», так как там бывала крупная игра.

Яшка получил прозвание Доминика потому, что служил маркером в петербургском ресторане Доминика. Он считался там первым игроком и был выслан в Ярославль за мошенничество. Яшка был дружен с Елисеем Антоновичем, а «графа» знал еще с Петербурга. Это была одна шайка.

Быстров, не уступавший в игре на бильярде Яшке, играл с ним. Народу было много. Со стороны держались крупные пари — игроки за Яшку, публика — было много актеров — за своего, Быстрова. Крупную сумму держал за Яшку Антоныч, его дольщик. Он сидел за столиком и закусывал. Около его прибора лежал кусок мела, которым игроки мелили кий.

Партия шла к концу, все зависело от последнего шара, и он так висел над лузой, только тронь — упадет. Удар был Быстрова. Он подошел к столу, и Елисей Антонович подал ему мел. Тот взял, намелил кий, прицелился — и вдруг «сиксовал»: кий скользнул по шару, и шар покатился в сторону. В публике произошло движение. Яшка моментально схватил кий и тотчас положил шар, продолжавший висеть над лузой. Выиграв, следовательно, партию, он тотчас же вынул из лузы выигранные им деньги. Но опомнившийся сразу Быстров сверкнул глазами, что-то сообразил, понюхал конец кия.

— Салом смазано! — крикнул он в негодовании, бросился к столу, а Елисей Антонович в это время салфеткой мел накрывал.

Это заметили окружающие. Быстров взял в руку, понюхал мел и показал всем:

— Нюхайте, мел насален!

Затем он изо всей силы ударил Антоныча кулаком по лицу, а подбежавшего Яшку — кием по голове. Актеры повскакивали и вслед за Быстровым начали лупить Антоныча, Яшку и всех, кто вздумал за них заступаться.

Это было осенью, а зимой Расплюев умер. Яшка Доминик ослеп.

— Так окончил мой «учитель» свое земное странствие... — завершил повествование Николай Васильевич.

— Это для меня не новость, Николай Васильевич! Забыли вы еще самый конец, как трагик Волгин выкинул вашего учителя в окно.

Поразился старик, руками всплеснул:

— Верно! Верно! Только мне уж об этом не Яшка, а другие рассказывали... Когда началась драка, кто-то открыл окно и закричал «караул», а приятель Быстрова, Волгии, который до той поры пьяный спал, сидя за столиком, проснулся и, узнав, что обидели Быстрова, бросился в свалку. Ему указали на толстяка с седой головой, который схватился врукопашную с Быстровым.

— Прочь! — взревел он.

Все в испуге замерли перед громадной фигурой с поднятыми кулачищами.

— Этот? — ткнул Волгин пальцем в Антоныча и, услышав подтверждение, схватил его поперек тела, выкинул, как щенка, за окно...

Окончательно поражен был Николай Васильевич, когда я ему сказал, что это же самое я слышал от моего товарища по сцене Докучаева.

— Как? Того, что в «Свадьбе Кречинского» поминают?.. Я слышал о нем, но ни в одном городе мне с ним не удалось встретиться. Некоторые наши игроки видали его, а мне не пришлось.

Я потешил старика, рассказав, что знал о Докучаеве.

ЛЮДИ С ВОЛЧЬИМ ВИДОМ

Июль месяц. Еду по Волге в астраханские степи описывать чуму по поручению редакции.

Публика на пароходе довольно серая — поговорить не с кем. И за весь рейс от Ярославля до Нижнего меня заинтересовал только один человек, или, лучше сказать, бывший человек, о котором я и рассказываю.

Пароход остановился у Кинешмы. Погрузился. Сняли сходни. Стали отваливать. Пока происходила погрузка, обратил невольно мое внимание на себя молодой человек, жилистый, оборванный, босой, с котомкой за плечами, а на котомке болтался жестяной чайник. Он как-то особенно спокойно стоял на краю пристани, даже не интересуясь суетой и движением вокруг.

Исхудавшее лицо, темное от загара, и с обеих сторон распухшая шея: какие-то два громадных желвака от ушей до плеч.

Едва убрали сходни и пароход двинулся, как он с тем же совершенно спокойным видом сделал прыжок и очутился на пароходе и через минуту так же невозможно сидел на нижней палубе на скамейке, рядом со старухой-богомолкой.

Я подсел к ним и открыл табакерку.

— Угостите.

Бродяжка нюхает и чихает, любитесь табакеркой.

— Под чернетью. И внутри позолота ладная... А шалниры-то какие. У меня дядя серебряник, я знаю.

— А что у тебя с шеей?

— Давно это у меня так. Застудил, так и осталось. Да оно не мешает мне.

— Откуда? — спрашиваю.

— Из Ростова-Ярославского.

— А далеко?

— Пока не ссадят. Куда-то в Астраханскую. Забыл город, сейчас посмотрю.

Он вынул из тряпки бумагу, посмотрел и сказал:

— В Енотаевск. Уж придумали городок, язык пере-
ломишь. Енотаевск... Чтоб ему ни дна ни покрывки...

Дальше — больше, разговорились. Оказался знакомый тип: человек с волчьим видом.

— Да уж документик сподобили, иди, пока не умрешь. Иди, на сутки поработать нигде нельзя остановиться, или воруй, или грабь, или умирай, если христа ради не подадут. Вот он настоящий волчий паспорт, пожалуйста-с.

И подал мне печатный документ с приложением печати.

Это был вид, но не вид на жительство, а вид на право идти без остановок. Законный вид на бродяжничество, волчий паспорт, с которым всякий обладателя его имеет право гнать из-под своей крыши, из селения, из города. Я целиком списал этот вид и привожу дословно:

«Проходное свидетельство, данное из Ростовского Полицейского Управления, Ярославской губернии, административно высланному из Петербурга петербургскому мещанину Алексею Григорьеву Петрову, на свободный проход от г. Енотаевска, Астраханской губернии, в поверстный срок с тем, чтобы он с этим свидетельством нигде не проживал и не останавливался, кроме ночлегов, встретившихся на пути, и по прибытии в г. Енотаевск явился в тамошнее полицейское Управление и предъявил проходное свидетельство».

Подпись, которую, как и все подписи на документах, разобрать было невозможно. Я возвратил вид на бродяжничество и спросил:

— Почему именно в Енотаевск?

— Да вот в Енотаевск, чтобы ему ни дна, ни покрывки...

— Кому ему? Енотаевску?

— Нет, чиновнику.

— Какому?

— Да в Ростове. Вывели нас из каталажки, поставили всех в канцелярии. А он вышел, да и давай назначать кого куда. Одного в Бердичев, другого в Вологду, третьего в Майкоп, четвертого в Мариуполь. Потом позабыл город, потребовал календарь, посмотрел в него, потом взглянул на меня да и скомандовал:

— В Енотаевск его пиши.

И остальных по календарю, в города, которые называются почуднее, разослал... Шутник.

— За что ж тебя из Петербурга турнули?

— Из-за дворника. Дворнику как-то на пару пива не дал, он и обещал попомнить. Ну, и попомнил. На заводе у нас беспорядки были, и я тоже в толпе был и не шумел, а вот попал. Когда стали арестовывать, дворник и попомнил, указал на меня. На восемь лет и выслали... четыре года хожу, а четыре еще осталось.

Это благодетель-чиновник из Харьковской губернии меня в Колу махнул. И натерпелся. Через Архангельск да по тундрам. Коты на ноги дали... Из Колы опять этапом в Городище, Пензенской губернии, махнули... А оттуда в Ростов... Через Казань пошел, по Волге, через Нижний, в казанской больнице лежал...

В Нижнем я стою на палубе парохода и смотрю на выходящих пассажиров, у которых капитан строго отбирает билеты.

Мой бродяжка подходит ко мне и жалуется, что после Нижнего зайцем больше ехать нельзя, контроль будет строгий. И делает движение, чтобы уйти. Я вынимаю пять рублей и сую ему в руку:

— Купи билет и поезжай спокойно.

Он зажал деньги и смутился. Что-то хочет сказать и, видимо, не может. Затем он запустил руку к себе в карман, вынул мою табакерку, сунул ее в карман моей тужурки, где я ее обыкновенно ношу, и без оглядки бросился бежать сквозь контроль, оттолкнув матроса, который чуть не упал... И сразу пропал где-то... Шум... гвалт... Потом все успокоились. Он исчез...

И понять не могу, как он в одну минуту так ловко выудил из кармана мою табакерку.

* *

*

С историей моей табакерки и этим бродягой еще раз связана моя последняя в жизни, любимая мною с юных дней степных скитаний охота на волка в угон, давно-давно забытая. Охота эта калмыцкая и казачья, потому что для нее нужны волк, степь и лошадь. Да еще особая нагайка, волчатник. От обыкновенной казацкой нагайки она отличается тем, что она длиннее наполовину и втрое толще, хотя сплетена также из тонких сыромятных ремней, а иногда в нее вплетали кусок свинца. Только это совершенно лишнее — и без свинца удар такой нагайки страшен, а с коня, на скаку, она разбивает волчий череп, а то и хребет можно перешибить.

Десятки лет эта моя старая приятельница по охоте хранится у меня...

И вот — это было в последний год прошлого столетия, поздней осенью — я был на зимовниках сначала в задонских степях, а потом и проехал в ногайские и зеленчукские степи, на хутор к молоканину овцеводу и коннозаводчику, по его просьбе я помог купить как-то для его табунов двух английских жеребцов-производителей.

Там-то случайно и пришлось поохотиться, еще раз повторяю — последний раз в моей жизни, в угон на волка, и удалось залобанить такого матерого, каких я никогда и не видывал. Степной волк, широкий, могучий, шерсть у него короткая и густая. Шкура этого волка лежала у меня в кабинете ковром до самой первой революции — и все как новая.

Осмотрев табуны, производителей и жеребят от них, я собирался уже ехать в Москву и с рассветом просил приготовить лошадей.

Накануне, по обычаю благочестивейшего молоканского семейства человек из десяти, мы сели за ужин чаш в восемь вечера, ели после разных закусок лапшу из индейки, жареных кур, баранину жареную, соленые бараньи язычки, пшеничную кашу с молоком и на закуску

по полной тарелке взвара, т. е. компота из свежих персиков, груш, яблок и вишен...

После ужина я отправился в комнату для почетных гостей спать до рассвета.

Комната большая, светлая, с коврами и двумя кроватями. Высота кроватей в рост человека, потому что на них распухли в три ряда пуховики, и по шести подушек в головах. Забираться на такую постель приходилось с особой специальной скамейки, а как ляжешь, как охватят тело пуховики — так и заснешь сразу. Да на том боку, на который лег, и проснешься — спишь как убитый...

Еще не рассветало, а мы уже пили чай, опять вся семья вместе, за тем же огромным столом с ведерным самоваром, с печеньями, закусками, холодными и дымящимися: тут и гора белых горячих пышек, и блюдо бараньих язычков, и нога холодной баранины, и дымящиеся блюда с нарезанными большими кусками легкого, сердца и печенки — и опять передо мною та же батарея наливков... А хозяйка уже уложила мне всяких съестных припасов и бутылок в корзину на дорогу... так думаю, пятерым до Москвы хватит.

И вдруг во время чаепития вбегает чабан и жалуется, что у него ночью волк барана утащил и жрет его в бурьянах, за балкой около старой базы, а база эта верстах в двух от хутора.

Я обратился к старику:

— Поседлайте Няяду...

Это прекрасная полукровка, дочь знаменитого Дирбоя, на которой я ездил по его табунам.

— И я поеду, — сказал старший сын Федя, наездник и охотник.

Через пять минут мы подъезжали к базе, окруженной бурьянами. Сзади бежал чабан и указал нам место:

— Там он залег, бирюк-то!

Действительно, зашевелились полосой бурьяны и в полосе замелькал убежавший волк...

Солнце зазолотило седло и головы Эльбруса.

Утро тихое, чудное, холодное...

Волк вырвался из бурьянов и мчал по голой степи. Мы неслись за ним, намеренно держась от него шагах в

двухстах. Степь на бесконечное пространство гладкая, без кустика, даже без бурьянов. Все на виду... Волк мчится, не оглядываясь. Он чувствует... Он инстинктом чувствовал, когда мы прибавляли хода,—и усиливал свой бег... Мы сдерживали коней, а он все удирал — и наконец, оглянувшись и пошел потише... Мы опять несколько сажен пустили порезвее, и он помчался... Так играли с ним долго... Он шел к горам — они верстах в ста от нас,—шел по прямой линии, как стрела... Он шел шагах в трехстах от нас — и мы скачем.

Он все ближе и ближе... Голову держит вбок... Мы видим его высунутый язык... Мы опять немного сдержали...

— У меня лошадь захромала, езжайте.

И спутник мой слез с коня. Я оглядываюсь. Ведет лошадь в поводу — она припадает на правую ногу. Он что-то кричит мне и машет рукой. Мне не до него. Скачу.

Через минуту я все забыл, кроме волка, и мчался за ним, не оглядываясь. Настали минуты горячие... Я то догонял его, то давал передышку лошади, а он драл вовсю по прямой линии. Волк знал, что свернуть в сторону — значит сократить расстояние в пользу врага...

Но он ошибался: у лошади, у этой чудной Наяды, бравшей барьерные призы на скачках и не боявшейся ни выстрелов, ни зверя, запас сил был огромный... Притом она отдыхала то и дело на переменном аллюре, а он лупил без передышки и стал выдыхаться... Язык его волочился чуть не по земле...

Впереди затемнелись две узкие и длинные полосы бурьянов, росших по неглубокой балке, близко от меня переходившей в степь, а вправо тянувшейся далеко по направлению к горам... Во время дождей туда гоняют табуны... Я налег в карьер... Волк шагах в ста от меня. Видимо, зарьял, но торопится к балке... По всей вероятности, он знал это убежище... Я еще ближе к нему, шагов на пятьдесят... Вот он в бурьянах близ оврага — только ему нырнуть — и спасен...

На самом берегу балки на момент остановился, взглянул на меня — я круто повернул лошадь к горам и сделал несколько скачков вправо, вдоль оврага... Волк нырнул и скрылся...

Я знаю привычки зверя давным-давно... Еще с юных моих шатаний в задонских степях. И я не ошибся.

Повернув кругом лошадь, я скачу по краю балки влево от гор и вижу: серый с вытянутым языком лежит посредине балки и, увидев меня — все это измеряется секундами, — вскочил, зашатался и тяжело захлюпал к выходу в степь... Я свищу, гикаю, держу его от себя шагах в тридцати и вижу, что он выдохся и сейчас упадет...

Это не в моих расчетах: к лежащему или сидящему волку подходить нельзя — бросится и зарежет коня... Я даю ему выбраться на простор степи, посылаю Наяду, и мы скачем с ним рядом, не убавляя резвости: волк зарьял, язык беспомощно болтается...

В два прыжка я догоняю его и бью по черепу плетью. Он тычется носом в землю... Я быстро поворачиваю ловкую Наяду, чтобы быть сзади головы волка, чтоб снова его догонять, но он исходит слюной и беспомощно скребет лапами по траве... Рискую и еще раз бью его по голове, и отскакиваю в сторону... Он продолжает лежать на брюхе, вытянув задние ноги и судорожно шевеля передними, на которых лежит голова с вытянутым языком... Я объезжаю в сторону и кружу шагом, давая отдыхать уставшей Наяде... Посматриваю издали на волка и наслаждаюсь понюшками табаку...

Волк не шевелится. Объезжаю кругом. Не шевелится... Еще раз бью его по голове, а потом поперек хребта, около почек. Готов серый...

Слезаю с Наяды, разминаю ноги...

А кругом глухая степь. Ни табунов, ни отар овец, ни птички... Только вдали-вдали шевелится точка — это тушканчик сложил молитвенно лапки, но и тот скоро ушел в нору... Высоко-высоко появился орел... Потом другой... Они кружат надо мной, но не спускаются... Вдали появился третий.

И как это они учуяли добычу... И не ошиблись... Они знают что знают — знают, о чем и мечтать не смеет наша мудрость!

Вдали движущаяся точка. Пара лошадей, запряженная в нетачанку... Это Федя с кем-то торопится... Лошади прекрасные, несутся вскачь...

Я со скуки полтабакерки вынюхал... Федя радуется: — Ну, взяли-таки зверяку. А я кричал вам, чтобы не допускали до балки... У меня конь сплечился... Все-таки доехал и за вами приехали... Ну, ловко...

Осмотрели волка.

— Череп разбит. Думаю, что с первого удара... А хорош, ах хорош. Как вы его не упустили... Доберись до балки — ушел бы в горы...

— Да не ушел вот!

— Ловко...

И обратился к казаку:

— Митро, а ну-ка свежуй.

— Ну и брюхо набил. Знать, целого барана stravил! — бормотал Митро, сдирая волчью шкуру.

Я ехал шагом на Наяде с нетачанкой, рассказывая подробности охоты, к великому удивлению Феде, и получил одобрение от Митро, старого охотника, который не удержался и перешел на ты:

— Бирюка перехитрил. Вот так черт!

— А ты нечистого не призывай и черных слов не произноси,— сделал ему замечание Федя, правоверный молоканин.

Навстречу нам низко и торопливо летели два орла.

— На обед едут,— указал кнутовищем казак.

Я оглянулся... Штук десять орлов и коршунов кружились над редкой в это время добычей, а влево Эльбрус покрывался темными тучами.

— Снег будет,— сказал Митро.

* *

*

После обычного обеда, такого же, как и вчерашний ужин, с добавкой только гуся с яблоками и горы куропаток на огромном блюде, мы ходили по конюшням, пили чай, и после чая Митро на прекрасной паре золотистых корольковских персюков мчал меня под густыми тучами на Богословскую станцию.

Ногайская степь, как и всегда в это время, была мертвая, безжизненная, холодная и безмолвная. Разве встретится стадо молоканских овец, поднимется орел, сорвется стая куропаток, да иногда промчится на коне

ногаец, потомок бывшего властителя этих степей,— а там опять тишь, мертвая тишь зимней степи, безлюдная, безмолвная...

На половине дороги начался снежный пурган... Коней не видно!

Но вот мелькнул красный диск, вдали слышится свисток паровоза и сразу переносит от мира и покоя беззаботной степи в безалаберную суету столицы, где приходится быть осторожнее, чем здесь, в это дикой пустыне, между степными волками и вооруженными жителями...

Лишнее слово, иногда лишний стакан вина, неосторожное движение — и погиб скорее, чем в глухой ногайской степи...

Одновременно с бежавшим и пыхтевшим поездом, побелевшим от снежной пурги, я подъехал к вокзалу и, тоже весь заледенелый, покрытый снегом, прямо бросился к буфету, чтобы как-нибудь согреться. Был второй час ночи. Оказалось, что пришел сильно запоздавший от сильной метели скорый поезд, идущий на север. Через три минуты он отправляется. Придется ужинать и согреться в поезде. Беру ужин: белый хлеб, колбасу, бутылку водки и две бутылки пива. Подарок поберегу до Москвы — жаль откупоривать. Митро тащит за мной багаж. Бросаюсь в первый попавшийся вагон первого класса и вваливаюсь в пустое купе. Чемодан и корзинку с гостинцами бросаю на сетку, волчью шкуру, связанную шерстью вверх, на пол и прощаюсь с Митро. Кондуктор входит за билетом и говорит:

— Вам бы в другой вагон, это старинный, неудобные диваны, жестко да и трясучий... Рядом пульмановский, тоже пустой идет.

— Э, все равно,— отвечаю.

Колеса закрипели по рельсам, загромыхали на стрелках, и поезд потянулся на север.

Я старался взглянуть в окно, да оно все было бело от снега и льда. Мелькнула в памяти моей не сходившая несколько дней с моего горизонта голова Эльбруса, и сделалось как-то грустно...

С помощью кинжала я разрезал колбасу, причем добрая половина ее упала на пол и откатилась к двери, где

на полу лежала мерзлая волчья шкура. Я посмотрел на нее, но, усталому, было лень протянуть руку. Выпив и съев колбасу, я хотел достать упавшую половину, но ее не было: укатилась под мой диван.

Дорожа каждым лишним движением, я взял бутылку пива и поставил ее на пол, чтоб можно было достать легко рукой, и лег, сделав несколько глотков. Лег и вытянулся.

Это блаженство, которого я давно не испытывал. Я стал уже забываться, как вдруг волчья шкура, лежавшая на полу у двери, зашевелилась.

Уж не дух ли какого-нибудь кабардинца или ногойца вселился в волка?

Затем стоявшая рядом с диваном бутылка с пивом кланяется горлышком к окну, причем выливается несколько капель на пол, и исчезает.

Исчезает на глазах. Уползает под мой диван. Я нюхаю табак и соображаю — что такое. Вдруг под собой слышу:

Буль... буль... буль...

Кто-то пьет под моим диваном. Приподнимаюсь, чтобы вскочить, и вдруг вижу вылезающее из-под дивана горлышко бутылки, а затем чью-то руку, старающуюся аккуратно, без шума водворить бутылку на прежнее место.

Моментально вскакиваю, запускаю обе руки под диван и вытаскиваю оттуда злополучнейшего из людей. Несчастный, оборванный, бледный.

Шепчет:

— Не убивайте меня!

Я поднял его, крепко встряхнул для острстки и с размаху усадил на противоположный диван.

— Попался, дьявол!

Он умоляюще смотрел на меня и молил о пощаде... Я встал, проверил, заперта ли дверь, и открыл занавеску половины фонаря, осветив противоположный диван.

Передо мной сидел, дрожа и щелкая зубами, оборванец в лаптях, в башлыке, окутавшем плотно голову.

Он воззрился на стол, ткнул пальцем на табакерку, на которой ярко сверкала золотая буква Г. И рот раскрыл в недоумении.

— Ведь это она! Это, значит, вы?!

Упал передо мной на колени.

— Теперь я вас узнал... Ведь это я... Вот шея-то, поглядите.

Сорвал башлык. Громадные желваки от ушей до плеч.

— Это я.

И вспомнился мне пароход на Волге.

— Я вот тогда у вас ее,—показывает на табакерку,— за ваше добро у вас из кармана стырил... Я хотел на ней доехать до Астрахани... Это за хлеб-то за соль вашу... Поили, кормили, а я... Весь век мучаюсь, как поминаю...

Бормотал он нескладно, отрывисто, без умолку. Я молчал и слушал и, наконец, в знак мира открыл табакерку и поднес ему.

— Черт с тобой, прощаю. Садись!

Сразу повеселел. Понюхал, чихнул, сел на диван и все бормочет, бормочет нескладно и жалобно, в грехах своих кается...

Я подал ему бутылку с водкой. Он жадно потянул и закусил хлебом, а я наклонился под диван и ищу колбасу.

— Вы колбасу? Я ее стравил. Я давно уж ничего не ел.

Затем он доел весь хлеб, допил пиво и начал рассказывать свои похождения, стараясь доказать первым делом, что залез на станции в вагон без всякой цели грабежа и убийства, а только чтобы погреться и добраться до станции Кавказской...

— Ну что? Все еще с волчьим паспортом? — спрашиваю я.

— На кой он. Нешто к зиме с ним можно? Давно бросил. Лучше бродягой называться, до весны просидеть, а то в степи замерзнешь теперь.

— А перо зачем? — спросил я, указывая на валявшийся на полу нож.

Он сконфузился — не смел мне врать. Это чувствовалось. Молчит.

— А ежели бы не я, а женщина одна ехала в купе? А если бы я уснул? Сонного пришить легко ведь...

— Что вы... что вы... Нешто вас можно?! Вот табакерка-то, как увидал ее, так и... так и узнал вас сразу по золотой букве... Нешто я ее забуду когда, во веки веков,— бормочет.

— Так значит, стой на столе табакерка боком или дном кверху, так... Ну да плевать, Расскажи ты мне, где побывал после Нижнего...

— Ой, да уж что говорить. Везде... Ведь два года с гаком прошли... Ну тогда, после вас, на зевекинском пароходе я сбежал на низ... К зиме проходное бросил — сказался на Псков. Этапом послали... К весне опять вышел. В Питере опять в полицию... Послали в Яренск... А я под Любань к сестре Варваре ударился, всю зиму у ней околачивался... Весной опять на Волге маячил, к зиме к дяде серебрянику в Питер, а оттуда вот этим летом выслали в Пермь, а я сюда подался... Все лето здесь по хуторам околачивался... Было — и хорошо пожил, у молокан работал. Да дело одно не вышло... Ухрял... Только ту зиму у сестры Варвары и отдохнул, за дворника работал и за кашевара...

Просит о пощаде, клянется и божится, что больше никогда не будет.

А чего «никогда не будет» — не говорит.

Поезд загромыхал по стрелкам станции Кавказской и остановился.

— Ну, убирайся... Вот тебе на разживу.

Дал опять пять рублей и выгнал. Уходя, он нагнулся, чтобы поднять свой нож, но я наступил на него ногой:

— Ножа не дам. Пошел вон.

Исчез. Лезвие ножа, узкое, остро наточенное, вершка четыре длины, ручка роговая кольчатая, дагестанской работы. Кожаные ножны я нашел после под диваном. Потом оказался простым железным, и я им до сего времени разрезаю книги...

Я видел, как он выскочил из вагона в противоположную дверь на неосвещенное полотно дороги и побежал за дрова.

Это был бродяга по закону. Такие не имели возможности пристроиться где-либо в одном месте, а обязаны

были идти и идти без дороги, без цели, без конца. Идти до смерти.

Нередко весной в донских и кубанских степях, особенно после снежных зим, находили трупы оборванцев, а иногда только кости, растасканные зверями и собаками.

В большинстве случаев эти несчастные бродяги по закону, не привыкшие к местным условиям, погибали от холода, голода и метелей.

С наступлением холода много их появлялось на станциях Владикавказской железной дороги. Изможденные, оборванные, измученные, дрожащие в отрепьях от холода, они вечно осаждали начальников станций и жандармов просьбами довести их до следующей станции.

Масса краж из вагонов, грабежей около станций железных дорог совершалась ежедневно по линии, и хотя далеко не все совершали их «бродяги по закону», но все сваливалось на них.

Да и удобно: люди без настоящего и будущего, которым тюрьма — дом, кандалы — игрушки.

Люди с волчьим видом.

— Почет тебе, как волку бешеному: ни тебе работы, ни тебе ночлега — мандруй без останову, пока не сдохнешь! — объяснил мне откровенно один из таких.

И тоже припомнил сестру Варвару, как и тот мой бродяжка.

И я разыскал эту удивительную сестру Варвару.

Действительно, близ Любани, станции Николаевской железной дороги, жила сестра Варвара в основанной ею же пустыньке, приюте для проходящего, скитающегося люда.

Эта пустынька — истинное благодеяние. Сестра Варвара, украинка по рождению, богатая помещица, блиставшая когда-то в обществе, прекрасно образованная, долго жившая за границей, после смерти мужа вся отдалась служению несчастному, страждущему люду. Она изучила трущобы, поняла быт бесприютных скитальцев, людей с волчьим видом, и создала им приют на пути следования из Петербурга в глубь России.

Уже несколько лет существовал этот приют, состоя-

щий из домика, где накормит и напоит бесприютных сестра Варвара.

Во время обеда она читала своим оборванным беспаспортным гостям книги или что-нибудь рассказывала, выслушивала злоключения каждого, ищущего услышать слово человеческое, ободряла его.

Приходили дождливой осенью и холодной зимой полунагие, голодные, грязные...

Принимала людей грязных, зловонных, которых все сторонятся, людей без паспортов, с темным прошлым, готовых на преступление, которых все гонят от себя, боясь за свою собственность и жизнь.

А сестра Варвара принимала их, как своих родных, обмывала их, перевязывала их раны, даже выстроила им баню.

Это было давно. В прошлом столетии. О дальнейшей судьбе сестры Варвары я с той поры не слыхал.

ПРИМЕЧАНИЯ

МОСКВА И МОСКВИЧИ

«Москва и москвичи» в настоящем трехтомнике В. А. Гиляровского впервые после полной публикации текста книги (М., 1935 г.) печатается по прижизненному изданию.

Москва — одна из центральных тем В. А. Гиляровского — писателя и журналиста. О Москве, ее жителях и быте В. А. Гиляровский писал с самого начала своего вступления на литературный путь. Много лет занимался он изучением трущоб города и жизнью их обитателей.

Мысль создать книгу о прошлом Москвы возникла у В. А. Гиляровского в начале 20-х годов, когда на его глазах стали исчезать уничтожаемые Советской властью притоны нищеты — Хитровка, Грачевка, Аржановка.

В. А. Гиляровский на страницах периодической печати приветствует уничтожение этих трущоб и одновременно начинает писать книгу о старой Москве. В дневнике он записывает:

«Без витийских измышлений,
Шью, как по канве,
Для грядущих поколений
Память о Москве».

В 1926 г. выходит первое издание «Москвы и москвичей» (М., Всероссийский союз поэтов). В книге всего пять глав: «Трущобы Хитрова рынка», «Сухаревка», «Московские трактиры», «Яма» и «Засидки». Затем к «Москве и москвичам» В. А. Гиляровский

возвращается после выхода «Моих скитаний» (М., 1928 г., изд-во «Федерация»). В письме к О. И. Богомоловой в 1930 г. он пишет: «Я весь отдался «Москве и москвичам»... работаю и работаю, и все новое открывается». Второе издание «Москвы и москвичей» вышло в 1931 г. (М., изд-во «Федерация»); книга называлась «Записки москвича».

Это была вновь написанная книга. Из первого издания в «Записки москвича» входила только одна глава — «Хитров рынок». В 1933 г., сообщая в одном из писем, что он собирается делать этим летом в Картине, В. А. Гиляровский пишет: «План работы — удвоить книжку «Москва и москвичи».

В окончательном варианте «Москва и москвичи» выходят в 1935 г. в издательстве «Советский писатель». В настоящее издание добавлены две главы: «Штурман дальнего плавания» и «На моих глазах». Они были подготовлены автором для книги, но он не успел их включить в издание 1935 г. Кроме того, расширена глава «Купцы», что также было сделано самим В. А. Гиляровским.

ДРУЗЬЯ И ВСТРЕЧИ

В. А. Гиляровский в письме к О. И. Богомоловой от 25 июля 1930 г. сообщает: «...решил писать книгу «Мои встречи», для которой я уже успел много сделать. Зимой обещал ее сдать «Федерации». В феврале 1931 г. он пишет ей же: «Записки москвича» вышли, пишу «Мои встречи», и наконец 21 сентября 1931 г.: «Я закончил книгу, как обещал, к 15 сентября, подобрал главы, сложил в папку и стараюсь о ней забыть... но не выдерживаю характер». Книга была сдана в издательство в 1932 г. 9 января 1933 г. В. А. Гиляровский записывает: «Наконец-то вчера я получил корректуру моей книги «Друзья и встречи», которую всю ночь и вычитывал». Вышли «Друзья и встречи» в Москве в 1934 г. в издательстве «Советская литература». После выхода книги автор в последний год жизни продолжает над ней работу, готовя свое шеститомное собрание сочинений, и несколько изменяет ее план по сравнению с 1934 г. В настоящем издании «Друзья и встречи» печатаются в окончательном авторском варианте.

СОДЕРЖАНИЕ

Дядя Гиляй (Владимир Алексеевич Гиляровский) — предисловие	<i>Константина</i>
<i>Паустовского</i>	5
От автора	11

Москва и москвичи

В Москве	13
Из Лефортова в Хамовники	15
Театральная площадь	20
Хитровка	23
Штурман дальнего плавания	48
Сухаревка	54
Под Китайской стеной	77
Тайны Неглинки	89
Ночь на Цветном бульваре	95
Кружка с орлом	102
Драматурги из собачьего зала	110
Дворцы, купцы и ляпинцы	119
«Среды» художников	141
Начинающие художники	147
На Трубе	155
Чрево Москвы	171
Лубянка	184
Под каланчой	197
Булочники и парникмахеры	215
Два кружка	235
Охотничий клуб	247
Львы на воротах	256

Студенты	274
Нарышкинский сквер	284
История двух домов	290
Бани	306
Трактиры	341
«Яма»	374
«Олсуфьевская крепость»	378
Вдоль по Питерской	385
На моих глазах	392

Друзья и встречи

Старогладовцы	403
Антоша Чехонте	420
Сожженная книга	453
Певец города	466
Грачи прилетели	477
«Нечаянная радость»	485
Встречи с Горьким	500
Фогабал	506
Под «Веселой козой»	522
Ученик Расплюева	544
Люди с волчьим видом	558
Примечания	572

**ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ГИЛЯРОВСКИЙ**

Избранное, т. III

**Редактор В. Фирсов.
Художник П. Зубченков.
Техн. редактор А. Кречетов.**

**Издательство «Московский рабочий»,
Москва, проезд Владимирова, 6.**

**Л100802. Подписано к печати
с матриц 5/IX 1961 г.
Формат бумаги 84×108¹/₂ мм. Бум. л. 9.
Печ. л. 29,52. Уч.-изд. л. 27,67.
Тираж 150 000 (75 001—150 000).
Цена 1 р. 13 к. Зак. 2912.**

**Набрано и сматрицировано в типографии
изд-ва «Московский рабочий»,
Москва, Петровка, 17.**

**Отпечатано типографией
«Красный пролетарий» Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.**

10.13.6.

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS